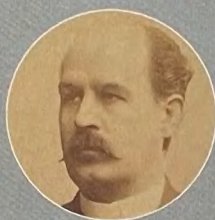


Переписка



Фридриха Ницше



и Эрвина Роде

История
одной дружбы

История одной дружбы

ПЕРЕПИСКА
ФРИДРИХА НИЦШЕ
И ЭРВИНА РОДЕ

Перевод, предисловие и комментарии
В. Бакусева

Культурная
революция
2022

Н 70 История одной дружбы. Переписка Фридриха Ницше и Эрвина Роде.
Пер. с немецкого / Перевод, предисловие и комментарии В. Бакусева. – М.:
Культурная революция, 2022. – 408 с.

ISBN 978-5-6046422-6-9

Издано при поддержке Д. Фьюче и сайта www.nietzsche.ru.

В настоящем издании опубликован полный русский перевод дошедшей до нас переписки между Ф. Ницше и Э. Роде, представляющей значительный научный и исторический интерес.

Для филологов и широкого круга читателей.

© В.М. Бакусев, перевод, предисловие, примечания, 2022

© Культурная революция, 2022

ПЕРЕПИСКА ФРИДРИХА НИЦШЕ И ЭРВИНА РОДЕ

1. Роде — Ницше Гамбург, 10 сентября 1867	19
2. Ницше — Роде Наумбург, 3—6 ноября 1867	20
3. Ницше — Роде Наумбург, 1—3 февраля 1868	25
4. Роде — Ницше Киль, в дополнительный день февраля 1868 <i>δηλονότι</i> : 29-20	29
5. Ницше — Роде Наумбург, 3 апреля 1868	34
6. Роде — Ницше Гамбург, 28 апреля 1868	38
7. Ницше — Роде Наумбург, ок. 4 мая 1868	42
8. Роде — Ницше Киль, 11 мая 1868	47
9. Ницше — Роде Наумбург, 6 июня 1868	48
10. Роде — Ницше Киль, среда 17 июня 1868	52
11. Ницше — Роде Наумбург, 6 августа 1868	55
12. Роде — Ницше Гамбург, 15 августа 1868	58
13. Ницше — Роде Наумбург, 8 октября 1868	60
14. Ницше — Роде Лейпциг, 27 октября 1868	63
15. Роде — Ницше Водолечебница Райнбек, 4 ноября 1868 (ор. 116)	65
16. Ницше — Роде Лейпциг, 9 ноября 1868	68
17. Роде — Ницше Гамбург, 14 ноября 1868 (ор. 130)	74
18. Ницше — Роде Лейпциг, День покаяния [20 ноября 1868]	75
19. Роде — Ницше Гамбург, 24 ноября 1868	76
20. Ницше — Роде Лейпциг, 25 ноября 1868	79
21. Роде — Ницше Гамбург, 2 декабря 1868	80
22. Ницше — Роде Лейпциг, 9 декабря 1868	82
23. Роде — Ницше Гамбург, 23 декабря 1868	86
24. Ницше — Роде Лейпциг, 22 декабря 1868	89
25. Роде — Ницше Гамбург, 3 января 1869	91
26. Ницше — Роде Наумбург и Лейпциг, 10 января 1869	92
27. Ницше — Роде Лейпциг, 16 января 1869	93
28. Роде — Ницше Гамбург, 17 января 1869 (ор. 165)	96
29. Ницше — Роде (визитная карточка) Лейпциг, 12 февраля 1869	98

30. Роде — Ницше <i>Гамбург, 15 февраля 1869</i>	98
31. Ницше — Роде <i>Лейпциг, 22 и 28 февраля 1869</i>	100
32. Роде — Ницше <i>Гамбург, 16 марта 1869 (ор. 177)</i>	103
33. Ницше — Роде <i><Базель, 29 мая 1869></i>	105
34. Роде — Ницше <i>Рим, 27 мая 1869</i>	107
35. Ницше — Роде <i>Базель, 16 июня 1869</i>	109
36. Роде — Ницше <i>Рим, воскресенье 20 июня 1869</i>	112
37. Ницше — Роде <i>Базель, середина июля 1869</i>	113
38. Роде — Ницше <i>Сорренто, 6 августа 1869 (ор. 196)</i>	115
39. Ницше — Роде <i>Баденвайлер, 17 августа 1869</i>	116
40. Роде — Ницше <i>Сорренто, воскресенье 29 августа 1869</i>	118
41. Ницше — Роде <i>Базель, 3 сентября 1869</i>	120
42. Ницше — Роде <i>Наумбург, 7 октября 1869</i>	122
43. Роде — Ницше <i>Рим, 5 ноября 1869</i>	124
44. Ницше — Роде <i>Базель, 11 ноября 1869</i>	127
45. Ницше — Роде <i>Базель, конец января и 15 февраля 1870</i>	129
46. Роде — Ницше <i>Рим, 15 февраля 1870</i>	132
47. Роде — Ницше <i>Венеция, предположительно 24 марта 1870</i>	133
48. Ницше — Роде <i>Базель, 28 марта 1870</i>	135
49. Роде — Ницше <i>Венеция, библиотека св. Марка, 19 апреля 1870</i>	137
50. Ницше — Роде <i>Базель, 30 апреля 1870</i>	139
51. Ницше — Роде <i>Базель, 6 мая 1870</i>	140
52. Роде — Ницше <i>Белладжо на озере Комо, вторник 24 мая 1870</i>	141
53. Роде — Ницше <i>Гамбург, 29 июня 1870 (ор. 239)</i>	142
54. Ницше — Роде <i>Базель, 19 июля 1870</i>	144
55. Ницше — Роде <i>Базель, предположительно 12 августа 1870</i>	145
56. Ницше — Роде <i>Базель, среда ок. 27 ноября <23 ноября 1870></i>	145
57. Роде — Ницше <i>Киль, 11 декабря 1870</i>	147
58. Ницше — Роде <i>Базель, 15 декабря 1870</i>	150
59. Роде — Ницше <i>Гамбург, 29 декабря 1870</i>	153
60. Ницше — Роде <i>Базель, 8 февраля 1871</i>	155
61. Роде — Ницше <i>Киль, 11 февраля 1871</i>	156
62. Роде — Ницше <i>Киль, 22 марта 1871</i>	158
63. Ницше — Роде <i>Лугано, отель дю Парк (но в конце недели съеду) <29 марта 1871></i>	159
64. Ницше — Роде <i>Базель, в пасхальный понедельник <10 апреля 1871></i>	162
65. Роде — Ницше <i>Гамбург, 22 апреля 1871</i>	163
66. Роде — Ницше <i>Киль, 28 мая 1871</i>	166
67. Ницше — Роде <i>Базель, 7 июня 1871</i>	168
68. Ницше — Роде <i>Базель, 12 июля 1871</i>	170
69. Роде — Ницше <i>Киль, 14 июля 1871</i>	171
70. Ницше — Роде <i>Базель, середина июля 1871</i>	172
71. Роде — Ницше <i>Киль, 17 июля 1871</i>	173

72. Ницше — Роде Гиммельвальд близ Лаутербруннена, 19 июля 1871	173
73. Роде — Ницше Киль, 1 августа 1871	175
74. Ницше — Роде Базель, 4 августа 1871	177
75. Роде — Ницше Вик-ауф-Фёр <август 1871> «Зандваль» П. А. Петерсена	179
76. Роде — Ницше Вик-ауф-Фёр, четверг 31 августа 1871	180
77. Ницше — Роде Базель, 6 сентября 1871	181
78. Роде — Ницше Киль, 13 сентября 1871	182
79. Роде — Ницше Киль, четверг <5 октября 1871>	183
80. Ницше — Роде Наумбург, в пятницу вечером <21 октября 1871>	183
81. Ницше — Роде Базель, 23 ноября 1871	185
82. Роде — Ницше Киль, 27 ноября 1871	187
83. Ницше — Роде Базель, после 21 декабря 1871	189
84. Роде — Ницше Гамбург, 22 декабря 1871	191
85. Ницше — Роде Базель, 2 января 1872	193
86. Роде — Ницше Киль, 9 января 1872	193
87. Ницше — Роде Базель, воскресенье <28> января 1872	194
88. Роде — Ницше Киль, 29. 01. 72	195
89. Ницше — Роде Базель, 4 февраля 1872	196
90. Роде — Ницше Киль, 6 февраля 1872	198
91. Ницше — Роде Базель, середина февраля 1872	199
92. Роде — Ницше Киль, 26 февраля 1872	201
93. Ницше — Роде Базель, пятница <15 марта 1872>	203
94. Роде — Ницше Гамбург, 10 апреля 1872	205
95. Ницше — Роде Четверг <Базель, 11 апреля 1872 или чуть позднее>	206
96. Роде — Ницше Киль, середина апреля 1872	208
97. Ницше — Роде Базель, 30 апреля 1872	209
98. Ницше — Роде Базель, 4 мая 1872	211
99. Роде — Ницше Киль, 6 мая	212
100. Ницше — Роде Базель, 12 мая 1872	212
101. Роде — Ницше Киль, май 1872	213
102. Роде — Ницше Киль, май 1872	214
103. Ницше — Роде Базель, 27 мая 1872	215
104. Роде — Ницше Киль, 5 июня 1872	215
105. Ницше — Роде Базель, 8 июня 1872	216
106. Ницше — Роде Базель, 11 июня 1872	217
107. Роде — Ницше Киль, середина июня 1872	219
108. Ницше — Роде Базель, 18 июня 1872	220
109. Ницше — Роде Базель, 7 июля 1872	222
110. Роде — Ницше Киль, 12 июля 1872	223
111. Ницше — Роде Базель <незадолго до 13 июля 1872>	224
112. Роде — Ницше Воскресенье <около середины июля 1872>	225
113. Ницше — Роде Базель, 16 июля 1872	226
114. Роде — Ницше Киль, 20 июля 1872	229

115. Ницше — Роде Четверг <Базель, 25 июля 1872>	229
116. Роде — Ницше Киль, суббота <конец июля 1872>	231
117. Ницше — Роде <Базель, 2 августа 1872>	231
118. Ницше — Роде Базель, 26 августа 1872	233
119. Роде — Ницше Херсбрук, 28 августа 1872	234
120. Роде — Ницше Киль, 27 сентября 1872	235
121. Ницше — Роде Базель, 25 октября 1872	237
122. Ницше — Роде Воскресенье <Базель, 27 октября 1872>	239
123. Роде — Ницше Киль, 1 ноября 1872	240
124. Ницше — Роде <Базель, ноябрь 1872>	244
125. Роде — Ницше <Киль, 14 ноября 1872>	245
126. Ницше — Роде Базель, 20 и 21 ноября 1872	247
127. Ницше — Роде Базель, 7 декабря 1872	249
128. Роде — Ницше Киль, 8 декабря 1872	251
129. Роде — Ницше Гамбург, 22 декабря 1872	253
130. Ницше — Роде Наумбург, 4 января 1873	255
131. Роде — Ницше Киль, 12 января 1873	256
132. Роде — Ницше Киль, воскресенье <26 января 1873>	258
133. Ницше — Роде Базель, 31 января 1873	260
134. Ницше — Роде Базель, 21 февраля 1873	262
135. Роде — Ницше Киль, 27 февраля 1873	264
136. Ницше — Роде Базель, середина марта. Нет! Около 22 марта <1873>	265
137. Роде — Ницше Гамбург, 23 марта 1873	268
138. Ницше — Роде Базель, 5 мая 1873	268
139. Роде — Ницше Киль, 20 мая 1873	271
140. Роде — Ницше Киль, 20 июня 1873	272
141. Роде — Ницше Флоренция, на почте, <осень 1873>, вторник	273
142. Роде — Ницше Гамбург, 14 октября 1873	274
143. Ницше — Роде Швейцарская граница <Базель>, 18 октября 1873 <надпечатка: Гостиница Боденхаус, Шплюген>	275
144. Роде — Ницше Киль, 23 октября 1873	278
145. Роде — Ницше Киль, среда <октябрь 1873>	279
146. Роде — Ницше Киль, 19 ноября 1873	280
147. Ницше — Роде Базель, 21 ноября 1873	281
148. Ницше — Роде Базель, 22 ноября 1873	282
149. Роде — Ницше Киль, вторник <25 ноября 1873>	283
150. Роде — Ницше Гамбург, 23 декабря 1873	285
151. Ницше — Роде Наумбург, новогодние дни 1873—74	287
152. Роде — Ницше Киль, 9 января 1874	289
153. Ницше — Роде Базель, 15 февраля 1874	289
154. Роде — Ницше Киль, конец февраля 1874 (?)	292
155. Ницше — Роде Базель, 19 марта 1874	292
156. Роде — Ницше Гамбург, 24 марта 1874	295

157. Роде — Ницше Киль, 10 мая 1874	300
158. Ницше — Роде Базель, 10 мая 1874	301
159. Ницше — Роде Базель, 14 мая 1874	302
160. Ницше — Роде Базель, <i>предположительно 25 мая 1874</i>	303
161. Ницше — Роде Базель, 1 июня 1874	304
162. Ницше — Роде Базель, 14 июня 1874	305
163. Роде — Ницше Киль, 17 июня 1874	306
164. Ницше — Роде Базель, 4 июля 1874	308
165. Ницше — Роде 26 сентября 1874	309
166. Ницше — Роде Базель, 7 октября 1874	310
167. Роде — Ницше Гамбург, 13 октября 1874	312
168. Ницше — Роде Базель, 15 ноября 1874	314
169. Роде — Ницше Киль, 13 декабря 1874	315
170. Ницше — Роде Базель, 21 декабря 1874	318
171. Ницше — Роде Базель, 5 февраля 1875	320
172. Роде — Ницше Киль, 27 февраля 1875	321
173. Ницше — Роде Базель, 28 февраля 1875	323
174. Роде — Ницше Киль, 12 марта 1875	325
175. Ницше — Роде Базель, 7 июня 1875	326
176. Ницше — Роде Базель, понедельник <14 июня 1875>	327
177. Ницше — Роде Базель, 12 июля 1875	328
178. Ницше — Роде Штайнабад близ Бонндорфа, Баденский Шварцвальд, 1 августа 1875	329
179. Ницше — Роде Базель, 28 августа 1875	332
180. Ницше — Роде <Базель, предположительно 18 сентября 1875>	332
181. Ницше — Роде Базель, 7 октября 1875	333
182. Ницше — Роде Базель, 8 декабря 1875	336
183. Роде — Ницше Киль, 14 февраля 1876	338
184. Ницше — Роде Базель, 18 февраля 1876	339
185. Ницше — Роде Страстная пятница <Базель, 14 апреля> 1876	339
186. Ницше — Роде Базель, 16 мая 1876	340
187. Роде — Ницше Йена, середина мая 1876	341
188. Роде — Ницше Йена, 18 мая 1876	342
189. Ницше — Роде Базель, 23 мая 1876	342
190. Роде — Ницше Йена, 2 июля 1876	344
191. Ницше — Роде Базель, 7 июля 1876	346
192. Ницше — Роде Базель, 18 июля 1876	347
193. Роде — Ницше Йена, 20 мая 1877	348
194. Роде — Ницше Йена, 29 июня 1877	349
195. Роде — Ницше Париж, гостиница «Смирна», Рю Монсиньи, 5, 20 августа 1877	351
196. Ницше — Роде Розенлаубад, 28 августа 1877	351
197. Роде — Ницше Йена, 15 февраля 1878	353

198. Роде — Ницше <i>Йена, 16 июня 1878</i>	355
199. Ницше — Роде <i>Базель, вскоре после 16 июня 1878</i>	358
200. Роде — Ницше <i>Тюбинген, 22 декабря 1878</i>	359
201. Роде — Ницше <i>Тюбинген, 22 декабря 1879</i>	361
202. Ницше — Роде <i>Наумбург, 28 декабря 1879</i> (почтовая карточка)	363
203. Ницше — Роде <i>Генуя, 24 марта 1881</i>	364
204. Роде — Ницше <i>Тюбинген, 8 апреля 1881</i>	366
205. Ницше — Роде <i>Зильс-Мариа, 4 июля 1881</i> (почтовая карточка)	368
206. Ницше — Роде <i>Генуя, 21 октября 1881</i> (почтовая карточка)	369
207. Ницше — Роде <i>Таутенбург близ Дорнбурга, Тюрингия.</i> <i>Середина июля 1882</i>	369
208. Ницше — Роде <i>Рапалло, начало декабря 1882</i>	371
209. Роде — Ницше <i>Тюбинген, 22 декабря 1883</i>	372
210. Ницше — Роде <i>Ницца, 22 февраля 1884</i>	374
211. Ницше — Роде <i>Ницца (Франция), рю Сен-Франсуа де Поль, 26 II</i> <i>23 февраля 1886</i>	375
212. Ницше — Роде <i>Кур (Граубюнден), <гостиница> Розенхюгель</i> <i>18 мая 1887</i>	377
213. Ницше — Роде <i>Кур, 19 мая 1887</i>	378
214. Ницше — Роде <i>Кур, 23 мая 1887</i>	379
215. Ницше — Роде <i>Ницца, 11 ноября 1887</i>	380
216. Ницше — Роде [<i>Турин, 4 января 1889</i>]	381

ПРИМЕЧАНИЯ (В. БАКУСЕВ)

ГЕНИЙ И ЕГО АЛЬТЕР ЭГО

Опыт краткой психологической реконструкции

Имя Фридриха Ницше хорошо известно многим читателям «серьезных» книг. Его учение, его труды — лишь некоторым из них. Его биография — лишь некоторым из этих некоторых. А его личность, какой она была в жизни, личность в узком смысле этого слова, но в полном объеме, — никому, кроме, предположительно, него самого. Если у кого-то есть желание хотя бы издали познакомиться с личностью Ницше, с Ницше-человеком, которого, правда, невозможно до конца отделить от Ницше-мыслителя, то из такой ситуации неизвестности, ситуации, впрочем, обыкновенной и общей для всех, есть некоторый выход. Выход этот единственно возможный и притом с неизбежностью не абсолютно надежный. Это личное общение Ницше с другими людьми, зафиксированное в дошедших до нас и опубликованных текстах писем, его переписка с друзьями и недругами.

В этой книге представлена переписка Ницше с его самым душевным другом Эрвином Роде (1845—1898)*. Ему Ницше отдал львиную долю всех дружеских чувств, на какие только был способен, — глубокой и чистой дружбы в ее наиболее простом челове-

* Письма Э. Роде переведены по изданию: Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Erwin Rohde. Hrsg. von Elisabeth Förster-Nietzsche und Fritz Schöll. Zweite Auflage. Berlin und Leipzig, 1902. Письма Ницше — по электронной версии (eKGB) издания: Friedrich Nietzsche. Briefe. Kritische Gesamtausgabe. Hrsg. von Giorgio Colli undazzino Montinari. Berlin und New York, 1975—2004.

** Биографию Эрвина Роде и проникновенные характеристики его личности см. в трехтомной книге К. П. Янца «Жизнь Фридриха Ницше» (рус. пер.: М., «Культурная революция», 2017—2019), начиная с т. 1, с. 205 слл. и далее в отдельных местах всех томов. Отсылая читателя к этому почтенному источнику, я не буду останавливаться на внешних обстоятельствах жизни Роде, сосредоточившись на ее потаенной, глубинной канве, какой она предстает в переписке с Ницше.

ском виде. Роде отвечал ему полной взаимностью, для него Ницше был самым значительным и в личном, и в «сверхличном» смысле человеком. Так их отношения оценивали уже современники — не случайно вскоре после смерти двух друзей началась подготовка к изданию их переписки. Этим занялся младший коллега Роде, известный в то время филолог-классик, профессор Фриц Шёлль. Начинание было поддержано сестрой Ницше Элизабет Фёрстер-Ницше. Переписка вышла в свет уже в 1902 году.

Она естественным образом оказалась неполной — ведь сохранились не все письма, а сохранившиеся были подвергнуты своего рода цензуре, которую Ф. Шёлль объясняет тем, что иногда специальные подробности не интересны читателю и потому излишни. Вторая причина текстовых купюр (обозначенных двумя тире в квадратных скобках) состоит в том, что оба адресата иногда нелестно или в сомнительном свете отзываются о лицах, на момент публикации переписки еще живых.

И все же неполнота переписки не мешает уловить, понять и объяснить главное. А оно заключается в уяснении характера и, что важнее, личности Ницше, а заодно и его друга Роде. Важнее потому, что характер — единство более низкого порядка, относительное единство (его черты могут, например, кардинально меняться со временем, под влиянием обстоятельств и т. д.), личность же — единство более высокое и абсолютное (если она сложилась, то остается в основном неизменной до самого конца).

Правда, личность выражается вовне в основном через все тот же характер, но не объясняется им исчерпывающе, не сводится к нему полностью и вообще не сводится к чему бы то ни было: личность есть своего рода *causa sui*, «причина самой себя», самодостаточное, творящее себя бытие, свободно определяющее свою сущность — в отличие от обычного человеческого, слишком человеческого случая, то есть индивидуальности, детерминированной со всех сторон. Между личностью и индивидуальностью — психологическая бездна, и «объективно» выразить их соотношение трудно. Но приблизительную «меру», вес личности указать можно — это интенсивность, направленность (цель, дальняя или близкая) и качество ее творчества.

С этой точки зрения «история одной дружбы» предстает перед нами как драма, а под конец даже как трагедия. Впрочем, если

говорить честно, примерно тот же характер имели все взаимоотношения Ницше с друзьями — исключение составляет невозмутимый, самодостаточный и внешне слегка отстраненный, а потому неуязвимый, безупречный и всегда верный, оставшийся верным до конца и после него Франц Овербек. Дружба Ницше и Роде, как никакая другая в жизни первого из них, в переписке между ними показывает все этапы и перипетии типичной для Ницше драмы дружбы.

В этой дружбе было много идиллических мест, которыми читатель может наслаждаться в одиночестве, потому что идиллия вообще неинтересна, ибо типична, было много взаимных восторгов, более или менее искренних с обеих сторон, было много настоящей взаимной любви, уважения, помощи и поддержки — словом, того, что свойственно всякой подлинной дружбе и обычно для нее. Но куда важнее другое: один из друзей был гением, другой — нет.

Ницше — гений особого рода и в этом особом роде единственный. Его цель была предельно дальней — взломать уже омертвевшие к времени его жизни границы заблудшего и гибнущего европейского человека, нащупать за ними новую, сильную, богатую возможностями жизнь и связать ее с забытым, чистым, исторически еще не испорченным истоком подлинной культуры, который он находил у древних греков доэллинистической эпохи. Ему было тесно в рамках своей науки, филологии, он то и дело выходил из этого ряда вон, а в конце концов решительно и сознательно порвал с любой наукой, кроме «веселой».

Роде — другое дело. Тоже филолог-классик, сокурсник Ницше, он в соответствии с масштабом своей личности ставил перед собой неизмеримо более скромные цели, и не потому, что не хотел делать большего, а потому, что не мог. Его цели были сугубо земными — защитить диссертацию, получить приличную должность, написать что-нибудь на профессиональную тему, в конце концов желательно толстую книгу, признанную сообществом. И хотя карьеристом он не был, но все же хотел во что бы то ни стало «вписаться» и «реализоваться», быть солидным. А некоторая тоска по высшему возникла в нем после знакомства с Ницше и под его влиянием. Такая тоска естественным образом рано или поздно возникает у многих, но без влияния личностей, подобных Ницше, естественным же образом

и рассасывается. У Роде она спроецировалась на личность Ницше, музыку, Шопенгауэра и Вагнера, причем его вождем по этим сферам был опять-таки Ницше*.

Свободный остаток тоски по высшему у Роде сосредоточился на личности друга. А та, сама того не желая, внесла жесточайший разлад в его душу. Ведь ценности, поначалу общие для двух друзей, были и оставались абсолютными только для Роде — Ницше, в отличие от него, становился все более свободным от них и от всех своих незрелых, изначальных привязанностей вообще, за исключением музыки самой по себе; такова уж природа гения как концентрата личностного начала. В Шопенгауэре как философе он не был уверен полностью почти с самого начала и до поры держался за него, видимо, из дидактических соображений**. История его отношения к Вагнеру и взаимоотношений с ним хорошо известна, и мне нет нужды напоминать ее читателю. Та же печальная судьба в рамках личности Ницше постигла романтизм и немецкий ультрапатриотизм как идейную и эстетическую ориентацию.

С самого момента знакомства двух друзей Ницше был безусловным лидером для Роде — лидером как личность во всей ее полноте, то есть как человек и как духовный образец***. Такое положение дел ясно понимали и принимали оба, а Роде даже с благодарностью подчеркивал его — нам это известно из писем, но нет сомнения в том, что он делал то же и в личном общении. Ницше, конечно, тактично старался или вообще уклониться от этой темы, или при случае превознести достоинства друга. Впрочем, тактичность в общении с друзьями, в том числе и с Роде, он выдерживал не всегда, а, заметив это за собой, спешил извиниться. Причина такой окказиональной бестактности состоит в том, что его душа не поспевала за творческим умом, который концентрировал в себе большую часть психической энергии, так что иногда из-за ее не-

* Цитат я приводить не буду — это скучно; внимательный читатель и так найдет нужные места в этой книге.

** См. об этом несколько более подробно в книге: Юный Ницше. Автобиографические материалы. Избранные письма. Из ранних работ (1856—1868). М., «Культурная революция», 2014. С. 302. Примеч. 266 и относящийся к нему текст.

*** Правда, была узкая сфера, где Роде мог чувствовать свое превосходство, а иногда давал почувствовать его Ницше, — специальные вопросы языкознания.

хватки на стороне души он не обращал внимания на душевное состояние других.

Но самой большой «бестактностью» Ницше по отношению к другу, «бестактностью», на которые бывают способны только гении, потому что их гениальность очевидна и в известной степени оскорбительна для ближних, заключалась в том, что он поневоле изменил изначальному дружескому единодушию: настал момент, когда он перестал поклоняться кумирам Шопенгауэра и Вагнера. Он, видимо, старался по возможности скрывать это от Роде или по крайней мере не выставлять вперед, но совсем скрыть не мог, особенно к рубежу 1880-х.

Последовать за Ницше еще и в этом, за пределы хорошо знакомого и беззаветно любимого, Роде оказался не способен — его личность по своей природе была вторичной, а это значит, что он нуждался в преклонении. Ницше был для него безусловным предметом преклонения, главным человеком в его жизни — но столь же безусловными предметами оставались и навсегда остались для него и Вагнер с Шопенгауэром, тем более что в духовный мир Роде их ввел сам же Ницше. Когда Роде ясно прочувствовал этот внутренний конфликт, для него *incipit tragoedia*.

Глубокую душевную раздвоенность, возникшую в результате неожиданного и необъяснимого для него конфликта между предметами преклонения и связанными с ними ценностями Роде преодолеть так и не сумел — она мучила его до конца жизни. Драматизм ситуации для Роде усугублялся еще и тем, что ему, вероятно, приходилось бороться с природными, бессознательными или полубессознательными чувством зависти и желанием мести за превосходство друга, с большим или меньшим усилием подавлять в себе это чувство и желание.

Однако гордиев узел этой странной дружбы со своей стороны он все-таки, мучаясь, разрубил, когда по случайному поводу спровоцировал разрыв с другом (1887). Тот со своей стороны был к этому разрыву готов — по причинам, о которых будет сказано ниже. Дружья перестали общаться, но когда Ницше поразила душевная болезнь, Роде с печалью и состраданием принял участие в его судьбе и незадолго до своей смерти навещил больного.

Для Ницше дружба с Роде означала нечто совершенно иное. Как и в любой другой своей дружбе, он со временем все больше чувствовал свое объективное превосходство над друзьями и сты-

дился его, но, естественно, изменить положение дел был не в состоянии — не мог и не хотел этого. Не избежав такого общего правила, дружба с Роде все же сыграла в его жизни особую роль.

Представим себе, что Ницше и Роде никогда не встретились бы — к примеру, потому, что один из них или оба выбрали бы для учебы другой университет (а они учились вместе сначала в Бонне, потом в Лейпциге). Жизнь Роде сложилась бы тогда, вероятно, счастливее — он не заразился бы от Ницше ни одиночеством, ни философией, ни музыкой, ни дополнительной глубиной. Он был бы более уверенным в себе, и потому ученая карьера его сложилась бы удачнее. Он был бы доволен жизнью, занимался бы своей историей греческого романа и даже, наверное, написал бы под конец главную книгу своей жизни, «Психею», историю греческих представлений о душе, где, кстати, не упомянул бы о Ницше точно так же, как не сделал этого и в реальности (книга вышла в свет в 1894-м). В истории науки он остался бы, как и произошло в действительности, одним из нескольких десятков авторитетов в узкой области античной филологии. Вероятно, меньше страдая, он даже прожил бы дольше (он умер от сердечного заболевания). В настоящей жизни дружба с Ницше, несомненно, привнесла в его жизнь трагедию. Ведь в приближившихся к нему с доверием и любовью людях гений всегда вызывает общее повышение личности, но поневоле заставляет их жить под сильным, как бы электрическим напряжением, которое выдерживают отнюдь не все.

На жизни Ницше отсутствие этого друга, Роде, сказалось бы иначе. Он, конечно, не потерял бы направления и сделал бы то же, что сделал в реальности, но ему пришлось бы труднее — не столько из-за недостатка любви и почитания, которыми его дарил друг, сколько по другой причине. Все дело в том, что Роде был довольно верным зеркалом, альтер эго того, чем стал бы сам Ницше, не будь он гением, то есть первичной личностью высшего порядка.

А на уровне, который для Ницше был низшим, для Роде же нормальным и предельным, изначально они были на удивление схожи — потому и сдружились так крепко. Это сходство, судя по письмам, бросалось в глаза особенно Роде, ведь он в нем остро нуждался; выискивая и замечая его, он им наслаждался. Ницше нуждался в чем-то совершенно ином, а именно в саморефлексии на фоне своего сходства с другом. Проводя ее, он все точнее мог видеть

и глубоко понимать собственные черты со стороны; он, наверное, даже с досадой догадывался, что видит свое отражение в буквальном смысле, потому что Роде усвоил эти черты он него самого больше, чем кто-либо другой из друзей Ницше.

В зеркале своего альтер эго он увидел самодовольного филолога, полагающего свою науку верхом всякого духовного совершенства, увидел «немецкого юношу» — восторженного и высокомерно поклонника «германских» национальных идеалов, антисемита, идеалиста-романтика, презирующего реальную жизнь и живущего эстетическими химерами, увидел вагнерианца во всей его красе, бесприкословно и во всем покорного мэтру, увидел оправдание собственной пассивности и нигилизма философами Шопенгауэра.

Все это безмерно отрезвляло его — и в личной, душевной, и в исследовательской сфере. Как и Роде, он переживал жестокий молчаливый внутренний конфликт, только этот конфликт был совсем иной природы, потому что из него можно было найти трудный, но пристойный выход. Он, конечно, не смел, да и не хотел говорить об этом с Роде — тот, должно быть, давно уже обременял его бесконечными жалобами на жизнь и судьбу, а обижать его ради дружбы Ницше не хотелось, — но поступил по-другому: сделал из своего внутреннего конфликта выводы и вынес их в сферу всеобщего, в сферу мышления и творчества. Вот почему во всех своих книгах, начиная с «Человеческого, слишком человеческого», он так часто и все более ожесточенно разбирается с названными выше общими темами. Это, разумеется, совсем не значит, что предметом его разбирательств был именно Роде, но давний друг как другое «я» Ницше невольно послужил для него их исходной точкой, неслучайным поводом.

И если для Роде вся коллизия этой трагической дружбы так навсегда и осталась на сугубо личном, «слишком человеческом» уровне, то Ницше, влив ее в свое творчество, сумел создать своеобразный, а именно субъективный синтез личного и сверличного. Но одновременно он придал идеям, полученным из трагического личного опыта, объективный, общезначимый смысл. Мало того, он возвысил до общезначимого уровня и сам трагический личный опыт дружбы — но это доступно главным образом, то есть если исключить особо проницательных читателей его книг, читателям его писем.

Вадим Бакусев

ПЕРЕПИСКА
ФРИДРИХА НИЦШЕ
И ЭРВИНА РОДЕ

1. РОДЕ — НИЦШЕ

Гамбург, 10 сентября 1867

Мой любезный друг,

хоть я и могу представить себе, что ты как опытный турист и заклинатель змей без особого ущерба преодолешь опасности путешествия из Эйзенаха в Наумбург, мне все-таки хочется, чтобы ты подал еще какой-нибудь признак жизни, прежде чем свергнешься в бездну дел со своей докторской диссертацией¹. Пакет, который ты получишь вместе с письмом, должен заодно «сообщить» тебе воспоминание (как любит выражаться ὁ Κώνστας²) о веселых и отрадных часах и днях, которые мы вместе провели в добром старом Липцке³: в нем портрет гениального человека, учению которого мы главным образом обязаны тем, что настроены исключительно в унисон в самых важных вещах. Не могу передать тебе, как много добрых и возвышенных стимулов дало мне это единомыслие, и думаю, old boy⁴, что и ты воскрешаешь в памяти многие моменты этой подлинной гармонии исходных мотивов мышления и бытия с удовольствием. Учишься по-настоящему ценить столь полную уравновешенность, когда на основе контраста узнаешь, как не складывается глубокая гармония в общении с большинством других людей по столь многим и притом фундаментальным пунктам. Так какой-нибудь нелепый чудак предпочтет скрыть свое настоящее мнение, потому что оно слишком выделялось бы на фоне традиционного отношения к жизни, подобно мелодии, звучащей на остинатном басу ритмически и гармонически иной песни. Так что повесь себе на стенку старика в качестве «шибболета»⁵ маленькой общины еретиков, думая при этом, что это знак моей тебе благодарности за душевное участие, оказанное тобой мне, такому упрямому и противному малому, — я переживаю его тем глубже и теплее, что слишком хорошо знаю, как мало сколько-нибудь близкого участия вызывает мой характер. Последние полгода, когда мы, собственно, общались почти исключительно друг с другом, как бы сидя на приставных сиденьях, были для меня самыми счастливыми и окрыляющими за все то время, что я провел до сих пор в университете, со всеми этими вечерами в стрелковом тире, верховой ездой и театральными наслаждениями, с этими неизменными уютными беседами обо всем том на свете, что интересует приличных людей, — но прежде всего

я с радостью вспоминаю о вечерах, когда ты в полумраке играл мне на фортепиано: тогда я чувствовал дистанцию между натурой творческой и мной, бессильно волящим мелким бесом, но душа все же раскрывалась под эти звуки и шла somewhat⁶ более упругим шагом. Все это выражает то, чего я и хотел бы: всего лишь эгоистически пожелать ἀντίδοσις — μεγάλῃ τε φιλίᾳ τε⁷, по крайней мере, для меня большого: если хочешь доставить мне настоящую радость, подари мне на мой ближайший день рождения свою песню на слова Рюккерта «Из времен юности», переложенную для баритона. Тогда я стану петь эту carmen⁸, которая мне всегда очень нравилась, петь, когда никто не будет слышать, кроме моих матери и сестры, перед которыми я подчас могу и раскукарекать. [— —]

Киль меня пока немного отпугивает: тамошняя моя жизнь показалась мне совсем пустой после приятных лейпцигских отношений. Я хочу уделить немного внимания совершенствованию своих светских талантов. —

Если ты воротишься в Лейпциг, передай привет всем друзьям и знакомым: но сначала ты, наверное, увидишь многих в Галле на съезде филологов. Тебе же самому я пожелаю всех возможных благоприятных omīna и auspīciis⁹ для твоих пинакографических искусств¹⁰ и потом для защиты. Держись бодрее и поскорее напиши своему другу

Эрвину Роде

Мои наилучшие пожелания твоим матушке и сестре.

2. НИЦШЕ — РОДЕ

Наумбург, 3—6 ноября 1867

Мой дорогой друг, вчера я получил письмо от нашего Вильгельма Рошера¹¹ из Лейпцига с известиями, которые с твоего позволения пусть послужат прологом к этому письму. Сначала радостная весть о том, что дела со здоровьем и состоянием духа батюшки Ричля обстоят наилучшим образом; мне слышать это удивительно, поскольку поведение берлинцев наверняка нанесло ему несколько ран. Во-вторых, кажется, наш союз, который обзавелся еще и церемониальной

печатью, продвигается к лучшему будущему. Читательский кружок насчитывает покуда 28 членов: кафе Цаспеля, согласно планам Рошера, должно стать своего рода филологической биржей. Куплен и шкаф для хранения журналов. Пятничных собраний еще, видимо, не было; по крайней мере, Вильгельм ничего об этом не пишет. К тому же еще не прибыли разные члены союза, например, Кох, которому, увы, помешала тяжелая болезнь. То же — превосходный Коль, который, как ни странно, хочет задержаться на несколько недель у друга за городом, тем самым несколько оттянув опасные сцены экзамена. Наконец, не хочу умолчать, что письмо Рошера принесло мне приятное известие: моя работа о Лаэрции 31-го октября в актовом зале одержала победу в борьбе с господином *Outis*¹²; я рассказываю об этом главным образом потому, что вспоминаю при этом твои дружеские старания, не без участия которых названное *opusculum*¹³ сошло со стапеля. Может пройти много времени, прежде чем будет напечатано что-то из этих вещей: я отказался от всех прежних планов и держусь лишь за один — рассмотреть эту область в более обширной связи, объединившись с другом Фолькманом. Но поскольку мы с ним работаем совершенно по-разному, то пусть себе прелестные сказки об учености Лаэрция и Свида еще немного понаслаждаются жизнью. Единственный человек, который, видимо, узнает о вероятном положении дел немного скорее — это Курт Ваксмут: он хочет услышать о нем и услышит лично и устно, после того как я в Галле познакомился с ним на съезде филологов¹⁴. У него и впрямь есть некоторый артистизм, и прежде всего гротескное безобразия, которое он несет на себе с энтузиазмом и гордостью.

Те дни в Галле для меня пока что — веселый финал или, скажем, кода моей филологической увертюры. Эти толпы учителей выглядят все же лучше, чем я мог ожидать. Может быть, старые пауки остались на своих сетях: короче говоря, одежды были приличными, по последней моде, а усы весьма популярными. Старец Бернхарди, правда, председательствовал хуже некуда, и Бергк скучал на протяжении всего невразумительного трехчасового доклада. Но по большей части все удалось на славу, главным образом торжественный обед (на котором у старого Штайнхарта украли золотые часы: отсюда ты можешь вывести, каково преобладающее умонастроение) и вечернее собрание в «Окопе». Здесь же я познакомился с умно глядящим магистром Зауппе¹⁵ из Гёттингена, который интересен мне

как образец для наумбургских филологов. Его доклад о некоторых новых аттических надписях был самым пикантным, что мы услышали; правда, я исключая речь Тишендорфа¹⁶ о палеографии — он бодро выступил в полном вооружении, то есть с девственным Гомером, с подделками Симонидеса, с фрагментами Менандра и Еврипида и т. д.; еще он подробнейшим образом сообщил и в конце концов объявил о своем труде по палеографии, назвав наивную цену за него, а именно, примерно 5000 талеров. Гостей было великое множество, и очень много знакомых. За обедом мы образовали лейпцигский угол стола, состоящий из Виндиша, Ангермана, Клемма, Фляйшера и т. д. Я был очень рад обнаружить, что Клемм — человек совершенно очаровательный: а ведь в Лейпциге я был едва с ним знаком, мало того, даже питал к нему что-то вроде отвращения из-за проклятой боннской привычки, обыкновенно посылая ему вслед те косые взгляды, которыми корпоранты так любят мерить «господ с клироса». Естественно, он объявил себя от всего сердца готовым участвовать в лейпцигских *symbolis*¹⁷. Вот только срок, как он думает, намечен слишком ранний — и я близок к тому, чтобы с ним согласиться. Каждый день, даже каждый час мы в Галле ждали прибытия батюшки Ричля, который обещал приехать, но, увы, был вынужден покориться плохой погоде. Нам очень не хватало его присутствия, в особенности мне, который обязан ему решительно всем. Его вмешательству я должен приписать то, что сейчас владею полным комплектом «Рейнского музея», причем я не сделал для этого ничего, даже твердо рассчитывал на то, что еще долго могу ничего не делать для того указателя¹⁸. Следующие несколько недель после нашей поездки я не тратил на эту барщину, а самым веселым образом сводил воедино свои *Democritea*¹⁹; эта работа будет *in honorem Ritscheli*²⁰. Ну, по крайней мере, жребий брошен: хотя для тщательного обоснования моих безумных идей и кряжистой комбинаторики остается сделать еще слишком многое, уж очень многое для человека, который «работает совершенно по-другому».

Ну, спросишь ты, если он не курит и не играет, если не составляет *indicem*²¹, не комбинирует *Democritea*, пренебрегает *Laertium et Suidam*²², то чем он тогда занимается?

Он занимается строевой подготовкой.

Да, мой дорогой друг, если когда-нибудь в ранний утренний час, скажем, между пятью и шестью, какой-нибудь демон приведет тебя

в Наумбург и случайно вознамерится направить твои шаги в мою сторону, то не оцепеней при виде зрелища, которое предстанет твоим чувствам. Ты вдруг почувешь запах конюшни. В приглушенном свете фонаря возникнут какие-то фигуры. Вокруг тебя будут скоблить, ржать, скрести щеткой, топтать. А посреди всего этого в одежде конюха кто-то усердно выгребающий руками нечто несказуемое, тошнотворное или обрабатывающий лошадь скребком — мне становится страшно, когда я вижу его лицо²³, — ведь это, клянусь собакой, я собственной персоной.

Парой часов позже ты увидишь в манеже двух несущихся по кругу коней, не без всадников, из которых один очень похож на твоего друга. Он скачет на своем огненном, норовистом Балдуине, думая когда-нибудь научиться ездить верхом хорошо, хотя или, скорее, потому, что сейчас он все еще ездит на попоне, с шпорами и шенкелями, но без хлыста. А еще ему надо поскорее отучиться от всего, что он слышал в лейпцигском манеже, и прежде всего с большим трудом усвоить правильную и уставную посадку.

В другое время суток он стоит, прилежный и внимательный, возле нарезного орудия и достает из передка гранаты, или чистит ствол банником, или наводит пушку по дюймам и градусам *etc.* Но прежде всего ему надо очень многому научиться.

Клянусь тебе уже упомянутой собакой, у моей философии появилась сейчас возможность послужить мне на деле. Пока что я ни на мгновение не почувствовал себя униженным, но очень часто улыбался как бы чему-то баснословно-невероятному. А иногда, укрывшись под крупом лошади, я шепчу: «Шопенгауэр, помоги!»; и, возвратившись домой измотанный и покрытый потом, я успокаиваюсь при виде портрета, стоящего на моем письменном столе, или раскрываю «Paterga», которые мне теперь, вкуче с Байроном, симпатичнее, чем когда-либо.

Теперь, наконец, я добрался до места, где могу высказать то, с чего, как ты ожидал, я должен был начать письмо. Мой дорогой друг, вот ты и знаешь причину, почему мое письмо так неподобающе долго запаздывало. У меня в строжайшем смысле слова не было времени. А часто и настроения. Ведь письма друзьям, которых любят, как я тебя люблю, пишутся не в каком угодно настроении. Не пишут писем и на скорую руку, в день по строчке: нет, страстно ждешь, когда придет свободный от забот, просторный час и настроение. Сегод-

ня в окошко дружелюбно заглядывает осенний день. Сегодня после обеда я свободен, по крайней мере до половины седьмого; в этот час я призван в конюшню на вечернее кормление и поение. Сегодня я на свой лад праздную воскресенье, вспоминая своего далекого друга, наше общее прошлое в Лейпциге, Богемском лесу и в Нирване²⁴. Судьба внезапным движением вырвала лейпцигский лист из моей жизни, а следующий, на который я сейчас и смотрю в этой Сивилиной книге, сверху донизу покрыт чернильными кляксами. Тогда жизнь текла в полнейшем самоопределении, в эпикурейском наслаждении наукой и искусствами, в кругу единомышленников, в близости любимого учителя и — вот самое лучшее, что я могу сказать о тех лейпцигских днях — в постоянном общении с другом, который был мне не только товарищем по учебе или, скажем, человеком, связанным со мной общими переживаниями, а тем, чье серьезное отношение к жизни поистине стоит на той же отметке, что и в моих собственных чувствах, чей способ оценивать вещи и людей следует примерно тем же законам, что и мой, вся сущность которого, наконец, оказывает на меня укрепляющее и закаливающее действие. Поэтому и теперь больше всего мне не хватает именно этого общения; и я даже отважусь предположить, что если бы нас осудили вместе тянуть этот гнет, мы несли бы свое бремя с большей ясностью духа и достоинством, в то время как сейчас мне остается лишь утешаться воспоминанием. Первое время я чуть ли не удивлялся, что не вижу тебя как товарища по судьбе: иногда, скача на лошади и поворачивая голову к другому вольноопределяющемуся, я представляю себе, что там, на другой лошади, сидишь ты.

В Наумбурге я довольно одинок; в кругу моих знакомых нет ни филолога, ни того, кто дружит с Шопенгауэром; да и знакомые-то видятся со мной редко, потому что служба отнимает у меня почти все время. Оттого-то я часто испытываю потребность все снова пережевывать прошлое, делая настоящее съедобным путем добавки к нему таких пряностей. Когда я сегодня утром шел в дождевике сквозь черную, холодную, сырую ночь, а ветер беспокойно обдувал темные массы домов, я напевал «Кто честен, весел должен быть» и думал о нашем шутовском прощальном торжестве, о подпрыгивавшем Кляйнпауле — существование которого в Наумбурге и Лейпциге сейчас неизвестно, но именно поэтому не подвергается сомнению, — о дионисовском лице Коха, о нашем памятном знаке

на берегу той речки в Лейпциге, который мы окрестили Нирваной и который с моей стороны несет на себе торжественные слова, оказавшиеся победоносными, — *γένοι οἷος ἔσσι*²⁵.

Если в завершение я применю эти слова к тебе, дорогой друг, то пусть в них прозвучит лучшее, что есть для тебя в моем сердце. Кто знает, когда переменчивая судьба снова соединит наши пути: хорошо бы поскорее; но когда бы это ни произошло, я с радостью и гордостью буду оглядываться на то время, когда приобрел друга *οἷος ἔσσι*²⁶.

Фридрих Ницше,

канонир 21-й батареи кавал. отделения полка полевой артиллерии № 4. NB. Это письмо снова задержалось на несколько дней, потому что мне очень хотелось отправить с ним вместе корзиночку винограду: но в конце концов злополучная почта объявила, что последней не примет, поскольку виноград все равно пришел бы в виде сула.

*Ignoscas*²⁷

3. НИЦШЕ — РОДЕ

Наумбург, 1—3 февраля 1868

Мой дорогой друг,

Сегодня суббота, причем день уже близится к завершению. А для солдата слово «суббота» волшебное: в нем чувствуется упокоение и мир, каких я не знал студентом. Спокойный сон и возможность помечтать, не омраченные для души картинами ужаса на следующее утро, сознание того, что ты снова преодолел и оставил за собой еще одну неделю той суетни в униформе, которая называется годом военной службы, — какое же это простое и сильное удовольствие, достойное киника и доставшееся нам чуть ли не слишком дешево и без лишних хлопот! Теперь-то я понимаю то первое и самое интенсивное настроение второй половины субботнего дня, в котором отчеканено выражение *πάντα λίαν καλά*²⁸, в котором были изобретены кофе и трубка табаку и появился на свет первый опти-

мист. Во всяком случае, те евреи, которые выдумали эту прекрасную историю и верили в нее, были людьми военными или фабричными рабочими, но уж, конечно, не студентами; ведь эти последние выдвинули бы требование шести выходных и одного рабочего дня, а на практике и этот один день приравняли бы к остальным. По крайней мере, у меня это было так, и сейчас я очень сильно ощущаю контраст между своей нынешней жизнью и прежней научной праздностью. Эх, если б собрать в одно место филологов за последние 10 лет да и вымуштровать их для работы по специальности, как принято на военной службе: через 10 лет филология уже оказалась бы ненужной, потому что была бы сделана вся основная работа, — но она была бы и невозможной, ведь ни один человек по своей воле не стал бы под ее знамя, знамя, под которым совершенно немислимо понятие «одногодичник-вольноопределяющийся».

Вот как суббота внушает болтливость, что ты, несомненно, заметишь; всю остальную неделю нам приходится главным образом молчать, и все свои душевные способности мы, как правило, подчиняем командам начальства — потому-то по субботам, в моменты послабления, слова рекой текут из уст, а строки — из чернильницы, особенно когда в печке потрескивает огонь, а на улице бушует февральская буря, чреватая весной. Суббота, буря и тепло в комнате — вот лучшие ингредиенты, из которых готовится пунш «эпистолярного настроения».

Дорогой друг, моя здешняя жизнь сейчас и впрямь очень одинока и лишена радости дружбы. В ней нет побуждений, которые я давал бы себе сам, нет того гармонического созвучия душ, какое приносили с собой многие добрые часы в Лейпциге. Есть, наоборот, отчужденность души от себя самой, засилье исполнения приказов, которое заставляет дух собрать силы в подтянутом страхе и учит его относиться к вещам с серьезностью, которой они не заслуживают. Такова изнанка моего нынешнего существования, и ты, конечно, поймешь меня в этом. Но поглядим и на другую сторону монеты. Жизнь, конечно, неуютна, но если вкушать ее как промежуточное блюдо, безусловно полезна. Она — постоянная апелляция к человеческой энергии, а уж как *ἀντίδοτον*²⁹ особенно хороша против парализующего скепсиса, кое-что из проявлений которого мы с тобой наблюдали вместе. Тут знакомишься со своей природой, узнаешь, как она обыкновенно проявляется среди чужих, как правило, грубых

людей, без помощи науки и без той традиционной *fama*³⁰, которая определяет нашу ценность для друзей и общества. Пока что я заметил, что мне благоволят, — например, капитан благоволит мне как канониру; правда, я исполняю все, что надлежит, ревностно и с неподдельным интересом. Разве не позволительно гордиться тем, что считаешься лучшим всадником среди 30-ти рекрутов? Поистине, дружище, это больше, чем какая-нибудь филологическая премия, хотя я равнодушен и к такого рода похвалам, каких удостоил меня лейпцигский факультет. Можно я, не рискуя показаться тщеславным шутком, процитирую тебе тот *ἑγκώμιον*³¹, который приведен на с. 22 его отзыва?

«Наконец, на тему философии представлена одна работа, и притом первостатейная: “Об источниках Диогена Лаэртского по поводу цитаты *ἕνοι’οῖος ἔσσι* (Пиндар, 2-я Пифийская песнь, стих 73)”. (Помнишь наше местечко Нирвана в Розентале?) Автор этого сочинения, в совершенстве постигнув и исследовав своим живым умом касавшиеся вопроса темы и изучив источники с их сложностями, раскрыл тему, разъяснение которой взялся защитить, и т.д.»³².

Не правда ли, дружище, *tant de bruit pour une omelette*³³? Но уж таковы мы, мы потешаемся над такими похвалами и слишком хорошо знаем, что они несут или соответственно что за ними скрывается; и все же лицо наше кривится в довольной гримасе. В таких вещах наш старый добрый Ричль — сводник, *his laudibus splendissimis*³⁴ он пытается удержать нас в сетях госпожи Филологии. Я испытываю удивительное наслаждение оттого, что в следующей работе, которую напишу *in honorem Ritscheli*³⁵ (о фрагментах Демокрита), выскажу филологам целый ряд горьких истин. А покуда у меня на нее самые прекрасные виды: у нее появилась философская подоплека, чего мне еще не удавалось ни в одной из прежних работ. Кроме того, все мои работы непреднамеренно, но как раз поэтому к моему удовольствию приобретают совершенно определенное направление; все они, как телеграфные столбы, указывают на цель моих исследований, которую я твердо изберу для себя уже в следующий раз. Это — история литературоведения в античности и в Новое время. Поначалу мне будет мало дела до частных; сейчас меня привлекает общечеловеческое, <а именно, вопрос о том>, как складывается потребность в исследованиях по истории литературы

и как она обретает свой вид под формулирующими руками философа. Что в истории литературы мы восприняли все объясняющие идеи от тех немногочисленных великих гениев, которые на устах образованных людей, и что все хорошие и полезные достижения в этой области были не чем иным, как практическим применением этих образцовых идей; что, следовательно, все творческое в литературоведении берет начало от тех, кто сами подобными исследованиями не занимаются или занимаются мало, и что, напротив, авторитетнейшие труды в этой сфере написаны теми, кто был лишен творческой искры, — эти очень пессимистические воззрения, чреватые новым культом гениев, сильно меня занимают и побуждают как-нибудь исследовать историю <литературы> на этот предмет. В моем собственном случае все подтверждается; ибо, сдается мне, читая эти строки, ты почувешь запах кухни Шопенгауэра.

Возвращение к реальности от этих воздушных замков куда как несладко. Представь себе, дружище, что я, при случае страстно отдающийся такого рода размышлениям, тем не менее не могу закончить самых срочных дел. Я просто не в состоянии вовремя сдать обещанный доклад для ричлевского сборника. Хотя предмет близок моему уму и душе, его изложение никак мне не дается: не хватает великого множества вещей — времени, книг, добрых друзей, моментов концентрации и подъема, и относительно каждого из этих дефицитов надо еще добавить, что уже каждый из них по отдельности обладает способностью остановить мою работу. Счастливые вы люди, говорит Ричль о студентах, — вы можете тратить на себя и на свои занятия по 14 часов в день! Бедняга, говорю я себе, у тебя нет и двух часов в день; да и их тебе приходится жертвовать Марсу, ведь иначе он не выдаст тебе лейтенантского патента. Ах, дружище, каким же несчастным животным становится такой вот скачущий и странствующий аритллерист, если у него есть литературные наклонности! Наш-то древний бог войны любил молодых женщин, а не старых высохших муз. Канонир, частенько размышляющий в казарменном помещении над демокритовскими проблемами, скорчившись на грязной скамейке, в то время как до блеска полируются его сапоги, — вот уж *παράδοξον*²⁶, на который боги взирают с усмешкой.

Стало быть, если вам будет угодно подождать до ноября сего года, вы меня очень обяжете. Весной и летом мы соберем статьи наших дру-

зей, обсудим и оценим их, договоримся с книготорговцами, бодренько пустим в печать, а там подоспеет и моя статья — правда, последней и поздно, но все-таки вовремя. Кстати, и Клемм счел теперешний срок слишком ранним. Будь добр, сообщи, что ты думаешь об этом.

Если я скажу тебе, что несу службу ежедневно с 7 утра и до 5 вечера, а кроме того, еще слушаю лекции лейтенанта и ветеринара, ты сможешь оценить, в какой яме я оказался. По вечерам тело вялое, уставшее и раньше срока просится в гнездышко. Так вот все и идет день за днем, не зная покоя. Где уж тут взяться потребным для научной работы собранности и созерцательности!

Эх, так редко выпадает часок даже для вещей, куда более мне близких, чем мои литературные потребности, — для χάριτες³⁷ дружеской переписки и искусства! Но дай только срок — и я снова буду сполна распоряжаться своим временем и способностями —

si male nunc, non olim sic erit³⁸.

А в следующем году я поеду в Париж. Я почти что уверен, что и ты придешь к этой же мысли. Ведь, как известно, у кого совесть чиста, и душа весела, если только прав Святой Оффенбах.

Итак, тебе, будущая поэзия, и тебе, дружба лучших былых времен, последний росчерк пера, последняя клякса чернил!

fulsere quondam candidi tibi soles!³⁹

Ф. Ницше,
с верной дружбой

4. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, в дополнительный день февраля! 1868

δηλονότι⁴⁰: 29-20

Мой дорогой друг и скачущий каноник⁴¹, воображаю, что ты уже давно ждешь от меня ответа — а на самом деле причина того, что я долго медлил с ним не та, на которую обычно ссылаются, извиняя свое молчанье, а именно известная уже древним германцам

лень. Наоборот, не проходило дня, чтобы я, лишенный личного общения с тобой, не ощущал жгучего желания немного поболтать с тобой хотя бы в письме и таким искусственным способом переместиться в благословенный прошедший период моей жизни. Но я уже в самом начале семестра решил аккуратно впрячь в работу свой "Онов"⁴², положив себе явиться перед тобой снова не иначе, как в сопровождении этого бесхитростного создания. Но пустяки всякого рода — лекции, которые, понятно, в этой дыре нельзя прогуливать с таким праздничным размахом, как мы это делали тогда, в Лейпциге, семинар, Историческое (кто бы мог подумать — я и историческая наука!) общество у Гутшмида и т. д. — все эти и кое-какие другие пустяки постоянно меня отвлекали, мешая закончить работу, а потому я упрямо откладывал даже ее переписывание. Наконец опус готов и следует за сим письмом; это скромный *συμβολίδιον*⁴³ (по аналогии с *γλαυκίδιον*⁴⁴, *ψελίδιον*⁴⁵!), о котором я прошу тебя высказать свое мнение без прикрас, — ведь к порицаниям благожелательного друга я буду прислушиваться изо всех сил. Только одно прошу тебя принять во внимание: на довольно тощих костях этой проблемы наваристый суп при всем желании не сварить. Кажется, мне не хватает настоящей живости изложения; все это время, что все-таки немало важно даже для таких не очень-то личных вещей, я был беден на «блаженство сердца», говоря словами Ленца; я казался себе совсем уж сухим, а потому, конечно, и этот *opusculum*⁴⁶ получился немного нудным. Я и в самом деле не имею понятия о том, каков его характер в целом, а потому буду обязан тебе, если ты, как и подобает именно верному другу, ничуть не робея, откроешь мне на это глаза во всех смыслах, о чем я тебя и прошу совершенно искренне.

Чтобы вернуться к теме сборника — совершенно естественно, что из-за твоих обстоятельств ты не сможешь закончить работу до ноября. Посылая тебе моего ослика так рано, я вовсе не тороплю тебя — мне просто хотелось выпустить наконец животное на свободу. И все же, думаю, было бы очень хорошо, если бы, скажем, папа Виндиш время от времени немного поторапливал бы отдельных участников сборника, чтобы дело продолжало двигаться вперед. Недавно Хенеман из Берлина спрашивал меня, не заснуло ли оно, на что я ему отвечал, что оно, наоборот, очень даже бодрствует. Он покончил со своим трагическим иудеем (которого, конечно, зовут Иезекииль) и хочет теперь написать что-нибудь о Горации, даже, кажется, уже

довольно далеко тут продвинулся. Ну, тогда мы, *dis faventibus*⁴⁷, к Новому году повергнем этими своими статьями всю республику филологов в изумление. Главной задачей останется какое-нибудь очень пикантное заглавие; кроме того, мы должны изыскать сколько-нибудь подходящий повод, имеющий отношение к папаше Ричлю. Если мы проявим язвительность и бросим перчатку берлинской клике, то можем выйти в свет одновременно с Боннским юбилеем⁴⁸. Правда, это было бы уж очень смело, да и по времени рановато.

*Kaì taṓta mèn toiaṓta*⁴⁹. А уж как я подивился твоему преобразению в сурового вояку, можешь себе представить; в душе я возблагодарил демона, который удержал меня от Берлина; ведь что мне, в конце концов, там было надо? Демон это увидел и удержал меня. Такими эгоистичными и бываем мы, живые твари; для тебя, например, это твое преобразование было, наверное, скорее здоровым, чем забавным. Верно, что такой человек, живущий исключительно как бы духовной жизнью чистых трав, как ты и я в Лейпциге, потом, когда ему приходится вкусить нечистое мясо сконцентрированного главным образом на воле уровня бытия, становится ужасно щепетильным; в этом сублимированном и изолированном существовании он боится малейшего сквозняка, вместо того чтобы держаться старого, очень практичного правила: *take it easy*⁵⁰! Поэтому я прекрасно могу понять ту неуютную пустоту, которая тобой овладела. Да и у меня, хотя я как будто бы в основном и остался в старой колее, дела обстоят не иначе! Впредь я еще больше, чем прежде, буду полагаться на свой инстинкт, каковой несомненно является лучшей частью всего разума. Разве этот инстинкт не сказал мне совершенно ясно: тебе не надо в Киль, сын мой, ведь там ты окажешься среди очень-очень честных, добросердечных, но косных, лишенных всякого полета, свинцовых людей? Но я все-таки там оказался. А инстинкт снова оказался прав. Это правда — в Лейпциге мы немного избаловались, но ведь когда долгое время ты наслаждался счастьем иметь друга, от которого до последних основ научился идти по жизни и в живом диалоге получать отрядные импульсы, лишение такого товарищества будет совсем не по вкусу. Из-за не особенно удачных природных задатков я всегда был *raucorum hominum*⁵¹, а здесь я, кажется, становлюсь чуть ли не *nullius hominis*⁵². Мне, естественно, ближе всего в первую очередь филологи, но среди их маленькой кучки я не нахожу ни одного, кто

был бы мне хоть в какой-то мере симпатичен; у большинства из них тот тон, которым постепенно формируют обыкновенных чадолобивых учителей. Единственный, с кем по крайней мере можно сколько-нибудь толково поговорить на филологические темы, — человек честный, наверняка надежный и достопочтенный; но я всегда боялся этих послеобеденных прогулок с ним, к которым чувствую своего рода принуждение со стороны условной вежливости. Ведь у него, как и у всех по-настоящему типичных голштинцев, нет ни следа той упругости, которая сообщает ее обладателю и окружающим его людям размашистый ход по песку повседневности. Свинец — вот стихия такого типа людей. К тому же в этом городе, где огромное множество состоятельных простофиль, нет или все равно что нет музыки; театр абсолютно ничтожен — где уж тут человеку освежить душу! Частенько я с усилием добиваюсь моментов созерцательности, мгновений "Ἐνωσις πρὸς τὸν θεόν"⁵³: но постоянно ощущаю лишь, что это какой-то дар богов: самому его невозможно добиться ничем. Разве что Шопенгауэр иногда позволяет немного развернуться душе; частенько я прибегаю к нему более благоговейно, чем иные старые девы — к своим «часам молитвы». [—]

Да что толку в жалобах. К счастью, на практике я всегда руководствовался принципом сопротивления такого рода мыслям, так делаю и сейчас. Вот только, правда, довольно болезненно ощущаю нехватку общения с тобой. Почему бы мне не сказать тебе откровенно, сколь многим я тебе обязан! И что если бы у меня отняли твою дружбу, пошатнулось бы все здание моего существования. Всякий раз, как ты мне пишешь, думай о том, что делаешь мне этим истинное благодеяние и приводишь в движение лучшие, более благозвучные струны моей диковинной природы. — И не чудесная ли это, в сущности, идея — в следующем году, а лучше даже следующей зимой вместе отправиться в Париж? Я радовался бы этому, как ребенок, даже, наверное, сверстал бы для этого свои планы так, чтобы уже в конце летнего семестра защитить докторскую. Напиши же мне что-нибудь на этот счет! [—]

Очень порадовал меня, как, конечно, и весь наш лейпцигский кружок, твой блистательный успех в Лаэртианском деле⁵⁴! Правда, я уже заранее несколько не сомневался в удаче. [—]

Желаю большой удачи твоим дальнейшим открытиям на поприще истории литературы тебе и нашей науке, и всегда с завист-

ливой задней мыслью — ведь человек есть низкое, самолюбивое животное: у кого еще есть такая всеобщая, поистине достойная стремлений цель! Боюсь, меня с самого начала понесло немного не в ту сторону; нет у меня охоты пастись среди остальных баранов на постепенно объедаемом лугу действительно великих авторов, а потому я нудно обгладываю отдаленные окраины, вместо того чтобы сразу подыскать себе какой-нибудь толковый выгон, каких имеется еще достаточно. Ну да пусть это исправит демон! [— —]

Мои почтенные сотоварищи по университету — люди совершенно добродетельные, отличающиеся от прочих саксов⁵⁵ [— —] надежностью и постоянством характера, но непригодные для общения, ведь их интересы на деле не выходят за пределы непосредственных влечений. Они относятся самое большее к тому сорту студентов-филологов, которые принимают участие в научной деятельности лишь потому, что иначе поднялся бы шум, — ненавистному для меня сорту людей, которые, словно бабенки, могут испытывать к чему-либо исключительно мелочный личный интерес. А что именно в личности самое важное — этого они и знать не хотят. [— —]

Риббек как человек в высшей степени обходителен, любезен, да и семинары ведет с яркостью, какой только можно желать. Его сильная сторона — известная художественно-эстетическая чуткость [— —], и он ни в каком случае не впадет в тривиальность. Гутшмид — маленький бледный человек с мощными усами. Как человек он, подобно всем саксам, весьма предупредителен, искренен, как мне кажется, внутренне тонко организован, и я уверен, что во многих важных вещах он в глубине души отваживается иметь собственное мнение. Такой учености, как у этого малыша, я сроду не видывал.

Петрус Гвилельмус⁵⁶ Форххаммер довольно ничтожен; правда, у него есть известная природная смекалка, но он влюблен в свою жиденькую теорию, как крестьянин в свой солодовый экстракт; снабженный этим универсальным средством, он мало озабочен другими целительными методами, славит Творца и в его честь пьет больше грог, чем чистое молоко мудрости. [— —]

На этот раз бумага у меня кончается. Итак, поразмысли как следует прежде всего о парижской поездке — правда, еще лучше было бы, если бы она сразу же превратилась в итальянскую! Я, во всяком случае, постоянно живу с мыслью, которую считаю само собой разумеющейся, что вскоре мы с тобой свидимся, а если уж

этого не случится сейчас, в необузданной юности, то в дальнейшем будет все менее вероятным. — Прощай же, любезный друг, напиши о себе поскорее и будь уверен, что каждый день о тебе вспоминает твой верный друг Эрвин Роде.

5. Ницше — Роде
Наумбург, 3 апреля 1868

Мой дорогой друг,
это письмо написано скверно и полно каракуль; это говорит о том, что оно написано больным, который пока не может орудовать рукой без боли.

Понимаешь, дружище, я уже три недели как тяжело болен, а причиной был пустяк. Во время кавалерийских упражнений я разорвал себе несколько мышц на груди, и болело так, что уже в тот же вечер я несколько раз падал в обморок. И вот я на десять дней слег в скверном смысле этого слова, то есть лежал без движения, как бы растянутый и связанный веревками, с ужасными болями, с постоянной температурой, не зная покоя ни днем ни ночью, обложенный льдом. Ко всему этому добавился, как скверный спутник, упорный катар желудка. Наконец, спустя эти десять дней, мне сделали на груди надрезы, и с той поры я по-филоктетовски наслаждаюсь сильным нагноением. Из-за того разрыва мышц много крови просочилось внутрь груди, и это в конце концов вызвало нагноение. Из раны вытекло уже как минимум 4—5 чашек гноя. После этого я начал ходить, но мое состояние все еще плачевно: я вял, как муха, изможден, как старая дева и тощ, как аист.

К тому же мне все еще приходилось пользоваться посторонней помощью, чтобы вставать с кровати; вся грудь была словно затянута корсетом, и все связки, мышцы и сухожилия болели. Позавчера я наконец вышел на улицу, еле шевеля ногами, как инвалид, и устал уже через четверть часа.

Это был медицинский бюллетень; мораль — не рви себе мышцы!

А теперь, дорогой друг, я хочу поведать тебе, что среди множества отвратительных лекарств нашлось и одно очень приятное, которое принесло мне больше пользы, чем эти отвратительные. То

были твое письмо и посылка. Однажды утром я проснулся, освеженный сном — по вечерам я принимаю морфий, — и, словно дар от юного дня, на моей кровати лежало твое письмо. Эх, если б все больные получали такие письма; в них вложены жизненная сила, дружба, надежда, память, короче говоря, все благие демоны.

А вместе с ним была и твоя приложенная к письму работа, впервые за это время снова побудившая меня к организованному научному мышлению, чтение которых заставило меня забыть о своих болях на все утро. Но, святой Будда, ты требуешь от меня критики; я не знаю, что ответил бы тебе, будь я здоров, а как homo miser⁵⁷ скажу только, что я οὐχ ἰκανῶς τοῦ κρίνειν⁵⁸, как где-то говорится о Каллимахе, что меня всегда очень радовало. Но у меня есть только одно желание относительно нашей *lanx satura*⁵⁹: чтобы остальные восемь статей были не слишком ниже того уровня, который задан тобой. Я и сам ощутил настоящие угрызения совести: а следствием этого было то, что начиная с того дня таскаюсь со своим Демокритом, как беременная женщина, но без перспективы тут же родить. Вся эта затея стала несколько сомнительной, все больше крошась перед моей сравнительно строгой филологической совестью.

Насчет своей статьи ты действительно можешь быть спокоен, ведь в твоём супе много пряностей, а весь твой подход к проблеме щеголяет здоровыми крепкими членами и красными щеками. В особенности тот сквозной ход, который заставляет читателя сохранять интерес до конца: этим уже многое сказано. Несколько раз ты меня немного напугал, но каждый раз я сразу же снова успокаивался. Но зачем надо пугать читателя? Когда, например, ты вопреки Тойфелю⁶⁰ говоришь на с. 30: «...тем более что Лукианово происхождение *Ἦνος* отнюдь не бесспорно», пугается читатель, которому приходится думать о себе, что он туповат: ведь он-то полагал, что это происхождение твердо установлено, а тут ты, ни словом не упомянув о том, другом происхождении, выдвинул свою гипотезу, а другую оспорил. И вот, когда этот глупый читатель читает дальше, то рано или поздно видит всю ситуацию и решает вместе с тобой, что этот *ἦνος* — из конюшни Лукиана. Так что эти твои слова нужно вычеркнуть, чтобы у людей со слабыми нервами не случился приступ ужаса.

Там, где позднее ты начинаешь исследовать вопрос об авторстве Лукиана, ты пугаешь меня снова. «Может показаться, — говоришь ты, — что от этого вопроса легче всего отделаться, хотя

и отказав Лукиану в авторстве книги, но затем и т. д.», а ведь это позиция известного Хоффмана. Эта фраза даже вызывает наш ужас, потому что заодно противоречит всем прекрасным идеям первой главы, в особенности ты уж слишком хладнокровно говоришь обо всей этой концепции; твои «Может показаться» и «легче всего отделаться» ранят меня. Уж не хочешь ли ты проигнорировать Хоффмана — или сбросить его в примечание?

Наконец, я не могу согласиться с твоей фразой на следующей странице: «Все ранее сказанное могло бы оказаться верным, даже если бы Лукиан не был бы автором нашего *ὄνος*»; в таком общем контексте это сразу вызывает противоречие.

Ну вот, я все-таки соблазнился сделать пару высказываний, издалека напоминающих *munus critici*⁶¹, которой ты от меня желал. Прости, что я их вообще написал.

Представь себе, на днях через дежурного унтерофицера от имени капитана и всех получивших повышение меня поздравили с тем, что в приказе по полку я стал «ефрейтором». Эх, черт возьми, уж лучше бы я был «уволен в запас»⁶²!

Это заставило меня вспомнить о тех парижских перспективах, которые ты перебрал мне, как прекрасный пестрый мяч. Я одобряю, ты меня убедил, я надеюсь, я согласен; эта идея уже прочно вплетена в мои планы на ближайшее будущее. Но, милый друг, не летом следующего года! Ибо прежде боги требуют от меня ужасного: до этой поездки я должен совершить *ἰδρωῖτα*⁶³. Защита докторской, ричлевский сборник, указатель для «Рейнского музея»⁶⁴ — «О, не исчезни, путь»⁶⁵!

Я, кстати, не буду жить в Париже, если там не будет возможности зарабатывать на жизнь. Люди там очень трудолюбивые, и рабочим платят хорошо. Будем рабочими! Долго я на огрызок моего состояния не проживу, особенно при жизни на парижский пошиб.

Во всяком случае, работаться там будет шикарно — рыться в библиотеках, участвовать в какой-нибудь революции, пережить смерть кайзера и выучить французский.

Ах, любезный друг, какие перспективы для Филоктета, *ράχος* которого снова полны *νοσηλεία*⁶⁶ — эти греческие слова подходят ко мне как нельзя лучше: *γεράσων αἰεὶ*⁶⁷ разучаюсь и т. д. —

Вот и снова прошли целые дни. Чтобы нельзя было безнаказанно писать даже друзьям. Ведь боги злятся и завидуют уже смолоду.

Я написал самую малость, но уже это навредило мне так, как я и подумать не мог. Мне снова пришлось слечь, и с тех пор меня и с места не сдвинешь. Ты не представляешь себе, к каким предосторожностям мне пришлось прибегнуть сегодня, когда я писал эти строки, — чтобы, к примеру, макать перо в чернила. Несмотря на это, меня постоянно пронзают судороги боли. Рана сочится гноем. Врача перевели в другой гарнизон. Ну да, понимаю: боги не выносят цинизма, шуток тех, кто обделен судьбой; они гnevаются на меня за то, что я написал тебе о *νοσηλεία* и *ράχος*.

Теперь — два переживания. Вчера пришла диссертация Коля, причем озаглавленная «Представления И. Канта о свободе воли». Подумай только — Коль написал философскую диссертацию! В которой имя Шопенгауэра весело всплывает там и сям. Скажу без ложной скромности: я чуял, что нечто похожее витает в нашей атмосфере. По-настоящему искреннего приятия Шопенгауэра тут нет, а иногда автор толкует его ложно; а в конце концов Шопенгауэру достается от него как человеку, чье учение о неизменности характера возникло, в сущности, потому, что он-де не мог держать в узде свой собственный.

Кстати, это навело меня на мысль тоже защитить как-нибудь диссертацию по философии и таким образом задним числом оправдать свой студенческий билет в Бонне и Лейпциге, ведь я всегда числился *stud. philos*⁶⁸.

А теперь второе переживание. В тот же день я получил соблазнительно любезное письмо Царнке, где он предлагает мне писать для «Литераришес центральблатт»⁶⁹ и сразу хочет, чтобы я написал туда рецензию на только что вышедшее издание <гесиодовской> «Теогонии» Шюмана, а книгу прилагает. Вот так меня, слабое дитя человеческое, посвящают сперва в ефрейторы, а потом в рецензенты!

Вчера Фолькман поведал, будто Курт Ваксмут⁷⁰ сделал какое-то великое открытие. Больше он ничего не знает. Произвел он на свет и другого сына.

Милый друг, ты написал то, что очень мне по сердцу: инстинкт — лучшее, что есть в интеллекте. И этот самый инстинкт теперь говорит мне, словно *δαμόνιον*⁷¹: «Вспоминай о своем далеком друге, но больше не пиши».

А засим прощай!
Ф. Н.

Любезный друг,

когда ты получишь это письмо, то, надо надеяться, оно больше не будет замещать меня как того, кто садится у ложа болезни своего друга, берет его за руку и от чистого сердца произносит несколько добрых слов участия, а потом, чтобы развеселить его, принимается за краткую болтовню о том, что творится в мире, и о розовом будущем. Думаю, тогда твои мучения останутся позади, ты больше не будешь «еле шевелить ногами», отъеши от состояния тощего аиста пусть и не до тучности пеликана, так хотя бы до уютной полноты воробья и станешь мирно наслаждаться почетом и выгодой ефрейторского звания, стоя, согласно бессмертному Шиллеру, на лестнице, ведущей к высшей власти. А если серьезно, мой милый друг, твой несчастный случай, который был куда более болезненным, чем ты изображаешь, причинил мне много горя, хотя, слава Богу, твоя конституция достаточно крепка, чтобы преодолеть и этот шок. Если сможешь, поскорее дай мне знать, как идет выздоровление. Меня растрогало, что ты, испытывая страшные боли, принудил себя написать мне письмо, и я благодарен тебе за это твое последнее письмо больше, чем за любое другое; дай мне в воображении пожать твою руку и порадоваться тому, что мы с тобой составляем одно целое. Самое важное для меня и, наверное, для тебя, это прежде всего перспектива поездки в Париж. Я понимаю, что раньше следующего года ты освободишься, конечно, не сможешь. Прежде всего это понимание перечеркнуло мои *châteaux d'Espagne*⁷²; обычно-то эти химеры строят и меблируют по определенному претенциозному вкусу. Но сейчас я в какой-то мере, подобно пережевывающей жвачку корове, довел это дело в уме до годности, и вышло, что оно устраивает меня полностью даже в таком виде. А именно: я буду защищаться не в конце лета, а лишь ближе к Рождеству. В этом есть много решающих преимуществ. Во-первых, летний семестр длится только три месяца и, значит, его совсем не хватит, чтобы написать диссертацию, которой нет и в зародыше, и чтобы подготовиться к тому жуткому чудовищу, что вызывает у меня поистине страшное отвращение, — к экзамену. И тогда, раз срок будет большим, я, возможно, смогу одновременно натаскать

себя для государственного экзамена — а этого голштинского змия обычно поражают, как правило, одновременно с его младшим и не столь ядовитым братом, экзаменом на доктора: весьма разумный обычай, ведь в этом случае фактически происходит, как здесь говорят, «наращивание». Правда, голштинцам, бойцам несколько неповоротливым, приходится укреплять себя для этой битвы в течение по меньшей мере десяти семестров — постом, молитвой, благими делами и тупой зубрежкой, но я надеюсь, что мой святой покровитель, если, конечно, вообще есть такой св. Эрвин, прострет свою защитную длань над моей юной жизнью, насчитывающей семь с половиной семестров, так что змий прошипит тщетно. (Вот я и наговорил на целую страницу, как воин Святой Георгий: ты же знаешь, старухи от страха часто начинают петь и говорить небылицы.) Если же я сдам этот экзамен, к которому и впрямь питаю субъективный ужас и совершенно объективное, теоретическое недоверие, то поеду в Париж с удвоенной радостью; и уж тогда-то жизнь пойдет в ритме исключительно триумфального танца! Ты совершенно прав, что там надо постараться заработать: не думаю, что это будет так уж трудно (в худшем случае в пивной, как тот субъект в книге Хопфена⁷³ «Парижская порча», которая, кстати, как ни плох сам роман, очень жизненно важна для паломника в Париж; я хотел бы верить, что ты ее читал). Существенное условие, конечно, — сразу рассчитывать на один год по меньшей мере; а уж какого рода пользу для разума и воображения можно извлечь из года в Париже, даже и представить себе нельзя! Мы <, скажем,> живем на седьмом этаже, каждый день из-за нехватки денег даем уроки (танцев, греческого или питья пива, смотря по тому, что сейчас в Париже пользуется большим спросом), а в остальном живем, то есть всеми органами впитываем то, что там есть хорошего и интересного в музеях, библиотеках и особенно в жизни, открываем для себя бесчисленные поучительные истории, днем и ночью пьем абсент и как можно более немилосердно разыгрываем из себя провинциальных немецких педантов! Ну разве не превосходно? Et après⁷⁴? — Это, конечно, сложный вопрос. Я ни секунды не сомневаюсь, что тебе захочется в какой-нибудь университет и, если ты не захочешь совершить прегрешение против духа, ты это и сделаешь. А я, о Вишвамित्रа⁷⁵, пугало этакое, — что решат насчет меня бессмертные? Пойти в университет? Средства на это я мог бы раз-

добыть, но только в случае крайней необходимости, а вот в этом ли мое призвание вообще, мне совершенно неясно. Конечно, думаю, что мне по силам потягаться с Клотцем, Форххаммерхеном⁷⁶, Francisco Rittero⁷⁷, но быть затычкой для всех бочек — этого мое честолюбие уже не выдержит. Добыть должность учителя, во всяком случае, плевое дело. Классен уже сейчас сделал мне самые дружеские предложения на 69-й год, а если я захочу, то на 70-й или 71-й, но сам же и сказал, что вылезти оттуда назад будет очень трудно. Да и впрямь, употребить свои лучшие годы и силы на исправление тетрадей и муштрование так называемых детей — это для меня совершенно неубедительно. Вообще мне иногда еще вовсе не кажется, что уже сейчас настала пора отказаться от прекрасных бесцельных блужданий и, рука об руку с порядочной супругой и с двумя нашивками на сюртуке, достойно отправиться в *secretum iter et fallentis semitam vitae*⁷⁸! На горах и за ними так прекрасно и солнечно, куда прекрасней, чем здесь, на хорошо замощенных берегах четырехугольного Альстера⁷⁹; говоря по-немецки, Гамбург — не место для духовных устремлений и созерцательной жизни, а притянуло бы меня сюда не что иное, как относительно во всяком случае хороший оклад. *Tantum*⁸⁰. Все прочее я предаю в руки твои, о славный Будда! — С тревогой строить планы — значит напрасно тратить время, но ты окажешь мне дружескую услугу, если как-нибудь по случаю скажешь мне, что думаешь обо всем этом.

Недавно, в один не столь мокро-холодный день, как сегодня, я, вернувшись домой с прогулки, ничего не подозревающий, ни о чем не думающий, подобный ягненку, растущему в тиши, поднялся по лестнице на наш этаж. И что я вижу у двери: сомнительная личность в сером плащике усердно сравнивает визитную карточку с табличкой на нашей двери. Неужто это посыльный из берлинского *Corpus inscriptionum*⁸¹, организации, открывшей в нашем гербе наследие античности? (На такое предположение меня навела шутка, которую я недавно увидел здесь в постановке французской труппы: ревностный антиквар простым обнюхиванием приходит к выводу — *Ici il sent Romain!*⁸²) Он и впрямь был из Берлина; внимательный читатель давно заметил, что речь идет о г-не д-ре Р. Кляйнпауле⁸³ по прозвищу Паулет. Он приехал в Гамбург на каникулы и сдержал свое обещание навестить меня. Я немного помог ему в культурных штудиях, и он с чрезмерным рвением ос-

мотрел Гамбург от нашего грубого дома до Зоологического сада, от церкви св. Михаила до кафе с танцами и невероятно жутких народных театров в Санкт Паули⁸⁴, проявив при этом столь приличествующую философу любознательность. В целом он весьма удовлетворен своими впечатлениями, что было мне только приятно, ведь, в сущности, я, как и любой уроженец Гамбурга, — отъявленный шовинист своего доброго старого родного города. Здесь и впрямь можно научиться множеству интересных вещей, а потому во мне говорит отнюдь не эгоизм, когда я сейчас настойчиво приглашаю тебя приехать ко мне в гости — скажем, между Рождеством и Пасхой, ведь оба мы уже будем тогда на свободе: а заодно это было бы небольшой подготовкой к Парижу, не говоря уж о большой радости, которую ты этим доставишь мне и моей матушке. [— —]

И поистине прелестная идея, что в то же время, как и мы, в Париже будет Кл<яйн>петер — и мы будем жить и учиться втроем! — Для начала я договорился с ним насчет несколько более детального плана. В большие каникулы мы с ним предпримем большое путешествие: сначала в Мюнхен, а там несколько недель страшно дешево напропалую заниматься искусством, пивом и жарким солнышком, затем пешком отправиться в Альпы и постепенно переползти в Вену. (Прости за эту мазню; у моей бумаги словно слюнки потекли при видах на этот кусок сала.) «А деньги откуда?» — спросишь ты. Откуда они у К. — его тайна, я же надеюсь честно заработать свою часть. Большую часть этих пасхальных каникул я работал, как пыхтящий вол на пашне, который склоняет свою грубую голову к земле и, исходя потом, тянет за собой плуг. А именно, над источниками Поллукса для раздела о театральных древностях (книга 4) — интересной темой, прекрасно подготовившая меня в особенности ко всей группе источников для словарей, а, возможно, сулящая мне вполне приличное вознаграждение, которое будет распределяться как раз в летние каникулы. Я с удовольствием заметил, что к работе над этими источниками у меня есть не только охота, но на деле и кое-какая сноровка, ведь я уже однажды совал голову в этот интересный горшок. К тому же это немножечко приблизит меня и к кругу твоих занятий. — Но, кстати, об этом путешествии: если представить себе, что ты к тому времени уже освободишься, а наш план покажется тебе привлекательным, то я предложил бы, чтобы мы забрали тебя из Наумбурга, пустились в путь в Munich⁸⁵, Штар-

нбергское озеро и т. д., высадились на опасном побережье Нижней Австрии и отдохнули от этой водной поездки в Вене: идиллическая мысль, на пле-чо! (могу же я быть хоть немного тебе полезным на твоей службе). Но могу представить себе и другое: что для тебя это окажется невозможным; тогда по крайней мере благослови нас на эту поездку. Вообще-то чуть ли не жестоко наполнять твою душу этими радостными перспективами. Тут мне вот что пришло на ум: тебе, как заключили мы с Кл., непременно надо сфотографироваться, пока ты еще носишь униформу, по всяким разным причинам, но главным образом — если когда-нибудь тебе как важному лицу в филологии воздвигнут конный памятник, то по крайней мере ты будешь изображен в подобающем одеянии. — Ну вот, я заболтался; но я устал — уже довольно поздний час. Поэтому обо всем остальном вкратце. Большое спасибо за критику, ты ругаешь меня недостаточно; надеюсь поговорить об этом в следующем письме. [— —]

Ну, на этой раз прощай, любезный друг. Напиши мне поскорее, что ты снова свободен и силен, скребешь лошадей и чистишь пушки, жуешь гранит санскрита и еще долго не совсем забудешь твоего друга
Эрвина Роде.

7. НИЦШЕ — РОДЕ
Наумбург, ок. 4 мая 1868

Милый мой друг,

отвечаю скоро, из чего ты можешь понять, насколько обрадовало меня твое письмо, а еще больше — насколько сильно меня занимают затронутые в нем темы. К тому сегодня утром я получил письмо от Виндиша⁸⁶, письмо, которому я придаю огромное значение в смысле наших планов на будущее, хотя автор (он, кстати, передает тебе большой привет) ничего о них не знает. Но прежде чем утолить твое любопытство, упомяну о том, что иначе позабыл бы, — мое выздоровление продвигается на хромых ногах, даже сейчас на груди открыта гноящаяся рана, и у меня пока нет сил снова бодро взяться за изучение воинского дела. Если бы я мог по ночам класть на рану твои участливые пожелания, словно *incubus*⁸⁷: во всяком

случае, они помогают мне больше цинковой мази и пластыря, мало того, в них, как и в твоих письменных признаках жизни вообще, для меня есть какая-то укрепляющая и целительная магия, истинно медицинское *κάρσις τῶν παθημάτων*⁸⁸.

Любезный друг, наше ричлевское *sacellum*⁸⁹ внезапно пошло прахом: а почему? Потому что мы строили его на слишком зыбкой почве. Наше акционерное общество распускается, не успев объединить капиталы, наша битва проиграна, не успели мы еще выйти на бой, поскольку сбежали наши союзники. В общем, недавно я написал Виндишу и немного сделал акцент на комиссионных паях, раз уж они были поделены, то есть попросил его с более точными сведениями о нашем сотрудничестве, в том числе поведал ему и том единственном, кто опоздает выполнить свое обязательство в срок. Сегодня я получил ответ на свой запрос, ответ с таким огромным количеством деталей, что я считаю наше предприятие потерпевшим крах. Суди сам: даже Виндиш, работа которого для нас понятным образом важна, рисует свое положение как такое же, что и у известного старца на крыше, и все это правда. Он учитель, хочет защититься, для этого пишет две работы по санскриту, воспитывает двоих детей, приводит в порядок запутанные дела своего недавно умершего отца и, наконец, у него есть еще одна деликатная причина не принимать сейчас участия в нашем проекте. У бедняги Клемма⁹⁰ так плохо с глазами, что по справедливости мы можем здесь только посочувствовать ему, а не выставлять требования. Теперь Рошер — дитя человеческое, которое, скажу строго по секрету, всегда казалось мне несколько ненадежным: он, как пишет Виндиш, чтобы написать диссертацию, уже исчерпал все свои ресурсы и нагло подумывает предъявить нам и соответственно Ричлю свои затхлые конъектуры⁹¹. Виндиш с благодарностью отказывается, я тоже, заодно и от твоего имени. У Дреслера дела обстоят не лучше, разве что он вообще ничего не представил, даже разменную монету какой-нибудь конъектуры. Что за люди — просто беда! Как можно быть такими импотентными и даже не стыдиться в этом сознаваться! Вот тебе целая куча названий для романов: «Бессильные чресла, или Саксонец ухмыляется», «Гонка за конъектурами в словаре, или Цирк в жилетном кармане», «Лгунишка, или Фабрика обоев», «Ловкий аспирант, или Почетный доктор в Лейпциге» и т. д.

Итак, любезный друг, еще раз: перспектив у нас нет никаких — даже Коль, когда я с ним говорил, еще и пальцем не пошевелил, он учителевствует в Бармене и работает слишком медленно. Об Андресене ничего не слышно, но он сравнительно надежен. В конце концов Виндиш советует отложить все это дело на несколько лет: тогда уже набралось бы больше участников. Вот тогда оно сможет почтить, это доброе дело, в котором я был очень заинтересован и которое бросаю с болью. Стоит только начать рассчитывать на человеческое бескорыстие, да даже просто на толковость, как просчитаешься. Все делается из-под палки, даже в деле, которое должно принести тебе славу как человеку, так и учителю.

И вот что из этого последует для нас, любезный друг!

Прежде всего, я, конечно, должен предложить тебе какой-то новый план на будущее. Ведь теперь я больше не связан обязательством писать что-то в ричлевский сборник, а потому у меня есть время. Возможно, и я на это надеюсь, к Рождеству я уже справлюсь с защитой и указателем для «Музея»; вот тогда-то мы и сможем наострить лыжи и еще на Новый год быть в Париже. По этому плану было бы, конечно, разумно, к этому же времени защититься и тебе: ты ведь мог бы использовать в качестве диссертации ту работу по источникам, над которой трудишься сейчас.

Что касается этого пункта, я сам чувствую себя очень неловко. В сущности, на пользу для этого мне подойдут и демокритовские, и гомеровские мои штудии: я хочу их держать в запасе, а потом записать совершенно неспешно, завершив, возможно, в Quartier latin⁹², — но не погубить эти прекрасные материалы, просто порвав их. Для диссертации обе темы — слишком пространные и слишком немецкие. Правда, уже какое-то время я вынашиваю даже философский проект ὡς καλλιζω⁹³ (а именно «О понятии органического со времен Канта»), собрав для него достаточно материала; но в общем эта тема совсем не годится для хорошо поставленной цели, если не подходить к делу более легкомысленно, чем муха. Значит, я буду в конце концов заниматься более узким филологическим вопросом, а именно о различных «папах», которых греческиеистики литературы приписывают поэтам, философам, ораторам и т. д. γόνω или θέσει⁹⁴, — являются ли они фиктивными «папами», и т. д. и т. д. Если, кстати, твоя работа о Поллуксе тоже годится для такой комедии, я рекомендую тебе еще одну тему такого же уровня: от-

куда следует, что эти поэты, философы и т. д. должны происходить то из одного места, то из другого. Расписываешь все по разделам и наводишь скуку на себя и на других — вот цель и достигнута.

Само собой понятно, что твоя прекрасная работа, предназначенная для Ричля, никоим образом не должна быть брошена к стопам этого дурацкого кумира — *Dea Promotio*⁹⁵. Позволь дать тебе совет: в следующее свое письмо вложи несколько строк для Ричля, предложив ему эту хорошо обдуманную работу в Рейнский Музей. Тогда я перешлю эту записку и сам опус Ричлю, с которым у меня как-никак «деловые связи». В таком случае работа все-таки останется знаком благодарности <ему>.

Вообще, дорогой друг, я искренне прошу тебя не отводить глаз от однажды открывшейся тебе академической карьеры: на этот счет ты, безусловно, должен будешь однажды принять определенное решение. И здесь совершенно неуместно боязливое сомнение в себе: мы просто должны, потому что у нас нет другого способа поставить на службу ближним как предначертанный нам путь наше сочетание способностей и взглядов, потому что не можем иначе, потому что не видим перед собой никакого более подходящего для нас жизненно-го поприща, потому что просто отрезали для себя пути к другим, более полезным должностям. В конце концов, не можем же мы жить для себя.

Позаботимся, со своей стороны, о том, чтобы молодые филологи вели себя с нужным скепсисом, были свободны от педантизма и переоценки своей специальности, как истинные подвижники гуманитарных исследований. *Soyons de notre siècle*⁹⁶, как говорят французы: точка зрения, о которой никто не забывает легче, чем профессиональные филологи.

Кстати, будь любезен больше не упоминать господ Форххаммера, Риттера и т. д. в связи со своим именем.

Как будущие рыцари университета, мы обязаны кое-что делать, *ῥῶστε γυναιζέσθαι*⁹⁷, то есть время от времени печататься в журналах, рассказывать в обществе анекдоты, привезенные из Парижа, и т. д. Через 1½—2 года мы защитимся в Берлине или где-нибудь еще, переживем время «дистиллированной безнадежности» и *σὺν ἐρχομένῳ*⁹⁸ в приват-доцентскую должность. Между прочим, Ричль как-то сказал мне, что сейчас все еще дефицит приват-доцентов филологии. Что это, видимо, правда, доказывает быстрое

продвижение по службе, напр., Райффершайда и недавно — Ризе в Гейдельберге.

Но в любом случае будем приближаться к этому академическому будущему без преувеличенных надежд. Однако я считаю возможным, что на должности профессора можно будет приобрести и удержать, во-первых, подобающую праздность для собственных занятий, во-вторых, полезную сферу влияния и, наконец, сколько-нибудь независимое положение как в политическом отношении, так и в обществе. Последняя привилегия у нас есть и до всякой государственной карьеры, будь то юриста или школьного учителя.

Зачем, кстати, нам нужно сдавать так называемый государственный экзамен с его дурной репутацией? Меня трясет от отвращения перед этим износом памяти, творческой силы, стимулов к личностному росту, перед этой машиной устаревших, всё и вся нивелирующих максим; мало того, я уверен, что этот экзамен провалю, потому что не хочу его выдержать. Так что вычеркнем это дело и из программы нашей музыки будущего, ведь оно не нужно для нашей академической стези. — —

Ну вот, я прошелся по всем пунктам, на которые меня навело письмо Виндиша (прилагаю его для тебя). Надеюсь, не к твоей досаде. Ведь сейчас у меня нет более горячего желания, чем увидеть сбывшимися прекрасные картины совместной жизни в Париже. Если в лейпцигской глухомани только росло наше стремление к природе, то в Наумбурге — моя потребность в дружеском общении.

Поэтому, любезный друг, как можно скорее скажи мне, как тебе нравятся мои планы на будущее. На сегодня от всего сердца прощай.

Фр. Ницше

Передай мой искренний привет своей матушке.

8. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 11 мая 1868

Мой дорогой друг,

да нет, справимся! Неужто мы провалим весь этот прекрасный план? Да это было бы просто скандалом! [— —] Давайте уж составим *Tetras Lipsiensis*⁹⁹, откуда все смогут понять только, что производительная сила Ричля как филолога угасла, раз уж он не может организовать для своего чествования число Муз. [— —]

Тем временем я уж наскучил тебе и себе своим вечным тупоумным ослom и даже не убедился в том, что твоя отвратительная древняя Филоктетова рана наконец вылечена. Но хотя бы по обнадеживающим строкам твоего последнего письма я заключил, что серьезное улучшение, должно быть, уже наступило. А теперь и теплым воздухом повеяло, и дело быстро пойдет на лад. Впрочем, этот же теплый воздух имеет ту невыгоду, что мешает продвигаться с работой; совесть, правда, велит снова засесть за зубрежку, но какой-то демон лени всегда находит самые подходящие оправдания для прогулов. Если б ты был здесь, я бы уж на это не жаловался, ведь я храню в памяти самые блаженные воспоминания о прекрасных деньках прошлогоднего летнего ничегонеделания, но в обществе людей, душевно не особенно мне близких, мое очень стыдливое блаженство съезживается даже перед прекраснейшей возможностью прогулки по полям или морскому заливу и в напоенном радостью золотисто-зеленом весеннем лесу. Ландшафт здесь местами совершенно изумительный; тем сильнее он подтверждает старую истину, что прекраснейшими картинами природы можно наслаждаться лишь как рамками для собственного чувства — тогда оно, конечно, усиливает приподнятое настроение, которое посещает меня, однако, только если я бываю один или в обществе очень близкого друга, чувствующего так же, как я. —

Сюда вернулся Андресен. [— —] Он превосходный филолог, но [— —] совершенно свободный от философского изумления этим чудесным миром: в полную противоположность Ромундту. Его вклад в *Satura Ritscheliana*¹⁰⁰ был бы, безусловно, очень хорош, ведь он не обделен проницательностью и твердой рукой.

Здесьняя жизнь скудна; тем сильнее я лелею радостную идею о Париже и всем, что с этим связано. Но до этого предстоит, о ужас,

защитить докторскую и потом попытеть над государственным экзаменом. И как бы я в душе ни был склонен к университетскому поприщу, я все же думаю истязать свою плоть этим бичом; ведь не знаешь, что предстоит в жизни, и чем позднее, тем более тягостней будет эта постыдная, несправедливая, потому что рассчитанная на низкий уровень система истязаний, черт бы ее побрал. Заканчивая этим крепким ругательством, остаюсь твоим верным другом

Э. Р.

9. Ницше — Роде

Наумбург, 6 июня 1868

Мой дорогой друг,

только что минувшие пасхальные дни самым живым и приятным образом напомнили мне о тебе, который в это же самое время в прошлом году навестил Наумбург и очень ревностно вместе со мной честь по чести старался разрешить известную проблему. Если бы позволил благоприятный случай и ты приехал бы в тихий Наумбург и на эту Пасху, то для меня стало бы радостью показать тебе две новых и прекрасных вещи: хорошую книгу и нового друга Шопенгауэра. А кроме того, ты нашел бы здесь и превосходного Виндиша, а в нем — живую мнемотехнику нашего лейпцигского прошлого. Кроме того, этот последний привез прямое сообщение от Fridericus'a¹⁰¹, который о твоей статье высказался именно так похвально, как я и предполагал, и с радостью возьмет ее в свой Музей, как только об этом пойдет речь. Этот славный человек чувствует себя, видимо, весьма хорошо, и его последнее сочинение, плавтовский символ веры, составляющее предисловие ко второму тому его труда и полученное мною от него на этих днях, выдержано в победном и уверенном тоне. Сам же наш Виндиш в эти дни мне очень понравился; это одна из тех натур, что раскрываются широко и полно, — их устремления на удивление целостны и безупречны, а наблюдение за ними доставляет то же удовольствие, что и за мощно растущим деревом. В Михайлов день он будет защищаться, начав лекцией о санскритской грамматике, поскольку Брокгауз¹⁰² дружески уступил ему эту лекцию. Как та-

кого рода чтения протекают в Лейпциге, лучше всего показывает тот факт, что сейчас эту лекцию слушают 66 студентов. Его работа о «Хелианде»¹⁰³ получила очень хорошие отзывы со всех сторон — его положение в Лейпциге, видимо, очень приятное. Кстати, он вызвал во мне сильное желание тоже защищаться в Лейпциге; признаюсь, жизнь вблизи Ричля и в местах, связанных с нашими лучшими воспоминаниями, мне очень понравилась бы.

В Лейпциге же, к моему удивлению, снова появились два создания, которые прежде как раз там чувствовали себя не слишком-то хорошо, а именно Виссер и Ромундт, причем первый явно в подавленном настроении. Надеюсь вскоре узнать об обоих подробнее. «Союз»¹⁰⁴ все еще существует и насчитывает 10 членов, но его активно посещают и посторонние. Руководят им Рошер и Дреслер (я полностью разделяю твое мнение о нем); мой тезка¹⁰⁵ недавно прочел доклад о Евдокии. Выделяется некий Штюренбург. Кстати, «Союз» неоднократно признавался в официальных случаях представителем филологического студенчества. Следует ожидать, что ему выделят и аудиторию. Культовая клятва <при вступлении> устранена стараниями Виндиша и К°. Поставлена цель организовать и больничную кассу и кассу взаимопомощи. Дело об университетских судах дало повод для масштабных студенческих выступлений, потасовок и демонстраций. В целом общий дух лейпцигского студенчества на подъеме. Прежний микрокосмос провинциального мышления и уклада жизни, достаточно заметный еще и нам, кажется, отмирает и в университетах.

Состояние Лейпцига понятным образом наводит мои мысли на состояние Бонна, кое-какие интересные подробности о котором я узнал от д-ра Штедефельда, молодого учителя в Пфорте и бывшего собрата по корпорации. Филология там, видимо, в ужасном упадке: студенчество приобретает провинциально-рейнский характер. Узенер¹⁰⁶ — доброжелательный обыватель, лишенный выдающегося таланта. Бернайс¹⁰⁷ все губит своим неумным и глупым тщеславием; он считает себя главой школы и терзает всё, что оказывается поблизости, верной дорогой идя к тому, чтобы не иметь ни одного ученика. К тому же лекции его невыносимо многословны. Мюллер возбуждает радость и смех у тех студентов, что помладше. Семинары его полностью провальны. Философия в стенах Бонна не живет.

Но, ей-Богу, любезный друг, мне уже надоедает вытряхивать здесь кучу заметок, будто я пишу кому-то, а не тебе, что-то другое. Поэтому я больше не буду ходить вокруг да около той самой книги, а еще того менее — нового единомышленника. Ведь если уж я подал тебе на стол две этих приятных вещи, то должен затянуть серьезную, чуть ли не печальную песнь. Но у всех тех вещей, о которых пойдет речь, есть общий горизонт — и они должны напомнить тебе о некоторых минутах, когда нас самих охватывало изумление по поводу одного и того же минорного аккорда, звучавшего в какое-то время в наших душах. Книга, во-первых, называется «Три тропы»¹⁰⁸, автор ее — англичанин Герберт Грей. Новый друг Шопенгауэра — известный уже и тебе старший пастор Венкель. Я несказанно рад этому перевороту и водворению и заново переживаю в пламенном энтузиазме этого человека первое опьянение «юной любви»¹⁰⁹, те лейпцигские осенние деньки, когда я впервые впустил в глубины своего сердца эту чудесную музыку Шопенгауэра. Венкель сам признался мне — он только теперь понял, что такое философия, жизнь только теперь начала проясняться для него, а прежде он бродил, как во сне. И теперь он ни в грош не ставит все то, что философы сделали помимо Канта и Шопенгауэра. Даже Шлейермахер и его любимые тюрингенцы¹¹⁰ кажутся ему теперь бессильными и бесцветными. Теперь он тоже повесил портрет Шопенгауэра в своем кабинете. В его разговорах нет другого, более излюбленного предмета, чем проблемы этики; если будешь в Наумбурге, вдосталь наслушаешься Шопенгауэра с церковной кафедры. И что для меня особенно ценно: Венкель испытывает мощнейшее уважение к личности Шопенгауэра, в том числе моральной. Это прибавление к нашей общине на самом деле значительно, в особенности потому, что Венкель наделен даром пробуждать энтузиазм и повсюду с рвением неопита указывает людям на человека, чье имя до глубины души внушало ему отвращение, пока он еще был Савлом¹¹¹. —

И, наконец, если говорить обо мне самом, то есть о моем самочувствии, то мне самому стало огорчительно ясно, как долго можно бессовестно обманывать себя. Могу сообщить тебе, что моя болезнь не то чтобы прошла, но в высокой степени вероятности следует ожидать еще самого сильного ее удара. Нагноение продолжается, затронута грудина, и сегодня врач даже уверенно посулил мне

близкую операцию. Речь идет об удалении целого участка кости; для этого нужно вскрыть мягкие ткани, а потом «редуцировать», как выразился врач, то есть отпилить затронутую кость, то есть грудину. Но если уж человек оказывается под ножом и пилой хирурга, то сам понимаешь, на какой тонкой ниточке повисает та штука, которую называют жизнью. Вот начнется гнойная лихорадка — погаснет даже скудная перспектива. Я испытал потрясение, когда из гнойной раны внезапно вышла первая косточка моего скелета, и мне мало-помалу сделалось ясно, что планы поездки в Париж и защиты — вещи, вероятно, невозможные. Бренность жизни не демонстрируется человеку настолько *ad oculos*¹², когда он вот так внезапно видит перед собой кусочек своего скелета.

Впрочем, я, «доколе есть день»¹³, усердно тружусь над *philologicis*¹⁴, к примеру, недавно послал Ричлю статью об оде к Данае¹⁵, а сейчас готовлю диссертацию, посвященную *quaestiones ripasographicae*¹⁶. А вообще говоря, я использовал эту недобровольную праздность для большей концентрации и приведения в порядок моих исследований; определенные взгляды залиты в более определенную форму, и повсюду прорастают полуинтуитивные представления. Нет, любезный друг, меня так скоро не изничтожить, но если это против ожиданий и произойдет, то я пришлю тебе свою диссертацию «Об Ахероне» прямоком из Гадеса, с почтовыми марками Северонемецкого союза. Как это там у персидского поэта¹⁷?

Ноги у тебя прямые? —
А у меня скоро совсем никакие?

ФН.

Ю. РОДЕ — НИЦШЕ
Киль, среда 17 июня 1868

Мой дорогой друг!

Строфа:

Спасибо за Данаю от души:
А не прошла ли у вояки кость?

Антистрофа:

Июньский жар невыносим, и вот
«Канд. фил.» без меры испускает пот,

Эпод:
Экзамен мерзкий проклиняет он.

Вот видишь, не только ты со своим Симоном можешь заставить писать «окованные медью»¹¹⁸ стихи; если я как следует наподдам своему Пегасу, он только брыкается. Вышеприведенные стихи могут одновременно служить оглавлением настоящей эпистолы. Вчера я начал писать письмо к тебе и странным образом, вопреки своему обыкновению, не закончил его, и лишь теперь я — на манер Штиллинга¹¹⁹, понимаю тайный умысел Провидения: я должен был ждать до сегодняшнего утра, когда это самое Провидение подсунуло мне твою статью и тем самым, конечно, основательно настроило меня на другой лад. До вчерашнего дня, то есть до сегодняшнего утра, я из-за твоего последнего письма с печалью и страхом постоянно думал о предстоящей тебе операции, а потому только естественно, что вчерашнее твое письмо стало для меня своего рода *consolatio*¹²⁰. Но теперь я надеюсь, как, конечно, хотя и в несколько меньшей степени, и делал всегда, что пламя твоей жизни мерцает и светит еще ярко и еще долго не пошатнется. Но что дела твои пошли хорошо или хотя бы сносно, я заключаю преимущественно из бодрого тона этой статьи, написанной как-никак в последнее время, а кроме того, еще из предпосланных вотивных стихов¹²¹: ведь, несмотря

на их истинно лирическую выразительность, избегающую общих мест, второй стих —

Опрыскивает воин свои раны

кажется, намекает на то, что ты намерен долечиваться. Что, операция уже состоялась? Или, еще того лучше, оказалась вовсе ненужной? [— —]

За статью твою большое спасибо, я проштудировал ее с подлинным наслаждением, а особенно меня порадовала пронизывающая ее бодрая уверенность. Конечно, некоторые детали, как всегда бывает в случае таких фрагментов, остаются сомнительными. Таковым я нахожу в особенности ἐμάνη¹²², каким бы прекрасным оно ни было вообще, и точно так же определено для меня с δείματι ἦριπεν начинается чужая обработка, рискованная уже потому, что тогда уж и невинное ἀλέγεις надо заменить на ἀλεγίζεις. Таким образом, и для те μήν следует ожидать трохеического глагола; затем еще πνέων, причем без позиции перед πν, чему по крайней мере есть пример у Пиндара (см. Westphal II 2, p. 297). Особенно мне нравятся стих 13. 14 — λάμπεις, да и большая часть статьи. —

Мой "Όνος уже отослан в Бонн; между тем мне кажется сомнительным, сможет ли он засвидетельствовать свое почтение почтенной публике еще в этом году, поскольку вперед жаждет вырваться еще некоторое количество благородных кровных жеребцов и школьных лошадок, а может быть, и кое-кто из бычков и немалое количество пуделей, пишущих в рубрику «Разное», а может быть, свое умение продемонстрирует и новоявленный клоун Люсьен со своим знаменитым кусачим мопсом: к счастью, этот месье Мюллер в настоящий момент блуждает в закоулках христианской поэзии, где встречается лишь немного прогуливающихся, которых он может кусать только за икры.

После такого филологически-кинологического рейда вернусь в менее печальные области. На Троицу, в то время как ты вместе с дедушкой Виндишем приносил табачные и винные жертвы старому Липцку, я побывал в Копенгагене, где мне было очень приятно. Весь город и его окрестности производит радостно-светлое впечатление, чему, вероятно, сильно способствовала исключительно любезная погода этого праздника. Разумеется, главным образом

я преклонялся перед несравненным гением Торвальдсена: ощущение недостижимого величия этого человека для меня — важное приобретение в пантеоне немногих гениев, стоящих в моих глазах выше всякой критики, гениев, которых нужно понимать, но не судить о них. А во вторую очередь, я совершенно объективно оценивал все своеобразие города и народа. Правда, на нас с особенным благоговением <тут> всегда смотрят как на нечто совершенно разнородное, но, думаю, я все-таки правильно понял, что в характере всего этого народа есть некая непринужденная, феакообразная легкость в отношении к жизни, более свойственная французам, чем нам, немцам. —

Антистрофа и эпод моего записанного выше торжественного стихотворения должны означать следующее. [— —] Поскольку ты тоже издевательски делаешь из меня *sand. phil.*¹²³, я усматриваю в этом решающий знак, который дает Провидение: таким манером, давно известным всем знатокам божественной спонтанности, оно вежливо, но решительно хочет направить мое внимание на экзамен. Стало быть, завтра начну зубрить, поначалу, правда, лишь «*loje*», как здесь говорят, то есть вальяжно. Во всяком случае, я приступлю к этой деятельности, крепко выругавшись.

Ты, наверное, заметил, что я читаю автобиографию Штиллинга: вначале, под влиянием Гёте, она по-детски прелестна, а потом прямо-таки смертельно скучна, в сущности, страшно высокомерна, и уж совершенно определено она лишена христианского духа, поскольку вся пропитана крайне эгоистичным оптимизмом. К тому же ей свойственно филистерство, короче говоря, в моих глазах она ужасна, а местами, боюсь, и лжива. — [— —]

Что господин Венкель стал другом Шопенгауэра, — определенно немалое обретение: этот человек производит чрезвычайно значительное впечатление. Кстати, большей части шопенгауэрианцев суждено питать предвзятую любовь к личности учителя, по крайней мере, со мной самим было именно так. Так, видимо, бывает и у всех по-настоящему значительных людей, ведь лучшее, никак не определяемое, а доступное лишь созерцательному пониманию, — это как раз то, что придает их жизни, всему их созерцанию, несмотря на противоречия и разрывы, на которые указывают педанты, единство и цельность, а их действиям — демонизм. Восхищение вызывает именно этот единый, общий основной тон

высказываний, который самому автору даже не надо формулировать, — личность. — На этом сегодня всё, любезный друг, держись бодро и весело и поскорей сообщи мне что-нибудь хорошее!

Твой Эрв. Роде

11. Ницше — Роде
Наумбург, 6 августа 1868

Мой дорогой друг,
сегодня я могу поздравить тебя и себя, тебя как счастливого и славного победителя на академическом ристалище, себя как, наконец, выздоровевшего, о котором ангелы поют:

Благополучно спасена
Грудина от напасти:
Старалась, бедная, она
В жестокой гнойной страсти¹²⁴.

В Лейпциге всюду обсуждают твое увенчание, все время со стереотипным рефреном, что ты защитился в Киле и что таково было специальное пожелание Риббека. Возможно, эти слухи родились в известной комнатке для болтовни (по адресу: Сад Лемана, дом № 2, с полудня до часу дня¹²⁵) — по крайней мере, я уловил там похожие слухи, называющие меня возможным и желанным лейпцигским приват-доцентом. Найдем же утешение друг в друге; нас хотя бы считают достойными этого. Но ничто не сможет препятствовать нам сперва провести вместе еще год в Париже, а уж после каждому из нас будет позволено питать какие угодно души «молокососов» какими угодно лжеучениями в каком угодно университете. Но до тех пор мы еще испытаем на себе божественную силу канкана и поупражняемся в питии «желтого яда», дабы позднее достойно маршировать в первых рядах цивилизации.

Кстати, об известии, что Лукианов *ὄνος* обрел уже второго наездника. Мне тут пришло послание от малого доктора Рошера¹²⁶, который сообщил мне такое «в высшей степени важное» известие, что

я немедленно (по своей вновь приобретенной плачевной привычке) побледнел и принялся утирать со лба пот, выступивший у меня от страха. Да будет всем известно: в лейпцигской филологической секции докторских экзаменов по рукам ходит диссертация некоего Кнауца, в которой тоже рассматривается занятая тобой тема и о которой дали блистательные отзывы Клотц и Ричль! Рошер истошно зовет на помощь, как будто кто-то вот-вот свалится в воду и утонет и как будто все добрые друзья и хорошие соседи обязаны стремглав кинуться, чтобы его вытащить. — Счастливый ты человек, у тебя есть конкурент, живой конкурент во плоти, в то время как мне недавно выпало на долю удовольствие послушать лекцию Бергга о Феогниде, причем обо мне он не сказал ни слова, хотя я слушал во все уши и выглядел, наверное, очень похожим на твоего почтенного ὄνος.

То, что ты критикуешь в симонидовой колыбельной, было плодом моих самых напряженных раздумий: так сделай мне одолжение и вставь соответствующую конъектуру (— ∪) — я ищу ее уже годы, но никак не могу раздобыть. А раз уж она тут как тут, я выброшу это ἐμάνη в окно и напишу добавление в «Рейнск. Музей».

Как тебе, скажем, такое: ὅτε λάρναχα δαιδαλέαν
ἀνεμός θ' ἤγε πνέων, или τεῖρε πνέων, или τέμνε πνέων?

Замечаю, что письмо мое уже разошлось вовсю; но вот был бы поистине фокус, если бы я уложил в логическую последовательность все то, о чем собирался еще рассказать сегодня. Позволь мне обойтись пунктами.

- 1) новый, но настоящий друг Шопенгауэра
- 2) Ромундт ὁ τραυφδός¹²⁷
- 3) Клемм навестил меня в Гисене,
- 4) и притом в Виттекинде¹²⁸,
- 5) куда меня послал великий хирург проф. Фолькман
- 6) и которому я покинул здоровым через три дня.
- 7) Госпожа Ричль — моя близкая «подруга».
- 8) я посетил собрание композиторов в Альтенбурге¹²⁹.
Экскурс о «Мейстерзингерах» Вагнера.
- 9) я снова сочинял музыку: женские влияния.
- 10) Виттекиндская водолечебница — с уходом и ухаживаниями.
- 11) Я каждый день жду тебя в гости.

К пункту 1). Мой друг Герсдорф (отставной лейтенант, ревностный политэконом) сообщает мне следующее. В Плауэ на Хафеле¹³⁰,

недалеко от Бранденбурга, живет владелец наследственного поместья, Визеке¹³¹, настоящий друг Шопенгауэра, единственный, у кого есть очень похожий портрет маслом великого человека. Настоящий ученик, широко образованный человек, гениальный хозяйственник, превративший жалкую кучу песка в плодородную землю (Герсдорф подробно описывает его метод, причем главную роль тут играет лошадиный навоз из берлинских конюшен), он сейчас богат и достиг своего богатства; у него есть собственный врач с годовым окладом в 800 талеров, который лечит ему руки, и т. д. Он держит открытый дом с превосходным винным погребом, тончайшие вина из которого всегда наливаются только в один бокал, принадлежавший человеку, чей гений властвует в этом доме. Каждый гость на прощание получает в подарок портрет Шопенгауэра и изображение его дома во Франкфурте, куда господин Визеке каждый год совершает паломничество. Его характеристики Шопенгауэра в целом не совпадают с оценками других, незначительных друзей философа, к которым Визеке причисляет особенно Фрауэнштедта, «ум плоский и жидкий».

К пункту 2). Превосходный, восхитительно организованный Ромундт снова появился в Лейпциге, и притом с трагедией «Мариамна и Ирод», где экзальтированная служанка строит различные козни, ничего не давая при этом нашим аффектам. Поэтическая искра в нашем друге недостаточно сильна, чтобы свалить быка, но ее довольно, чтобы оглушить человека, поэтому я настоятельно просил его бросить эту опасную пиротехнику. Но прежде всего он снова филолог, плавает, насколько мне известно, в водах Демокрита (чтобы там выловить себе рыбу для докторской трапезы) и тешит себя надеждой стать когда-нибудь режиссером театра.

К пункту 3). В одно прекрасное утро, когда я в Виттекинде отсидел свой час в рассоле и с бодростью свежепосоленной селедки выбирался оттуда на божий свет, на высоте половины моего роста появилось дружелюбное лицо, принадлежавшее любезному Клемму из Гисена. Он волочит свой тяжкий крест и свою ногу с трогательным смирением¹³². Хвалебную рецензию его докторской диссертации ты прочтешь в «Центральблатт». Ее написал Георг Курциус.

Сразу перескочу к пункту 11). Я помню, что в августе ты хотел предпринять большую поездку, в ходе которой будешь проезжать и через Наумбург. Рассчитывай на несколько дней в Наумбурге; в ином случае я сумею удержать тебя здесь с помощью моих бравых

канониров. Здесь, на месте, ты услышишь изложение тех пунктов, которые я пропустил. И о том, о чем мы с тобой условимся, договоримся, на что будем надеяться и т. д.

Посылаю тебе фотографию, на которой я запечатлен в несколько сомнительном виде. Ведь, в сущности, невежливо предстать перед друзьями с обнаженной саблей, да еще со столь кислым, злым лицом. Такой вояка покажется несколько грубым. Но почему нас так раздражает этот плохой фотограф, почему нас так раздражает весь этот жизненный хлам, если мы не выгладим, как свежая, только что умывшаяся молодая девица? Почему мы обязаны всегда стоять с саблей наголо? И что будет, если мы энергично набросимся на этого плохого фотографа? Он раболепно сорвет с себя шапку и воскликнет: «Сию минуту-с!».

Прощай, любезный друг! Передай мои наилучшие пожелания своей уважаемой матушке и приезжай в гости, как только сможешь!

По-прежнему преданный тебе
Фридрих Ницше

Тебе передают привет и мои домашние, заранее радуясь твоему визиту.

12. Роде — Ницше
Гамбург, 15 августа 1868

Мой дорогой друг,
не удивляйся, получив сегодня от меня лишь несколько строк, — у меня для этого важнейшие причины: 1. (раз ты ставишь номера, я сделаю так же; ведь это мне ничего не стоит) почта скоро отходит, а если это письмо не отправится с ней, оно, возможно, придет в Наумбург позднее, чем его автор, ведь

2. с большим удовольствием принимая твое приглашение, я, следуя в Мюнхен, заеду к тебе в гости в ближайшее время. А уж тогда мы всласть поболтаем, так что сегодня я могу быть тем более кратким, что

3. солнце здесь печет так одуряюще, что мне стоит больших усилий писать хотя бы без ошибок.

Хвала Брахме, что ты наконец снова целиком отдался жизни и веселости, и этот праздник воскрешения мы в ближайшее время справим вместе от всей души. Мне нет нужды говорить тебе, как я заранее радуюсь тому моменту, когда, наконец, после долгого перерыва смогу пожать тебе руку, тебе, cuius vultus amicalis hilarabat oculum¹³³, как выражается вагант. Если боги, в том числе Будда, великий Шрамана, мой святой хранитель, далее, спожник, мастер по рейтузам и иные пролетарии позволят мне, то завтра в час, когда солнце отвернется от этого зрелища, я выеду и во всяком случае в понедельник буду в Наумбурге. [— —] Но уж когда я там окажусь, то любезности и веселью не будет конца! Тогда ты сыграешь мне свои новые пьесы, каковые суть надежные свидетельства не только твоего выздоровления, но даже твоего избыточно цветущего состояния, если я правильно понимаю твои намеки в пунктах 9 и 10.

С моей поездкой дела идут странно: Кляйнпауль меня подвел. [— —]

С моей призывной известностью дело продвинулось не очень далеко; ведь во всем мире награда всякий раз присуждается только за одну призывную задачу. В Киле такое событие приятно только тем, что влечет за собой 96 талеров наличными.

Ты должен оказать мне одну настоящую дружескую услугу. Я хочу использовать свою конкурсную работу в качестве докторской, для чего на днях переписал ее начисто и кое-где улучшил текст. Но поскольку много отдельных пунктов относится скорее к твоей области, чем к моей, ты сделал бы мне большое одолжение, если бы высказал свое мнение в особенности касательно этих самых пунктов, да и работы вообще, поскольку это страшилище вряд ли избежит публикации. Это не займет у тебя много времени — самое большее первую половину дня. Так что я привезу с собой опус, будучи уверен в твоем согласии.

Засим прощай; я и правда больше не могу писать из-за жары; отсюда и эти жуткие каракули. Еще несколько дней, и мы сможем обсудить все получше. А пока прощай!

Твой Эрвин Роде

Мои наилучшие пожелания твоим матушке и сестре, и такое же тебе от моей матушки.

13. НИЦШЕ — РОДЕ
Наумбург, 8 октября 1868

Мой любезный друг,

теперь, воскресив в своей памяти этот очень изменчивый год, год, полный приятных и неприятных эмоций, аскетических и едemonистических переживаний, год, начавшийся в конюшне, продолженный на ложе болезни и законченный каторжным трудом по составлению указателей, — теперь, когда я подвожу итог всему, что этот год принес мне в смысле хороших моментов, прекрасных надежд, часов тихого раздумья, я с искренним удовольствием снова пережевываю свои чувства тех отрадных дней, которые свели нас с тобой в августе, и, словно благодарная корова, валяюсь под солнышком этих воспоминаний.

С тех пор как мы с тобой тогда всласть наговорились обо всем на свете, ничего важного у меня не случилось; я работал на веранде над своим указателем: «Там сидел я, благочестивый, среди увядших листьев»¹³⁴. Теперь дружелюбное бабье лето с его наполовину остывшими солнечными лучами и праздностью кончается, меня ждут в Лейпциге, и газетное объявление ищет «изысканное» холостяцкое жилье для неженатого ученого. Все наши тамошние добрые знакомые уже продвинулись по ступеням <академической> славы, и я, бедный homo litteratus¹³⁵, тоже должен думать в первую очередь о том, чтобы приобрести академическую степень и не быть причисленным к recus¹³⁶ «литераторов». В остальном я стараюсь стать несколько более светским человеком — в частности, я взял на прицел одну женщину, о которой мне рассказывают чудеса: это жена профессора Брокгауза, сестра Рихарда Вагнера; друг Виндиш (который меня навестил) превосходно оценивает ее способности. Мне нравится, что это подтверждает теорию наследственности Шопенгауэра; другая сестра Вагнера (она раньше была в Дрездене актрисой) тоже, видимо, женщина значительная. Супруги Ричль общаются почти исключительно с семьей Брокгауз.

Еще я недавно прочел (и притом primum¹³⁷) работы Яна¹³⁸ о музыке, в том числе о Вагнере. Нужен какой-то энтузиазм, чтобы быть справедливым к такому человеку — а Ян питает к нему инстинктивное отвращение и слушает его вполуха. Но я все-таки считаю, что он во многом прав, особенно в том, что видит в Вагнере

представителя современного дилетантизма, впитавшего и перева- рившего в себе интересы всех искусств: но именно с этой-то точ- ки зрения не перестаешь удивляться тому, насколько значительно в этом человеке дарование в каждом отдельном искусстве, какая неукротимая энергия сочетается в нем с многосторонними худо- жественными талантами, в то время как «образование», каким бы разнообразным и всеобъемлющим обыкновенно ни являлось, ходит, как правило, с тусклым взором, на слабых ногах и с истощен- ными чреслами.

Но, кроме всего прочего, у Вагнера есть и чувственная сфера, которая остается совершенно скрытой от О. Яна: этот последний остается герольдом, здоровым человеком, глухим к легенде о Тан- гейзере и к атмосфере Лознгринга. Мне нравится в Вагнере то же, что нравится в Шопенгауэре, — этический воздух, фаустовский аромат, крест, смерть, могила и т. д.

Единственный, кого здесь, в Наумбурге, я навещал всякий раз с новым удовлетворением, — это Венкель, наш неутомимый иссле- дователь Канта и Шопенгауэра, демонстрирующий в этой беспри- мерности своих занятий большую силу воли. Постоянное сопри- косновение с философскими идеями делает его суровым критиком нашей филологии: я не раз подсовывал ему что-нибудь, чтобы услы- шать его мнение о статьях, к примеру, Бернайса и Ричля. В Ричле он признал некоторые черты гениальности, но высмеял пафос в таких пустяках; Бернайс ему вообще не понравился. В глубине души он подумывает о том, чтобы заняться академической работой и хочет вскорости защитить докторскую.

Представляешь, я все еще отнюдь не покончил с военной служ- бой, мало того, передо мной открыта верная перспектива дальней- шей службы в артиллерии. Мой капитан по дружбе записал в моем квалификационном свидетельстве рекомендацию на должность лейтенанта ландвера¹³⁹, если я весной прослужу месяц, чтобы приоб- рести необходимые познания в управлении упряжками. А поскольку война рано или поздно неизбежна, и перспектив совсем избавиться от воинской повинности не предвидится, такое повышение было бы весьма отрадным.

Наконец, дорогой друг, мне остается еще сказать кое-что о тво- ей очень удачной работе о Поллуксе¹⁴⁰. Я ее внимательно изучил; весь комплекс комбинаций мне вполне ясен, правда, я не хочу

высказывать об этом специальное «суждение», поскольку у меня не хватает для этого компетентности, да я и не могу ее нарастить из-за отсутствия нужных книг. Первая глава обладает настоящей пропедевтической ценностью, поскольку собирает множество отдельных деталей в общую картину, но при этом нигде не предполагает слишком специальных познаний <читателя>, а начинает прямо *ex ovo*¹⁴¹. Кстати, постановка вопроса в академическом смысле неудачна. (Первая генеалогия не совсем согласуется с текстом — например, она гласит, что Евстафий использует *Περτέρουπένητες* Диогениана¹⁴², в то время как в тексте он использует Гезихия. Затем, в генеалогии не хватает упоминания о том, что Фотий прямо использовал *Περτέρουπένητες*, впрочем, думаю, что это не наверняка. С таким же успехом Дионис использовал «Эпитому» Памфила в качестве *Περτέρουπένητες*.) Тебе известно исследование М. Шмидта об источниках Свиды (Fleckeis. Jahrbüch. 1855)? — Вестфаль (Geschichte der alten Musik, p. 167), кстати, называет Трифона главным источником музыкального раздела четвертой книги Поллукса. —

Две первых главы моей Лаэртианы напечатаны в последнем выпуске Рейнск. Музея¹⁴³ — я пошлю их тебе в отдельном оттиске. Как противно мне думать о всей этой работе! *Nonum prematur in annum!*¹⁴⁴ Вот тебе и весь сказ! Сразу отдавать в печать всю эту свежыношенную мудрость было уж очень глупо, и кроме досады я теперь ничего не испытываю. Как много там просто ошибочного, а еще больше отчаянного лепета, и все это выражено незрело. Извинением для меня служит лишь то, что я стану совершеннолетним только 15 октября этого года — и в этот же день я сниму военный мундир.

Все лаэртианские яйца, которые я еще насижу, я припрячу, пока не заполню ими приличную корзинку. Диссертацию я хочу писать о Гомере и Гесиоде как *soaetanei*¹⁴⁵. Недавно я написал для <«Литераришес» центральблатт<»> извещение об издании Вал. Розе, посвященном Анакреонту¹⁴⁶, — с несколькими замечаниями о безвкусице и дикобразном стиле Розе.

Я наболтал здесь уже кучу ненужных вещей! Кто же пишет сразу после обеда письма, письма к таким друзьям, письма, в которых можно заметить мало мысли и много пищеварения! О пес, пес дворовый. Ты нездоровый¹⁴⁷, — чтобы писать такие письма.

Совершая этот книксен девушек-пансионерок,
пребываю твоим другом
Фридрихом Ницше,
прусским канониром

Теплый привет от моих домашних.

14. НИЦШЕ — РОДЕ

Лейпциг, 27 октября 1868

Мой любезный друг,
о том, что я жив, тебе даст знать недавно отосланное *Laertianum*¹⁴⁸; о том, что я живу хорошо, твой комбинационный дар, вероятно, откроет тебе, исходя из обозначения города и места жительства в самом низу листа с посвящением.

Я переселился в Лейпциг, теперь с совершенно иными притязаниями, полностью удалив студенческие панталоны и всю связанную с этим жизнь. Какой-то дружески настроенный демон при посредничестве превосходного Виндиша подыскал мне жилье, которое пока соответствует моим притязаниям и делает для меня невозможным отступление вспять, в студенческую *inquies*¹⁴⁹ с ее ресторанной и театральной лихорадкой.

Моя квартира расположена в начале Лессингштрассе, в саду, и открывает мне поистине изящную и многообразную перспективу, с удовольствием сидеть в четырех стенах, потеть все вечера напролет и раскаляться от филологии: это ого-го для Фрица с его прежней склонностью каждый вечер стремглав бежать в театр. Теперь я, конечно, вынужден несколько теснее связаться с семейством проф. Бидермана, например, обедать и ужинать у них и вообще вести себя, как девица, приходящая в пансион. Это может, чего не желают боги, но напророчила мне госпожа Ричль, моя многоопытная подруга, стать ужасно скучным, но еще не стало: а в конце концов такой честный малый¹⁵⁰, как я, который уже чистил лошадей, в худшем случае может впасть в аскезу. Господи, чего только не вытерпит филолог, все существование которого зиждется на чувстве сосущего духовного и телесного голода!

Кстати, старик Бидерман полностью соответствует своей фамилии, он хороший отец семейства, супруг, короче говоря, все то, что обычно отмечают в некрологах; а его супруга — честная жена, и этим опять-таки сказано все. И так далее, вплоть до честных барышень I и II. Так вот, семейство многое пережило и все еще под сильным впечатлением от пережитого, в гуще политических интересов, но, на мое счастье, о политике они почти не говорят, ведь я совсем не *ζῶον πολιτικόν*¹⁵¹ и против такого рода вещей ощетиниваюсь, как дикобраз. В остальном Бидерман — натуральный брат Бойста: его характер стал мне теперь совершенно ясен благодаря применению теории наследственности Шопенгауэра. Жена его — сестра бургомистра Коха. Другой наш товарищ по столу и дому — француз, мсье Флалан (крупнейший парижский торговец музыкальными книгами), потешный малый, который старается вызвать смех, как паяц, и у которого я немного учусь и еще научусь французскому.

Теперь я иногда хожу на концерты и лекции в качестве представителя «Дойче альгемайне»¹⁵²; мало того, мне даже предлагают заняться критикой оперы — *nego ac pernego*¹⁵³.

Естественно, мне приходится иногда довольствоваться гостями дома; а порой даже и не довольствоваться — скажем, когда у нас бывает наша подруга и частая гостья *Γλαυκίδιου*, проводить до дома которую недавно было моим приятным долгом. Я надеюсь, ты еще помнишь, кого мы так окрестили; если нет, я напишу и освежу твою память фотографическим путем.

В ближайшие дни к нам приедет Лаубе¹⁵⁴ — он точно примет на себя руководство *des théâtres*¹⁵⁵: я буду рад познакомиться с ним. Сегодня вечером я был в «Евтерпе»¹⁵⁶, которая начала свои зимние концерты, доставив мне радость как прологом к «Тристану и Изольде», так и увертюрой к «Мейстерзингерам». Я не решаюсь отнестись к этой музыке с критическим холодом; во мне отзываются все фибры души, и у меня давно не было такого длительного ощущения отрешенности, как во время этой последней увертюры. Вообще-то мое абонементное кресло окружено критическими умами: прямо перед мной сидит Бернсдорф¹⁵⁷, это сигнальное пугало, слева от меня д-р Пауль, нынешний газетный герой, через два кресла справа мой друг Штаде, поставляющий критические чувства в музыкальную газету Бренделя: получается острый угол, и если мы четверо в унисон покажем головой, то это будет означать несчастный случай.

Дорогой друг, папаша Ричль спрашивает, не возьмешься ли ты за небольшой доклад о диссертации Кнауца: она будет послана тебе через Риббека. Твоя работа (преимущества которой перед статьей Кн. должны бросаться в глаза даже слепцам) будет напечатана быстро.

Засим прими дружеское лейпцигское душевное честное рукопожатие от

твоего верного друга

Ф.Н.,

приватного ученого, Лейпциг, Лессингштрассе, 22, 2-й подъезд.

15. РОДЕ — НИЦШЕ

Водолечебница Райнбек, 4 ноября 1868 (ор. 116)

Мой дорогой друг!

Сдается, судьба в очень неуместном пароксизме стремится параллелизировать наши взаимные переживания. [— —] Ведь едва я, изведав города и характеры множества людей, счастливо воротился домой, как меня снова охватила изнуряющая лихорадка. [— —]

Tantum¹⁵⁸. Теперь ты поймешь, почему я так упорно молчал в ответ на твои два письма: мне было прямо-таки трудно писать, и прежде всего потому, что я не был в настроении болтать со столь дорогим другом. А эти твои письма были настоящими светящимися метками в моем печальном сумраке, светящимися подобно дружелюбной вечерней звезде, по Вагнеру, в моем гнетущем сумраке. (NB. Однажды стихийная сила той песни к вечерней звезде стала для меня наглядной во время одного путешествия, когда я и впрямь брел один в вечеряющей тьме по узкой просеке в лесу, и вдруг на свинцовом небе зажегся этот дружелюбный свет.) [— —]

Этой зимой ты, наверное, будешь купаться в музыке; насколько это возможно в наших Абдерах¹⁵⁹, я тоже хочу попробовать; ведь хотя в музыке я ничего не смыслю, она все же неизменно служит отмыванию души от пыли дней и уж конечно — успокоению неподобающих желаний. Правда, в Гамбурге, наверное, будут весьма немного потчевать Вагнеровым волшебным напитком. Я отважусь

согласиться с этой музыкой, будучи совершеннейшим профаном, и только из скромной каморки моего частного мнения: она и на меня производит впечатление, будто я при лунном свете иду по благоуханному волшебному саду; туда не проникает ни звука профанной «действительности», а потому меня совсем не заботит, будут ли высоколбые господа смотреть искоса, считая эту музыку нездоровой, похотливой и Бог знает что еще; она ввергает меня в «отрешенность», как ты прекрасно говоришь, и этого мне достаточно. Вообще я все больше прихожу к убеждению, насколько мудр был тот софист¹⁶⁰, который, вопреки всем возражениям «здравомыслящих» современников, утверждал, что человек есть мера всех вещей. В этом мнении меня немало подкрепляла книга Ланге¹⁶¹ (которую ты в ближайшее время получишь назад) — в этом путешествии она неизменно удерживала меня в возвышенном круге мыслей. Он совершенно прав в том, что так серьезно относится к кантовскому открытию субъективности форм созерцания, а если он прав, то тогда разве не в порядке вещей, что каждый выбирает себе мировоззрение, которое удовлетворяет его, то есть его этическую потребность как выражение его подлинной сущности? И вот мне глубочайшим образом по вкусу воззрение, которое делает сильный упор на глубокой, горькой серьезности чего-то совершенно неизведанного, а потому растущее убеждение в субъективной фантастике всех умозрений для меня ничуть не снижает в ценности учение Шопенгауэра: факт, напротив, все снова подтверждающий, что воля, ἦθος¹⁶², сильнее, первородней, чем холодно взвешивающий интеллект. — Мы с тобой сходимся и в этих важных пунктах, дорогой друг, и притом в самой глубине души. Но чем выше поднимает человека это учение Шопенгауэра над обычным разумным взглядом на жизнь, тем больше он обязан, даже не будучи гением, для которого это наслаждение и призвание, жить и действовать в царстве этой идеи, стараясь обрести твердую почву и пашню по своим меньшим силам; ведь нам, малым сим, нужный для существования комфорт дает не что иное, как связанный с долгом труд в выбранном нами самими кругу филистерской жизни. Тот, в ком филистера слишком мало, как у Ромундта, ὁ σχοτεινός¹⁶³, становится проблематичным человеком. Поэтому прекрасно, что есть такое поле для возделывания, как Филология, на котором с успехом могут работать и крестьяне по своему душевному складу. [— —]

Все это святая правда, пусть даже твой Венкель и смеется над филистерским воодушевлением, с которым мы разбиваем каждый комочек земли на своей пашне. —

Твою работу о Лаэртии я прочел с большим интересом, отчасти из интереса к предмету и дабы чему-то научиться, но по большей части, потому что она несла мне утешение в мрачное время болезни и казалось мне как бы ручательством твоей дружбы. Ибо сквозь торжественные латинские слова¹⁶⁴ я частенько слышал твои знакомые мне излюбленные выражения, а потому чтение стало чуть ли не личным общением. «Наглости», как ты выражаешься, я обнаружил в ней довольно мало, если, конечно, как водится, соглашаться с особым методом, необходимым в источниковедении. [— —] Вот только связь между Сопатром и Фаворином (с. 648 слл.) меня не убедила. Почему тогда Фотий не сказал просто: καὶ καθεζῆς μέχρι τοῦ Σ? Для этого явно должна была иметься причина. А поскольку в твоём изложении παντοδαπή ἱστορία (NB. omnigena представляется мне ошибочным¹⁶⁵: omnigenus не склоняется, ведь это не что иное, как omne genus, — см. где-то у Лахмана в примечаниях к Лукрецию; i, как в antistare, benivolus и т. д., согласно правилу Ричля) расположены по темам, то в книге 19 (Т) спокойно мог быть рассмотрен предмет, который С. не интересовал. Поэтому он выписал из θεατρικῆ ἱστορία Юбы только 17-ю книгу, явно потому, что предмет остальных книг его не интересовал и не подходил к его ἐκλογαί. Кстати, это замечание было у Юлия Вал. I 13 в 4-й книге Фаворина, как утверждается в армянском переводе Псевдокаллисфена: припоминаю, что читал об этом в книге Цахера о Пс.калл. Несколько слишком смелым мне кажется заключение о Филостефане и Никии из Никеи как источниках Ф., то есть как о единственных источниках всех его книг. — Во всяком случае, эти две главы возбуждают в читателе здоровый аппетит к следующим твоим ходам; манера, в какой ты под конец подводишь к дальнейшим разработкам, истинно романная и художественно-фельетоническая. [— —]¹⁶⁶

Ну вот, я вдосталь наболтался и даже прямо-таки облегчил душу. В замещение, может быть, из мести, я жду теперь от тебя, мой любезный друг, нескольких строк ответа, насколько тебе позволит время. Ведь твои письма для меня обладают большей целебной силой, чем все воды, и несут большую отраду, чем лесной вздох. Дай же мне вскоре услышать, что ты в своем лейпцигском

эпикурействе еще помнишь те прекрасные времена, когда мы с тобой там жили и полюбили друг друга, и прими сердечный привет от твоего верного друга

Эрвина Роде

16. Ницше — Роде

Лейпциг, 9 ноября 1868

Мой дорогой друг, сегодня я намерен рассказать тебе о ряде светлых вещей, весело заглянуть в будущее и держаться так идиллически приятно, чтобы твой злобный гость, эта самая похожая на кошку лихорадка, выгнула спину горбом и с досадой поскорее убралась прочь. И чтобы избежать любого диссонанса, я хочу обсудить на особом листе известные *res severa*¹⁶⁷, послужившие поводом для твоего второго письма, а ты потом сможешь прочесть его в особом настроении и в особом месте.

Акты в моей комедии будут такие: 1. Заседание нашего Союза, или Унтерпрофессор, 2. Выброшенный портной, 3. Рандеву с +. В спектакле принимает участие несколько пожилых женщин.

В четверг вечером Ромундт соблазнил меня пойти в театр, к которому я сильно охладел: мы собрались посмотреть пьесу нашего будущего директора Генриха Лаубе¹⁶⁸ и сидели, как олимпийские боги на престолах, для суда над стряпней под названием «Граф Эссекс». Разумеется, я бранился на своего соблазнителя, который ссылаясь на детские чувства своего десятилетнего возраста и был счастлив, что может уйти из зала, где не обнаружил даже GLAYKIDION: это выяснилось по микроскопическом обследовании всех уголков театра.

Дома я нашел два письма, твое и приглашение от Курциуса, познакомиться с которым ближе мне сейчас доставляет удовольствие. Когда двое друзей вроде нас обмениваются письмами, ангелочки, как известно, ликуют; вот и теперь, когда я читал твое письмо, они радовались и даже хихикали.

На другое утро я торжественно вышел из дому, чтобы поблагодарить за приглашение Курцию¹⁶⁹, поскольку приглашения я, увы,

принять не мог. Не знаю, знаком ли ты с этой дамой; мне она очень понравилась, и между супругами и мною сложились нерушимо веселые отношения. В этом настроении я отправился к моему редактору *en chef*¹⁷⁰ Царнке, был принят сердечно, определил с ним наши отношения — провинция моих рецензий теперь, среди прочего, — почти вся греческая философия за исключением Аристотеля, которым владеет Торстрик, и еще одной области, в которой работает мой бывший учитель Хайнце (надворный советник и воспитатель принца в Ольденбурге). Между прочим, читал ли ты мое извещение о выходе *Symposiaca Anacreontea* Розе¹⁷¹? Следующий на очереди — мой однофамилец¹⁷², который сделался рыцарем по поводу Евдокии, — скучная дама, скучный рыцарь!

Добравшись до дома, я нашел там твое второе письмо, возмутился и решился на покушение.

На вечер был назначен первый доклад нашего Филологического союза в этом семестре, и меня очень учтиво попросили взять его на себя. Я, который пользуется всяким случаем, чтобы поупражняться с академическим оружием, тотчас заявил, что готов, и имел удовольствие, войдя, обнаружить собранную в сноп черную массу в 40 слушателей. Ромундту я поручил внимательно присматриваться, чтобы он потом смог сказать мне, какова театральная сторона доклада, то есть манера изложения, голос, стиль, диспозиция, и какое действие все это возымело. Я говорил совершенно свободно, пользуясь только записочками с сокращенным изложением, а говорил я о Варроновых сатирах и о кинике Мениппе: и вот, все было *καλὰ λίαν*¹⁷³. Пойдет дело на этой академической стезе!

Здесь надо заметить, что до Пасхи я думаю избавиться от всей этой возни с получением доцентуры и одновременно по этому случаю защитить докторскую диссертацию. Это дозволено: мне требуется только специальное разрешение, потому что я еще не закончил обычное *quinquennium*¹⁷⁴. Но одно дело — получать доцентуру, а другое — читать: однако совершенно правильным мне кажется, когда у меня освободятся руки, пуститься в странствия — в последний раз как вольный человек! Ах, дорогой друг, это будут чувства жениха, смесь радости и досады, юмор, *γένος σπουδογέλοιον*¹⁷⁵, Менипп! В сознании хорошо выполненной работы я лег спать, размышляя о сцене, которую следует сознательно разыграть перед Ричлем: на следующий день около полудня такая сцена и была разыграна.

Вернувшись домой, я нашел записку, адресованную мне, с коротким сообщением: «Если хочешь познакомиться с Рихардом Вагнером, приходи без четверти четыре в *Café théâtre*. Виндиш».

Эта новость привела меня в некоторое замешательство, прости! — так что я сразу полностью забыл заготовленную сцену и меня порядочно закружило.

Я, разумеется, бросился туда, нашел нашего бравого друга, который дал мне новые разъяснения. Вагнер был у родственников в Лейпциге в строжайшем инкогнито: пресса ничего не учуяла, а все посыльные от Брокгаузов стали немые, как гробовщики во время похорон. И вот сестра Вагнера, профессорша Брокгауз, известная своей смышленостью, представила брату свою хорошую подругу, жену Ричля, причем у нее хватило гордыни хвастаться подругой перед братом и братом перед подругой — благословенное создание! Вагнер в присутствии фрау Ричль сыграл «Песнь мейстерзингера», которая известна и тебе: а эта добрая женщина сказала ему, что уже отлично знает эту песнь, *теа опера*¹⁷⁶. Радость и изумление Вагнера: и он возвещает свою высочайшую волю познакомиться со мной инкогнито. Сначала меня хотели пригласить в пятницу вечером — но Виндиш разъяснил им, что мне помешают служба, долг, данные обещания, поэтому мне предложили вторую половину субботы. И вот я бросился вместе с Виндишем, мы нашли профессорскую семью, но не Рихарда, который вышел, надев свою невероятную шляпу на большое чело. Тут я, значит, и познакомился с названной превосходной семьей и получил любезное приглашение на вечер субботы.

Мое настроение в эти дни было поистине несколько романтическим; согласись, что в прелюдии к этому знакомству, при великой неприступности нашего нелюдима, есть что-то от атмосферы сказки.

Предполагая, что там соберется светское общество, я решил и одеться по-светски и радовался, что портной обещал мне закончить мой вечерний костюм как раз в субботу. Тот день был ужасно дождливым и снежным, дрожь пробивала при одной мысли выйти на улицу, и потому я был доволен, когда после обеда пришел Рошечка¹⁷⁷, рассказал мне кое-что об элэатах и о боге в философии — ибо он в качестве *candidandus*¹⁷⁸ обрабатывает данную ему Аренсом тему «Эволюция понятия бога до Аристотеля», меж тем как Ромундт старается разрешить призовую задачу университета «О воле». — Смеркалось, портной не пришел, а Рошер ушел. Я проводил его, пошел разыскивать портного

сам и обнаружил, что его рабы усердно занимаются моим костюмом: мне пообещали прислать его через три четверти часа. Я ушел удовлетворенный, заглянул к Кинчи¹⁷⁹, полистал «Кладдерадач»¹⁸⁰ и с удовольствием обнаружил газетную заметку, где говорилось, что Вагнер в Швейцарии, но что в Мюнхене для него строят красивый дом, в то время как я знал, что увижу его сегодня вечером и что вчера к нему пришло письмо от маленького короля¹⁸¹, адресованное так: «Великому немецкому композитору Рихарду Вагнеру».

Дома я, правда, не застал портного, с прохладцей почитал диссертацию о Евдокии¹⁸² и лишь время от времени с беспокойством слышал резкий, но отдаленный звонок. Наконец до меня дошло, что у старинных кованых ворот кто-то ждет: а ворота заперты, как и дверь в дом. Я крикнул человеку через сад, чтобы он шел в Наундёрфхен¹⁸³: но при таком шуме дождя он меня не понял. Весь дом пришел в волнение, наконец ворота и двери отперли, и ко мне вошел старичок с пакетом. Было половина седьмого; пора было одеваться и приводить себя в порядок, потому что живу я на отшибе. Ну да, у этого человека были мои вещи, я их примерил, они подходят. Тут дело принимает сомнительный оборот. Он предъявляет счет. Я учтиво его акцептую: но он хочет, чтобы я заплатил прямо сейчас, на месте. Я выражаю удивление и растолковываю ему, что буду иметь дело не с ним как работником, замещающим моего портного, а только с самим портным, которому давал заказ. Человек прижимает меня все больше, время прижимает все больше; я хватаю вещи и начинаю их надевать, человек хватается за вещи и не дает мне их надеть: насилие с моей стороны, насилие с его стороны. Какая сцена! Я сражаюсь в одной рубашке, потому что хочу надеть новые панталоны.

Наконец, следуют буря оскорбленного достоинства, торжественные угрозы, проклятье моему портному и его пособнику, клятвы мести: и человек удаляется с моими вещами. Конец 2-го акта: я в рубашке сижу на софе и разглядываю черный сюртук — достаточно ли он хорош для Рихарда.

— Снаружи льет дождь. —

Четверть восьмого: а в половину восьмого я договорился с Виндишем встретиться в Театральном кафе. Я сломя голову выбегаю в темную дождливую ночь, черный человек тоже, без фрака, но в повышенно романическом настроении: фортуна улыбается, и даже в сцене с портным есть что-то гротескно-необычное.

Мы приходим в очень уютный салон Брокгаузов: там нет никого, кроме членов семьи, Рихарда и нас двоих. Меня представили Рихарду, и я в нескольких словах выразил ему свое почтение: он обстоятельно расспросил меня, как я познакомился с его музыкой, ужасно выбранил все постановки своих опер за исключением знаменитых мюнхенских и стал потешаться над капельмейстерами, которые обращаются к своим оркестрам в таком задушевном тоне: «Господа мои, а сейчас играем страстно», «Дражайшие мои, еще немного более страстно!» В. очень любит имитировать лейпцигский диалект. —

Теперь я хочу коротко рассказать тебе о том, что принес нам этот вечер, — поистине, это были наслаждения столь своеобразно-пикантные, что я до сих пор не могу прийти в себя и не нахожу ничего лучшего, как поговорить с тобою, мой дорогой друг, и объявить «чудесную весть». Перед столом и после Вагнер играл, и притом все важнейшие места из «Мейстерзингеров», имитируя все голоса, и был при этом очень раскован. Человек он баснословно живой и пламенный, он очень быстро говорит, очень остроумен и способен совершенно развеселить общество вот такого самого частного рода. Меж тем у меня с ним состоялся длительный разговор о Шопенгауэре: ах, ты поймешь, каким наслаждением было для меня слышать, что он говорит о нем с неопишуемой теплотой, что он ему благодарен, что он — единственный из философов, познавший сущность музыки; потом он осведомился, как нынче к нему относятся профессора, рассмеялся, услышав о философском конгрессе в Праге и заговорил о «философах-носильщиках». После этого он вслух прочел кусок из своей автобиографии, которую сейчас пишет, — совершенно восхитительную сцену из времен своей лейпцигской учебы, сцену, о которой я и теперь не могу вспоминать без смеха; кстати, он пишет чрезвычайно умело и остроумно. — Под конец, когда мы оба собрались уходить, он очень тепло пожал мне руку и очень дружески пригласил меня навещать его, чтобы заниматься музыкой и философией, а еще поручил мне знакомить со своей музыкой свою сестру и родных, что я торжественно ему и обещал. — Ты услышишь больше, когда я займу по отношению к этому вечеру более объективную и отстраненную позицию. А сегодня я с тобой сердечно прощаюсь и желаю тебе крепкого здоровья.

Ф. Н.

Res severa! Res severa! Res severa!

Мой дорогой друг, прошу тебя писать в Бонн прямо д-ру Клетте и (без дальнейших формальностей и оснований) требовать назад рукопись. Я по крайней мере поступил бы именно так.

Бестактность Ричля чересчур сильна: и она отчетливо проявилась в состоявшемся разговоре, почему я и говорил с ним немного холодно, что его сильно шокировало.

Что «Рейнск. муз.» сейчас перегружен, совершенная правда: это тебе докажет его последний номер за нынешний год, который на четыре листа больше обычного.

Понятно, что лично я еще и особенно сердит из-за этой истории. Ведь это я с лучшими намерениями и с самым дружеским мнением о тебе сделал тебе предложение отдать рукопись в «Рейнск. Музей»: а ему я думал сделать этим нечто очень приятное. Особенно меня берет досада, когда я вспоминаю, для какой прекрасной цели была изначально предназначена эта прекрасная статья.

Если ты захочешь отомстить, пошли свое сочинение в «Гермес»¹⁸⁴; сам я, правда, не любитель такого рода мести. О «Филологе» при таких обстоятельствах не может быть и речи, а с ежегодником Флекайзена¹⁸⁵ дела обстоят так же, как и с «Рейнск. Музеем».

Значит, дорогой друг, надо искать издателя (и если я имею право тебе советовать, то издай одновременно с *ὄνομα*¹⁸⁶, на известных тебе условиях, касающихся рукописей). Естественно, ты предпочтешь искать издателя в своем родном Гамбурге: а нет, так положишься на меня, и я буду с рвением искать благородного книготорговца, если ты меня на это уполномочишь.

Во всяком случае, дело должно пойти быстро, даже в месячный срок напечатают, наверное, сочиненьице объемом в 3—4 листа. —

А если тебе это не к спеху, то мы вдвоем можем разработать совместный план: напишем вместе книгу под названием «Доклады по истории греческой литературы» и разместим в ней кое-какие крупные статьи (с моей стороны, например, о писаниях Демокрита, о гомеро-гесиодовском *ἄγωνα*¹⁸⁷, о кинике Мениппе) и добавим туда какое-то количество мелких заметок.

Что ты на это скажешь?

С верной дружбой и участием,
*in rebus secundis et adversis*¹⁸⁸

Лейпцигский Идиллик

17. РОДЕ — НИЦШЕ

Гамбург, 14 ноября 1868 (ор. 130)

Мой дорогой друг!

Взволнованно говорю я тебе спасибо за преданность, с которой ты представлял меня и поддерживал в этом досадном деле. Редко меня беспокоило что-нибудь до такой степени, и не случайно эта досада вызвала у меня небольшой, к счастью, быстро прошедший приступ лихорадки. [— —]

Естественно, я сразу же последовал твоему совету, единственно подходящему к этой ситуации. [— —] Мне уже и так стоит больших усилий морочить себя самого по поводу собственной ценности — и любой шок такого рода внушает мне тогда малодушие. Хоть я в таких случаях и остерегаюсь делать посторонним одолжение, показывая им свою небольшую веру в себя, в душе в такие моменты я все же очень неустойчив и ни за что не могу поверить в свой успех. [— —] Разумеется, сперва мне самому нужно немного разобраться в вопросе детальней: но, думаю, я справлюсь со всем за восемь дней. Ведь ты, конечно, прав — надо поспешить. Поэтому-то я за то, чтобы покамест отложить, но, конечно, не отменить этот заманчивый план совместной книжечки. Такое *opusculum*¹⁸⁹ могло бы, пожалуй, стать плодом нашей парижской *κοινωνία*¹⁹⁰. Ах, эти парижские планы были чуть ли не единственным светлым пятном на обложном темными тучами горизонте моих мыслей последней недели, и я постоянно опасаясь, как бы какой-то завистливый ветер не закрыл тучами и этот мой последний просвет! *Absit omen!*¹⁹¹ [— —]

Засим прощай, дорогой друг; позволь мне еще раз пожать тебе руку за всю твою преданность, и поверь, что никто не любит тебя крепче, чем твой

Эрвин Роде

18. НИЦШЕ — РОДЕ

Лейпциг, День покаяния [20 ноября 1868]

Мой дорогой друг,

теперь, когда я снова с близкого расстояния вижу кишашщее племя сегодняшних филологов, когда мне каждый божий день приходится наблюдать все это кротовье усердие, набитые защечные мешки и слепые глаза, радость по поводу добытого червячка и безразличие к истинным, мало того, жгучим проблемам жизни, наблюдать не только у молодой поросли, но и у спелых старцев, — мне все больше становится ясно, что если мы с тобой останемся верны нашему дарованию, то не сможем пройти наш жизненный путь без всякого рода препон и происков. Если филолог не совмещается с человеком полностью, то упомянутое племя сперва дивится такому чуду, потом злится и наконец царапается, лает и кусается: пример этого ты как раз и узнал на себе. Для меня совершенно очевидно, что сыгранная с тобой злая шутка была направлена не против твоих профессиональных достижений, а против твоей персоны; и я тешу себя надеждой как-нибудь вскоре впервые почувствовать, что ждет в этой адской атмосфере и меня. Но, дорогой друг, как скажется мнение окружающих на твоей и моей работе? Вспомним о Шопенгауэре и Рихарде Вагнере, о неиссякаемой энергии, с которой они отстаивали веру в себя под крики всего «образованного» общества; и раз уж невозможно апеллировать к *deos taximos*¹⁹², то у нас еще все-таки остается то утешение, что сычам нельзя отказать в праве на существование (в том числе и совушкам, см. прилож. фотогр.¹⁹³) и что два понимающих друг друга и единомышленных сыча являют собой веселое зрелище для богов.

Наконец, нет ничего более печального, чем то, что как раз теперь, когда мы начинаем на практике опробовать свое мировоззрение, ощупывая своими щупальцами по очереди все вещи и отношения, людей, государства, профессиональные занятия, всемирную историю, церкви, школы и т. д., — что как раз теперь нас разделяет такое множество верст и что каждому из нас приходится в одиночку переваривать наполовину приятное, наполовину болезненное ощущение — свое мировоззрение: ах, не было бы ничего более отрадного, чем сейчас символически пить вместе послеобеденный кофе, как в давнее время мы совместно перевари-

вали наши трапезы у Кинчи, и с вершины нашей жизни смотреть вперед и назад.

Ну, для этого еще не поздно побывать в Париже, где идет великое ἀναγνώρισις¹⁹⁴ нашей комедии, причем на самой прекрасной сцене в мире, среди самых цветастых кулис и огромного множества блистательных статистов.

Ах, как прекрасна эта фата-моргана! —

А потому долой всеобщую действительность, позорно пошлую эмпирию, кропотливые расчеты, трезвость «Гренцботен»¹⁹⁵ — нет, пусть все это письмо будет от всей души

другу вручено
как торжественный привет
(он опустошает всю чернильницу)

Хор аскетов:

Грехопадения,
Смерти и тления
След с поколения
Смыт и исчез¹⁹⁶.

19. Роде — Ницше
Гамбург, 24 ноября 1868

Мой дорогой друг,
огромное спасибо за твой «торжественный привет» — он необычайно меня подкрепил. Это правда, даже сычи должны жить, и они будут скорее овцами, чем сычами, если доставят своим противникам удовольствие, свернув свои крылья в неуместной робости. С этою-то мыслью я и взялся придать своему ослу finishing touch¹⁹⁷: le voilà¹⁹⁸! Но пошлю я его тебе, когда, по древнему правилу, согласно которому qui tacet consentit¹⁹⁹, пойму, что ты готов найти в Липцке издателя. А если никого не найдешь, всегда ведь можешь отослать его назад. Кроме нескольких небольших вставок — на с. 40 я не смог отказать себе в удовольствии бросить свет на папу

Шопенгауэра как на *philologum*²⁰⁰, хотя то, что он говорит в том месте из *Paregga*, есть порядочная чепуха, — кроме этого я, стало быть, я прикончил господина Кнауца и присобачил получившееся слишком длинным приложение о рукописях. [— —]

На этом хватит об ослятине. —

За портрет совушки большое спасибо; либо он льстит ей, либо оригинал весьма похорошел. Можно было бы основать нам совиный клуб; уже древние говорили о совиной природе заправского филолога, указывая на афинскую сову как предназначенный для них идол; конечно, твой образ крота подходит сюда еще больше. Мною снова и снова овладевает настоящее чувство раскаяния за то, что и мы оба прибились к совиной породе. Неужели нельзя было, вместо того, чтобы все снова и снова копошиться в старых пыльных заплатах и выворачивать наизнанку старое изношенное платье, использовать свои силы, насколько таковых хватит, методами исследования природы разрешая куда более важные проблемы, этическая значимость которых поистине неимоверна в сравнении с теми, что так мелко нас занимают? Блажен заправский, явно специально для этого созданный демиургом прафилолог, идея филолога, пьяный от безвкусного напитка поучительных высокопарных фраз, какими его потчуют, к примеру, в ужасающе плоских, но именно поэтому восхваляемых громким хором академических проповедей К. Курциуса²⁰¹, — битком набитые «необычайной важностью» какой-нибудь конъектуры, скажем, *υέ* вместо *χαί*: поистине, царствие небесное принадлежит этим нищим духом. Но когда слышишь, как и самые одаренные люди с энтузиазмом воспевают свои микроскопические находочки, поневоле подмывает думать, что в царстве филологии что-то сгнило; честно говоря, это царство стало настоящим *resertaculum*²⁰² научной молотильни фраз, распространенной в других науках только в виде популяризаций, привлекающих публику, которая без этой пошлости обойтись никак не может. Врачу, естествоиспытателю таинственный лик истинной сущности, видимый сквозь покрывало майи, постоянно предстает темным, вопрошая его зовущим взором и внушая его душе глубокую, задумчивую серьезность: поэтому у одаренных людей из этого сословия можно обнаружить некоторую покорную задумчивость и серьезность, а вот столь же одаренные филологи правильного склада демонстрируют лишь раздутую академическую напыщенность.

И при всем этом досадном понимании детского крохоборства нашей филологии все же как раз это самое крохоборство обеспечивает филологам покой и удобство. Отчасти это проистекает из благословенности любой работы *quelleconque*²⁰³, но отчасти, конечно, и из того, что люди, совершенно не осознавая этого, находятся в душевном пространстве, где, в сущности, нет никакого представления о большом и малом. Между тем все-таки большая разница, на чем человек воспитывает свой характер и дышит ли он *grand air*²⁰⁴ жизни или грамматической пылью. Потому-то чрезвычайно отрадной бывает мысль еще раз как следует размяться перед тем, как окончательно впрячься в работу, еще раз насладиться вдвоем всей поэзией дружбы и душевного согласия во всех высоких и добрых мыслях в свете юности, в блеске мира, еще раз снова оказаться совершенно свободным, без боязливых сомнений; убедиться в том, что мог бы отделаться от филистерства и вести самобытную жизнь, как цикада, *θήρεος γλυκὺς προφήτης*²⁰⁵. Это будет настоящее розовое лето нашей жизни, и его аромат потом подсластит нам работу и затхлость пыльного воздуха.

Но сначала наступит эта грязная зима, которая, по крайней мере мне, в преддверии докторского и государственного экзамена, не принесет ничего, кроме серых скучных облаков наверху и слякоти внизу. —

На днях я прочел «Рефлексии и максимы» Ларошфуко; это еще один пессимист, но от него не получить никаких этических стимулов; он только чешет ум тысячью всегда пикантно приправленных вариаций на тему одной мысли — что причина всего есть эгоизм. В том числе даже и сострадание: тут-то и открывается слабое место этого человека. Он, как и большинство людей, взрощенных в иудейском теизме и оставшихся у него в плену, не знает никакой другой взаимосвязи между индивидами, кроме той, что устанавливают привязанные к куклам проволоки в руках старика сверху, который в шутку разыгрывает эту жалкую комедию мира и человеческой истории. Тогда, конечно, остается необъяснимой возможность любого чувства, основанного на единстве вселенной: ведь мы, разумеется, можем любить только нечто однородное, а с этой точки зрения каждая кукла абсолютно однородна только себе самой. — Так что этот опус произвел на меня неприятное впечатление.

На сегодня довольно болтовни, дорогой друг; поскорее снова дай о себе знать, ведь тебе известно, что лучшие мои мысли рождаются в ощущении единства с тобой, переживаемого все снова. Твой верный друг

Эрвин Роде

20. НИЦШЕ — РОДЕ
Лейпциг, 25 ноября 1868

Мой дорогой друг,
сегодня только два коротких сообщения: во-первых, уже нашлся-таки издатель для твоей статьи, причем превосходный и на деле служащий благу науки — д-р Энгельман, так что ты или твой перенец в хороших руках.

Если по этому поводу ты ощущаешь кое-какую радость и хотел бы ее выразить, ступай к своему книготорговцу и запроси у него только что вышедшее в свет 2-е издание «Оперы и драмы» Рихарда Вагнера; затем поуютней устройся у печки и, находя в книге прекрасные места, а их там несчетное множество, думай о том, что твой добрый друг в Лейпциге совсем по-детски радуется как раз этим самым местам.

С неизменной преданностью
и любовью,
твой каждый день жаждущий
известных рукописей
друг.

Об остальном потом: сегодня мало, но быстро и хорошо.

21. Роде — Ницше
Гамбург, 2 декабря 1868

Мой дорогой друг!

[— —] Теперь, когда история с ослом благополучно завершилась, я ненадолго разрешил себе еще своего рода литературную последнюю трапезу приговоренного: прямо перед тем, как окунуться в серые будни подготовки к экзамену, я позволил себе еще немного литературного «кутежа». Тогда я с ужасом увидел, как, словно резина, медленно подползают эти недели, которые придется посвятить только умопомрачающей зубрежке. Прощай, эпикурейский покой, который можно с удовольствием тратить только на литературное гурманство! Караул! Караул! — как прекрасно выражается папа Шопенгауэр. [— —]

А пока что я для развлечения немного погрузился в романтиков и при этом заметил первым делом, что в учении Шопенгауэра можно увидеть чистую кристаллизацию стремлений его романтической юности, очищенную от поповских кварцев. Отсюда у меня возникла некоторая симпатия к этим людям, слепо поносить которых в наши «здоровые» времена стало хорошим тоном. Я вовсе не отрицаю все их патологические стороны, их исключительно «пассивный талант», их неспособность перейти от музыкального, расплывчатого очарования к созданию пластичных образов. А вот что привлекло к ним мою симпатию, так это их явное отвращение ко всему тривиальному. Ну и пусть прекрасный разноцветный мир образов — всего лишь игра воображения; реальность, в которую так свято верят обычные люди с их плебейскими делами, для человека пронизательного тоже ничем не гарантирована, мало того, как раз она-то и не гарантирована. Но ведь именно это до дрожи пронизывающее ощущение глубокой, грезоподобной загадочности всего сущего и есть то, что эти поэты делают основным тоном своих творений. В нашей природе заключены два существа: одно интуитивно и с полной достоверностью понимает непознаваемость истинной реальности и привязанность нашей воли к собственной характерной неизменности и к необходимой обусловленности данного нам в качестве сюжета «мирового процесса»; но на практике, в каждом отдельном случае, это познание того, что нам «указано» видеть

только «освещенное, но не сам свет»²⁰⁶, что у нас вообще нет свободы воли для отдельных поступков, — совершенно утрачивает свою четкость: мы расхаживаем так, будто стоим на абсолютной понятной нам почве, и будто по своей прихоти управляем своими шагами туда или сюда, быстрее или удобней. Стоит ли перед поэзией задача удерживать нас в этой поверхностной иллюзии? Без размышлений, с отвратительной, надутой уверенностью «здравого смысла» основываться на эмпирической реальности? Допускать лишь мельтешение обычных фигур театра теней, которым является жизнь? Так поступает достохвальная поэзия нашей столь преуспевающей эпохи; разумеется, plebecula²⁰⁷ ликует — и вместо того, чтобы обратиться к маленькой общине людей более пронзительных, эти господа предпочитают голосовать по поводу поэзии и философии! Потому-то мы и живем в эпоху тривиальности: я понимаю, что в общем-то и здесь есть свои хорошие стороны; но мне теперешнему больше нравится поэзия, всерьез пробуждающая в нашем сознании то самое исключительно таинственное в будничной жизни. Быть наивным в шиллеровском смысле слова имеет право лишь величайший художник, гений, который в своих творениях сам есть вся созидаящая природа; а простые таланты могут создать нечто достойное только в рамках «сентиментальной» поэзии, ибо «храни нас Господь Бог» от «наивности» господина Фрейтага²⁰⁸ и компании — хотя эта порода собак, в противоположность тем, проклятым на вечные времена, объявляет себя как раз совершенно здоровыми. Известная разновидность пошлости не в состоянии даже заболеть.

А мы в эту эпоху политики и герольдического²⁰⁹ настроения будничных трудов будем держаться за остатки поэзии, дающей жизнь, возвышающей от тривиального в вечно истинное царство прекрасного, выражает ли оно себя в метафизике, музыке или где еще. Потому-то и надо приветствовать выход в свет 2-го издания книги Вагнера как безусловно отрадное событие. Я пока дочитал только до середины, но даже половина производит благоприятное впечатление. Тут можно ощутить горение целостной, несокрушимо творческой художественной природы: уже одна только идея искусства, представляющего в чистом образе словно целый мир, волю и интеллект, — совершенно грандиозная концепция, к тому же вовсе не голая, недостижимая выдумка.

Прощай, дорогой брат *in arte poetica*²¹⁰, и поскорее напиши мне что-нибудь отрадное о своей прекрасной лейпцигской жизни. Твой старый преданный товарищ по оружию

Э. Р.

22. Ницше — Роде

Лейпциг, 9 декабря 1868

Мой дорогой друг,

я все еще не могу сообщить тебе подробности об условиях Энгельмана, поскольку означенный воин уехал в Берлин. Во всяком случае, он уже заявил, что рукопись возьмет, а, значит, главное уже сделано. Как долго (т. е. как скоро) она будет печататься, сколько бесплатных экземпляров он тебе даст, я сообщу, как только узнаю. Вообще, я в этом деле не заслуживаю ни грана благодарности, ведь тем, кто открыл доступ к Энгельману, поскольку обладает куда большим личным авторитетом, чем я, *ἀνώγουμος*²¹¹, был наш несравненный Виндиш. Кстати, если мы сделали здесь неверный ход, то перспективы для славного *ἽΝΟΝ*²¹² очень плохи: ведь с такими брошюрами объемом 3—4 листа каши не сварить, а потому Тойбнер²¹³ и все, кто думает, как он, принципиально не возьмутся за подобное дело. Так что хвала Энгельману и спасибо папе Виндишу.

При повторном просмотре твоей работы я еще раз разозлился на косые глаза тех, кто до сего дня держал ее в когтях. А в особенности еще и на то, что те же глаза увидели невесть какие заслуги в ослиной деятельности Кнаута²¹⁴. Те глаза излучали недоброжелательство, это был сглаз, который так враждебно противостоял твоей работе и тебе.

Кстати, ты не хочешь, чтобы я отрецензировал твою работу в «Центральблатт», или тебе важнее, чтобы кто-то третий (вероятно, Бурсиан) высказался о ней *oculis integris*²¹⁵? — *Come voi volete*²¹⁶. —

После этого делового пролога я уже могу рассказать тебе кое-что о том, что я теперь подделываю, причем для начала — *a bove principium*²¹⁷ — о моих филологических занятиях. С тех пор как я снова здесь, я непозволительно метался туда-сюда между теми работами,

которые когда-нибудь закончу, но это надо сделать в определенной последовательности, а не в случайном порядке. О том, что я снова собираюсь издать маленькую работку περί Ἡσιόδου καὶ Ὀμήρου καὶ τοῦ γένους καὶ ἀγῶνος αὐτῶν²¹⁸, ты знаешь, как и о том, что к ней должно быть приложено исследование по вопросам гомеровской традиции. В последнем пункте меня постигла беда — я утратил уверенность в одном очень важном месте: мой славный певец Гомер, который, как мне казалось, был уже у меня в руках, в одно прекрасное утро испарился, как призрак; теперь он снова стал мифическим пугалом, проделавшим самые странные превращения, а их описание было бы задачей для Штрауса и ему подобных талантов. — Это сейчас немного подпортило мне дело, а потому я его отложил: впрочем, при моем подходе остается все же достаточно, чтобы вся эта область продолжала быть для меня интересной и ценной. По моей просьбе я получил из Лейденской библиотеки от господина Дю Рьё рукопись, содержащую точную копию <руки> Генриха Стефана, а новую сверку с оригиналом я жду из Флоренции.

В начале ноября я сделал доклад в <Филологическом> обществе об этом странном отшельнике Мениппе: время его жизни я на основании 4—6 пунктов определил как «около 280 г. до н. э.», и снова прав Проб в широко известном свидетельстве о Варроновых сатирах. Таким образом, молодость Варрона вовсе не выпадает на время жизни Мениппа, как полагают Элер, Рёпер, Бернхарди, Ризе и т. д. Лукиановский Менипп жил около 280 года; схолии, конечно, поступают глупо, исходя из реминисценции о филостратовском Мениппе, который встречается с Аполлоном в Кринфе.

А теперь я снова совершаю абдеритские набеги²¹⁹, используя при этом свои постепенно уже несколько созревшие представления о Лаэртии. Тут у меня кое-что получается, мало того, я прихожу к убеждению, что в таких работах в продвижении вперед больше помогает определенное филологическое остроумие, спонтанное сопоставление скрытых аналогий и способность ставить парадоксальные вопросы, чем строгое следование методу, уместное лишь там, где уже проделана главная умственная работа.

Короче говоря, эти демокритовские штудии должны восстановить указатель Фрасилла по его форме и направленности и одновременно заложить основу для будущего собрания демокритовских фрагментов (Муллах — растяпа, остолоп) благода-

ря исследованиям неподлинных мест, организации материала в старейших указателях, анализу диогеновской биографии Демокрита и т. д. Лично мне страшно нравится фигура Демокрита, правда, я заново целиком реконструировал ее для себя, ведь наши историки философии, будучи людьми богобоязненными и правоверными иудеями перед Господом, не могут отдать должное ни ему, ни Эпикуру; а уж менее всех на это способен женоподобный, натужно острящий, лгущий и мутящий воду Шлейермахер, которого всюду восхваляют или порицают до тошноты, то и другое самым нелепым образом; истина-то как раз не посередине, а в совсем другом месте. — 22 февраля 1888-го и мы будем праздновать некий столетний юбилей²²⁰: знаем мы, и почему. —

По этому случаю мне пришло в голову: я ведь не знаю, когда твой день рождения. А очень хотел бы узнать.

Теперь еще о кое-каких Lipsiensia²²¹. Сюда наконец прибыл и Лаубе — с ехидной физиономией, но, как кажется, с большим практическим талантом и должной энергией. Кстати, и со своей женой, которая производит впечатление совершенно нечеловечески достойной женщины. Лаубе снял квартиру возле гартенлаубеновского Кайля²²² и, кажется, хочет держать открытый дом. Он уже сейчас развил необычайно бурную деятельность, все газеты сообщают о новых ангажементах, актерам он грозит огромным количеством репетиций, студентов приваживает пониженными ценами; одновременно старый театр приспособливается для комедий и фарсов. Кстати, он пригласил из Гамбурга одну примадонну, некую Шнайдер: кто она, чем занимается и какова на сцене? — Γλαυκίδιον уже получила от него прибавку в 100 талеров (так что сейчас ее жалованье 500 тал.), да и вообще laudes²²³ и надежды. В прошлое воскресенье означенная особа вместе со своей хорошенькой сестрой обедала у нас, а после обеда я и моя комната имели счастье дать на час убежище этим молодым женщинам, которые усердно занимались приготовлениями к Рождеству. И все это было сплошь γέλως и γλυκύτης²²⁴.

— Каждое из твоих писем доказывает мне, что и впрямь ужасно жаль всего прекрасного времени, которое мы не проведем вместе, к примеру нынешней зимы: она, правда, даст мне все возможные стимулы и увеселения в лейпцигском стиле, но отказывает мне в прямом и ежедневном общении с братом по мировоззрению; мне

следовало бы назвать здесь разве что славного Ромундта, который, конечно, понравился бы и тебе — в противоположность множеству весьма заурядных, но ученых умов, с чувством собственного достоинства взирающих сверху вниз на то странное сочетание проницательности, пытливости и неумелости, что называется Ромундтом. — Как часто мы с ним ходим одними путями, мне снова стало ясно по одному действительно забавному синхронизму: мы в одно и то же время занимались романтизмом и жадными носами всасывали уютные и родные ароматы, причем ни один из нас не знал об этой как-никак ненормальной деятельности другого. Назвать подобное случайностью было бы грехом против святого духа Шопенгауэра. Впечатленный этим инцидентом и вообще совершенно удивительными совпадениями между твоими письмами, которыми я неизменно наслаждался с благодарностью и огромным удовольствием, и моими нынешними размышлениями, я питаю еще и глубокое убеждение в том, что мы полностью сойдемся в понимании гения, который представлялся мне неразрешимой проблемой и все новые подходы к которому я искал годами: этот гений — Рихард Вагнер. Вот и второй пример того, как мы, почти не беспокоясь о господствующем и распространенном как раз среди образованных людей мнении, воздвигаем себе своих собственных кумиров: и уже второй раз делаем этот шаг с большей уверенностью и верой в себя.

Вагнер, каким я знаю его теперь благодаря его музыке, поэтическим творениям, эстетике и не в последнюю очередь благодаря прекрасному личному общению с ним, — самая живая иллюстрация того, что Шопенгауэр называет гением; мало того, бросается в глаза сходство того и другого в мельчайших чертах. Ах, хотел бы я в какой-нибудь уютный вечерок поведать тебе о многих мелких подробностях, которые я знаю о нем, по большей части от его сестры; хотел бы я, чтобы мы почитали друг другу его поэтические сочинения (которые Ромундт ценит так высоко, что считает Рихарда Вагнера заведомо первым поэтом среди ныне живущих, и о которых, как рассказал мне сам Вагнер, очень хорошо отзывался даже Шопенгауэр²²⁵), хотел бы я, чтобы мы шаг за шагом прошли отважным, даже головокружительным путем его радикальной и стимулирующей эстетики, чтобы мы, наконец, забылись в чувственном полете его музыки, в этом шопенгауэровском море звуков, потаенный плеск волн которого я чувствую и в себе, и потому мое восприятие вагне-

ровской музыки есть ликующая интуиция, мало того, полное удивления обнаружение себя самого.

Но наслаждаться всем этим с таким другом, как ты, для меня — поистине жгучая потребность, а потому я с нетерпением думаю о времени, когда мы снова встретимся. Не отдаляйся!

С преданной дружбой,
твой Фридрих Ницше

Лейпциг, Лессингштрассе, 22, 2-й подъезд

23. РОДЕ — НИЦШЕ
Гамбург, 23 декабря 1868

Дорогой друг! Вот видишь, меня прервали²²⁶. Дело в том, что на следующий день получил ту книгу, которой ждал: тут-то и началась отчасти зверская зубрежка, а отчасти, как говаривал наш учитель истории, «смертоубийство», что связано с множеством недостатков моей работы, сокращенный вариант которой я теперь сделал; он, после одобрения на факультете путем вычеркивания и переписывания для печати, предстанет в выгодном свете. В результате во мне исчезли все человеческие мысли, ведь и впрямь нет ничего более ужасного, чем филолог, охваченный своей грезой, — Шиллер в этом отношении заблуждается; эта греза заключается в том, что он будто бы делает нечто благоразумное, «с наслаждением глотая пыль»²²⁷; эта греза, неясно, к счастью или к несчастью, у меня всегда прекращается только в «затяжной зубрежке». Тот, у кого она становится хронической, а то и вовсе привычной, делается ужасным, даже в воспоминании пробуждающим страшно тоскливые мысли существом, как, например, этот самый славный ***. Не могу тебе передать, насколько удручающе действует на меня часто мысль о том, что честными усилиями производшь в конце концов вещи, далеко не столь ценные, как приличная пара сапог. И не всегда удерживаешься на той точке зрения, что в конечном счете внутренняя ценность какого-либо дела для нас — таинство, да и копаться в этом вовсе не стоит. Ведь, безусловно, верно, что мы бродим

в потемках во всех вещах, по крайней мере я все больше обретаю ясную уверенность в том, что, за исключением поэтических творений, имеющих лишь субъективное право на существование, мы абсолютно не в состоянии познать до дна ни одну вещь. Это весьма очевидно в самых простых вопросах. К примеру, задают вопрос: в чем причина того, что убийство человека — совершенно несомненный грех, безошибочно воспринимаемый в качестве такового самим преступником? В ответ в каждом случае услышишь не что иное, как более или менее осмысленно, если угодно, софистически примененное определение понятия убийства. Будто бы приведена причина. Но на самом деле мы можем самое большее точно определить несомненные факты сознания; до причины какого-либо события нам никогда не докопаться. И тут снова оказывается прав старик Гёте: самое большее, по крайней мере последнее, до чего может идти человек пронизательный, — изумление²²⁸. Этого, конечно, никогда не понять людям здравомыслящим, бредущим ощупью с мужеством слепоты! Они сорвали голос, оправдывая равнодушный квиетизм, — это, конечно, было не более чем смирением чувства, под внутренним давлением стремящегося к более глубокому созерцанию. У нас есть лишь одна способность, которая может подвести нас ближе к первопричине вещей, а именно сокровеннейшее ощущение, инстинкт, предчувствие или как там еще, короче говоря, то, что постижимо произведением искусства, так называемого поэтического, и тем, что по большей части понимают под метафизической наукой. Поэтому для того, кто не хочет долго задерживаться в тупости, глубокой и жгучей потребностью становится время от времени всем своим существом и с радостью получать стимулы от искусства, того искусства, которое хранит верность своему призванию. У меня, по крайней мере, дело так и обстоит; я страстно жажду красоты, помощи гения, который освобождает нас от себя самих. И уже то, что такие гении существуют, ходят или ходили среди нас, придает жизни устойчивость. Одна только мысль о существовании, о внутренней жизни, скажем, Гёте, Бетховена, Шопенгауэра, окрыляет и ободряет. Потому-то и я с ликованием приветствую недавно явившегося сына богов, который здесь, внизу, зовется Р. Вагнером. Столь чистая и всецелая устремленность, равно свободная от мелочности жалкой вражды и дружбы, подобна сияющей звезде на темном небосклоне. Что меня особенно по-

радовало в его книге, это та подлинная *ingenuitas*²²⁹, которую никто не охарактеризовал лучше, чем Гёте в своем бессмертном надгробном слове Шиллеру, — а за пределами книги, в призрачном тумане, лежит то, что сковывает всех нас: посредственность. Эта искренняя, непредвзятая, устремленная лишь к великому чистота есть то, что образованная чернь понимает менее всего, а если понимает, то не в состоянии вынести. А когда герой умрет, постепенно соберется сброд и выстроит ему памятники. — Что меня сильно раздражает, так это невозможность слушать здесь музыку Вагнера, ведь, конечно, я, познакомившись с собственными мыслями мастера, смог бы заглянуть в сокровенную жизнь этого чудесного мира звуков куда глубже. Я вот еще помню постановку «Тангейзера» в Лейпциге, которую слушал под совсем свежим впечатлением от аскетики и учения о музыке Шопенгауэра и которая стала для меня подлинным глубинным проходом через сансару к блаженной нирване.

Из-за задержки это письмо стало настоящим рождественским. В дни праздника пусть оно будет для тебя, мой дорогой друг, залогом той неизменной любви, с какой я постоянно вспоминаю о тебе. Только тебе я обязан лучшими часами своей жизни; хотел бы я, чтобы ты прочел в моем сердце, как искренне благодарен я тебе за все, что ты ему подарил, ты, который открыл для меня страну чистой дружбы, куда прежде я с жаждающим любви сердцем заглядывал, как бедное дитя в богатый сад. Я, который с давних пор был одинок, теперь я чувствую себя единым с одним из лучших, и тебе будет трудно понять, насколько это изменило мою душевную жизнь: при моем глубоком осознании своих тяжелых и слабых сторон любовь и добросердечие несказанно укрепляют меня, как что-то незаслуженное. Я хотел бы только одного: чтобы мы были вместе; для общения с филологическими и нефилологическими кротами я становлюсь все более непригодным и каждый день стремлюсь к тебе, дорогой друг, и к той глубочайшей гармонии, которая сделала наше общение столь счастливым. С людьми, как с музыкой: большинство ведет жизнь фривольных, ничем не мотивированных, самоуверенных мелодий Россини, большая часть даже Абта и Кюкена²³⁰; счастлив, кто живет, как Моцарт, который, согласно прекрасному изречению Вагнера, не умел говорить иначе, чем правильно. Есть ведь люди, живущие не в пошлых напевах, а в звенящих гармониях; *plebescula* дивится сей «нездоровой»

взволнованности; но если сливаются воедино два таких потока гармонии, получается тем более глубокое благозвучие. Да устроит же демон²³¹, чтобы и мы с тобой скоро снова встретились; без тебя я кажусь себе праздным клавиром, в котором все звуки дремлют, а струны покрываются пылью. Так вот, если нам не помешает какой-нибудь враждебный бог — *praefiscine dixerim*²³², — то весной в Париже начнется новая жизнь, истинная *συμφωνία*²³³. — —

В заключение мне придется, наоборот, заняться еще немного *philologica*²³⁴. [— —] К филологии в некотором смысле относится мой день рождения — день рождения знаменитого филолога: надо удивляться тому, что ты уже давно не узнал — небезызвестный тебе Э. Р. родился в Гамбурге 9 октября 1845-го. О твоём дне рождения я, правда, тоже никогда не узнавал, но, применив филологическое чутье и на основании различных признаков отношу его к 15 октября 1844-го. Ну что, попал я в точку?

Хватит всяких ученостей. Вернусь к Рождеству и пожелаю тебе на Рождество и одновременно на Новый год бодрости духа, удачи во всех академических планах, а прежде всего тебе и мне заодно исполнения нашей золотой парижской мечты. Счастливого возвращения, мой старый друг!

Твой Эрвин Роде.

Передавай мой дружеский привет и наилучшие пожелания к светлому празднику твоим матушке и сестре.

24. Ницше — Роде

Лейпциг, 22 декабря 1868

Мой дорогой друг,

думаю, что смогу доставить тебе маленькую рождественскую радость несколькими нижеследующими строками, а потому спешу и несколько запыхался.

Я только что был у славного Виндиша, чтобы выпросить сведения о судьбе твоего сочиненьца, которое я полностью отдал в руки Виндишу. И вот, представь себе, я обнаружил у него уже го-

товый печатный лист, который страстно ждал корректуры. И вот, представь себе, едва я за полчаса освоился у В., как явился наглый типографский мальчишка и принес второй лист. Я поспешно дал парню свой адрес, потому что при данных обстоятельствах готов держать корректуру. Я сделал это, разумеется, без разрешения автора, но что было делать при такой ангельмановской проворности? Вот я и прошу твоего одобрения задним числом; кстати, обещаю, что буду все делать тщательно. — Так что надо надеяться, что печать завершится еще в этом, старом году.

Далее следует точное описание листов.

Формат такой, как в ричлевских книжечках, латинские буквы, 35 строк на странице, то есть весьма пристойный внешний вид. В первом листе умещаются страницы 1—34 твоей работы, во втором 35—70. Стало быть, всего будет примерно 4 листа.

Энгельман хочет лично с тобой познакомиться и просит тебя, когда будешь проезжать через Лейпциг, посетить его там. В его лице ты обретешь благородного издателя. Кстати, я ничего не знаю об условиях, которые он может предложить, но ты можешь быть уверен — нужное количество бесплатных экземпляров он тебе предоставит.

Ах, как сам я рад, что это дело так удачно закончилось, ведь никто больше меня, за исключением тебя, не стал бы злиться из-за его неудачи: я ведь должен нести ответственность за то, что посоветовал тебя в «Рейнск. Музей» и что у этого совета оказались такие скверные и досадные плоды. —

Праздник близко уж, дружок, а я, как прежде, одинок: пришли письмо мне поскорей — не как мое, а подлинней²³⁵.

С наипреданнейшей преданностью,
твой
Фридр. Ницше

25. РОДЕ — НИЦШЕ
Гамбург, 3 января 1869

Мой дорогой друг!

Да будем мы счастливы в новом году. Он должен быть судьбоносным для нас обоих — и пусть будет им! Золотые яблоки Гесперид манят, и пусть новый год наполнит ими наши закрома, поможет одолеть драконов экзаменов, доцентур, защит, диссертаций, изданий и т. д., чтобы мы счастливыми и свободными отбыли на запад. Пусть его наследник престола застанет нас в Лютеции. Это должно быть нашим следующим пожеланием, и если оно исполнится, мы сделаем целый участок пути по той сказочной стране феи Морганы, что зовется счастьем. И в этом году лишь немногие поймают и удержат это волшебное существо; у нас, несчастных людей, дела с нею обстоят так же, как у героя Ариосто в волшебном замке Атласа: нежнейший голос манит отовсюду, и он, одураченный, все время слепо и неистово следует за ним и все время оказывается не там. Я готов поверить, что эта возвышенная богиня в конце концов — всего лишь скромная, тихая, ласковая девушка; по крайней мере, некоторые уже видели ее в этом облике. Но мне ее покуда не представили; и как знать, может быть, она живет в Париже. Во всяком случае, будем искать ее там вдвоем. Не пускай в Лейпциге слишком глубокие корни и в звездный час будь готов к походу! Нужно бы вообще поостеречься слишком рано назначать твердый срок, потому что это редко бывает лучше, чем временное решение; определенность как таковая — родная почва филистеров, людей здоровых, образцовых фрейтаговских профессоров, национал-либеральных стреляных воробьев. Мы, другие, слабые души, можем существовать лишь в стихии временных решений, как рыба — лишь в проточной воде, тогда как лягушке очень приятно в болоте. Но ни одно болото не годится для превращения даже самой отчаянной шуки в надутую, строго определенную, здоровую лягушку больше, чем высшееобразовательная лужа. Хорошо препарированный скелет образцовой лягушки: седовласый профессор из «Потерянной рукописи»²³⁶. — [—]

С прежней преданностью, твой Эрвин Роде

Мой дорогой друг,

прежде чем я сегодня обращаюсь ко всем нашим общим душевным делам, слово хочет ненадолго взять ослик Валаама. Это животное сильно удивляется уже отосланным в Гамбург листам, но сейчас оно просвещено усилиями шефа Другулиновской типографии²³⁷ и впредь будет мыслить как просвещенный наборщик. Первую корректуру читал я: но поскольку одной-единственной атакой невозможно отбить страсть наборщика к переставленным словам и варварскому греческому, то вторая корректура предоставляется тебе, которому в качестве автора помогает совсем иной авторитет (говоря словами Р. Вагнера), а мне, в свою очередь, третья, каковая уже и прочитана. Так будем же надеяться на то, что это новоиспеченное творенье поскочит бодро и весело, подобно *Γλαυκίδιον* в ролях отроковиц. Пусть небеса и дальше даруют тебе и мне таких хороших акушеров, как д-р Энгельман, которому ты, возможно, уже написал пару строк, тем более что он хочет с тобой познакомиться. — На этом ослик умолкает, и снова могут говорить люди.

Ах, дорогой друг, какое прекрасное рождественское поздравление ты прислал мне в Наумбург. Это было в первое утро праздника, под звон праздничных колоколов. Весь мир получил в это утро подарок и потому стал немного лучше, чем во всем прошлом году. Я сам полной грудью вдыхал теплый воздух родины, и тут как раз пришел почтальон и NB. обрадовал меня донельзя. Кто привык чувствовать себя отшельником, кто холодно смотрит сквозь все общественные и товарищеские отношения, замечая крошечные, тончайшие ниточки, связывающие человека с человеком, ниточки настолько прочные²³⁸, что их развеивает дуновение ветра; кто к тому же понимает, что отшельником его делает не пламя гениальности, то пламя, от света которого бежит всё, потому что в этом свете предстает ужасающе карикатурным, шутовским, тощим и пустым, кто одинок в силу каприза природы, в силу странной смеси желаний, талантов и направлений воли, тот знает, что за «незаслуженно великое чудо» — друг; а если он — идолопоклонник, то в первую голову обязан воздвигнуть алтарь «неизвестному богу, сотворившему друга». Здесь у меня есть возможность вблизи ви-

деть составные части счастливой семейной жизни: здесь ничто не идет в сравнение с высотой, с исключительностью дружбы. Чувство в халате; повседневное и самое тривиальное — в лучах этого удобно раскинувшегося чувства: это и есть семейное счастье, которое встречается слишком часто, чтобы обладать большой ценностью. А дружеские чувства! Есть люди, которые сомневаются в своем существовании. Ведь это изысканное гурманство, удел самых немногих, тех усталых странников, для которых жизненный путь — это путь через пустыню: утешение им несет некий дружелюбный демон, когда они лежат в песке, он кропит их засохшие губы божественным нектаром дружбы. Но эти немногие в расселинах и пещерах, где, не смущаемые людским шумом, они приносят жертвы своим богам, поют прекрасные гимны дружбе, и старый верховный жрец Шопенгауэр размахивает под это пение кропильницей своей философии. На слове «NB» пришло известие, из-за которого мне пришлось выйти на улицу, едва дописав страницу: сейчас, вернувшись, я дрожу всеми своими членами и потому не могу даже собраться, чтобы излить перед тобой свою душу. Absit diabolus! Adsit amicissimus Erwinus!²³⁹

27. НИЦШЕ — РОДЕ

Лейпциг, 16 января 1869

Мой дорогой друг,

на днях у меня были все основания дрожать всеми своими членами и внезапно прервать письмо: на мою голову обрушился мощный удар, и наши парижские планы совершенно повисли в воздухе. А вместе с ними повисли мои лучшие надежды. Я снова по-настоящему захотел было, чтобы они сбылись, прежде чем впрячься в должностной хомут, я было возжаждал упиться глубокой серьезностью и волшебной прелестью бродячей жизни, еще раз вместе с самым преданным и понимающим другом глотнуть этого неопишемого счастья — быть наблюдателем, а не участником. Я представлял себе, как мы с тобой с серьезным взглядом и улыбкой на устах фланируем в парижской толпе, парочка философов-гуляк, которые привыкли бы повсюду видеть одно и то же, в музеях и в библиоте-

ках, в Кюзери де Лила²⁴⁰ и в Нотр-Дам, и повсюду испробовали бы серьезность их мышления и тонкое понимание их взаимосвязи. И на что мне приходится менять такое странствие, такую дружескую близость! Ах, милый друг, мне кажется, я испытываю то же, что испытывают женихи: наша чистая непринужденность, наши идеальные летние шатания никогда не казались мне более завидными, чем сейчас!

Прежде чем изложить ниже следующее, прошу тебя рассматривать еще не решенное до конца дело как строгую дружескую тайну, в которую даже и думать не должен соваться чужой нос.

Дорогой друг, передо мной открывается возможность, даже верная перспектива в ближайшее время занять должность в Базельском университете: я готовлюсь с Пасхи стать университетским преподавателем.

Должность у меня будет поначалу — экстраординарный профессор, жалованье — 3000 франков, а служба потребует от меня 6 часов в неделю преподавать в старшем классе тамошнего Педагогума. Дело с назначением уже тронулось с места, и теперь было бы непростительным капризом вдруг заартачиться.

А началась вся эта фантастическая история так. Тамошний член Педагогического совета получил от Кислинга уведомление о том, что тот в ближайшее время покинет Базель — с какими заманчивыми перспективами, пусть тебя не интересует, — и вот этот член совета, превосходнейший Фишер, шлет запрос Ричлю, своему старому советчику в таких делах, осведомляясь по такому случаю о человеке с моей фамилией, о котором сложилось мнение, что он из хорошей школы²⁴¹.

Можешь представить себе, что последовало засим: как меня пригласил к себе Ричль, как я оцепенел от счастья, в каком состоянии прогуливался все послеобеденное время, напевая из «Тангейзера», как Ричль написал отчет обо мне, как наконец ответил Фишер и т. д. Но зачем занимать тебя тем, что еще висит в воздухе, настойчивыми, даже алчными домогательствами других и т. д.

И вот теперь какой-нибудь мелкий демон может снова все пустить под откос, и если это случится, я буду последним, кто повесит голову. Я с самого начала приучил себя к мысли видеть в этой истории грандиозную случайность. Если она вдруг превратится в ту смехотворную мышку, о которой поет поэт²⁴², — ну и что же! Нас

так просто не возьмешь! (Pluralis maiestatis!²⁴³) Куда обидней для меня будет — или было бы, — если наши парижские планы бесследно растворятся в воздухе.

Дорогой друг, я прикладываю палец к устам и крепко-крепко жму твою руку. Ведь мы поистине игралица судьбы: еще на прошлой неделе я собирался предложить тебе вместе изучать химию, а филологию послать туда, где ей и место: в скарб отцов²⁴⁴. А теперь дьявол по имени «судьба» манит меня филологической профессурой.

Кстати и прежде всего, перспективы этой профессуры превосходны. Для нее предусмотрены скорые служебные и денежные повышения, а все, что я слышу или подслушиваю, говорит о том, что я буду иметь дело со свободомыслящими и благородными властями — неслыханно для прусского мундира в отяжку!

Мне придется быстро защитить докторскую в ближайшее время; не будешь ли ты так добр откорректировать эту очень короткую диссертацию (Corollarium disput. de font. Laert.)²⁴⁵? У меня очень мало времени. Как знать, чем мне придется заниматься в ближайшие месяцы! Шопенгауэр улыбается по поводу этого тяжкого вздоха: на какие только махинации мы только не пускаемся с нашей *πολυπραγμοσύνη*²⁴⁶!

Прощай и, если можешь, прости неверность твоего самого верного друга. Нет в мире верности. Жизнь стала для меня душной, я чувствую что-то похожее на приближение лета. —

Еще новость. Недавно, к моей величайшей радости, Рихард Вагнер прислал мне письмо привет. Теперь для меня не закрыт Люцерн²⁴⁷. В конце месяца я съезжу в Дрезден послушать «Мейстерзингеров». В конечном счете я радуюсь этому больше, чем всему остальному, исключая нашу парижскую поездку.

Да здравствует искусство и дружба!

Ф. Н.

Мой дорогой друг! Да это же чудеснейшие известия; вызвали они и у меня маленький приступ дрожи в членах; лишь с трудом и после долгого пережевывания они переварились как следует и превратились в жизненные соки! С моей стороны было бы неправдой сказать, что я испытал по их поводу только радостные ощущения; отнюдь не мелочь — видеть, как воздушные замки, которые возводились так долго и с такой любовью, по мановению волшебной палочки превращаются в легкие облачка. Правда, я всегда держал на уме возможность, даже большую вероятность того, что из наших бесценных планов ничего не выйдет; я, по крайней мере в том, что касается моей собственной судьбы, вполне серьезно верил в зависть богов. Но теперь, когда передо мной во плоти предстало чудовище, которого я давно опасался, ἀμάχανον ὄρπετον²⁴⁸, я все-таки перед ним внутренне безоружен. Ведь вместе с этими бесценными парижскими перспективами я на самом деле лишился не более и не менее, чем твоего ожидаемого общества в течение долгого времени, прекраснейшего куса молодости, и это окрасило бы в розовый цвет закат жизни, последнюю пору блаженного созерцания без борьбы, пота и забот. В одиночестве шататься по большому городу — это кажется мне теперь чуть ли не наказанием; ах, дорогой друг, никогда еще я не чувствовал так сильно, насколько прочно любовь к тебе срослась с лучшей частью моей жизни.

Мне кажется, это было по-человечески — что в первую очередь я ощутил эту эгоистическую, и все же лишь наполовину эгоистическую боль. Но потом сообразил, что для тебя этот неожиданный поворот судьбы, конечно, тоже на какой-то момент оказался разочарованием, зачеркнутыми сладкими планами, но в целом и надолго все-таки означает необычайное счастье; это-то и служит мне утешением в моем огорчении. Поэтому давай спокойно снесем прочь развалины разбившегося маняще-прекрасного мира, не печалься понапрасну об «утраченной красавице». Вообще, куда счастливей тот, кто способен проводить в жизнь знание о превратности раскаяния и сожаления задним числом! Если рассуждать разумно, эта возможность для тебя — совершенно беспримерная удача, и за нее надо держаться обеими руками. Как мне известно

от Риббека, предшественника Кислинга, это место приятно и выгодно со всех сторон. Ведь для того, кто не хочет сразу повесить себе на шею славную жену и кучу детей, вполне достаточно получать и 800 талеров²⁴⁹. Поскольку Кислинг приступает к работе уже к Пасхе²⁵⁰, то и твоя служба начинается тогда же. Во всяком случае, перед этим тебе предстоит переделать кучу дел, и если я могу в чем-то тебе помочь, ты доставишь мне удовольствие, поручив мне соответствующую задачу. Я с удовольствием возьму на себя корректуру твоей докторской, ты только укажи своему издателю мой адрес.

Вот, стало быть, для тебя и начинается, как ты сам говоришь, лето; это немного рано, но если человек несет весну в себе и ему знаком волшебный напиток, его душа вечно свежа и эластична, и в страду он не станет оупевшим от полевого труда рабом. Боже мой, я все никак не могу справиться с болью открытой раны; и все же я должен быть доволен, что у меня хотя бы есть время надеяться на те розовые дни. *Alas! It is delusion all!*²⁵¹ — как говорит Байрон; раз, и судьба с ее волшебным фонарем прячет в свой мешок одну картину и все ее великолепные виды, чтобы показать человеку салон мод филологических работяг! Да пребудет с тобой на всех дальнейших жизненных путях дух Шопенгауэра; и если даже возможность нашего совместного паломничества прошла мимо нас, мы будем хранить в глубине души взаимную преданность, мой старый друг! —

На днях я принял важное решение — отказаться от этого гнусного государственного экзамена. Я ведь тяготеею к университету, а школьную должность²⁵² рассматривал самое большее как «перевалочную станцию», и вышла бы отвратительная половинчатость. Я отбросил этот отвратительный, мучительный допрос, и мне легчало. —

Мой "Овоґ будет готов в ближайшее время; папаша Энгельман проявил себя как невообразимо благородный издатель; думаю отдать ему и работу о Поллуксе. — Теперь вот что: должен ли я послать Ричлю экземпляр "Овоґа? Мне кажется, да, ведь «я не сержусь»²⁵³; только вот не знаю, не примет ли он это за издевательство. — На сегодня прощай; поскорее напиши мне, как складывается твоя судьба дальше, и не забывай обо мне.

Твой Эрвин Роде

29. Ницше — Роде
(визитная карточка)
Лейпциг, 12 февраля 1869

(обратная сторона:)

Дорогой друг, неминуемая судьба свершилась: сегодня, в сей торжественный день, когда твой "Овоз в роскошном одеянии вступает в жизнь, нижеподписавшийся "Овоз вступил в сословие св. профессоров. Да здравствует свободная Швейцария, Рихард Вагнер и наша дружба.

(лицевая сторона:)

ФРИДРИХ НИЦШЕ.
Экстраорд. проф.
класс. филологии.
Базель.

Адрес: Лейпциг, Лессингштрассе, 22, 2-й подъезд.

30. Роде — Ницше
Гамбург, 15 февраля 1869

Мой дорогой друг и профессор!

Еще никогда в жизни у меня не было удовольствия и чести называть профессором своего друга, а уж такого верного и дорогого друга — и подавно. Отсюда — то есть из того, что теперь у меня эта честь есть, — я мог бы заключить, что старею, если бы на свете не было такого совсем молоденького профессора, которому сегодня я жму руку, чтобы от всей души пожелать ему счастья сейчас и в дальнейшем. Но еще больше, чем тебе, я желаю счастья базельским профессорам и студентам, которые довольно скоро заметят, как умно поступили. Разрешите мне в этот *dies festa*²⁵⁴ немного похвалить тебя в лицо. Никто, кроме меня, не убежден так искренне: ты справишься со своей новой должностью так, что *universitas Basileensis*²⁵⁵ благословит свою судьбу. Разве я на своем глубочайшем опыте не знаю, что твоя бли-

зость приносит благословение и счастье? Поэтому в Базеле и повсюду ты дашь молодежи не только филологический интеллект и ловкость, но и всей своей личностью “оставишь жало” в их душах. Это потому, что человек для тебя — куда большая ценность, нежели филолог, что в тебе жива шопенгауэровская серьезность, которая делает человека одновременно старательным и очень снисходительным, поскольку он склонен к широте взглядов. Но одного ты, как я надеюсь, делать все же не будешь, а именно сманивать множество невинных душ в руки филологии, как часто с такой легкостью получается у видных преподавателей. Ведь, конечно, и ты убежден в том, что хорошие умы куда лучше направить на другие науки или на саму жизнь, короче говоря, на те виды деятельности, которые направляют тех, что наделены матерью природой умом и мозгом, на непосредственное созерцание, а не на копание в хламe прошедших эпох, по крайней мере только в словах, то есть в понятиях, то есть в разбавленном отваре вещей. То, что в античности есть подлинно созидательного, все равно не пройдет мимо дельных людей; в филологии меня восхищают только две вещи: то почтение, которым это поглощение пыли все еще пользуется у публики, а еще больше — наивность, с какой люди забывают собственные мысли о более достойных занятиях, как только снова оказываются посреди этой старой ружляди.

Все это, конечно, не стоило бы ставить на вид новорожденному члену почтенного цеха, если бы я не знал, что этот новорожденный думает точно так же. Дорогой друг, давай никогда не расходиться ни по этому, ни по другим пунктам! Я завидую не тебе из-за базельцев, а базельцам из-за тебя; ведь то, чем была для меня общая жизнь с тобой — и могла бы быть, я могу скорее переживать, чем выражать. Чистейшее и самое отрадное на всю жизнь — ощущение благополучия, за которое я обязан тебе глубочайшей благодарностью. На этой *trivium*²⁵⁶ наших жизненных путей позволь мне еще раз сказать тебе, что никто в жизни не означал для меня столько добра и любви, как ты, и что я чувствую это всеми фибрами моей души. Одно ты должен мне пообещать — чтобы наша переписка, насколько позволят твои занятия, не прерывалась; наши интересы во многих отношениях стали различными; но давай в глубочайших основах наших душ оставаться такими же едиными, как и прежде!

Итак, иди и научи народы²⁵⁷ — если не все, то многие, и крести их во имя Гёте, Шопенгауэра и Байрона!» Ну, всё. —

Моего "Ovoç'a ты получил: стихотворная надпись в нем не покусается на принуждение тебя к письму в твоих стесненных во времени обстоятельствах, ведь уже твоя маленькая записка дала мне достаточно для понимания. Но твоя насмешка! «Кабинетному ученому»²⁵⁸! Эх, если б это было неправдой! Но это правда, и вот я, нуль, сижу в тени и слежу за твоим торжественным шествием и деятельностью; это, конечно, уж получше, чем если бы мы оба сидели в тени и глазели в пыльное окошко.

На сегодня довольно; докторский экзамен все ближе, да и театральные репетиции, твои и все возможные тревобления этой недели. Так что сегодня прощай и доброй ночи, дорогой, преданный друг.

Твой Э. Р.

На план Рошера я в общем-то вполне склонен согласиться. Что мне одному делать в Париже? Я неминуемо оказался бы в меланхолии. Нет ничего более досадного, чем одному бродить среди бесконечной людской толпы. — Представляю себе радость твоей матушки. Передавай ей привет от меня, и моя матушка передает тебе сердечные поздравления.

31. Ницше — Роде

Лейпциг, 22 и 28 февраля 1869

Мой дорогой друг,

сегодня, в день рождения Шопенгауэра, у меня нет никого, с кем я мог бы говорить так доверительно, как с тобой. Ведь здесь меня окружает пепельно-серое облако одиночества, и тем больше, что с многих сторон ко мне протянуты общительные руки, и почти каждый вечер я подчиняюсь печальному принуждению приглашений. На этих вечерах я слышу так много голосов, но никак не могу сосредоточиться на себе; да и как выдержать этот жужжащий шум? Или это задевает меня просто потому, что у меня уши Каллиопы? Оно похоже на пение комара, это жужжание, а ты знаешь, что комар — чудовище для музыки *kat' exochên*²⁵⁹, потому что два комара всегда поют в малую секунду²⁶⁰. Здесь у меня совсем нет людей, с которыми

можно быть в консонансе или речи которых в прекрасных терциях двигались бы вверх и вниз параллельно моим, и даже превосходный Ромундт, который, как я вижу, от всей души хочет быть для меня чем-то большим, нежели просто хороший знакомый, все-таки остается для моего чувства, не знаю почему, совершенно чуждым. Стало быть, одиночеству мне приходится учиться не с Базеля. —

Опять-таки, несколько дней прошло в поездке, и дописать письмо к тебе я не успел. Но сегодня я оживаю, вспомнив то настроение, в котором его начал, — сегодня, когда, в память о дне рождения Шопенгауэра, я, благодаря любезности Визеке, получил от него по почте фотографию нашего учителя, а заодно приглашение лично приехать в Плауэ (под Бранденбургом). Туда этот старый хвостун пригласил нескольких друзей из Берлина, в том числе моего друга Герсдорфа, отпраздновать 22 февраля. Все обрадовались, что один из их людей стал профессором, и отметили это благо возлияниями на Штайнбергер, 57. Не напоминает ли это об общинах первых христиан с их опьянением сладким вином? Девизом того дня общество выбрало следующее изречение <Шопенгауэра>: «Каким безумцем нужно быть, чтобы всегда заботиться о наслаждении только как можно более надежным настоящим, если вся жизнь — всего лишь несколько больший кусок настоящего и потому представляет собой нечто совершенно преходящее?». За столом с блеском выступил пресловутый серебряный бокал, «дядя» произнес небольшую речь, а после жаркого читали вслух главу из рукописного наследия Шопенгауэра.

Нынешний день тоже нужно праздновать в честь одного мастера. Я приглашен на званый ужин в Hôtel de Pologne, где должен познакомиться с Францем Листом. Недавно я сказал кое-что публично о музыке будущего и т. д., и теперь ее приверженцы ко мне сильно пристали. А именно, они хотят, чтобы я участвовал в их интересах как литератор, я же, со своей стороны, не имею ни малейшей охоты немедленно публично закудахтать курицей; но при этом мои братья in Wagnero²⁶¹, как правило, абсолютно тупы и пишут отвратительно. Поэтому они, в сущности, не имеют ни малейшего родства с этим гением, видя в нем только то, что лежит на поверхности и не видя глубины. Вот почему позор, что эта школа мнит, будто музыка заключается как раз в тех вещах, которые в высшей степени своеобразная натура Вагнера там и сям под-

брасывает как пустяки. Никто из них не созрел до книги «Опера и драма». — Я еще ничего не рассказывал тебе о первой постановке «Мейстерзингеров» в Дрездене, величайшем эстетическом сибаритстве, которое подарила мне эта зима. Кто знает, во мне, наверное, есть порядочная доля музыканта; все это время я испытывал сильнейшее ощущение того, что я вдруг оказался дома и вокруг все родное, а все, чем я занимаюсь, виделось мне туманом где-то там, из которого я выбрался. А теперь мне предстоит снова погрузиться в вот такой тяжелый, густой туман. На летний семестр я подал заявку на 2 курса — спецкурс по истории греческой лирики с объяснением избранных мест и публ. лекции по методике и источниковедению истории греч. литературы. Кроме того, мне предстоит вести весь греческий курс в тамошем старшем классе²⁶², да и семинар по филологии потребует от меня времени и сил. Но прежде всего одиночество, одиночество *aphilos alyros*²⁶³. В настоящее время я провожу жизнь в развлечениях, даже в жадном наслаждении отчаянным карнавалом накануне великого поста работы — филистерства. Я тяжело переживаю это — но этого не замечает никто из моих здешних знакомых, их дурачит мой профессорский титул, и они думают, будто я счастливейший человек на земле. Дорогой мой друг, я постоянно с глубокой скорбью ощущаю нашу с тобой разлуку. Мы с тобой оба виртуозно владеем одним инструментом, который не хотят и не могут слушать другие люди, но игра на котором вызывает в нас сильнейшее восхищение. И вот каждый из нас сидит одиноко на своем берегу, ты на Севере, я на Юге, и оба мы несчастны, потому что нам не хватает гармонии наших инструментов, и мы по ней тоскуем. —

После этого адажио должно, как водится, последовать скерцо: вот оно. Папаша Ричль недавно подробно высказался о твоём "Ὀνοϛ": естественно, в рукописи он его не читал. Он сказал: «Это настоящий ученый!» и был совершенно счастлив. Его настроение явно полностью сменилось на противоположное, он хвалил не только прекрасный *μέθοδος*²⁶⁴ и утонченную ученость, но и остроумный, светский тон, которым говорит сей осел. Кстати, Энгельман, этот превосходный издатель и в высшей степени почтенный человек, несколько раз предлагал свои услуги и даже нанес мне визит, так что и мне не придется искать себе издателя своих будущих сочинений. Тут, дорогой друг, мы с тобой попали в точку.

Кстати, ты осчастливил одного человека, которого зовут Вильгельм Рошер. Он прыгал, ликовал и прибежал ко мне, когда получил письмо от тебя.

В заключение еще один хороший совет от Ричля. Не захочется ли тебе защищаться в Гёттингене (вместо Киля)? Ричль по многим причинам считает это весьма правильным.

Засим прощай и прости друга, который очень много о тебе думает, но так редко пишет. До 15 марта я еще в Лейпциге.

Ф. Н.

32. РОДЕ — НИЦШЕ

Гамбург, 16 марта 1869 (ор. 177)

Мой дорогой друг!

Сегодня только короткое письмецо, чтобы ты знал хотя бы, что я много думаю о тебе, и наилучшим образом. Есть такие времена, когда человек, готовясь к будущей жизни (в сущности, «жизни» в кавычках, а именно такой, которая идет *μετὰ τὰ φυσικά*²⁶⁵), только поэтому не обращает никакого внимания на ее нынешнее содержание и может заставить себя писать своим любимым друзьям тем меньше, чем сильнее хочет высказать им содержание своего бытия. В сущности, человек всю свою жизнь гонится за фантомом, который считает своей идеальной жизнью, но не всегда осознает эту свою погоню.

В последнее время ты высыпал на мою голову пылающий уголь — письмом, телеграммой и, наконец, второй частью своей работы о Диогене (которую ты, видимо, использовал в качестве докторской?). И это за всю мою сердечную благодарность, но главным образом за письмо, которое было для меня новым символом веры нашей умственной общности; кто-нибудь другой, я уверен, не понял бы твоего нынешнего настроения. А вот когда люди так, как мы с тобой, единодушны в глубочайших оценках бытия, они чувствуют, насколько глубока пропасть, отделяющая нашу точку зрения от иных превосходных и хороших взглядов на жизнь: *χάσμα μέγα ἐστήρικται*²⁶⁶ между такими противополож-

ными берегами жизни. И вряд ли в Базеле это будет иначе, чем в Лейпциге. Сейчас, поскольку мне пришлось растратить в Киле восемь дней на защиту, я самым дружеским образом и, естественно, более откровенно пообщался с тамошними профессорами, чем это было возможно во время учебы, и обнаружил, что между этими прекрасными людьми и мною существует, в конечном счете, настолько полное расхождение во всех решающих и определяющих вопросах, что, в сущности, пользуясь максимально широкими определениями понятий, мы с ними подразумевали совершенно разные вещи. Ведь и правда, есть разница, когда человек более или менее ясно ощущает относительность, полную сомнительность всякого существования, всегда заново вызывающую к постоянному изумлению и размышлению, или когда он как бы лениво фланирует по чему-то совершенно понятному, причем пронизанному самым тривиальным смыслом, своим «fabula docet»²⁶⁷ резюмируя всю жизнь и совсем не терзаясь «blight of life», мучнистой росой вопросов «зачем?» и «куда?». В таких обстоятельствах лучше всего молчать о самом главном, ведь если говорить, то абсолютно неизбежно получишь пусть даже невысказанный упрек в фривольности, хотя уж наши-то взгляды куда как далеки от фривольности. Но что же понимают под фривольностью? А другие, наверное, под благочестием понимают что-то совместимое с нашим представлением о нем! И вот так по всем пунктам. Поэтому о таких вещах я говорю с посторонними как можно реже. Понятно, что из-за этого и в окружении друзей можно чувствовать себя до боли одиноким. Тем более утешительна мысль о том, что — правда, где-то страшно далеко — есть человек, мыслящий в унисон с нами и созерцающий этот странный мир в преломлении таким же образом отшлифованной призмы; ведь разве возможно, чтобы демон отказал кому-то в этом высоком счастье. Но, конечно, что в наши лучшие, самые теплые годы судьба так далеко разметала нас, я всегда чувствую с новым недовольством, как подумаю о том, насколько прекрасные дни из-за этого гаснут, как безучастные волны в сером потоке жизни, как средство, хотя могли бы быть самоцелью. —

Рошер торопит меня со скорейшим решением о поездке; хотя я предпочел бы подождать до октября, думаю все же выехать в начале следующего месяца. Поездка не заменит мне наших парижских

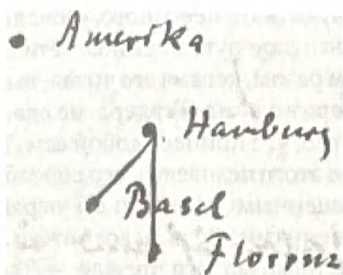
грез, но я все-таки надеюсь получить от нее много удовольствия и стимулов. Я перечитал «Итальянское путешествие» Гёте и заметил, что в сравнении с последним разом, когда я его читал, вырос на голову. Это, конечно, как он говорит о книге Гердера, не еда, а ценный прибор, куда каждый кладет то, что принес с собой сам. Теперь я прочувствовал все богоподобие этого человека в его способности ограничиться созерцанием, лишенным понятийной ограниченности, словно укрепляющими ваннами. Ведь невозможно наслаждаться тем, по чему человек не тосковал уже прежде. — Твой Диоген Лаэртский очень меня порадовал и многому научил; in puncto Suidaе²⁶⁸ я пока не пойму, насколько широко ты собираешься использовать Деметрия-Аргесифона²⁶⁹. На этот раз прощай, дорогой друг; чем дальше разводит нас судьба, тем ревностнее должны мы поддерживать узы верной дружбы и душевного согласия.

Твой Э. Р.

33. НИЦШЕ — РОДЕ
<Базель, 29 мая 1869>

Адр.: Проф. д-р Ницше
Базель,
Шпаленторвег, 2

Мой дорогой друг,
сегодня я, наконец, сообразил, что все-таки есть способ связаться с тобой письмом, не привлекая официально к розыску королевское италянское правительство, хотя уже было приготовился к этому насильственному акту. Письмо, которое я написал во Флоренцию (libreria Loescher²⁷⁰) и на адрес д-ра Вильмана, осталось без ответа: означенный д-р должен был установить для меня твое местоположение и вообще рассказать что-то о тебе; этого он, однако, наглым образом не сделал. Поэтому сегодня я пишу тебе через твою матушку, приложив это письмо, которому теперь, конечно, придется проделать путешествие, почти как до Америки, что я могу проиллюстрировать следующей схемой:



Если счастье будет к нам благосклоннее, мы с легкостью смогли бы встретиться еще перед нашим отъездом в Лейпциге. Ведь фактически в то утро, когда ты уезжаешь из Лейпцига, мы проедем друг мимо друга, потому что в то же самое утро я приеду в Лейпциг.

А здесь, в Базеле, чтобы оставить прошлое в покое, все в лучшем виде. Лекции каждое утро в 7 (о «Хоэфорах» Эсх<ила> и истории греческой лирики), каждый понедельник семинар, каждый день один или два часа занятий в гимназии. В Педагогичуме я читаю Платона вместе с подготовленным классом и слегка подвожу этих удачных мальчишек к философским вопросам — то есть только чтобы пробудить в них аппетит. А еще я затруднил себе жизнь, хотя и к вящей пользе познаний <учеников> в грамматике, введя контрольные работы по греческому. Вчера я перед переполненной аудиторией произнес свою вступительную речь, причем «О личности Гомера», с целой кучей философско-эстетических точек зрения, которые, кажется, произвели яркое впечатление. Я сейчас общаюсь только с именами, а не с людьми: каждый день я сталкиваюсь с массой новых физиономий, которые должен и хочу взять на заметку — *pro dolor*²⁷¹. Более близкие отношения я зарезервировал за одухотворенным отшельником Якобом Буркхардтом, чему искренне рад, потому что мы с ним обнаруживаем чудесную конгруэнтность наших эстетических парадоксальностей.

Очень счастлив я, однако, главным образом тем, что наилучшим образом свел знакомство с Рихардом Вагнером и на второй день Пасхи по его приглашению провел вторую половину дня в его прекраснейшем загородном доме, вместе с умной г-жой фон Бюлов²⁷² (дочерью Листа). Последняя недавно пригласила меня и на день рождения Вагнера, чтобы сделать ему сюрприз: увы, мне при-

шлось отказаться как преподавателю, по соображениям добродетели. В<агнер> и впрямь воплощает собой все наши ожидания: это расточительно богатый и великий ум, энергичный характер и очаровательно любезный человек с мощнейшим влечением к знанию и т. д. Мне надо заканчивать, иначе я запою пэан.

Все, что я пишу тебе сегодня, — на самом деле лишь внешний статистический материал; но как много переживаешь в душе, будучи заброшен в жизнь так, как того хочет моя судьба. — Недавно у меня вдруг возникло смелое желание: не защититься ли тебе здесь? От тебя потребуется произнести вступительную речь и предоставить свои работы (читал ли ты мою рецензию на "Ovoç'a в "Центральблатт"?).

Прощай, верный друг.

Ф. Н.

34. Роде — Ницше

Рим, 27 мая 1869

Мой дорогой друг!

Здесь сижу я, в *sarò di mondo*²⁷³, но в одной рубашке, чтобы, несмотря на страшную жару, наконец снова побеседовать со своим самым дорогим другом. Правда, удивительным образом, и сегодня я могу сказать тебе не многим более того, что каждый час ощущаю твое, дорогой друг, отсутствие, невозможность вместе с тобой сполна насладиться тем, что дошло до нас, эпигонов, из богатого наследия породы людей, не знавших половинчатости. Жизнь здесь катится не теми величественными волнами, что в море Парижа, в глубинах и освещенных солнцем вершинах которого мы с тобой так стремились шататься, — нет, она более спокойным течением несет созерцателя вдоль прекрасных берегов. Поначалу этот мир вечных произведений искусства производит на приезжего почти враждебное впечатление, но мало-помалу, если свести с божественными образами более тесную дружбу, становится приятной мысль хотя бы ненадолго прервать их созерцанием сухой дневной жар. Вот только чувствуешь себя чуть ли не нечестивцем, когда все-таки и здесь это маленькое дневное существование за-

нимает такое большое место, и по крайней мере я чувствую здесь более болезненно, чем где-либо еще, что оторван от тебя, старый друг, и от *παράκεια*²⁷⁴ общения с тобой. [— —] Здесь, как нигде, я, поначалу внутренне негодуя, постепенно погружаюсь в резиньяцию и продолжаю фланировать по песку, как и другие. Но душа моя алчет и потому, дорогой друг, порадуй меня поскорее письмом, которое скажет мне, что мы с тобой, как и прежде, «соблюдаем весну». Папаша Шопенгауэр и здесь остается домашним идолом и домашним катехизисом, а, в сущности, конечно, признаком того, что я — не настоящий *homo plasticus*²⁷⁵, в качестве какового я часто чувствую себя раздавленным и стремлюсь к улучшению. — Вот краткий отчет о поездке: в конце марта я был в Липцке, пропустил Рошера и, со своей стороны, вернул на путь добродетели и политехникума в Ганновере своего брата, несколько заблудшего в Цюрихе. Затем, наконец, я поехал в Мюнхен, через Бреннер в Верону, где моим удивленным взглядам впервые открылись итальянская жизнь в своей радостной пестроте и это итальянское солнце, которое красит золотом даже развалины и лохмотья. Дальше по железной дороге во Флоренцию, где я встретил Рошера и две недели провел в наслаждении бесчисленными произведениями искусства, в особенности восторгаясь девственной чистотой Фра Анджелико да Фьезоле. Глядя на картины этого мастера, больше, чем где-либо еще, ощущаешь верность и глубину теоремы Шопенгауэра о творчестве гения: в блаженном покое созерцания смолкает спешка и смятение воли. После полудня мы выехали <из Флоренции> во Фьезоле: монастырь стоит на горе, откуда открывается широкий вид на окрестность, и если сидеть в саду, на противоположной Флоренции стороне, и глядеть на тихие долины, в какой-то момент ощущаешь подобное угасание воли. Такие моменты полного удовлетворения — скупые звезды на ночном небе нашего скудного бытия. Правда, маленькая кружечка защищает от сознания того, что вообще темно, и для меня это как раз и есть самое мучительное в общении с большинством людей [— —] — что у них совершенно другие потребности, чем у меня, и уж совершенно точно другие мысли перед теми же самыми ведутами. — В Риме мы с 18 апреля, поначалу, естественно, занятые напряженной обработкой поистине безбрежного материала для осмотра; но с какого-то момента я регулярно сверяю свои впечатления с оригиналом и наслаждаюсь

красотами лишь с удовольствием и по потребности. Недавно Рошер и я с Хельбигом предприняли принесшую нам много наслаждений поездку в Этрурию (Корнето, Пьянсано, Монтефьясконе, Витербо и т. д.). В конце июня поедем *Νεαπολινδε*²⁷⁶. — Но во всех этих наслаждениях, мой верный друг, я каждый день высматриваю душу, настроенную в унисон с моей: поэтому напиши мне поскорее и поподробнее о своих обстоятельствах. И будь уверен, что у тебя нет более верного и благодарного друга, чем твой Э. Р. [— —]

35. Ницше — Роде
Базель, 16 июня 1869

Мой вернейший друг,

возможно, ты уже получил мое письмо, хотя и после невероятных *ambagibus*²⁷⁷; несмотря на это, я ощущаю сильнейшую потребность поскорее подать тебе еще и второй признак жизни и любви, а к тому же благодарность за твое письмо, так растрогавшее меня свойским напоминанием о родине. Постепенно выясняется то, чего я и ожидал с самого начала: в толпе моих самых ученых коллег я чувствую себя настолько отчужденно и равнодушно, что уже с наслаждением отклоняю всякого рода приглашения и призывы, которые поступают ко мне каждый день. Даже удовольствия гор, леса и озера иногда бывают для меня испорчены со стороны *plebecula* моих сотоварищей по службе. Стало быть, мы с тобой опять-таки сходимся в этом: мы способны переносить одиночество, мало того, мы его любим. И когда мы с тобой вместе, то ведь это вовсе не двойственность, а самая настоящая и доподлинная монада: тогда мы по-настоящему одиноки и отделены от всего этого навязчивого мира. — Я постоянно размышляю о возможностях, насколько они мне доступны, устроить тебя поблизости от Базеля. Глядя на состояние здешней филологии, я чувствую, что очень скоро здесь понадобится новый учитель. Фишер в следующем семестре читает всего лишь два часа лекций, а это значит, что он читает вообще в последний раз, потому что его "министерские обязанности" не оставляют ему времени. Герлах тоже с трудом натягивает два часа лекций — он очень стар. Мэли под крайним принуждением читает

в конце концов один раз, но тоже только два часа. Отсюда ты поймешь, что уже сейчас вся работа ложится на меня — это чувствуют даже здешние студенты-филологи. Так вот, старый Герлах может ведь, как и положено, умереть: на этой возможности строятся мои надежды. Не будет ли у тебя случая стать известным превосходному, в высшей степени уважаемому Фишеру? К примеру, послать ему какое-нибудь сообщение из области археологии, скажем, о новой находке, которую базельцы могут срочно выкупить, как, например, голову Аполлона, находящуюся у Штайнхойзера. Кстати, осведомись-ка, пожалуйста, как-нибудь у Штайнхойзера, куда девалась голова Геракла, которую мы здесь так страстно ждали. Если разузнаешь в деталях, где она, напиши о них напрямик советнику В. Фишеру (вот его адрес), а в качестве причины обращения укажи только, что я просил тебя об этом от его имени.

Попрошу тебя не смеяться над всеми этими планами: мне невероятно важно, чтобы ты был здесь. При сем замечу, что Ричль здесь в глазах Фишера всемогущ и написал тогда обо мне поистине сказочное письмо²⁷⁸. Можешь представить себе, что это письмо с самого начала несколько осложнило мое положение: между тем я надеюсь, что сносно представил себя вступительной речью, самым решительным образом выявив свою индивидуальность. Тема: «Личность Гомера». Большая аудитория была переполнена.

Недавно я нескромно прочел Вагнеру прекрасное место <одного> из твоих прежних писем о нем самом: он был очень тронут и попросил сделать себе копию.

Доставь же поскорее ему (и мне) удовольствие, написав ему обстоятельное письмо. Отныне ты для него не человек с улицы. Его адрес: «Господину Рихарду Вагнеру, Трибшен близ Люцерна». Недавно я останавливался у него на два дня и почувствовал себя на диво освеженным. В нем реализовано все, чего мы только могли желать: и никто не в состоянии по достоинству оценить человеческое величие и неповторимость его натуры. Я очень многому научился рядом с ним: это был для меня практический курс философии Шопенгауэра. — Близость Вагнера — моя отрада.

Покуда я просил тебя о двух письмах — к Фишеру и к Вагнеру. Теперь добавлю еще одно, совершенно личное желание. На обратном пути ты, конечно, будешь проезжать Флоренцию: не можешь ли ты сделать для меня сверку <некоторых мест> из certamen

Hesiodi et Homeri²⁷⁹? Текст ты найдешь в старых изданиях Гесиода, а также у Гёттлинга и к тому же у Вестерманна.

В Неаполе, как я припоминаю из приватной беседы с Тишендорфом, есть еще один нечитанный палимпсест. Не хочешь ли разыскать его? — Может быть, ты как-нибудь опишешь мне и тамошний Laertiuscod. saec. XII²⁸⁰: сверку я получу от Ваксмута, если, конечно, что вероятно, стану futurus editor Laertii²⁸¹. Все дело в том, что Узенер и я замыслили издать философско-исторический corpus²⁸², в котором я буду отвечать за Лаэрдия, а он — за Стобея, Псевдоплатарха и т. д. Но это sub sigillo²⁸³. —

Не мог ли бы ты при случае разыскать что-нибудь из старого доамброзианского перевода Лаэрдия, перевода, не найденного Розе, но еще, наверное, существующего? —

Мимоходом: глупый Кристоф Циглер, которого я немного выпорол по поводу его издания Феогнида, попытался защититься — в заметке, опубликованной в ежегоднике Флекайзена. Отвечать на это было не нужно, но это уже сделал Хинк в «Вестнике» Лейча.

Ты уже прочитал новый чудный плавтовский экскурс Ричля? — А напечатана ли твоя работа о Поллуксе? Какие, собственно, литературные планы нашего Рошера в Италии? Ромундт написал «философско-грамматическую» диссертацию о λέγω²⁸⁴ и т. д. Кинкель-младший, прозванный в Цюрихе «червем», играет там, кажется, жалкую роль, но обручился, heu heu²⁸⁵! Но я уже впал в стиль мюллеровских пустяков о Лукиане²⁸⁶: прости, я предполагаю, что ты не слышал о нашем гиперборейском мире совсем ничего.

Наконец, к твоему удивлению, будущая тема моих зимних лекций — латинская грамматика. История доплатоновской философии, с разъяснением избранных фрагментов. На семинарах — "Erya"²⁸⁷ Гесиода.

Разве это не сказочно?

Прощай же, вернейший друг, и укрепи свою душу и глаза на долгое время, которое тебе предстоит провести в туманной Германии, если ты, конечно, не предпочтешь сделаться свободным швейцарцем, как твой

вернейший друг

Ф. Ницше

Передай от меня теплый привет Рошеру!

Рим, воскресенье 20 июня 1869

Мой дорогой друг!

Примерно две недели тому назад, уже не вызывающим удивления окольным путем через Гамбург, я получил твое первое письмо, а сегодня утром и второе, прямое: тут уж было бы более чем ленью, если бы я не поспешил приветствовать тебя со своей стороны. Конечно, несправедливо, что фортуна разметала двоих так тесно связанных друзей так далеко друг от друга, ведь лучшее, о чем думаешь и что чувствуешь, — самые отрадные часы жизни, которые так сильно хотелось бы провести рядом с другом, с повышенным удовольствием насладившись ими, — все это невозможно собрать в ботанизирку, высушить и наклеить в гербарий. Так что ничего не поделаешь — остается только вести одинокой душой диалог с далеким другом, желая лишь одного: чтобы он был рядом. Представь себе, что мы с тобой трясемся каждый на смирном ослике или упрямой лошади — другого выбора нет — по этой прекрасной земле, петляя по горам, вечером, скажем в Олевано, на высоте, под нами этот маленький серый потрепанный ветрами городок, а перед нами широкий венец зубчатых гор и широкая пестрая равнина, и мы сидим на гостиничной терраске, потягивая золото заходящего солнца и лениво разговаривая, или с немим единомушием выслушивать душой тайные напевы. Таковы были мои желания, когда недавно я проделал двухнедельный тур по Сабинским горам, и каждый день думал: если б Ницше был здесь, то мы разговаривали бы об этом, сидели бы вместе, сохраняя в совместной памяти тысячи образов, количество которых здесь всегда неисчерпаемо. А так ничего не остается, кроме верной памяти. Я почти физически чувствую, как душа моя замыкается перед другими в приподнятом настроении — и спасаюсь от такой невосприимчивости только одиночеством. Можешь представить себе, что я ничего не желаю более страстно, чем работать и жить вместе с тобой: но порой мне все же приходится наслаждаться лишь половинчатыми мечтаниями. Твои базельские планы для меня весьма заманчивы и я, конечно, взвешу все их возможности. Но не смею скрыть, что в целом было бы разумнее защищаться в Пруссии, а не в Швейцарии, столь равнинной к немцам. А меж тем, *vediamo*²⁸⁸, давай подумаем об этом

деле еще и еще. — Твою просьбу о рукописях я по силам выполню. [— —] Если у тебя есть еще какие-нибудь пожелания, пользуйся этой возможностью: думаю, я очень хороший сверщик рукописей. [— —] Кажется, тебя все же не угнетает твоя академическая работа, хотя, конечно, на твоих плечах лежит чуть ли не всё. [— —] Напечатана ли твоя вступительная лекция? Я, кстати, замечаю здесь что-то вроде алчности, с которой шла борьба за твое нынешнее место.

Общение с Вагнером для тебя, должно быть, — сущий оазис в пустыне коллегиальных отношений: этот орлиный дух поднимает за собой в чистейший эфир и все свое окружение. Я не осмелюсь ему написать — ведь вокруг него и так полным-полно восхищенных дилетантов. Каждый день я проклиная свою ленивую юность, которая не принесла мне ничего, кроме пассивных упражнений в музыке: я чувствую себя, как те платоновские души, которым даны подвижные крылья, но не возможность самостоятельного полета. Нельзя передать, как в этой стране вальсов я тоскую по музыке, очищающей душу: с глубокой тоской я вспоминаю о тех часах, когда слушал твою игру, и мы в такой гармонии улетали на звучащих волнах в страну красоты. Дай же демон, чтобы мы вскоре снова оказались вместе — я желаю этого каждый день: а без этого даже в стране Италии я живу только половиной жизни. Давай каждый из нас выпьет по кружке за скорое воссоединение — ты швейцарского вина, я дженцанского²⁸⁹. — А прогос²⁹⁰. 30-го этого месяца я отъезжаю в Неаполь [— —]. Со старой преданностью, твоей

Эрвин Роде

37. Ницше — Роде
Базель, середина июля 1869

Мой дорогой друг,
знаешь, что такое у базельцев “бюнделитаг”²⁹¹? Все пакуют свои пожитки и спешат на вокзал, все учебные заведения, в том числе и университет, закрываются на целый месяц: а базельские климатологи утверждают, что в это время оставаться в городе физически невыносимо. Значит, надо уезжать, куда глаза гля-

дят. А куда? Гигантские заснеженные горы, как я замечаю к своему удивлению, не слишком-то для меня привлекательны, и я с блаженством вновь посетил бы любезные моему сердцу баварско-чешские горы, если бы только это было в твоём обществе, дорогой друг. А ты сейчас, увы, как назло, в Южной Италии, а не то я, может быть, съехался бы с тобой на одном из североитальянских озёр, и мы смогли бы, лежа в лодке, качаться, глядя в синие небеса — в пику всякому одиночеству в самом отборном и завидном обществе. И вот сижу я здесь в Базеле и не понимаю, зачем отсюда уезжать, ведь мне все равно нигде не найти правильного, истинного, внутренне целительного и укрепляющего отдыха. У меня появляется странный опыт относительно моих «коллег»: я чувствую себя среди них так же, как прежде чувствовал себя среди студентов — в целом без всякой потребности сходить с ними ближе, но и без всякой зависти, даже, точнее говоря, я чувствую в себе крошечную частицу презрения к ним, с которой весьма благополучно уживается вежливость и обходительность в общении. Мой предшественник Кислинг, насколько я могу судить, обладал совершенно другой натурой — был типом общительно-сангвиническим, активным, собирающим вокруг себя кучки и т. д., тогда как мне не слишком-то интересны эти совместные прогулки с 6—8 коллегами, они бесконечно менее интересны, чем когда я без помех и одиноко брожу сам по себе. Мало-помалу эти люди, добродушные типы, привыкают оставлять меня в покое — не без чувства сожаления, потому что думают, будто в Базеле мне не так-то легко будет освоиться и найти себе развлечения.

Я доволен своей академической работой. Студенты мне доверяют, я стараюсь как можно лучше помогать им советами, и не только *in philologicis*²⁹². Кстати, я уже сейчас испытываю удовольствие от того, что на Михайлов день трое из числа моих бывших слушателей, причем как раз лучшие, по моему совету поедут в Лейпциг. — Я составил себе план лекционных курсов на ближайшие годы: буду читать все то, чему хочу или должен научиться получше. От этого я, несомненно, только выиграю. Мои «Хозэфоры» и курс по лирикам, к моей радости, получают очень хорошо — во всяком случае, лучше, чем я мог ожидать. В следующем семестре буду читать историю доплатоновских философов и латинскую грамматику, а в семинаре — *ἔργα Γεσίοδα*.

Снова прилагаю свою фотографию, кажется, неплохую. От Герсдорфа я получил трогательные сообщения о пропаганде Шопенгауэра в Берлине. — Флорентийская рукопись — это Лауренцианская рук. 56, 1. О палимсесте я больше ничего не знаю. Он должен найтись, потому что в Бурбонской библиотеке²⁹³ не так много греческих рукописей. Тишендорф считает, что он патристического содержания. — В любом случае пиши мне в Базель, а если я все же уеду отсюда, письма мне перешлют. — Ну, прощай. Я живу с надеждой на счастливое время нашей встречи.

С преданностью вспоминающий о тебе
твой друг

38. Роде — Ницше
Сорренто, 6 августа 1869 (ор. 196)

Мой дорогой друг!

Я заставил тебя ждать своих неаполитанских новостей так долго не из неверности: есть в этой жаркой стране лаццарони и маккарони какая-то сила лени, которая буквально парализует. [— —] А теперь я наслаждаюсь тихим Сорренто, где хотелось до невозможности благоухать в поистине феакийском благополучии. Но вот те и на: я тут уже восемь дней, и семь дней как во мне угнездилась злостная *sciolta*²⁹⁴ [— —]. Сейчас я попробую сменить климат: завтра поеду в Неаполь, а потом на 8—14 дней в Сицилию. Эх, если б мы могли поехать вместе! Или я смог бы по крайней мере написать тебе приличную эпистолу! [— —] Так что эта записка предназначена лишь для того, чтобы побудить тебя самого к письму «ко мне», как прекрасно говорит воскресший Врангель: ты знаешь, что нет для меня большей отрады. [— —]

С прежней преданностью,
твой Э. Р.

39. НИЦШЕ — РОДЕ
Баденвайлер, 17 августа 1869

Мой дорогой друг,
пишу в последний день каникул. Пробуждаются старые, погребенные чувства. На душе у меня, как у четвероклассника, который, услышав последний звонок каникул, ударяется в сентиментальность и пишет стихи о бренности земного счастья. Ах, дорогой друг, мало у меня радостей, мне приходится переваривать все впечатления в таком одиночестве! Я даже не побоялся бы заполучить зловредную дизентерию, если бы этой ценой смог обрести вечернюю беседу с тобой. Как мало дают письма. Вчера я откопал прекрасное место из старика Гёте:

Нам так нужны уверенные речи
Из уст друзей! Небесной силы их
Не зная, одинокий угасает!
Как долго созревают в нелюдимой
Душе мечты и мысли! Близость друга
К решеньям побуждает нас легко²⁹⁵.

Так оно и есть: нам вечно нужны повивальные бабки, и чтобы разрешиться от бремени, большинство ходят в трактир или к «коллегам», и уж там от них, как котята, расползаются мелкие мысли и планы. А когда мы носим бремя, рядом нет никого, кто помог бы нам в тяжких родах, и тогда мы мрачно и сварливо кладем свою грубую, необработанную новорожденную мысль в какую-нибудь темную дыру, а солнечный свет дружбы на эту мысль не падает.

С этими вечными речами об одиночестве я уж совсем сделаюсь плотником, да только ко мне не захочет присоединиться какая-нибудь любезная Мария. «Вол и осел уж тут как тут и славу Господу поют.» Вот так-то! Нужно только немного крупного рогатого скота, и мировая гармония восстановлена, а здание увенчано крышей. Пастухи и овцы, видишь ли, созерцали звезду, а мы, остальные, не видели ничего.

К примеру, Тишендорф: он видел эту звезду и так быстро за ней гнался, что она оказалась на его груди²⁹⁶. Теперь за свою маленькую

досаду он получил прекрасную награду, вплоть до четвертой степени. Естественно, *quod licet bovi*²⁹⁷!

Зато я расскажу тебе еще кое-что о моем Юпитере, Р. Вагнере, у которого я время от времени вздыхаю с облегчением и наслаждаюсь больше, чем может вообразить весь корпус моих коллег. У этого сына человеческого еще не было ордена, но как раз сейчас он получил первую награду, а именно звание почетного члена Берлинской академии искусств. Жизнь плодотворная, богатая, потрясающая, совершенно несхожая с жизнью посредственных смертных и неслыханная среди них! Ее-то он тут и представляет, прочно стоя на своих ногах, всегда глядя поверх всего эфемерного, несвоевременный в лучшем смысле этого слова. Недавно он дал мне почитать рукопись «О государстве и религии», задуманную как памятная записка для молодого баварского короля, — в ней такая высота и независимость от эпохи, такое благородство характера и шопенгауэровская серьезность, что хотел бы я быть королем только ради подобных наставлений. Кстати, недавно я послал ему несколько мест из твоих писем — для госпожи фон Бюлов, которая меня об этом просила много раз. Когда я был там в предпоследний раз, ночью на свет явился маленький мальчик, прозванный «Зигфридом». Когда я был там в последний раз, Вагнер как раз закончил сочинять своего «Зигфрида» и роскошно наслаждался своей силой. — Ты не хочешь ему писать? Ты думаешь, что ему осточертели восторги профанов. Но ведь ты можешь писать не как музыкант, а как серьезный человек, разделяющий его образ мыслей: такие пишут ему очень редко, и всякий раз он радуется этому, как находке. Да ты уже и не чужой для него. Адрес: Господину Рихарду Вагнеру, Трибшен близ Люцерна (черт возьми! Теперь-то я уж вывел это красивыми буквами: помнишь, однажды я рекомендовал тебе книгу Грея, а ты понял это как Грог). Да уж получил ли ты мое последнее письмо (с моей фотографией), которое я послал в Неаполь *poste restante*²⁹⁸? Что-то я сомневаюсь.

Прощай, верный друг!
Фрид. Ницше

Очень обязан тебе за любезную сверку. Ромундт стал доктором филологии. Мою речь о Гомере (которая в Лейпциге очень понравилась) ты получишь по возвращении.

Мой дорогой друг!

Таковы уж планы смертных! Я честно намеревался сразу *redigere Sicilia*²⁹⁹ написать, наконец, письмо, которое тебе задолжал: я вот уже почти две недели снова в Италии, но все еще в долгу. Но странно: я так хотел бы «обнажить перед тобой свою душу», пове­дать тебе о своих мыслях, надеждах, опасениях и обо всей глупости своей одинокой внутренней жизни, но стоит только сесть за письменный стол, как краски, некогда такие яркие, блекнут; так засохший цветок теряет аромат, фрукт — вкус, и чувствуешь себя так, будто хочешь удержать на месте изменчивые формы облаков. И потом, действительно, «долго созревают в нелюдимой душе мечты и мысли»³⁰⁰, мало того, она вянет и падает на землю, не достигнув зрелости, потому что оробела от такой отъединенности. В конечном счете такому блуждающему существованию, какое я сейчас веду, свойственно то, что оно, смутившись постоянным притоком воспринимаемых внешних впечатлений, не оставляет человеку покоя, необходимого для уединенного раздумья: этот перевес все снова притекающего к нему материала он ощущает в конце концов чуть ли не как насилие над своей личностью. Лишь в памяти он замечает свое великое обогащение, и благодаря этому сильному приращению наглядных образов выигрывают его фантазия и способность сопоставления. И впрямь, тут получаешь так много образов, что можно рыться в них всю свою дальнейшую жизнь и получать материал для наслаждения их пестрым блеском. Воспринимая все это, чуть ли не теряешься в нем и сам: созерцание и рефлексия — отдельные виды деятельности мозга, которые имеют место не одновременно, и, может быть, это хорошо. Кстати, я все больше обнаруживаю в себе, что мало-помалу вырабатываю кое-какое понимание пластики. Станным образом этому пониманию можно научиться, что, к примеру, невозможно или ненужно в случае с музыкой. Естественно, даже некультивированному чувству музыка, когда она представляет в человеческом восприятии эффекты процессов, объектов, ходов мысли, дается легче, чем искусство, которое представляет сами объекты, при допущении, что воспринимающий сам производит в себе соответствующее ощущение.

Странным для меня остается лишь то, что, как я вижу на собственном примере, этому настоящему пониманию произведений пластического искусства можно научиться частыми упражнениями, если обладаешь хоть какой-то восприимчивостью. Если в таких упражнениях я дойду до определенной, удовлетворительной для меня степени, то вернусь из Италии неизмеримо обогащенным, — конечно, в собственных глазах. Ведь если человеку открылась прежде почти закрытая сторона чистейшего человеческого наслаждения, разве не лучше потратил он год своей короткой жизни, чем считая слоги и плетя паучьи филологические сети? Если это будет мне по силам, я еще использую эту зиму в Риме для дальнейшего формирования пробуждающейся бабочки. —

Описания моего путевого существования жди не от меня: если самому стоять в камере обскуре своего созерцания, образы происходящего снаружи видны ясными и свежими; но вынесенное наружу, это зеркало не показывает ничего или несколько смутных линий. Иначе говоря, за наглядно-чувственными впечатлениями слова могут угнаться еще меньше, чем за мыслями. Я пробыл в Сицилии 8—10 дней, потом снова здесь — и совсем недавно побывал на Везувии, в Ла Кава, Салерно и Амальфи (вместе с моим другом Матцем, который тебе понравился бы). Там по множеству причин мне не очень понравилось, но главным образом по той причине, что из-за отсутствия тенистых променадов приходится весь день примерно до шести вечера сидеть дома, причем без всякого освежающего чтения. Только вечерами я совершаю все ту же прогулку до Массы³⁰¹, с неизменным удовольствием созерцая «золотую раковину», в которой лежит Сорренто, под оливковым деревом мирно наслаждаюсь заходом солнца за фантастически изрезанные горы Искьи, а потом в сумерках возвращаюсь домой — не в утешительно мирных немецких сумерках, а в краткое время между закатом и ночью, типичной итальянской ночью, когда в холодном седом свете эта пышная, днем смеющаяся от яркой радости страна замирает в серьезном ожидании: в сущности, природа всегда являет ей такой серьезный лик. Потом, слоняясь без дела, я позволяю навещать себя всякого рода мыслям, как им заблагорассудится, — воспоминаниям, мечтам о будущем и всякого рода несбыточным желаниям; а самым излюбленным и частым, мой дорогой друг, всегда остается желание провести рядом с тобой всю изобильно идущую

вперед жизнь, ибо ты, поистине, *anima pars melior meae*³⁰². За то, чтобы это мое излюбленное желание сбылось, я сегодня, прямо сейчас, выпью бокал соррентинского вина. Ведь как раз зовут на *granzo*³⁰³. Твой верный

Эрвин Роде

41. Ницше — Роде

Базель, 3 сентября 1869

Мой дорогой друг,

что-то неладное творится с этими письмами: хочешь, как лучше, а выходит в конце концов что-то совсем эфемерное, аккорд, а не вечная мелодия. Всякий раз, что я сажусь писать тебе, мне в голову приходит выражение Гёльдерлина (в гимназии моего любимца): «...ведь смертный может души своей богатство расточать с любовью щедрой»³⁰⁴. А что, если я верно помню, ты получил с моими последними письмами? Отрицания, дурные настроения, выражения одиночества, подробности. И, клянусь Зевсом и по-осеннему чистым небом, как раз в эту пору меня сильно тянет ко всему позитивному — но множество роскошных часов с обильным пониманием и неподдельной наглядностью у меня пропадает; однако всякий раз, как меня посещают такие минуты и распирающие душу настроения, я позволяю выпорхнуть в небо уже готовому письму к тебе с благими мыслями и пожеланиями, в надежде, что эту скоропись до тебя донесет электрический провод между нашими душами (или, согласно Рейхенбаху, торжественное пламя).

Если бы ты не был так далеко, я доставил бы себе удовольствие «сообщить» тебе длинный документ — мою вступительную речь, которая уже предприняла путешествие в виде рукописи, для начала навестив Ромундта, принявшего ее с трогательной теплотой. Потом она была у папаши Ричля, от которого мне досталась похвала за хороший стиль, а напоследок у моего друга Вагнера, который читал ее госпоже Бюлов: он, что меня очень радует, согласен со всеми высказанными там эстетическими воззрениями и поздравляет меня с правильной постановкой проблемы, а ведь это, по его словам,

начало и, быть может, конец всякой мудрости, о чем, как правило, вовсе не думают. А теперь этому сочинению нужно еще к Венкелю, столь уважаемому мной и тобой, а, может быть, и к д-ру Дойсену; но подлинное освящение, σφρηγίς³⁰⁵, она получит, лишь когда благословишь ее ты. Нет ничего более приятного, чем отдавать рукопись для такого ознакомления: выбираешь себе серьезную, думающую публику и избегаешь опасности почувствовать себя проституткой.

Кстати, у меня тоже есть своя Италия, как и у тебя, разве что я могу использовать для нее только субботние и воскресные дни. Она называется Трибшен, ставший мне уже совсем родным. В последнее время я был там четыре раза с небольшими промежутками, и по тому же пути почти каждую неделю летит еще письмо. Дорогой друг, то, чему я там учусь, что вижу, слышу и понимаю, — неопишимо. Шопенгауэр и Гёте, Эсхил и Пиндар еще живы, поверь мне.

Твое наблюдение о научении способности эстетического наслаждения для меня важно: с недавних пор я начал открывать в себе — с «пустого места» в этом отношении — способность внутренне впитывать ландшафтные картины. «Исторические» картины, изображающие движения человеческих тел, навсегда останутся мне чуждыми — у меня совсем нет пластической способности. Но зато ландшафтные картины меня успокаивают и внушают чувство ожидания. —

На обратном пути ты ведь останешься у меня в Базеле на какое-то время, правда? Я пригласил Ромундта на начало зимнего семестра, и, к моей радости, он собирается приехать. В октябре я поживу с матушкой и сестрой на Женевском озере.

Зимой я буду читать лекции по истории доплатоновской философии и «Трудам и дням» Гесиода. То, что я читаю сейчас — «Хоэфоры», у меня, к моей радости, получается.

Стоит чистое синее прохладное осеннее утро, и я как никогда чувствую немощь крыльев своей души. Иначе я, конечно, перебрался бы через горы, через широкую равнину

к тебе, любезный мой друг
Эрвин Роде

42. НИЦШЕ — РОДЕ
Наумбург, 7 октября 1869

Желаю тебе всяческих благ!

Шапка этого письма скажет тебе о том, какую пышностью я обзавелся, отечественной теплотой и полнотой воспоминаний.

Снаружи, за окнами, — наводящая на мысли осень в ясном, мягко греющем солнечном свете, северная осень, которую я люблю так же, как своих лучших друзей, ведь она настолько же зрелая и инстинктивно-нетребовательная. Плод падает с дерева в полном безветрии.

Так же обстоит дело и с любовью друзей: она нисходит без всяких увещаний, без встрясок, и дарит тебя счастьем. Она ничего не требует для себя и только раздает.

А теперь сравни дружбу с отвратительно алчной любовью между полами!

Так и подмывает думать, что тот, кто искренне любит осень, немногих друзей и одиночество, смеет прочить себе долгую, плодотворно-счастливую осень своей жизни.

Терпи, пока одна из парок
Спрядет мне осень долгих дней —
Полуостывших уж лучей
И праздности подарок³⁰⁶.

Ты ведь знаешь, какую праздность мы имеем в виду: мы уже переживали ее вместе — в качестве настоящих *σχολαστικοί*³⁰⁷, то есть бездельников.

И что мешает нам надеяться на то, что осень жизни снова сведет нас вместе на такой вот манер?

Так пусть это будет пожеланием и надеждой, высказанными в годовщину твоего рождения, но живущими в моей душе всегда и в любое время!

Отсюда я навещу наши старые памятные места в Лейпциге, а Ромундт любезнейшим образом сообщает мне, что он туда уже приехал, чтобы не упустить меня. Я уже писал тебе, что он принял мое приглашение провести начало зимнего семестра в Базеле и что там мы попробуем вместе разрешить трудный вопрос о его будущем

назначении? Напиши, что ты об этом думаешь: насколько я знаю его теперь, спустя год успешного развития, я считаю его вполне достойным перспективы занять место на кафедре философии. Именно перспективы! Ему еще много надо сделать для систематического овладения всеми философскими дисциплинами. И до того момента пройти может еще не один год.

Кстати, я желаю нашей встречи так страстно еще и потому, что в последние годы во мне бурлит целая куча эстетических проблем и их решений, а рамки письма слишком тесны, чтобы рассказать тебе о них сколько-нибудь внятно. Чтобы разработать мелкие части системы, я пользуюсь публичными речами, как, к примеру, сделал уже со вступительной речью. Разумеется, Вагнер нужен мне в высшем смысле, главным образом как пример, недоступный для прежней эстетики. Необходимо прежде всего выйти далеко за пределы «Лаокоона» Лессинга, а об этом трудно заявить, не испытывая в душе смущения и стыда.

Теперь защитился Виндиш; Брокгаузены навестили меня в Базеле, и мы целый день пробыли вместе в Трибшене. Ричль и его жена проявляют ко мне невероятную любовь и уважение — я не скрываю это от тебя, чтобы порадовать. Есть ведь в высшей степени либеральные люди, наделенные большой внутренней силой, — они заслуживают честь, когда с такой непринужденной радостью признают людей совсем иного сорта.

И я сильно удивился бы, если бы они не судили так или похоже и о тебе. Должна же филологическая общественность ощутить, что мы с тобой хорошие друзья, но все же не такие, как все остальные. Правда ведь, мой дорогой друг?

Ф. Н.

До 17-го октября я тут. — Прекрасная и полезная сверка моего *certamen*³⁰⁸ — истинно дружеская услуга! Дай Бог, чтобы такие превосходные друзья, как ты, из любви ко мне брали на себя каторжный рукописный труд и подобные безобразия!!

Рим, 5 ноября 1869

Мой дорогой друг!

Наконец-то у меня появилась возможность поболтать с тобой часок в вечерней тишине, чего я так долго желал. Ты ведь знаешь, как люди упускают подходящие часы, хотя постоянно думают о ком-то с любовью, но все не набираются духа сесть за письмо, а потом, в часы более вялые, оказываются негодными для переписки. Так все последнее время было и со мной. А во Флоренции и без того было трудно думать о писании писем — я вел поистине двойную жизнь: по утрам крайне механическая работа в библиотеках, которая мне в конце концов осточертела, да и результаты ее в сравнении с затраченными трудами слишком малы, — после обеда неспешная прогулка вдоль берегов прекрасного Арно или вверх на Белло Сгуардо³⁰⁹, предпочтительно в одиночестве, погрузившись в самые диковинные грёзы, а заканчивалось все одинаково: совершенно сибаритской трапезой в обществе немногих, единодушно настроенных на гурманство. В сущности, это была сумасшедшая жизнь, дававшая мне мало возможностей особенно для настоящего углубления в многочисленные остатки великолепного флорентийского искусства 14-го и 15-го столетий (16-е меня уже не интересует). На обратном пути я, при дожде и ужасном холоде, останавливался в Перудже и Ассизи — недолго, но достаточно, чтобы запечатлеть в воображении живой образ местного фона, на котором протекала столь симпатичная мне художественная жизнь 15-го столетия. Характер той эпохи в особенности верно сохранила Перуджа. А с 23 октября я снова живу здесь, в старом Риме, на Виа делла стампериа, 17, ultimo piano³¹⁰; квартира очень уютная, с многообещающей печкой и самым ласковым утренним солнцем. Покамест эта печка — труба которой совсем наивно выходит через окно — еще простаивает, ведь, несмотря на отдельные проливные дожди, солнце всегда побеждает со славой; воздух тут такой же нежно-теплый, как у нас в мае, а солнце гуманно-милосердное и мягко сияющее. В таких условиях дни легко текут друг за другом. На короткое время, которое я еще могу провести в Риме, я отставил в сторону все, что, в сущности, интересует меня сильнее всего, и, как это ни странно, всем своим постепенно коченеющим духовным телом бросил-

ся в потоки искусства. И в самом деле, если не хочешь вернуться в конце концов домой старым невеждой, этот небольшой учебный период надо выжать, как лимон, по возможности досуха. Вот только времени не так уж и много, и каждый день возникает дилемма: сначала заглатывать впечатления от произведений искусства, а потом — отвратительная картина! — переваривать их, как можешь, либо же сперва усваивать исторические познания, а уж после любоваться искусством. Я предпочитаю последнее: изучив историю, видишь в тысячу раз больше, запоминаешь лучше и извлекаешь пользу даже из второстепенных, в том числе и неудачных, деталей. Это придает силы и, наряду с безбрежным учебным материалом, делает пребывание в таких городах, как Рим или Флоренция, настолько отрадным, что, как только у человека появляется такая потребность, он может забыть о своем мелочном, несвободном «я», созерцая произведение искусства, удовлетворяющее совершенному или хотя бы собственному вкусу, в одном или во всех отношениях. После такого наслаждения я остаюсь в приподнятом и очищенном состоянии, будто услышал великолепную, затронувшую душу до глубины музыку или почитал Гёте либо Платона. Но куда сложнее обрести этот катарсис на основе изобразительного искусства, чем из двух остальных: достигать этого во все большей мере есть то, чему я хотел бы научиться в Италии. Путь к этому, по крайней мере, для такой натуры, как я, — только исторический. — Покуда эта жажда новых знаний не проходит, я живу тихой, но по-настоящему счастливой жизнью, разделенной между восприятием нового и его подтверждением соответствующими примерами в каком-нибудь собрании. Но по преимуществу я все еще учусь, ведь я в самом начале, даже с точки зрения чисто дилетантских воззрений, которыми я и ограничиваюсь. — В остальном я живу, по выражению Гёте, как «замурованный», и сон, кажется мне, составляет две трети моего существования. Тебя, дорогой друг, я жажду видеть здесь каждый день, утром, днем и вечером; какую жизнь мы могли бы вести вместе! Это было бы время, когда, по выражению Жана Пауля, сочиняешь не пером, а всем своим существом и жизнью, когда ты весь звучишь, как музыка, исполненная энтузиазма. И вот мне приходится довольствоваться воображаемым общением, которое в наиболее оживленные моменты вовлекает меня в представление о блаженстве такой совместной жизни в таких местах;

но, увы, очень скоро я возвращаюсь к действительности и думаю: «Вот как оно было бы!». А теперь я чувствую себя в наибольшей чистоте, и все мое существо в наибольшей полноте, погруженное в это прекрасное, упоительное одиночество — ведь с его противоположностью дело тут обстоит так же, как везде: многие отвратительны, немногие приятны, большинство безразличны, и еще этот банальный тон, который всерьез выводит из себя и разъедает душу, как будто, чтобы почистить яблоки, пользовались мечом! В этих душах нет жара, а есть лишь какой-то исчезающе малый, тепловатый огонек. Так люди, разделенные глубочайшими безднами, стоят друг против друга, конечно, оценивают друг друга и, несомненно, получают совершенно неверные оценки. — Так что одна важная часть души совсем безмолвствует; говорит она разве что сама с собой да с далеким другом, который слышит отзвуки ее существа даже в бессвязных словах. [— —] «E te german di giovinezza, amore, Non curo, io non so come»³¹¹, — говорит великолепный Леопарди: просыпаясь, как прошлой ночью, в полной темноте, от печальной серенады, которую кто-то поет, проходя мимо под окном, я бывал странно растроган и наполовину с лаской, наполовину с болью вспоминал об отзвучавшем сладком волнении. [— —]

Тот, кто всегда требует от себя жить, как всесторонний человек, требует поистине слишком многого: даймоны позволяют это лишь своим возвышенным любимчикам, таким, как Гёте и другие полубоги; мы же, остальные, должны быть счастливы, если можем тихо и без помех развивать свои врожденные способности в каком-то одном направлении. Самому разрушать этот прекрасный и поистине редкостный покой — безумие. Сейчас я и впрямь веду счастливую, размеренную жизнь и прошу даймонов, чтобы душевный покой продолжался и дальше, а это лучший среди всех даров счастья. —

Можешь представить себе, дорогой друг, как обрадовало меня твое поздравительное письмо к дню моего рождения, — если ты хочешь, чтобы в моей жизни было много праздников, пиши мне почаще, ведь ничего более приятного со мной случиться не может. — А теперь кое-что о второстепенном. [— —] Ты, наверное, уже получил моего «Поллукса». Пожалуйста, напиши, следует ли мне отослать экземпляр Царнке: без рецензии о существовании этого сочинения не узнает ни одна мышь. Я полностью переработал его с тех пор, как показывал тебе тогда. Неудачную подачу темы я улучшить не смог,

поэтому приходится полагаться на соус, который я старался сделать погуще: собственно рыба там — всего лишь пескарь под маринадом. На этот раз прощай и доброй тебе ночи, любезный мой друг — напиши мне поскорее. Неизменно преданный тебе Э. Р.

NB. Ты читал «Философию бессознательного» Э. фон Гартмана? Он гравит Шопенгауэра, но бранит его — полагает, что у воли, делая вид, будто только что сам ее родил, два слепых глаза, <а именно> бессознательный разум, благодаря чему все вместе становится каким-то кротом. Книгу пронизывают долгие жуткие пустыни схоластической пустоты; но если постепенно превозмочь раздражение по поводу его дерзости в отношении Ш., то многое читается с большим интересом. Так называемый естественно-научный метод в ней глуп.

44. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 11 ноября 1869

Ну разве можно, мой любезнейший друг, писать такие соблазнительные письма? Поверь, когда я читаю подобное, жестокие укусы моей нынешней жизни превращаются в камень еще во рту; рыба моей профессуры даже не «маринованная», она становится какой-то змеей. И разве эта профессура не была змеей, которая соблазнила меня, увела с пути, ведущего к другу и к лазурным чудесам света?

Буду говорить на твоём языке. Я прочел твоё письмо и почувствовал себя так, будто внезапно проснулся, а вокруг глубокая темная ночь, и издалека доносится звук, полный тоски, какого я давно уж не слышал.

«О Риме ты молчи», — говорит бедный Тангейзер, которому там не повезло; я скажу то же самое, потому что там я пришел бы к тому же, тогда как здесь, в этом немзыкальном городе, я живу, как приклеенный, в проклятой работе, со сломанными крылышками и согнутыми ножками!

К примеру:

Этой зимой — по желанию студентов — я читаю латинскую грамматику! *Noto sum*³¹² — но это уж очень бесчеловечно и, кроме того, до ужаса мне *alienum*³¹³.

Ты совершенно прав, роскошествуя и наслаждаясь в горе госпожи ARS³¹⁴, да и вообще в такой близости к святой MARIA, в какой можно быть только к святому PAPA³¹⁵.

Из Лейпцига тоже есть радостная весть: Ричль пишет мне, что «Поллукса» ему хвалят со всех сторон, особенно с диндорфовской³¹⁶, но что до просмотра твоего сочинения у него самого руки еще не дошли.

Пошли ему все-таки один экз., лучше с посвятительными стихами. Старый добрый затейник такое любит. Он всем своим существом был поистине трогательно любезен, когда я навестил его в Лейпциге. Еще мне кажется, что там о тебе думают иначе, чем, возможно, прежде. — Старому Фишеру я подарил экземпляр "ONOS", и он был этому рад.

«Поллукс» — столь прекрасная и поучительная работа, что, думаю, в ближайшее время кто-то начнет с тобой переговоры насчет этой змеи (ahi anguis uncs — см. мои языковые сравнительства³¹⁷), и optumo iure³¹⁸.

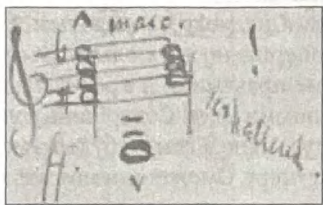
Если ты мимоходом увидишь *vitas Homeri* или *Nesiodi*³¹⁹, сделай мне одолжение сверить их. Особенно биографии Псевдогеродота. Прислать тебе «Биографов» Вестермана? In *Homericis*³²⁰ я слоняюсь туда-сюда для себя и хватаюсь за все подряд: твоя свертка тоже уже много раз оказалась полезной. У меня уже есть свертка *πέπλος*³²¹, у Розе тоже. Все без толку.

А теперь одна-две просьбы. Тебе на глаза не попадались ли в Риме и т. п. гравюры Дюрера? За одной я гоняюсь, она называется «Меланхолия»³²².

Недавно небеса послали мне два больших портрета (фотографических) Шопенгауэра, и теперь у меня вместе с твоим их уже три. А сейчас я закажу одному очень талантливому фотографу совсем большой и, если у него получится, адресую нашего печально-солнечного друга тебе в Рим, для твоего и его благоговения!

Насчет Гартмана я с тобой согласен и единодушен. Но читаю я его много, потому что он дает много прекрасных сведений и временами умеет сильным голосом подпевать древней песне Норны о достойном проклятий существовании. Он человек вполне хилый и усохший — но, кажется мне, несколько озлобленный, там и сям мелочный и в любом случае неблагодарный. А это для меня красная черта в этике и в этической оценке людей и животных.

Кстати, «Честь, хвала, слава и благодарность» (начало моей заключительной фуги, как часто бывает у старого Баха) одиночеству, которое хранит нас самих и наших друзей. Я отметаю все, что мешает, пустоту публичных формальностей, и живу в теплой зимней комнате совершенно непритязательно: правда, как раз теперь в темных сторонах бытия, скорее планиметрически, чем кубически. И даже не как в «Манфреде» — «Явление прекрасной жены»^{323!}



Рах nobiscum^{324!}
Любезнейший друг!
Ф. Н.

45. Ницше — Роде
Базель, конец января и 15 февраля 1870

Мой дорогой друг,

недавно меня вдруг охватила тревога — как у тебя там в Риме дела, как ты живешь на отшибе и, может быть, брошенным на произвол судьбы. Ведь ты даже, может, болеешь, без правильного ухода и дружеской поддержки. Успокой меня и устрани мою пессимистическую блажь. Рим как центр католичества кажется мне ужасающе ядовитым — нет, больше я писать об этом не буду, ведь тайна переписки обо всех этих церковно-иезуитских делах, по-моему, недостаточно надежна: кто-то может разнюхать содержание писем, и тебе это еще аукнется. — Ты <просто> изучаешь античность и живешь средневековьем. —

Вот что я хочу тебе сказать совершенно серьезно. Подумай о том, чтобы на обратном пути пожить какое-то время у меня, ведь это, понимаешь, возможно, будет последний раз на долгое время. Мне

отчаянно тебя не хватает — так доставь мне удовольствие своим присутствием да позаботься, чтобы оно не было слишком кратким. Для меня это все-таки новое ощущение, что и так на месте нет вообще никого, кому можно было бы доверить все лучшее и худшее в жизни. И притом нет даже ни одного действительно симпатичного коллеги. В таких отшельнических обстоятельствах, в такие молодые и трудные годы в моей дружбе появляется нечто поистине патологическое — прошу тебя, как просит больной: «Явись в Базель!».

Подлинным убежищем, которым я не могу нахвалиться, остается для меня здесь Трибшен близ Люцерна: но вот пользоваться им можно лишь изредка. Рождественские праздники я провел там: самые прекрасные и возвышенные воспоминания! Совершенно необходимо, чтобы и ты был посвящен в эту магию. Если ты будешь моим гостем, мы вместе съездим и к другу Вагнеру. Сможешь написать мне что-нибудь о Франце Листе? Если бы ты смог поехать обратно через озеро Комо, появилась бы чудесная возможность доставить радость нам всем. Мы, то есть мы, трибшенцы, положили глаз на одну виллу возле озера, близ Фьюме Латте, под названием «Вилла Капуана», два дома. Ты не смог бы подвергнуть эту виллу осмотру и критике?

О смерти Ваккернагеля ты, наверное, читал. Его хотят заметить на Шерера из Вены. На подходе и новый теолог, Овербек из Йены. Ромундт — воспитатель у проф. Чермака и, видимо, хорошо устроен, благодаря Ричлю. Рёшер, который писал мне о своем глубочайшем уважении к тебе, — «авторитетный» педагог в Баутцене. Бюхайер, видимо, получит назначение в Бонн. «Рейнск. Музей» теперь набирается антиквой. Я прочитал открытую лекцию «Античная музыкальная драма», а 1 февраля прочту вторую — «Сократ и трагедия». Я все больше начинаю любить все греческое: и нет лучшего способа приблизиться к нему, чем неустанное развитие собственной мелкой личности. Ступень, на которой я сейчас нахожусь, — всеустыжающее признание своего невежества. Вести филологическое существование в каких-либо критических усилиях, но в 1000 миль в стороне от эллинства, — вещь для меня все более невозможная. Да и сомневаюсь я, смогу ли когда-нибудь стать заправским филологом, — и не стану им, если только это не произойдет как-нибудь мимоходом, случайно. Вот в чем беда: у меня нет образца, а действуя на свой страх и риск, я могу оказаться шутом. В ближайших планах у меня четыре года культурной работы

над собой, потом поездка куда-нибудь на год, может быть, с тобой. У нас действительно очень тяжкая жизнь, и милое невежество под руководством преподавателей и традиций было таким уютным!

Кстати, ты поступаешь умно, что не хочешь закрепляться вот в таком маленьком университете. Люди изолируются даже в своей науке. Чего я только не дал бы, если бы мы могли жить рядом! Я совершенно отучаюсь говорить. Но самое тягостное для меня то, что постоянно приходится играть роль — преподавателя, филолога, человека — и сначала предъясвлять себя всем, с кем я вступаю в общение. Но делать это я умею из рук вон плохо и разучаюсь этому все больше. Я немею или нарочно говорю лишь столько, сколько обычно говорит учтивый светский человек. Короче говоря, я недоволен собой больше, чем людьми, и потому тем более предан тому, кто мне очень дорог.

Середина февраля. Сейчас я сильно озабочен тем, что твои письма не доходят до меня, а мои до тебя: я ничего не слышал <от тебя> с ноября. Моя уважаемая подруга Козима посоветовала мне справиться о тебе через ее отца (Франца Листа). Так я в ближайшее время и поступлю, но сегодня попробую еще раз письмом. — Насчет Собора мы хорошо осведомлены благодаря «Римским» письмам в Аугсбургской <общедоступной газете> — ты знаешь, кто их автор³²⁵? Тогда не показывай вида: за ним изо всех сил охотятся. — Я прочитал тут лекцию о Сократе и трагедии, которая вызвала ужас и недоумение. Зато благодаря ей узы между мной и моими трибшенскими друзьями стали еще тесней. Я еще стану ходячей надеждой: вот и Рихард Вагнер самым трогательным образом дал мне понять, какого настроения он от меня ждет. Все это очень меня пугает. Тебе, наверное, известно, как высказался обо мне Ричль. И все же я не хочу поддаваться соблазну: авторского честолюбия я напрочь лишен, примыкать к господствующему шаблону мне нет нужды, ведь я не стремлюсь занять никакого блистательного и известного положения. Зато, если уже настала пора, я хочу высказаться так серьезно и откровенно, как только возможно. Наука, искусство и философия срослись во мне теперь так сильно, что я наверняка рожу когда-нибудь кентавра.

Мой старый товарищ Дойсен телом и душой предался Шопенгауэру, последним и старшим из моих друзей. Виндиш уехал на год в Англию, служить в офисе Ост-Индской компании — он будет просматривать санскритские сочинения. Ромундт создал Шопенгауэ-

ровский союз. — Только что вышло в свет скандальное сочинение против Ричля (против его пластовской критики и конечного -d): его написал Бергк, к позору немецкого ученого сословия.

Еще раз наилучшие и сердечные пожелания. Я радуюсь весне, потому что она проведет тебя через Базель, — ты только сообщи мне, когда это случится: в пасхальные каникулы я с домашними буду на Женевском озере.

Прощай! Прощай!

46. РОДЕ — НИЦШЕ
Рим, 15 февраля 1870

Любезнейший друг!

Вот я, наконец, и снова собрался перебраться с тобой парой слов в тишине вечера: если бы мы умели разговаривать мысленно, то, конечно, провели бы много оживленных бесед за то долгое время, на которое остановилась наша переписка. Ах, дорогой друг, камень жизни катится с трудом всюду, и в Риме, и в Абдерах, и сколько раз уж по утрам так хотелось снова закрыть глаза, чтобы не начинать всякий раз заново бесцельных усилий! Когда я писал тебе последний раз, еще в благословенном 1869-м году, я делал это в настроении редкостного покоя и созерцательности: но как хрупки подобные состояния! Как скоро заново начинается вечное борение и мучение мыслей! Тогда-то так часто ощущаешь жгучую потребность на краткий миг скрыться в спасительное убежище чистого, безболезненного, свободного от потребностей царства созерцания, — но ты со своей подавленностью без усталости и томительно бродишь среди тихих образов искусства, возвращаешься домой и ищешь в работе утешения и, более того, чуть ли не наркоза: так, безрадостно, дни тянутся за днями. Есть две вещи, способные облегчить в таких обстоятельствах переполненное сердце: верный друг, который гарантирует единственное настоящее в мире счастье, счастье подлинного сопереживания, уже одним своим надежным присутствием, и музыка, небесная музыка, мягкой грустью несущая пленному сердцу освобождение. Счастливы ли

только другие? Я часто думаю, что да, когда вижу их такими безразлично-деловыми: а что мне остается, если я ощущаю пустоту и безвкукусность в этом напитке жизни, безвкукусность, которая чуть ли не хуже едкой горечи? Ах, страдания, которые можно отметить для себя по отдельности, куда более переносимы, чем это всеобщее уныние. [— —] Ты только время от времени давай мне знать, что и ты сохраняешь мне верность, вспоминая обо мне, и терпишь мои слабости и жалобы: ты, с твоей более удачной организацией, даже не представляешь себе, как мало нужно подобных слов, чтобы сделать мое существование выносимым и светлым: я очень слаб и подчас нуждаюсь в надежных свидетельствах для веры в то, что можно любить меня.

Прости мне эту слабость: уже несколько недель как я несу свою муку одиноко и безгласно. —

Если говорить о других вещах, то уже некоторое время назад ко мне поступил исходивший от Ульриха и поддержанный Риббеком план — продлив поездку в Италию еще на год, превратить меня в филологического мастера на все руки, грамматика и археолога одновременно. Моя слишком любящая меня добрая матушка уже хотела было выделить на это средства, но после коротких колебаний я отказался, ведь для меня несомненно, что археолога из меня не выйдет. [— —] Addio³²⁶, мой старый дорогой друг.

Твой верный Э. Р.

47. Роде — Ницше

Венеция, предположительно 24 марта 1870

Мой дорогой старый друг!

Вот я сиюгу тут, в залитой золотом стране солнца, на родине светоносного Тициана и Пальма Веккьо, — а вместо лучей света меня объемлет такой «мрачный день», какой может случиться с человеком только в земле *Σχύθαι γαλακτοφάγοι*³²⁷. Представляешь, уже несколько недель тут отвратительно холодно и дождливо, а сегодня так и вовсе повалил густой снег, который для разве что разнообразия сменяется холодным дождем. Это может показаться тебе,

швейцарскому весельчаку, самым простым делом в мире, но раз уж я в стране Гесперид, то хочу сполна получить свое и насытить глаза божественным светом и живительным теплом. Забыться дома в угол и затопить печку в этом дурацком Гамбурге можно ведь еще лучше, чем здесь. Ко всему прочему у этих итальянских печек есть одна особенность — сколько дров в них не клади, большого тепла не жди: и вот я уже несколько часов усерднейшим образом кормлю это αἶνὸν πέλωρον³²⁸, называемое печью, но несмотря на это, мерзну еще более усердно. Постоянно пытаюсь вспомнить строку Горация: *vides ut alta*³²⁹ и т. д., но никак не могу вспомнить до конца: приходит в голову только «*ligna super foso*»³³⁰. В этом все еще есть что-то от старого фалернского, но черт побери «одинокое пьянство» в чужом городе, да к тому же в мерзком гостиничном номере. *In somnia*³³¹: я тоскую по человеческой душе, которой смог бы доверить самые тайные мысли, — по тебе, мой любимый друг. Ведь когда люди так душевно близки, как мы с тобой, судьбе следовало бы быть поумнее и не отрывать человека от преданного товарища так далеко. Но на одно я надеюсь с определенностью: что на обратном пути смогу погостить у тебя какое-то время в Базеле. У меня в планах побыть здесь еще около двух недель, потом, делая крюк там и сям, доехать до Милана, пожить там около трех недель, а потом вернуться домой через Швейцарию. Так что я смогу быть в Базеле в первые недели мая. Напиши, подходит ли это тебе. — [— —]

Но все-таки в Италии я хорошо продвинулся вперед — теперь созерцание великого произведения искусства способно дать мне «исцеленье от унынья»³³². Так, на пути через Болонью (Равенна в сравнении с нею меня разочаровала) и Падую сюда я пережил множество чистейших наслаждений, особенно в Болонье, где в отдельных картинах <Франческо> Франчи и некоторых картинах более поздних болонцев, которые прежде я находил отвратительными, я обрел теперь друзей, с которыми часто буду общаться в тихой памяти. Из таких-то случайных моментов чистейших праздников мысли, собственно, и складывается все наше крошечное счастье; и еще из памяти о них, которая гудит о них малиновым звоном. Я все больше разделяю точку зрения Байрона: *They say that hope is happiness, But genuine love will love the past!*³³³ Будущее я по большей части могу представлять себе лишь со страхом, и сейчас больше, чем когда-либо. Я написал в Киль, что буду там к Михайлову дню

этого года, и сейчас в глупом замешательстве мучаюсь перспективами медленного изнеможения *privatim docens*³³⁴. — Самое скверное, что мои латинские занятия, которые у меня все еще на пике готовности, в Киле окажутся бесполезными, а греческие, внутренне мне, конечно, более милые, сосредоточены в областях, не дающих возможности читать лекции, так что мне, в сущности, некоторое время пришлось зря натаскивать себя к лекциям. Кто посоветует мне подходящие лекции? Увы αἰβοῖ³³⁵! Я всегда завидовал тебе за цельность твоих занятий, для чего мне не хватает покоя, а ведь вообще-то я, честно говоря, совершенно не понимаю, почему бы мне не ходить с высоко поднятой головой, как большинство моих дорогих коллег. Но необходимость вначале научиться вальжно преподносить большие массивы материала, а не одни собственные разработки! Ведь без этого с курсом лекций справляются лишь наилучшие. *Tantum*³³⁶. Еще одно: на обратном пути я не премину основательно обследовать ту виллу для трибшенцев на озере Комо, ты только поточнее опиши мне условия. — Да дарует нам даймон веселое, отрадное свидание, «и миг пройдет, года в себя вместив»³³⁷, года, когда, в сущности, человек впитал в себя все лучшее и самое важное, ведь обращаться с таким к другим — это как вести беседу со скалой: она хоть и дает отзвук, но не знает, о чем речь. И все же ничто не дает так много счастья, как такое вот совместное мышление и мнение. Так что до счастливого свидания! Твой Эрвин Роде.

48. Ницше — Роде
Базель, 28 марта 1870

Первым делом, дорогой друг, ужасное подозрение! Этой зимой я послал в Рим 3 письма, а недавно одно во Флоренцию (последнее до востребования — какой-то демон посоветовал мне не прилагать к нему ἀγῶν³³⁸). Но небожественная комедия в Риме, кажется, сделала ненадежной переписку по всей Италии, поэтому даже сегодня я пишу робко, как юная девица. Обо всем, что я доверил тем письмам, надеюсь рассказать тебе при встрече в Базеле. — Сегодня прими мою душевную благодарность за твое полное любви письмо; такой голос для меня — благодеяние здесь, где я довожу оди-

нокие прогулки до виртуозности. Итак, жду тебя в первые недели мая; семестр у нас начнется 3-го числа этого месяца. Но ты обязан пожить у меня какое-то время. Судьба этого тебе не даст, пока не разведет нас снова, как две ноги родосского колосса, и не водворит тебя в Киль, а меня не заставит оставаться в Базеле.

А теперь — предложение от меня и Ричля, самое свежее. Тебе известны «Грамматические исследования», которые издает Курциус: Р. сегодня очень подробно описал мне, какие изъяды несет с собой это учреждение. Всем молодым докторантам Курциус говорит так: «Если захотите написать что-то на грамматические темы, издадим бесплатно». Сначала в порядке вещей оказались *locus de dialectis*, теперь *de praepositionum in l<inguae> g<raecae> usu*³³⁹ и т. д. Последствия ты можешь понять сам. Р. хочет теперь (по предложению Тойбнера) издавать «*Meletemata Societatis philologicae Lipsiensis*»³⁴⁰ и просит, чтобы я написал большую статью для первого номера. Я условно обещал ему выманить нечто подобное и у тебя. Третьим будет Андресен (с частью своего «Исправления текста диалога»), а кроме него, Штюренбург с *Lucretianis*³⁴¹. Короче говоря, если только мы захотим, начало будет удачно положено. Я чувствую себя неизмеримо обязанным и, хотя сейчас это мне неудобно, сразу и безусловно согласился. В первом номере должны быть наши статьи, иначе Р. все отменит. Мне кажется, такова подоплека. Ты знаешь, с каким любопытством, а также с недоброжелательностью со всех сторон смотрят на такие первые номера. Так что это нужно сделать хорошо. Я поклялся преданно помогать этому предприятию. — Дай мне ответ. — Ты ведь знаешь, что Бюхелер перевелся в Бонн, а Штудемунд — в Грейфсвальд? Ты твердо решился на Киль? Почему не на Лейпциг? Да не бойся ты, что карьера частного преподавателя слишком затянется. Я еще совсем не уверен, что ты вообще в нее втянешься. Представь себе, я оставил за собой уже целый год преподавательской работы. Очень помогла мне близость моих трибшенцев: я провел у них рождественские праздники, встречался с ними каждые 2 или 3 недели, постоянно переписывался с ними — все это удивительно ободряло меня. Когда приедешь ко мне, дам прочитать тебе последнюю брошюру Р. В., и мы вместе съездим в Трибшен. Та вилла на озере Комо называется Вилла Капуана, поблизости от Фьюме Латте, к северу от него, прямо у берега, и в ней 2 дома. — Два доклада, которые я здесь

прочел (один о греческой музыкальной драме, второй — о Сократе и трагедии), для многих были совершенно возмутительными. Ты получишь и их, равно как и напечатанную инаугурационную лекцию. — У меня сейчас большие надежды на мои филологические занятия, но мне придется потратить на это много лет. Я приближаюсь к общей концепции греческой античности — шаг за шагом и с робким удивлением. — Виндиш уехал в Англию на год, служить в Ист-Индской компании. Ромундт благополучно сдал государственный экзамен и стал домашним учителем у проф. Чермака из Лейпцига. В апреле я с матерью и сестрой отправлюсь на Женевское озеро и 15—30 апреля проживу на вилле близ Монтрё. Прощай! До приятного свидания!

Твой верный друг Ф. Н.

49. РОДЕ — НИЦШЕ

Венеция, библиотека св. Марка, 19 апреля 1870

Дорогой друг!

Твое письмо до востребования я обнаружил на почте только позавчера, совершенно случайно зайдя туда, — я ведь просил тебя адресовать письма в Мюнстер³²: отсюда мой запоздалый ответ на твой запрос, ответ, который ты, конечно, рассчитывал получить быстро. Дело, о котором ты говоришь, для меня, конечно, чрезвычайно неудобно: ты ведь понимаешь, что в поездке, да к тому же в этой варварской стране, совсем без книг, разумеется, никак не может написать статью экспромтом. В темах у меня, естественно, недостатка нет, но не хватает главным образом всех необходимых книг — и оставленных дома черновики. Да и на все лето я не усматриваю возможности урвать столько времени от необходимой подготовки к защите диссертации, сколько потребовалось бы для приличной работы. Тем не менее мне было бы очень приятно почтить научной данью Ричля [— —] как учителя и филолога в противовес злым нападкам. И в первую очередь, почти исключительно, к участию меня склонило бы желание помочь тебе, мой дорогой друг, в этом столь важном для тебя деле. Однако *che fare*³³? Здесь

и сейчас я не могу сделать ничего, кроме следующего. В одной римской рукописи я нашел маленькое собрание *παράδοξα*³⁴⁴, она анонимная, но путем комбинационного метода ее можно приписать Исигону: несколько новых цитаточек, кое-какие неизданные глупости и одна не совсем лишенная интереса подборка кусков из Николая Дамаскина, Псевдосотиона и т. д., из которой, возможно, следуют какие-то выводы в отношении источников первого. Коротче говоря, более или менее чепуха, но все-таки вполне сравнимая с большинством новейших неизданных текстов. Так что сам реши, может ли этот *vitulus* (скорее *vitellulus*³⁴⁵) быть моим вкладом: я начал бы <здесь,> в Венеции, и в двух словах объяснил бы причину этого жалкого вклада: маленькое, как можно более сжатое предисловие, а затем текст, в который останется только вставить параллельные места там, где они есть; для этого моих здешних литературных возможностей как раз хватит.

Прими решение без оглядки на меня и не говори да, хотя хотел бы сказать нет, но не приписывай моей лени или отвращению, что я осмеливаюсь предложить лишь этот *misère*³⁴⁶: здесь я не могу сделать ничего вразумительного. И как здесь мне не хватает книг, так дома мне совершенно не хватало бы свободного времени. В общем, я думаю, самым разумным было бы, если бы я сделал и послал тебе подборку этих *παράδοξα* вкуче с предполагаемым введением. Если эта ерунда подойдет тебе для соответствующей цели, зарезервируй ее за мной до моего приезда в Базель.

В любом случае ответь мне развернуто.

На сегодня это всё: *tre ore sono sonate*³⁴⁷, библиотека закрывает свой затхлый погребок, а на улице меня ждет гондола, зеленое море и золотой солнечный свет: эх, если бы ты был здесь, дорогой друг! Будь здоров, и до скорого радостного свидания! Неизменно преданный тебе

Э. Р.

До конца мая я в Базель приехать не смогу.

50. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 30 апреля 1870

Дорогой друг, как я тебе благодарен за то, что ты дал столь желанное разъяснение на мой, в сущности, нескромный запрос. Твое неизданное сочинение в любом случае — наживка и реклама для первого номера; ведь если новое начинание предлагает и такие вещи, то книготорговый успех ему обеспечен. Я думал бы, что в этот первый номер войдут твои и мои материалы и какая-то часть превосходных *copiestanea*³⁴⁸ (к диалогу) Андресена. Я обещал отослать рукопись во второй половине мая, хотя еще не написал ни слова по-латыни, потому что был сильно занят. Во-первых, мне пришлось взять на себя написание программы для Педагогиума (там речь о Лаэрции, ты получишь ее, а также мои напечатанные в последнем выпуске Рейнск. Музея *Analecta Laertiana* и мою напечатанную инаугурационную речь). Во-вторых, я неделю был со своими домашними на Женевском озере, с предощущением Юга и с множеством воспоминаний о тебе. В последние дни академический сенат измучил меня еще заказом сочинить латинское поздравление старому Герлаху, отмечающего 50-летний юбилей своей преподавательской деятельности. Получишь и этот странный документ, когда приедешь в гости.

Ну разве не диковинные это силки, которые я расставил на тебя, птицу, летящую с Юга на Север, чтобы тебя здесь задержать?

Кое-какие статистические новости: М. Гейне назначен сюда на место Ваккернагеля, Штудемунд — в Грейфсвальд, Лескиен — в Лейпциг. Не хочу упустить из вида и то, что в прошлом месяце меня сделали ординарным п<рофессором>. «Год прошел без утоленья!»³⁴⁹ Для меня это совершенно удивительно. Этим летом я буду читать два курса по интерпретации: «Царя Эдипа» и «Трудов» Гесиода, да еще вести семинар по «Академическим вопросам» Цицерона. Наше филологическое поголовье достигло известной высоты, которую здесь весьма ценят: 14 голов! Какое убожество!

Теперь я еще и поощрял первый класс Педагогиума к поступлению в университет. Славные юноши очень отзывчивы и по-настоящему преданны мне. Да и рассказывал я им кое-что сверх обычной школьной программы. В сущности, от симпатичного класса испытываешь чувство большего благополучия, чем на холодных

вершинах академической кафедры. Трое из 12 учеников захотели стать филологами — но можешь мне верить, я не чувствую за собой греха, потому что никого филологией не соблазнял.

Если я сейчас напишу еще несколько маленьких статей (на старые темы), то соберу их в книгу, для которой у меня постоянно рождаются новые идеи. Боюсь, она не произведет впечатления как филологическая, но кто может идти против своей природы? Вот для меня начинается период порицания — после того, как некоторое время я возбуждал большее или меньшее благожелательство, поскольку носил старые, хорошо известные домашние туфли. Тема и заглавие будущей книги: «Сократ и инстинкт».

На этой неделе я три раза слушал «Страсти по Матфею» божественного Баха, каждый раз все с тем же чувством безмерного изумления. Тот, кто полностью отвернулся от христианства, по-настоящему слышит здесь словно какое-то евангелие; это музыка отрицания воли без намека на аскезу.

Летом мы будем отмечать юбилей Бетховена: в том числе исполнением *missa sollennis*³⁵⁰. Еще меня попросили прочитать юбилейную речь. — Когда приедешь ко мне, ознакомишься и с последним сочинением Рихарда Вагнера — «О дирижировании»; это развернутая критика наших нынешних капельмейстеров и изумительные заметки из своей дирижерской практики. На днях Кирхнер, один из лучших учеников Шумана, сказал мне, что нигде и никогда он не участвовал в таких хороших исполнениях, как под руководством Вагнера. Итак, дорогой друг, до свидания! Но, может, еще до него пришлешь свои «диковинки»? Или привезешь их с собой?

Твой преданный друг

51. Ницше — Роде
Базель, 6 мая 1870

Мой дорогой друг, я просто в отчаянии оттого, что доставил тебе столько хлопот вместе с этими заразными почтовыми заведениями Италии. Мое письмо тебе снова вдруг затерялось — или попадет к тебе слишком поздно. В первом случае еще раз наведи

справки в *libreria*³⁵¹ Мюнстер, может быть, его просто переложили или не распознали. Значит, повторю свою живейшую благодарность за твою готовность и от имени Ричля, который очень этому порадовался. По его раскладу твоя статья о «диковинках» (с латинским вступлением) должна открывать второй номер *Acta societatis Lipsiensis*³⁵², по теории «жирного куска», ведь любое неизданное сочинение — жирный кусок для этого предприятия. Второй номер должен выйти сразу вслед за первым. Для первого я обещал дать свою статью до второй половины мая, стало быть, у тебя вполне достаточно времени. Но если тебе заблагорассудится прислать свои «диковины» скоро, чтобы закончить это дело, я заранее тебе очень признателен.

Я сейчас нещадно занят, потому что в этом семестре согласился замещать г-на Мэли в Педагогичуме. 4 часа латинских уроков и 2 часа греческих, так что сейчас у меня, несчастного учительского ишака, около 20 часов нагрузки!

Прости, что это письмо такое короткое, еще только об одном. Меня растрогало, что ты все еще помнишь о гравюре Дюрера. Не смог бы ты добыть для меня копию? Я тебя об этом прошу. Но тогда уж пришли ее поскорее, потому что это будет подарок на день рождения.

Очень жду твоего приезда.

Прощай, преданный друг!
ФН.

52. Роде — Ницше

Белладжо на озере Комо, вторник 24 мая 1870

Ессо³⁵³, дорогой друг, моя последняя остановка в этой поездке по земле обетованной, и поистине не самая скверная: я сижу, окруженный со всех сторон прекрасным озером Комо, в гостинице Дженаццини, и взгляд мой всегда ловит цветущие богатые берега и серьезные горы за ними, а под ногами у меня — зеленое, прелестное зеркало воды. Хорошо бы, если бы мое паломничество и мои финансы не достигли еще столь решительного конца, — тогда я

в блаженнейшей лени остался бы здесь лежать на две недели, купаясь, катаясь на лодке, иногда писал бы, сидя на веранде над озером, и нежился бы на солнце, ничего не делая и совсем ни о чем не думая бесконечно долгими часами: это самое трудное и прекрасное из всех искусств. —

Но по какой причине сегодня я напишу лишь несколько строк — это та самая вилла Капуана и касающееся ее дело! [— —] Давай-ка мы с тобой устроим здесь рандеву на пару недель в будущие долгие каникулы: вот, правда, только этот проклятый Киль находится так бесконечно далеко в Гиперборезии.

Так что на сегодня прощай, дорогой друг, и до скорого свидания!

Я чуть было не забыл от всей души пожелать тебе счастья в честь твоего выдвижения в ряды сонма Ординарных Отцов; теперь ты достиг высочайших степеней филологического честолюбия — остаются разве что степени надворных советников, а потом непосредственно бессмертных богов! Но их достигнут лишь те, что в простоте души в них веруют! А *propos*³⁵⁴! Ты получил ведь мою гравюру? Я выцарапал еще 3 франка, так что все вместе с почтовым сбором стоит 18 ½ франков. С тех пор я видел мнимые оригиналы той же гравюры — они были менее четкими и насыщенными. — Так что еще раз *addio*³⁵⁵; неизменно преданный тебе

Э. Р.

53. Роде — Ницше
Гамбург, 29 июня 1870 (ор. 239)

Мой дорогой друг!

Вот я уже больше восьми дней на своей старой родине и день за днем ношусь с мыслью написать тебе, наконец, — но не могу найти минуту покоя, уступая диковинно запутанным ощущениям, которые всегда несет с собой такого рода пересадка. Но теперь, наконец, пусть лед тронется!

Свою поездку до дома я целиком осуществил по тому дипломатическому плану, который мы с тобой установили. Первая оста-

новка — Фрайбург. [— —] Потом я помчался в Баден: там было еще пусто, никакого demimonde³⁵⁶, а все сплошь честные скучные соотечественники. Тем не менее в конце концов я проиграл 70 франков, хотя вначале выиграл 150, — увы, увы! Поджавши хвост, я поехал дальше, скучал в пустынном Франкфурте (Шауэрнест³⁵⁷) и проскучал так далее вплоть до самого Лейпцига. Там я, неторопливо разгуливая, всюду отмечал тихие праздники памяти: для нас обоих это ведь было такое прекрасное и важное время, давшее по крайней мере мне направление, в котором я, наверное, буду катиться до самого конца. Иногда я, внезапно озадаченный, задаю себе вопрос: как может выглядеть этот странный, совсем не такой уж «сам собой разумеющийся» мир в глазах других, для которых благодаря великому мастеру не «раскрылись силы природы»³⁵⁸? Одиноки, как одиноки мы бываем среди этих других — так одиноки, что едва можем принудить себя, и то не *vix quidem*³⁵⁹, говорить с ними о чем-нибудь другом, кроме колбасы и пива, дождя и солнца: они не только иначе мыслят и ощущают, они и хотят другого, и потому-то через эту бездну нельзя перекинуть мост. Но есть на свете такие хорошие, искренне доброжелательные люди, которые могут отлично удовлетворить нашу постоянную жажду общения. Я прекрасно погулял с другом Ромундтом однажды вечером в Розентале, у Кинчли³⁶⁰, где мы, пережидая сильный дождь, до ночи обсуждали всевозможные вопросы философии Шопенгауэра: думаю, при следующей встрече я стал бы еще больше ценить этого человека. Что означает такого рода гармоничный дуэт, благородные диссонансы которого неизменно разрешаются в конце тихим созвучием, со страстью ощущаешь, лишь когда вынужден петь себе под нос совершенно один, как я в этом большом пустынном городе. И все же я благодарен за то, что могу жить в таком полном одиночестве, по крайней мере до торжественного дебюта в Киле: в суете, которая называется общением, так легко теряешься сам, сомневаешься, соглашаешься верить в пошлости. Поэтому-то я заведомо предпочитаю одинокую *αὐστηρότης*³⁶¹ этой общительной веселости. [— —]

В Лейпциге я еще осуществил великий главный визит к старому учителю. Он был чрезвычайно любезен и по-настоящему впервые проявил ко мне сердечность, так что я полностью удовлетворен своим визитом. О важных делах мы не говорили — естественно, главным образом об Аста: ты должен <написать> первым, сразу за

тобой я, так что мы будем рядышком, а это и будет исполнением нашего желания. Рошер уже написал, Юнгман даже уже напечатал, *separatim*³⁶², но набор остается в распоряжении Акта. Издалека объявился бодрый Люттйоханн. Андресен разделен, в слегка сокращенном виде, на два номера. Я упросил Ричля прислать мне корректуру и твоей работы, первую или вторую, как тебе будет угодно. Напомни ему об этом еще раз. Ричль хотел, чтобы я прочел в Филологическом союзе доклад, — не возражаю, да только, как я чуть ли не надеюсь, это место займет, наверное, кто-то из «почтенных». Поэтому я потерял всякую охоту к этому. [—]

Ну да хватит об этом: о *Jupiter pluvius*, пролей в мое лоно какую-нибудь *professuram*³⁶³, и я принесу тебе в жертву свой старый зонтик! [—] Прощай же, дорогой друг и *πρόξενος*³⁶⁴, напиши мне поскорее и что-нибудь радостное. С прежней преданностью,

Твой Э. Р.

54. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 19 июля 1870

Вот, наконец-то, любезный друг, я и снова беру слово. Представляешь себе, я между тем несколько дней провел в постели из-за вывиха стопы — совершенно очевидно потому, что не пожертвовал Асклепию петуха, а вместо этого все время сам пожирал (вспомни Гёте³⁶⁵) «петушат» (вспомни Кёби³⁶⁶).

После этих ученых цитат я чувствую в себе склонность дословно процитировать одно место из последних писем <госпожи фон> Бюлов. «Эти дни оставили в нас очень добрые воспоминания; маэстро с большой благожелательностью отнесся к Вашему другу, и его мужественная серьезность, значительная заинтересованность и непритворная любезность, порой озарявшая его строгие черты, были ему безусловно симпатичны. Если он получит назначение во Фрайбурге, приезжайте в Трибшен всегда вдвоем, ведь “в двуединстве лучше человеку”, как говорит наш корифей»³⁶⁷.

И вот страшный удар грома: объявлена франко-немецкая война, и вся наша шаткая культура бросается в объятия самого ужасного демона. Чего только не доведется нам пережить! Друг, дорогой друг, мы увиделись с тобой снова на закате мирного времени. Как я тебе благодарен! Если твоя жизнь сейчас невыносима, приезжай ко мне обратно. Что теперь значат все наши стремления!

Мы, возможно, присутствуем уже при начале конца! Какое заступление! Нам снова понадобятся монастыри. А мы станем первыми *fratres*³⁶⁸.

Твой верный швейцарец

55. Ницше — Роде

Базель, предположительно 12 августа 1870

Мой любезный друг,

в воскресенье 15 августа я буду в Лейпциге, а оттуда санитарные власти отправят меня туда, где я буду помогать раненым, прежде всего на самом поле боя. Вместе со мной один гамбуржец, художник Мозенгель.

Где я буду, ты узнаешь наверняка в Наумбурге на Заале, туда-то и пиши (на адрес госпожи пастор Ницше).

А может, поедешь вместе со мной?

Фридр. Ницше

56. Ницше — Роде

Базель, среда ок. 27 ноября <23 ноября 1870>

Отпущение греха! Мой дорогой друг! Такие годы вряд ли повторятся, значит, вряд ли повторится ситуация, когда я так долго молчал о себе, как могила. Главное, я все еще жив — правда, не избежал ловушек дизентерии и дифтерии, и они достаточно подорвали мое здоровье, но в целом я сейчас снова человек среди лю-

дей. О своих военных впечатлениях я тебе рассказывать не хочу — почему ты не поделил их со мной? Я, кстати, ни разу не получил ни строчки твоих писем — все они исчезли «в полевых условиях»! У меня тогда был очень бодрый спутник, которому я о тебе кое-что рассказывал, желая, чтобы он с тобой познакомился. Попробуй сделать так, чтобы это получилось, — ты будешь рад. Зовут его Мозенгель, он художник и живет в Гамбурге, на Катариненштр., 41. Это один из лучших людей, что мне повстречались, и приятный, по-моему, ландшафтный живописец. Он много для меня сделал, напоследок даже ухаживал за мной во время болезни.

Теперь я снова полностью погружен в работу, читаю два курса — Гесиода и Метрику, а кроме того, «Академические вопросы» на семинаре и «Агамемнона» в Педагогиуме. А как дела у тебя? Ты тоже уже запрягся в преподавательское ярмо? Если так — удачи в веселой охоте! И в расхаживании с Диогеновым фонарем!

Коротко припомню, какие радостные события выпали на мою долю. Во-первых, Вагнер написал большую статью о Бетховене, содержащую философию в духе Шопенгауэра и с силой Вагнера. Скоро она будет напечатана. Госпожа Вагнер письменно спрашивала у меня, не участвуешь ли в военных действиях и ты и как твои дела. — Вторая радость: Якоб Буркхардт читает сейчас раз в неделю лекции об изучении истории, в духе Шопенгауэра, — прекрасный, но редкий припев! Я его слушаю. Третья радость: в свой день рождения я сделал лучшую филологическую находку, какие у меня были, — звучит это, правда, не слишком торжественно, да и не претендует на это. Сейчас я с этим вовсе вожусь. Если захочешь послушать, я могу тебе сказать, что существует новая метрика, которую я открыл и в отношении которой все новейшие исследования по метрике Г. Германна и Вестфала или Шмидта — заблуждения. Смейся или издевайся надо мной, как тебе угодно, — это дело удивляет меня самого. Работы очень много, но я глотаю пыль с наслаждением, потому что на этот раз у меня есть глубокая убежденность, и я могу постоянно углублять основную идею. — Летом я написал для себя большую статью «О дионисийском мировоззрении», чтобы успокоиться при разразившейся непогоде.

Теперь ты знаешь, как у меня дела. Добавь к этому еще, что я сильно озабочен подступающим будущим (в котором я рискну

прозевать перелицованное средневековье), и что со здоровьем у меня плохо, разве что когда я получаю письма от друзей или такие прекрасные сочинения, как твои из «Рейнск. Музея». Я вспомнил, что Фишер очень интересуется <ими> и высказался с большой благосклонностью к тебе.

Постарался ты и ради моего *αὐών*, спасибо тебе за это от всей души. Ричль утверждает, что корректор из тебя никакой, а так даже и не думал считать себя таковым. Так что мы по крайней мере одинаково прокляты. — Подумай, не вырваться ли тебе из этой фатальной антикультурной Пруссии, где рабы и попы растут, как грибы, и скоро своим чадом отравят нам всю Германию. — Мы с тобой друг друга понимаем, правда ведь? Или нет, и ты считаешь, что я где-то дал маху? Было бы ужасно жалко.

Прощай, верный друг.

Ф. Н.

Добавлю свои праздничные поздравления с днем рождения: желаю тебе здоровья, профессуры и, *si placet*³⁶⁹, жену.

57. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 11 декабря 1870

Мой дорогой друг!

Наконец-то все-таки хотя бы короткое сообщение от тебя, из которого я вижу, что ты не в плену, не повешен, не пошел в партизаны или серьезно болен, а то и вовсе по какой-то причине не отвернулся меня, — а ведь я боялся всего этого по очереди. Болел ты действительно — из-за того отважного санитарного паломничества, трудности которого были, конечно, ужасны. Судя по тому, что я слышу из других источников, — ведь ты сам совсем ничего не рассказываешь мне о своих деяниях и страданиях! — усилия таких вот санитарных шеренг были на самом деле чуть ли не большими, чем усилия собственно солдат. Так давай скажем спасибо даймону за то, что ты по крайней мере избежал худшей участи. Но в следующем письме, которое ты мне отправишь, расскажи мне все же немного

о своих путях по Франции: я говорю в следующем, потому что изголодался по хоть сколько-нибудь регулярной переписке с тобой.

Узнай же первым делом, что здесь в Киле я веду скучную жизнь приват-доцента. Частным образом я читаю историю грамматико-филологических исследований у греков, причем страшно много учусь — и, как я надеюсь, мои ребята тоже, а публично — «Пир» Платона. Весь мой контингент — пять слушателей, это скромно и скучно, как и все мое в высшей мере приватное существование: хотя, правда, у нас и вообще-то всего шесть действительных филологов (то есть тех, что не служат в запасном батальоне).

Вот и все об этой горемычной работе. [— —]

Можешь представить себе, что я отнюдь не ликую в это смутное время. День за днем все больше крови, нужды и бедствий: когда это наконец прекратится? И что будет потом? Даже если в ближайшие годы нас не поджидает новое смертоубийство, мне кажется темной даже перспектива мира. По крайней мере неясной. Как раз не нового средневековья я опасуюсь — а все более дикой, все более жестокой «современности». Для средневековья нам не хватает мистики, обращенной глубоко в недра души задумчивости, непосредственности индивидов в потоке целого, безусловно сносимых туда. Но «современность» ужасающе усиливается: всюду целесообразность и полное отсыхание всех глубочайших сил, всякой художественной, творческой способности; кто же еще дерзнет жить в сферах чистого духа так замкнуто, как это смогли сделать наши великие освободители, Гёте и сотоварищи? И кого следует призвать за это к ответу? На это невозможно сердиться, ведь кажется, что иначе и быть не может; никто не сможет избежать этой алчной эпохи, даже если захочет, даже если будет мечтать об этом как о величайшем счастье. Разве в этот период, который каждый час так страшно и постоянно напоминает о себе, о своем бурном существовании, кто-то смог бы жить в сфере всеобщего, то есть быть чистым человеком и неотрывно созерцать вечное и лучшее в человечестве? Разрушаются монастыри, а ведь там, рядом с множеством лентяев, с некоторыми слишком поздно родившимися, можно отгородиться от этой ужасной «современности». Наш брат может страстно только в мечтах стремиться как к несбыточному счастью к жизни, посвященной тихой созерцательной работе в какой-нибудь удаленной пустыни,

без помех и без волевых усилий. Но только это несбыточно, ведь мы живем в разладе с собой, мы, конечно, работаем и, конечно, обретаем в поденной работе свое счастье (да это, согласно поговорке, и впрямь единственное счастье, то есть единственный путь к тихой, ясной невозмутимости; ибо истинные восторги, какие дает искусство, а кроме него, возможно, любовь в чистейшие свои моменты, — лишь мимолетные взгляды через разодранную завесу облаков в золотое царствие небесное), — но на самом деле мы лишь оглушены, затыкая себе уши воском, уши, которые все равно прислушиваются к дисгармоническому реву эпохи; но никогда мы больше не испытываем благоговения надолго. Да испытывает ли кто-нибудь вообще подлинное, чистое благоговение! — Все это сугубо индивидуальные переживания, а в виду имеется только одно: покуда эта жалкая личность еще влачит существование, эпоха доставит ей, конечно, мало радости. Куда же катится весь этот мир? Кто бы смог разглядеть! [— —] Кто дерзнет сомневаться в «нравственном миропорядке»? И повторит в этом ужасающем бедствии то, что прежде, в покое, делал, наверное, со смехом? Только это, видимо, и позволяет думать, что счастье всего мира, народов и отдельных людей в виду не имеется. И горе тем поколениям, которые вынуждены в такую эпоху взвалить на себя бремя существования. Если человек ощущает гордость при виде блеска нашего народа, это хорошо и правильно: но как можно при этом целиком принадлежать только «современности», быть только современным немцем и в то же время по меньшей мере не онеметь, робея, при взгляде в будущее, как можно ликовать по поводу великолепия этого будущего, этого я не понимаю. То есть я понимаю, что явился из небытия на свет в неподходящее время. Люди, принадлежащие «современности», чувствуют все иначе, чем мы, они не сопротивляются тираническому потоку мировой воли, они даже весело болтают посреди тлетворных вод. — —

Ну, вышла прямо-таки послеобеденная проповедь по всей форме, неслучайно ведь сегодня воскресенье. — Одного я все снова желаю каждый день: быть с тобой вместе или хотя бы поблизости, дорогой друг. Ведь мы так сильно друг в друге нуждаемся. Поэтому я прошу тебя только об одном: давай хотя бы будем поддерживать нашу переписку постоянно: даже короткие письма от тебя наполняют мои дни светом. — Киль-то — настоящая гиперборейская

дыра, и чего мне здесь больше всего не хватает, так это возможности хоть иногда слушать хорошую музыку. Мне нужны такие возможности, ведь после недели неустанных трудов подобные истинные моменты счастья действуют на меня, как настоящий *κάθαρσις*³⁷⁰. Странно, что в активном отношении совершенно немusикальный человек может обладать такой почти болезненной пассивной потребностью в музыке.

Твоим слушаниям лекций Буркхардта я завидую: если и существует на свете совершенно специфический исторический ум, то это он. Есть манера смотреть на вещи исторически, и под ней я имею в виду не банальную профессорскую манеру объяснять таинственные проявления мировой воли в навязчиво плоской манере с одобрения высших чинов, как будто история человечества — это гимназический курс³⁷¹. Высокое искусство историка — это как раз искусство не привносить никакой «основной идеи», а, вдумываясь в наглядные предстваления, познавать сущность процессов прошедших эпох не так, как ее познает просвещенное 19-е столетие, а так, как они жили и развивались тогда. —

Ты слышал что-нибудь о Ромундте? У меня особый интерес к этому странному человеку. Он тоже родился слишком поздно. — Итак, на этот раз прощай, дорогой друг: будь посылно весел и выздоравливай окончательно. Как всегда преданный тебе

твой друг

Э.Р.

58. Ницше — Роде
Базель, 15 декабря 1870

Мой дорогой друг,

и минуты не прошло, как я кончил читать твое письмо, и вот я уже пишу. Хочу сказать тебе одно: я чувствую совершенно то же, что ты, и считаю, что будет позором, если однажды мы не выберемся из этого страстного томления, совершив какое-то значительное дело. Теперь послушай, какие мысли я ворочаю в своей душе. Если мы еще несколько лет протянем это университетское существование, то станем воспринимать его как некое назидательное стра-

дание, которое нужно нести серьезно и с недоумением. Помимо всего прочего, это должно быть время обучения способности учить, выработать которую в себе я считаю своей задачей. Только эта цель означает для меня нечто несколько более высокое.

Ведь и я очень хорошо понимаю, насколько важно шопенгауэровское учение об университетской мудрости. Совсем уж радикальное продвижение истины здесь невозможно. В особенности нельзя ожидать, чтобы отсюда возникло что-то по-настоящему революционное.

Кроме того, мы сможем стать настоящими учителями, только сами всеми средствами изымая себя из этой атмосферы эпохи и будучи не только более мудрыми, но и прежде всего лучшими людьми. Здесь тоже я ощущаю прежде всего потребность быть подлинным. Да и вообще я поэтому не смогу долго выносить воздух академических заведений.

Итак, мы сбросим с себя когда-нибудь это ярмо, для меня это совершенно несомненно. А потом создадим новую греческую академию, и Ромундт, конечно, будет с нами. В том числе после своего визита в Трибшен ты, наверное, знаешь о Байрейтском плане Вагнера. Я, никому ничего не говоря, поразмыслил, не произойдет ли в то же время в связи с этим и с нашей стороны разрыв с прежней филологией и ее образовательными перспективами. Я готовлю большой *adhortatio*³⁷² ко всем еще не полностью захлебнувшимся и не утонувшим в современности натурам. Как же это плачевно, что мне приходится писать тебе об этом и что все отдельные идеи уже давно не обсуждены в деталях с тобой! А поскольку тебе неизвестна вся эта уже имеющаяся конструкция, то мой план, возможно, и вовсе покажется тебе эксцентричным капризом. Но это не так, это необходимость.

Только что вышедшая книга Вагнера о Бетховене, возможно, подскажет тебе многое из того, чего я желаю сейчас от будущего. Прочти ее, это откровение духа, духа, в котором мы — мы! — станем жить в будущем.

Если даже мы найдем немного единомышленников, я думаю все-таки, что мы сами с грехом пополам, то есть, безусловно, с некоторыми потерями, сможем вырваться из этого потока и достичь какого-нибудь маленького островка, где нам уже не понадобится залеплять себе уши воском. Тогда мы будем учителями друг для

друга, а наши книги — разве что рыболовными крючками, чтобы заполучить в наше монастырско-художественное товарищество кого-нибудь еще. Мы живем, работаем, получаем наслаждение друг для друга — может быть, это и есть единственный способ, каким мы должны работать для всех.

Чтобы показать тебе, насколько серьезно я настроен, я уже начал ограничивать себя в потребностях, чтобы сохранить небольшой остаток своего состояния. А еще будем испытывать свою «удачу» в лотереях, сочиняя книги, — я жду в ближайшее время максимальных гонораров. Короче говоря, будем использовать любой не запрещенный метод, чтобы получить внешние возможности основать наш монастырь. — Значит, на ближайшие несколько лет это и будет нашей задачей.

Пусть этот план покажется тебе в первую очередь достойным обдумывания! Что настала уже пора представить его тебе, свидетельствует в моих глазах твое последнее, по-настоящему волнующее письмо.

Неужто мы не в состоянии дать миру новую форму академического преподавания:

Неужто я ее одну <...>
Всей страстью к жизни не верну,

как Фауст говорит о Елене³⁷³.

Об этом замысле никто ничего не знает, и только от тебя зависит, сделаем ли мы теперь подготовительное сообщение и Ромундту.

Наша <собственная> философская школа — это все же, конечно, вовсе не историческая реминисценция или произвольное настроение: разве на этот путь нас не толкает необходимость? — Кажется, наш студенческий план, наша совместная поездка возвращается в новой, символически увеличенной форме. Я не хочу быть тем, кто снова, как тогда, тебя подведет; это все еще не дает мне покоя.

С наилучшими надеждами,
твой верный брат Фридрикус

С 23 декабря до 1 января я в Трибшене близ Люцерна. — О Ромундте я не знаю ничего.

59. РОДЕ — НИЦШЕ

Гамбург, 29 декабря 1870

Мой дорогой друг,

я, видимо, должен поторопиться, если еще в этом году мировой революции хочу прислать тебе последний привет, в знак того, что между нами все как минимум по-прежнему. В самом деле, как подумаю, что год тому назад я сидел в Риме и, может быть, как раз при такой же точно сияющей зимней погоде, как нынче, шатался по лучистой Кампанье, то чувствую себя совершенно околдованным; а потом во Флоренции и так долго в сказочной Венеции, а потом недолго в Швейцарии: и вот уже блеск гаснет, и начинается пепельно-серое время болванов среди благочестивых гиперборейцев, славящих Господа сквозь зевоту. Как уже бесконечно далеко все это от меня! Но как мне нравится перепрыгивать через промежуток и нырять обратно в невинное время бесцельного существования! Но его уже не воротить, и я чувствую, что добровольное принуждение к несколько неудобной регулярности при всей своей неприятности дает все же и очень целительный регулятив для беспокойных желаний.

Твой план, рассмотренный лишь как пожелание, конечно, отнюдь не был для меня неожиданным. Каждый день и повсюду я чувствую, что общение с людьми, подлинная атмосфера жизни коих в корне отлична от той, в которой воздухом мог бы дышать я, — мучение, а в моменты опаматования — внушающее ужас расточение краткого срока личной жизни; я кажусь себе альпийским жителем, которого вдруг переместили в густой, обволакивающий ватой воздух наших саксонских маршей. К тому же я, увы, обладаю способностью в разгар всех этих банальностей «депотенцировать» свой слух и слышать лишь изнутри, лишь в очень ограниченной мере. Для подлинного *κᾶθαρσις* мне, как пифагорейцам, нужна *μουσική*³⁷⁴, которую я, пассивное существо, должен воспринимать извне, — *μουσική* любого вида. Так-то я с радостью отверг бы *βαναυσία*³⁷⁵ и устремился бы к жизни с музами в твоём и других *μουσικόλοι*³⁷⁶ обществе как к пределу всех желаний. Но, увы, только отверг бы. Прежде всего, откуда взять средства? В качестве *privatim docens*³⁷⁷ человеку, даже если он понимает в этом лучше, чем я, нужно экономить, и пусть еще радуется, если избежит голода! Но что беспо-

коит меня еще серьезнее, так это ощущение моей чисто пассивной предрасположенности. Я постоянно и все сильнее чувствую, что у меня начисто отсутствует настоящая продуктивность, в подлинном смысле: зачем скрывать это от себя! Так вот, человек, у которого есть только влечение и в определенной степени способность по крайней мере с благоговением и для собственного восхищения воспринимать возвышенное, никаким органом не понимаемое чернью, этой постепенно заполонившей вся и всё сиюминутной чернью «современности», — такой вот только понимающий, но сам ничего не творящий человек не имеет права бежать в пустынь, обеспечивающую творческому уму прежде всего покой для выражения своих внутренних видений. Если, в виде исключения, фортуна предоставит такому пассивному врагу черни возможность найти подобное убежище, то пусть он с радостью обратит к «современности» тыл, а в ином случае поплатится за свою двойственную природу, колеблющуюся между желаниями и неспособностью. С людьми вроде Шопенгауэра, Бетховена, Вагнера дело обстоит совершенно иначе, и с тобой тоже, дорогой друг; я же могу самое большее надеяться на благоприятную судьбу и потихоньку вскармливать свое пламя: но если бы мне вздумалось открыто противостоять толпе, то справедливо прозвучал бы издевательский вопрос о том, что же я противопоставил ей сам, своими собственными силами. — Всё это не фантомы гамлетовской рефлексирующей слабости, а вполне серьезное и несомненно правильное понимание порядков, которые можно только обвинять — каким-то немислимым образом — и по крайней мере вылечить и исправить одним мощным прыжком. Наш разлад с «современностью» — конечно, не причуда, не досадливое отшучивание, а, как ты говоришь совершенно справедливо, нужда, хотя, конечно, бывают виды нужды, исцелению не подлежащие. — Вот что, мой дорогой друг, я могу сказать о проблеме, которая доставляет мне сильное беспокойство, но решения которой я все-таки не вижу. — Ты, по крайней мере в эти дни, живешь на таком острове, о каком мы для себя мечтаем, и в царстве единственного гения, какой есть в нынешнем мире, и на несколько дней становишься совсем далеким от мира. [— —] Так давай же все-таки поддерживать желание соединиться когда-нибудь в будущем в нашем монастыре муз; чем стал бы человек без прелестных желаний! В это бестолковое время я все еще не соберусь лично выразить

Вагнерам свою благодарность и почтение, поэтому пока что прошу тебя высказать их ему устно.

Вагнерова «Бетховена» я недавно прочел: это голос пророка в пустыне, укрепляющий и указывающий на наличие лучшей жизни в разгар эпохи, когда человек ежедневно оттесняется все дальше от своей подлинной жизни. Эта книга — настоящее откровение о глубинном смысле музыки, откровение, глубже и убедительнее которого быть не могло, что мог сделать лишь этот гений, в лице которого глубочайший дух божественного искусства открывается так чисто и без модных покровов, как никогда прежде. Я испытываю чувство благодарнейшей удовлетворенности по поводу этих прямо-таки несравненных разъяснений — и все же, я не сомневаюсь, это глубочайшее изложение покажется нашим «грекам» «глупостью»: только это придает им настоящее достоинство в их собственных глазах. — Ну, прощай, дорогой друг, и пусть в новом году ὁ ἀνώγειος θεός³⁷⁸ будет благосклонным к тебе и ко мне и заново укрепит нашу дружбу.

Твой Э. Р.

60. Ницше — Роде
Базель, 8 февраля 1871

Мой дорогой друг,
великая, небывалая транзакция, трансфигурация, транссубстанциация!!

У нас, возможно, есть перспектива провести следующий семестр вместе. Ты станешь моим преемником, а я — университетским философом!!

Тейхмюллер сейчас покидает Базель, чтобы занять место в Дерпте, и я подал заявление на его кафедру, добавив непременно условие, чтобы ты стал моим преемником и занял мое нынешнее место в Базеле.

Поглядим, как боги поведут наше суденышко! Меня, наверное, обвинят, что ради дружбы я выдумал хитрейшие ходы. Как я был находчив, чтобы мы объединились! Как манит возможность!

В таком случае ты переехал бы сюда уже в середине апреля.

Большого об этом писать не буду. Станем надеяться на лучшее, но — молчать!

Мое здоровье так плохо, что врачи посылают меня на Юг, и послезавтра я уезжаю в Лугано. Желудочное и кишечное воспаление! Страшная бессонница! Меня не будет до Пасхи, и вернусь я в качестве философа³⁷⁹, если мой план сработает. Итак, о базельских делах ты от меня больше ничего не услышишь. Но если Фишер напишет <тебе> первым, значит, дело перешло в благоприятную стадию. Терпение и надежда! И молчание!

Это письмо скрывай от всех, в том числе от Фишера.

Радости, прекрасных божественных искр!
Amicus³⁸⁰.

Письма адресуй в Базель. — Я очень скоро напишу.

61. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 11 февраля 1871

Мой дорогой друг!

Наконец-то письмо от тебя, а то из-за твоего долгого молчания я уж было начал делать самые странные предположения. Но теперь я, конечно, слишком хорошо понимаю причину этого: болезнь не оставила тебе для писем ни времени, ни желания. От чрезмерных нагрузок санитарной службы твое здоровье было, конечно, потрясено до самой глубины: ведь в самом деле, <ты — > слишком ценный материал для такой работы, на которой куда больше пригодились бы крепкие простофили. Разумно по крайней мере вот что: чтобы ты наконец взял паузу и безусловно отдался полному покою. Пусть только демон даст тебе мягкую погоду и предвкушение живительного итальянского солнечного тепла — тогда полное отсутствие работы, конечно, быстро поправит твое здоровье. Повсюду на этих прекрасных озерах я могу сопровождать тебя в мыслях — специально о Лугано у меня, конечно, осталось главным образом воспоминание о том, что оно произвело на меня впечатление сугубого изящества, но это озеро, которому, конечно, не сравнить-

ся с озером Комо, все равно милое, а в соборе я испытал краткое благоговение перед бесценными фресками Луини; особенно мне запомнилась женская фигура, держащая за руку маленького мальчика, одетая в желтое платье, тонкая и изящная; на ее лице чудесная, мечтательно-растерянная улыбка, глаза ее опущены, — это своеобразный леонардовский женский тип. Я всегда думал, что она совершенно отрешена от окружающей дисгармонии и в тихом блаженстве вслушивается в неземное благозвучие, которое воцаряется вокруг нее. — Видишь, я впадаю в болтливость, рассуждая об итальянской живописи, но здесь, в стране киммерийцев, я не могу без тоскующего возбуждения вспоминать о залитых солнцем землях *oltra i monti*³⁸¹, об их благородном искусстве, о мягком звучании их языка, о бесхитростной жизни их счастливых обитателей. Стоит мне прочесть несколько стихотворных строк по-итальянски, на меня находит непреодолимая тоска. Это то самое, что переживает великое множество людей, — ностальгия живущего в стране плачевной скудости жизни по странам тепла, света, благородной формы. — Пусть тебе пойдет только на пользу, дорогой друг, если к Пасхе ты сможешь вернуться в Базель с прежними силами, все равно, в качестве философа или педагога, как раньше. Если бы мы встретились там! Какое прекрасное исполнение так долго и страстно вынашиваемых желаний могло бы выпасть на нашу долю! Мне нет нужды говорить, с какой благодарной растроганностью я принимаю твою заботливую дружбу; на то, что все получится, я надеяться все еще не смею, настолько выходящим за всякие рамки был бы такой поворот наших с тобой судеб; издавна я считал демонов способными только вредить. Даже если бы я не знал, что Фишер мог бы возразить против именно этого плана — ведь ты, которого он и впрямь ценит чрезвычайно высоко, остаешься в университете, — я все же был бы очень недоволен им, если бы он вот так запросто позволил отстранить тебя от школы³⁸², ясно понимая, что в любом случае полноценной замены ей не найти. Так что я ни в коем случае не рискну позволять поднимать головы своим радостным надеждам на столь неожиданное счастье, прямо-таки величайшее, какое я могу себе пожелать, ведь разочарование стало бы слишком болезненным. И, кстати, досадно, что сам я никак не могу поспособствовать благоприятному исходу дела. На самом деле я нахожусь в неуютнейшем напряжении, как всегда перед такого рода ре-

шениями: пусть же оно последует так или иначе хотя бы поскорее. [— —] Но как бы ни сложились дела в остальном, я в любом случае радостно приветствую твое решение от *ιστορία* перейти к *σοφία*³⁸³. Думаю, даже *beatus Arthurus*³⁸⁴, наверное, благосклонно улыбнулся бы такому «профессору философии», который, будучи проникнут его духом, призовет в мир истину, а иудеев и обрезанных в духе отошлет обратно в их синагогу. Поистине, в эту чрезвычайно «здоровую» эпоху, в которую мы вступаем, необходимо, чтобы где-то громко заявили о том, что над и за этим миром явлений существует царство идей и что высочайшей целью является и должно оставаться созерцание идеи человека, а не эта проклятая политика!

С преданной дружбой,

твой Э. Р.

62. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 22 марта 1871

Мой дорогой друг!

Прошло вот уже больше полутора месяцев, как твое письмо столь неожиданно нарисовало передо мной прекраснейшие надежды, и с тех пор я, как ты можешь себе представить, живу в самом неприятном напряжении. Ты, должно быть, вообще не получил [— —] моего первого письма: а теперь будь так добр получить вот это и затем, любезный друг, сними анафему, которую ты наложил, и избавь меня от этого безотрадного состояния пустой надежды, не ведущей ни в какое будущее и представляющей настоящее в виде чего-то временного, неудовлетворительного. Тайна же недовольства явно заключается главным образом в том, что человек не считает существующее чем-то определенным; вот потому-то я основательно недоволен. [— —] Но где же ты можешь быть сейчас, мой старый друг! Вряд ли еще в Лугано, ведь если уж человек разок сунул нос в обетованную страну Италию, то скоро вслед за ним он двинет туда глаза и все остальное. Я буквально страдаю ностальгией по Италии и очень хочу хотя бы мысленно сопровождать тебя. Итак, еще раз: напиши мне, друг! И напиши заодно, что дела твои пошли лучше и хорошо,

что ты целиком и полностью наслаждаешься этими бесценными весенними деньками, которые даже вплоть до здешних мест заставляют солнце по ошибке бледно улыбаться. [— —]

Здешняя жизнь катится вперед с грехом пополам. [— —] Если меня не мучить пустыми надеждами, я хорошо могу здесь выдерживать, ведь у меня нет никакого особого честолюбия, и я доволен, если меня оставляют в покое. [— —] Царнке по твоей рекомендации любезно прислал мне несколько книг на рецензию; я, правда, очень мало пригоден к такого рода танцевальному лавированию, но все же хочу попробовать грациозно помахать критической танцевальной ногой, как только будет время. Тебе, во всяком случае, моя искренняя благодарность за дружескую *sessio bonorum*³⁸⁵. — На этот раз прощай, любезный друг, живи на деле хорошо, но поскорей дай мне знать, что твои дела идут хорошо. Ты поистине скуп на письма. [— —] Поэтому напиши мне начистоту, что с нашими прекрасными надеждами ничего не вышло: да здравствует надежда! *In spite of all*³⁸⁶! Искренне твой Э. Р.

63. НИЦШЕ — РОДЕ

Лугано, отель дю Парк (но в конце недели съеду)

<29 марта 1871>

Да, мой дорогой друг, нужно снять анафему! Это нелегко и сейчас для меня никак невозможно. Ведь я вообще ничего не знаю о том, как идет это дело. Фишер, правда, один раз написал мне сюда (в Лугано), но в его письме не было ни слова о нашем общем деле. Зато еще в Базеле, до отъезда, но после того как я тебе написал, я уловил некоторые признаки того, что «философ» Штеффенсен³⁸⁷ проекта не одобряет. Представь себе только, какую нужно иметь надо мной власть, чтобы ссылаться на мое пристрастие к Шопенгауэру, пристрастие, которого я не скрываю! Поэтому мне приходится еще как-то показать себя и легитимизировать на философской почве: для этого я написал небольшую работу «Происхождение и цель трагедии», готовую до последних мазков кистью. Поэтому я думаю, что нам стоит подождать хотя бы еще немного, а именно до Михайлова дня, когда дело в лучшем слу-

чае для нас решится. Конечно, тем самым еще больше растянется это печальное состояние возбуждения и неудовлетворенности — наш перпетуум мобиле, а у нас будет достаточно времени, чтобы испытать свое философское хладнокровие на не очень-то обнадеживающем ожидании! — Это и есть обратная сторона моей затеи: если она реализуется быстро и неожиданно, ура, если задерживается, беда! Мы выбрали более длинную часть, которая на этот раз оказалась и самой короткой.

Чувствую я себя, увы, еще не лучшим образом, одну из двух ночей все еще провожу в бессоннице. Я, правда, стал куда как веселее и спокойнее и в целом чувствую себя хорошо, но поехать куда-то думать еще не смею; я ухватил верхушку Италии³⁸⁸ и вскоре снова ее выпущу. Я даже еще не увидел озер Комо и Лаго-Маджоре, а в Лугано провел уже больше полутора месяцев. Погода в целом мало похожа на итальянскую; я не почувствовал ничего от весны, которая сильно отличалась бы от нашей немецкой весны, — на горах кругом даже понизу еще лежит снег, а еще две недели назад он лежал и в саду нашего отеля, впрочем, хорошего. «Аномалия!», — говорят мне: слабое утешение, к которому я уже привык с тех пор, как живу в Швейцарии.

Среди множества унылых и вялых состояний духа у меня были и кое-какие весьма возвышенные, и в моем названном сочинении кое-что из этого проявилось. Я живу в зазорной отчужденности от филологии, отчужденности, хуже которой невозможно и представить себе. Хвала и порицание, а тем более все высшие почести в этой сфере заставляют меня содрогаться. Так что я мало-помалу вживаюсь в свое философствование и уже верю в себя; даже если бы мне пришлось стать еще и поэтом, я готов и к этому. Какого-то компаса в познании того, для чего я предназначен, у меня вовсе нет — и все-таки в обобщении прошлого все у меня выглядит так хорошо слаженным, как будто до сего дня мне пролагал путь какой-то благой демон. Я никогда не думал, что при такой неясности цели, даже без сильнейшей устремленности к государственной службе, человек мог бы чувствовать себя таким ясным и спокойным, каким я чувствую себя в целом. Какое это чувство — видеть перед собой свой мир, как прекрасный мяч, округлившимся и полностью надутым! Я вижу, как вырастает то фрагмент новой метафизики, то новая эстетика, а, кроме того, меня занимает и новый педагогический прин-

цип, полностью отвергающий наши гимназии и университеты. Я не изучаю больше ничего, что тотчас не захватывает себе хорошего места в каком-либо уголке сущего. А лучше всего я чувствую рост этого собственного мира, когда не холодно, но спокойно рассматриваю так всю называемую всемирную историю последних десяти месяцев и пользуюсь ею лишь как средством для своих хороших замыслов, без всякого преувеличенного почтения к этому средству. Гордость и умопомешательство — поистине слишком слабые характеристики моей духовной «бессонницы». Это состояние дает мне возможность смотреть на всю эту университетскую должность как на нечто побочное, мало того, часто всего лишь неловкое, да и эта самая философская профессура привлекает меня, собственно, главным образом из-за тебя, ведь и на эту профессуру я тоже смотрю лишь как на что-то временное.

Ах, как сильно я жажду здоровья! Человек предпринимает что-то, лишь если оно переживет его самого, — тогда он благодарен судьбе за каждую спокойную ночь, за каждый теплый солнечный луч, да что там, за правильное пищеварение! А вот у меня какие-то внутренние органы в животе в расстройстве. Отсюда нервы и бессонница, геморрой, привкус крови и т. д. Только, ради нашей дружбы, не своди и это изображенное выше состояние моего духа к системе ганглиев! А то я буду опасаться за свое бессмертие. Ведь я еще не слышал, что метеоризм порождает философские состояния.

Рекомендуясь тебе ими — этими состояниями, — прошу тебя от всего сердца еще не терять надежды полностью: мне известно, как споро Фишер примется за дело. Мои пробелы в письмах непростительны, но ведь ты знаешь, что чем больше человек нуждается в друзьях, тем меньше он имеет обыкновения писать. Это очень хорошо — но все-таки неправильно! Поэтому скоро ты снова получишь от меня письмо. Между тем помни обо мне, как и я постоянно помню о тебе, дорогой друг!

Ф.Н.

64. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, в пасхальный понедельник <10 апреля 1871>

Мой дорогой друг,

я вернулся в Базель и спешу, верный своему обещанию, написать тебе второе письмо, чтобы наконец избавиться от проклятья этого письменного злосчастья. И еще я, кстати, после сегодняшнего полудня в состоянии произнести искомое волшебное слово, а именно «Ничего не поделаешь!».

Дорогой друг, я страдаю от горького чувства, что внушил тебе надежды, а теперь вынужден их развеять. Пока меня не было, был обнаружен один юный талантливый аристотелик с факелом Тренделенбурга в руке, а, стало быть, я снова сижу на кафедре скромным филологом, а все философические мечты, питавшиеся в течение полутора месяцев и упивавшиеся твоими надеждами, идут к черту лжи и махинаций.

Теперь у тебя наконец есть причина всерьез на меня рассердиться. Какие глупости я наделал! И как уверен был в своих комбинациях! Я не имел права прятаться за молевой ширмой своих болезненных состояний; конечно, это была мысль, зачатая в лихорадочной бессоннице, и я думал, что нашел в ней исцеление от болезни и нервов, — жизнь вблизи от тебя, мой дорогой друг, теперь снова отодвинулась в самую туманную даль.

И нет кругом ровно ничего отрадного, чтобы послужить нам тут утешением! Во мне царит отвращение к филологии!

Последние дни я провел в Трибшене, где сердечно вспоминали о тебе и вместе со мной тешили себя надеждой на удачу нашего плана. Там снова задумали величайшие вещи; там воздух, которым можем дышать мы.

Больше писать не могу. Этот день кажется мне таким безутешным из-за тебя. Две бессонных ночи после возвращения, а я-то думал выздороветь! А тут еще горькое чувство, что, сам того не желая, обманул лучшего друга!

Да и самочувствие мое из рук вон плохое.

Прости меня, дорогой верный друг, все было так хорошо задумано, но что мы можем против демонов?

ФН.

65. Роде — Ницше
Гамбург, 22 апреля 1871

Мой дорогой друг,

напрасно я день за днем жду светлого часа, чтобы высказать тебе радостное ободрение в твоих печалях; я чувствую себя выгоревшим дотла и теперь, наконец, мне уж приходится укреплять свое настроение. Два твоих последних письма внушили мне большое огорчение; даже из твоих скупых слов я хорошо чувствую, как эта мучительная болезнь надламывает твоё мужество. И при этом ты завален работой, но вынужден жить среди людей, которых как-никак уважают и ценят, но жить в радостной гармонии с ними ты не можешь. Я и сам, вчувствуясь в твою душу, ощущаю глубокую подавленность. А тем более такие нервные возбуждения, о чем мне слишком хорошо известно, — спутники ужасно приставучие. Но одно я тебе советую настоятельно: оставь на время всякую музыку; она смертельна для нервов, если они перенапряжены, хотя она же дает высшую отраду в нормальных состояниях. Да и прекрасное одиночество, каким бы целительным оно ни было для здорового, при нервных болезнях — мука и своего рода болезненное состояние; наоборот, каждый потерянный в не важном для тебя обществе час надо считать лекарством. Успокой меня сообщением, что ты уже несколько больше живешь среди безразличных тебе людей; я почти гарантирую, что после вечера, тупо проведенного в пивной или в обществе, ты спишь лучше, чем после вечера одиноких раздумий. Но прежде всего, ради всего святого, не форсируй свои силы; <в противном случае> нервная система скоро расстроится навсегда. На твоём месте я, несмотря на ворчание базельских шейлоков, в крайнем случае взял бы отпуск еще на одно лето. [— —] — Итак, дай мне вскоре знать о хороших ночах и сносных днях; в какую-нибудь из таких вот бессонных ночей только и чувствуешь, какое это, в сущности, мучение — сознание и что полная невосприимчивость — в сущности, для нас лучший выход из положения.

Сюда же относятся и наши совместные надежды! Только теперь, когда они потерпели полный крах, я чувствую, как тайно и в абсолютной тишине моя душа уже по уши влюбилась в эти прекрасные перспективы. Об общежитии мы теперь и думать не смеем; а ведь это мое самое горячее желание, ведь в любых других условиях я ка-

жусь сам себе странно чужим и безразличным. Будем же надеяться по крайней мере на встречи при случае, на каникулярные поездки и т. п.; мы могли бы, к примеру установить Рейнланд как «нейтральную зону». — Но настоящего счастья нашему брату демоны не даруют никогда: ведь что могло бы быть большим блаженством, чем наша совместная жизнь в каком-нибудь университете! Я все еще с болью выдираю из себя эту бесценную идею. А вот теперь снова начинается то вегетативное состояние, когда человек с усилием защищает рукой свой огонек; дать ему разгореться он не смеет; здесь самое умное — последовать старому правилу: не искать счастья, чтобы не накликать несчастья. Вот вяло так и живешь день за днем и только дивишься тому, что другие, которые ведут такое же тупое существование, находят в нем что-то исключительно приятное. Резиньяция — научиться ей совсем не так трудно, как говорят, если только осторожно убаюкать свое сердечко, — но иногда оно пробуждается и тяжело вздыхает по счастью и даже в своем сумеречном полусне чувствует себя странно подавленным и тоскующим, полным боязливых предчувствий — чего же, собственно? А ведь такова и есть обычная человеческая жизнь. Резиньяция, резиньяция, богиня со свинцовыми крыльями и усыпительным стеблем мака, а то и вооруженная пивной кружкой, которую люди зовут «удовлетворенностью», — будь же ты к нам милостива. Аминь.

— Начиная с Пасхи, я здесь, в Гамбурге, но в следующий вторник вернусь в Киль. В последнее время я разнообразно занимался пифагорейскими темами; проблема интересна со всех сторон; я написал статью об источниках Ямвлиха. Кстати: книга о греческой мистике еще не написана и по мнению Лобека тоже — этот человек все знает, у него очень ясный ум, но нет любви, которая только и делает любой предмет понятным изнутри. Как я ненавижу эту фатальную гёттингенскую мудрость о «веселости подлинного эллинства»! У Диониса настолько же глубокое влияние, как и у просветившего гёттингенцев Аполлона, которого всюду видит это докучливое профессорское племя. Между Гомером и Эсхилом лежит эпоха сильнейшего мистического оживления и самоуглубленности, от которой плоская ясность александрийской эпохи оставила нам самую малость. Натуры более серьезные из числа этого уникального народа никогда не опускались до пошлой современно-оптимистической идеи «само-собой-понятности» мира

и человеческой истории или до очищенного стародаевичьего протестантизма этого благородного профессорского цеха, с их бравым Господом Богом и присными. Этот сорт людей и пифагорейство согнет в бараний рог не раньше, чем он превратится в политическое просветительство, как будто, наоборот, не надо бы радоваться устранению политики и пустого просветительства оттуда, где они действительно угнездились. Но с каким облегчением они вздыхают, когда возносят какой-нибудь темный уголок древности на высоту своих идей и тогда в старике Пифагоре могут приветствовать бравого собрата *in politicis*³⁸⁹! Баста: ненавижу эту породу, которая слизью своих сладких слов отвратительно закрывает для нас красоту и глубину золотого века юности человечества. Образец: «Гёттингенские речи» Э. Курциуса. —

Здесь я недавно послушал «Мейстерзингеров» (с Нахбауром), то есть примерно треть этого ужасно изувеченного благородного произведения, — но все-таки с большим удовольствием. Я вспоминал прекрасные дни прошлого лета, когда исполненные блаженства звуки этой музыки, услышанные впервые, подействовали на меня, как звучащий эдемский сад, по которому я, вдалеке от действительности, бродил в молчаливом наслаждении. На этих днях послушал я снова и «Лоэнгрин» — я люблю его издавна; но какое с тех пор расширение средств, поэтических и музыкальных, от чарующих волшебных звучаний «Лоэнгрин» до мощного потока «Мейстерзингеров», где властно и великолепно переплетаются струи бесхитростной веселости, нежной любви, пламенного чувства высочайшей одухотворенности и чистосердечного глубокомыслия <Ганса> Сакса: а над всем этим разлито золотое сияние глубокой, избавительной ясности! Вот жизнь, слышать и созерцать которую — счастье!

На сегодня довольно, дорогой друг, моя любовь всегда с тобой.

Твой
Э. Р.

Киль, 28 мая 1871

Дорогой неверный друг!

Что это такое с тобой? Как долго уже я с нетерпением жду, что ты подашь хоть какой-нибудь признак жизни, но проходят дни и недели, а от тебя нет даже самой малости. Я все еще никак не могу предположить худшего — что дела у тебя могли пойти назад, к отвратительной болезни, и так плохо, что настроения писать у тебя не нашлось. Но если тебя удерживает не это, то вспомни все-таки, что здесь, на задних рядах, в печальном Киле, влачит жалкое существование еще одна душа, для которой твое дружеское письмо было бы так же желанно, «*come una festa infra la settimana*»³⁹⁰. При всей нашей разобщенности я только глубже чувствую, как жесток демон, разметавший нас на такое расстояние: вот так и проживаешь свою вечную «*settimana*»³⁹¹ — равнодушный с равнодушным.

В последнее время ты, должно быть, странствовал своими мыслями в широких сферах: переживаем ли мы весну нашего народа? Долетели же посланцы весны до морозного Берлина! Да и байрейтские планы, кажется, близки к реализации, ведь о них открыто сообщают в любопытствующих газетах. Если бы посреди пустыни нашей эпохи, становящейся все более «целесообразной», нашелся оазис, где можно было бы радоваться, испытывая открытую гордость за свое благородство, — это было бы, конечно, на редкость отрадное зрелище. Ах, когда же немецкий народ снова поймет — а ведь он уже совсем забыл об этом: его предназначение состоит в том, чтобы быть знатно среди народов в самом настоящем смысле этого слова! Как много еще в этой нации верности, любви и душевной теплоты, но где же та амбициозность, благодаря которой наш лучшие люди еще во времена Шиллера, то есть совсем недавно, возносились «высоко над долами»! Разве многими из благородных умов уже десятилетия не овладевает предчувствие наступающего варварства, и как знать, не справится ли у нас эта чуждая сущность с внезапной катастрофой много лучше, чем у наших бедных соседей, где теперь распоясавшийся ад искореняет, оскверняет, уничтожает все благородное с дьявольской радостью. Только одно, надо надеяться, проявит себя с лучшей стороны — преданность королю. Этот последний из идеалов

множества простых душ опрокинуть не так-то просто; думаю, для несчастных французов последним ударом будет именно то, что они не умеют хранить верность. Она на самом деле — не призрак, не сон³⁹², и потому все это³⁹³ не то, за что люди с искренней верой держатся из глубокого душевного влечения. —

Так какую же почву Вагнер нашел, должно быть, в Берлине? Было ли его предприятие вообще чем-то большим, нежели личным делом? — Его статью об опере³⁹⁴ я внимательно прочел. Часто мне казалось, будто я слышу твои, любезный друг, подсказки там, где речь идет о греческой драме. Впрочем, это сочинение поможет отрядной популяризации идей Вагнера. Большая книга³⁹⁵ слишком эзотерична: недавно я снова прочел ее насквозь, но для ее понимания нужен поистине «делосский ныряльщик»³⁹⁶. Причина такой сложности, в отличие от прочих его музыкально-эстетических сочинений, состоит в том, что здесь он выныривает исключительно из глубины — не подходит извне с мерками разума, но в известном отношении мыслит музыкально, то есть постигает суть вещей в непосредственном ощущении, а не в идеях, не говоря уж о понятиях, а ведь все это нужно все-таки облечь в понятия. Это не неясность, а несоизмеримость формы и содержания. Тогда господам из «прекрасного в музыке»³⁹⁷ было бы, конечно, комфортно. А вот выразить самое глубокое в самой доступной форме — высочайшее искусство; я не знаю никого, кто обладал бы им в большей мере, чем мастер Шопенгауэр. Тогда оно выглядит так просто, но его все же ощущаешь и постигаешь самыми потаенными органами глубочайшей природы. —

О своем бытии я могу сказать мало отрядного. Читаю Гомера, к своему истинному удовольствию; лахмановщина³⁹⁸ день ото дня все больше представляется мне совершенно отвратительным варварством, возможным только у школьных учителей. Филологии тут делать совершенно нечего, тут можно пройти только эстетическим путем; но холодно разложить на части ощущение — какое это истязание! — Впрочем, у меня отрядно много времени для работы, но я борюсь со страшно дурным настроением: в таком абсолютном одиночестве чувствуешь себя жалким созданием, и Бог знает, как одиноко я в глубине души продолжаю притворяться перед самим собой. Самое разумное в таком тягостном настроении — рьяно работать: работа не дает счастья, да и как она могла бы давать его, она,

возвышающая нас над индивидуальным началом, для которого существует только счастье, — но она погружает нас в прекрасное ощущение ῥασιώνη³⁹⁹. —

Может быть, мы с тобой где-нибудь встретимся в летние каникулы, дорогой друг? В какой-нибудь красивой местности, где нас не знает никто, где-то на правой стороне Рейна или в Пфальце? Оставь мне такую надежду: тогда хотя бы будет иметь смысл что-то, о чем я, несчастный, намечтался в праздные часы, сидя в своем гнетущем одиночном заключении. Кстати, ты поедешь на съезд Филологического союза в Лейпциг? Поскольку Ричля благополучно устранили травлей, я туда, конечно, не поехал бы без перспектив встретить там тебя и других друзей. Так напиши мне поскорей, дорогой друг; если даже просто дашь о себе знать, и то хорошо, ведь я начинаю все больше беспокоиться о тебе. Пиши же чуть почаще, старина, ты и знать не знаешь, как обрадует меня короткий привет. Скоро ты получишь от меня более мужественное письмо, а пароль я тебе оставляю: выстоять всем чертям назло⁴⁰⁰.

С прежней любовью,
твой
Э. Р.

67. Ницше — Роде
Базель, 7 июня 1871

Мой дорогой друг,
тем более верный, что своим наказуемым неписанием я действительно мог пробудить твои самые ужасные мысли; но все-таки они, как свидетельствуют твои письма, вырасти у тебя не желали. В сущности, ты поступил бы даже несправедливо, если бы измерял меня термометром писем. После твоего предпоследнего, прямо-таки взволновавшего меня письма, я был совершенно не в состоянии писать; я искренне, каждый день радовался нашему взаимопониманию и продвижению по одинаковым орбитам, несмотря на отдаленность не нарушенному и созвучному — для него твои замечания о дионисовском начале поистине знаменательны, как прежде однажды наши с тобой ненамеренно одновременные занятия романтиками.

О том, насколько тяжело я переживаю нашу теперешнюю раз-
деленность, очень хорошо знают друзья в Трибшене, у которых
о тебе наилучшие мнения и чаяния.

Не поискать ли нам способа водворить тебя, скажем, в Цюрих,
откуда осенью уедет Бенндорф? Я как-нибудь наведу справки о нуж-
ных для этого шагах, в том числе на днях напишу Ричлю.

Осенью я по понятным причинам в Лейпциг не поеду. Тем
важнее, чтобы наши летние планы оставались в силе.

А мне с моей переутомленностью и бессонницей очень реко-
мендуют подышать воздухом альпийского высокогорья, и я уже
сообщил о своем с сестрой прибытии в один маленький пансион
в Бернском Оберланде. Я поеду туда 15 июля и пробуду до 14 августа;
потом будет летний семестр, его вторая половина, до конца сентя-
бря. В этом году денег у меня мало из-за весенней поездки в Лугано,
поэтому летом мне придется устраиваться экономно. В том пансио-
не я буду платить по 4 франка <в сутки> за всё.

Так вот, мне кажется чрезвычайно важным серьезно и оконча-
тельно договориться с тобой о множестве планов. Письменно я ска-
зать ничего не могу. Во всех своих устремлениях, особенно в пункте
педагогике, я рассчитываю прежде всего на тебя и первым делом
всегда только на тебя. И тут мне иной раз приходит в голову, что для
подобных вещей нет ничего важнее, чем сжиться нам с тобой обо-
юдно, в то время как до сих пор я еще не известил тебя об этом даже
поверхностно. С другой стороны, из каждого твоего письма, в том
числе из последнего, я различаю настолько родственную, глубоко
близкую мне «мелодию», что постоянно думаю: такими же должны
быть и наши планы, даже без взаимной договоренности.

Моя книжечка, о рождении которой я, помнится, сообщил тебе
из Лугано настоящим кудахтаньем, сейчас захирела из-за проблем
с издателями. Я вылушил оттуда статейку и напечатал ее в Базеле
за свои деньги: это переработка моего старого доклада «Сократ
и трагедия». Другая ее часть, о «дионисовском и аполлоновском»,
выйдет, видимо, в «Прусских ежегодниках» — если ее там примут,
в чем я сомневаюсь. В конце концов, все дело у меня сведется к до-
рогостоящему удовольствию быть обладателем исключительно не-
изданных, зато изящно напечатанных сочинений. — У тебя ведь
есть моя речь о Гомере? Я радуюсь и разговору о Гомере с тобой.
Сейчас я читаю курс «Введение и обзор», к удивлению моих слу-

шателей, с трудом узнающих себя в образе идеального филолога, который я набрасываю.

Позавчера я впевые спустя пять лет увиделся с Кинкелем-младшим, страстным приват-доцентом из Цюриха (но без перспектив). Другой цюрихский доцент, который в наше время учился в Лейпциге и, естественно, знал нас, оживил мою память о той прекрасной эпохе. Он удивительно точно помнит нас и наши речи, например, цитировал взгляды, которые я излагал знакомым на лекции, только, видимо, слишком громко, — короче, продемонстрировал мне, насколько признанным было наше положение. Зовут его д-р Грёбер. От Вёльфлина я услышал наилучшие отзывы об «Аста», особенно о статье Андресена, и то же самое от Хагена о Юнгмане, причем оба они коварно «возвысились» до рецензии.

Целью берлинской поездки Вагнера было чтение академической лекции и застраховать свои байрейтские планы — и, напротив, во что бы то ни стало предотвратить грозившее ему назначение на место главного дирижера. Все удалось, и через два года мы будем присутствовать на постановке «Кольца нибелунга». — Как прекрасно и верно ты оценил «Мейстерзингеров»! — Я обсудил с Вагнером предварительную идею журнала о реформации, причем прежде всего думали и о тебе. Короче говоря, затеяно многое, и давай во всем хранить верность друг другу. Прощай, мой любезный друг.

68. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 12 июля 1871

Мой дорогой друг,

быстро решайся на соискание только что освободившейся должности профессора филологии в Цюрихе. Прошу и заклинаю тебя, сделай это немедленно!

Эта профессура предполагает в первую очередь реальные отрасли классической филологии и историю античной культуры.

Начало профессуры: летний семестр 1872.

Заявление нужно написать до 31 июля.

Адресуй его:

Господину Зиберу, директору Педагогического департамента Цюриха.

Обращение в письме: «В глубокоуважаемую Педагогическую дирекцию».

Приложи все свои сочинения и статьи, очень подробно и убедительно опиши свой образовательный процесс и как можно больше ссылайся на твою оценку Ричлем и своих кильских коллег, а также — *si placet* — на меня и Фишера. Но напиши об этом Ричлю и попроси его о *testimonium*⁴⁰¹. Настоятельно тебя прошу, сделай все, чтобы мы оказались поблизости друг от друга. Кроме того, напиши еще одно теплое, дружеское частное письмо в Цюрих, профессору права Озенбрюггену, который хорошо меня знает и любит и которому я уже рассказывал о тебе, сообщи ему, что ты сделал, и спроси его, что, возможно, должно быть сделано еще.

Мы должны употребить все энергичные средства.

Пишу в величайшей спешке, чтобы ты не терял времени.

Соискание должно быть весомым.

В четверг я уезжаю на каникулы.

Адрес: Гиммельвальд близ Лаутербруннена, Бернский Оберланд, гостиница Шильтхорн.

Твой преданный друг

69. Роде — Ницше

Киль, 14 июля 1871

Мой дорогой друг,

твое только что полученное письмо приводит меня в досадное смущение. Бог знает, как я, подобно тебе, в глубине души ничего не желаю сильнее, чем чтобы благоприятный случай дал нам как можно большую близость. Но твоё предложение касательно Цюриха я, несмотря на это, до сих пор считал не более чем благим пожеланием, пока твоё письмо не показало мне, насколько серьезно ты отнесся к этому плану. Я, со своей стороны, до сих пор даже не побеспокоился об этом, поскольку считал и считаю это дело совер-

шенно бесперспективным: ведь в Цюрихе нужен главным образом археолог. [— —] Но теперь сюда добавляется нечто более сомнительное. Как ты знаешь, я согласился работать здесь <в Киле> из-за перспектив на должность внештатного профессора. Покамест это дело, казалось, застопорилось, но теперь вдруг, то есть примерно две недели тому назад, Риббек внес на факультете соответствующее предложение. [— —] Посуди же сам, не будет ли совершенно неприлично дергаться при таких обстоятельствах? Так что эта заманчивая возможность наконец-то исполнить наше горячее желание идет прахом! [— —] Тебе, мой любимый друг, я заново обязан благодарностью за твою теплую любовь; посуди же, насколько болезнен для меня этот срыв наших вожделенных планов. Ответь мне письмом сразу. Твой старый друг

Э. Р.

70. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, середина июля 1871

Мой дорогой друг,
еще раз сердечный привет — как сопроводительный документ к моей литературе.

Ф. Н.

— Моя упомянутая выше книжица так и не нашла издателя, и теперь я рожаю порциями: какая ж это мука для того, кто рожает! —

— Я написал Ричлю насчет Цюриха. Он уже ведет разведку. —

71. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 17 июля 1871

Мой дорогой друг!

[— —]⁴⁰² Из-за этих дипломатических интриг я еще не сказал тебе ни слова благодарности за твои богатые литературные дары. Речь о Сократе⁴⁰³ взволновала меня до глубины души: ведь это по-чин истинно филологического углубления в чудесные процессы рождения того таинственного искусства, к которому мы, поздно рожденные, обычно подходим без <понимания его> особенной $\theta\alpha\upsilon\mu\alpha$ ⁴⁰⁴. Я испытал счастье — нырнуть в эту пурпурную тьму хотя бы с твоей помощью. — Риббек прочел это сочинение с большим интересом и передает тебе свою большую благодарность. А теперь набирайся бодрости и сил в горах; ведь люди куда как рабски завистят от работы своей жалкой телесной машины.

С неизменной преданностью,
твой Э. Р.

72. НИЦШЕ — РОДЕ

Гиммельвальд близ Лаутербруннена, 19 июля 1871

Мой дорогой друг,

я только что получил твое письмо в этой возвышенной глуши и без промедления отвечаю, хотя не должен написать ничего, кроме: «Как грустно! Снова ничего не вышло! Какое странное стечение обстоятельств!».

В ту же четверть часа, что я направил тебе свои ободрения, я с такой же настойчивостью написал и Ромундту — и с таким же эффектом! Несчастливая четверть часа, когда я надеялся привязать к одной нити судьбу нас троих! Ромундту я предложил видное преподавательское место в Берне (3—4 тысячи франков оклада и умеренное количество часов в гимназии повышенного уровня). Одновременно с твоим письмом я получил его ответ: он удовлетворен предложением, но не может его принять, потому что как раз согласился на место домашнего учителя в Ницце!

— Теперь я твердо надеюсь, уже хотя бы из-за параллелизма, что вскорости и ты, вопреки Форххаммеру, получишь свою Ниццу.

Вообще говоря, со стороны судьбы мерзко разлучать нас. В конце концов она вынудит меня прибегнуть к самым крайним мерам —. Ведь я на самом деле не хочу ничего ради себя, но необходимо, чтобы мы были вместе, что тебе сразу стало бы ясно, если бы мы снова провели вместе несколько дней, — необходимо ввиду нашего общего предназначения, заданную орбиту которого я, кажется, различаю все более четко.

Не будем же расстраиваться из-за судьбы, а встретим ее еще мужественнее и радикальней! —

Я понял, что еще раз отправил тебе по почте в посылке экземпляр моего «Сократа» вместе с экземпляром для Риббека. Будет досадно, если он, как кажется, не придет. — Я попросил Ромундта прочитать этот доклад в Лейпциге, в Филологическом союзе, и вообще сделал его известным, причем с кое-какой «сенсацией», как пишет Ромундт.

Здесь, в глуши, я снова, как Даная, надеюсь на дождь или хотя бы на капли хороших идей, ведь я поставил перед собой трудную задачу, решить которую на равнине теряю надежду.

Теперь, дорогой друг, думай обо мне как о человеке, который пробует все способы приблизить тебя и даже до сих пор не потерял такой надежды окончательно.

На Цюрих, как я слышал, кое-какие виды есть у Дильтера из Бонна и Матца. Я обязан этим замечанием мерзкому Луциану Мюллеру^{os}, который из Петербурга приезжает в Швейцарию и наедает мне — мне! — мне!!

Со мной вместе сейчас рыцарь Железного креста Карл фон Герсдорф, мой старый, прекрасно проявивший себя друг.

С неизменной преданностью,
твой друг Ф. Н.

Адрес тот же, что в предыдущем письме (Гиммельвальд).

В Цюрихе не хотят «главным образом археолога»; и ты слишком низко оцениваешь свое значение для <истории> греческого искусства. Там хотят знатока древностей, затем, во-вторых, фи-

долога-лингвиста и, наконец, в-третьих, человека, читающего иногда лекции по общим основам археологии! — Но, разумеется, эта странная, витающая в воздухе профессура обязывает тебя, увы и увы, к пассивному наблюдению и выжиданию. Этот разругавшийся факультет вкупе с царящим в вышине министерством кажутся мне достойными порядочного пинка, пинка под зад! Меня от этого с души воротит, особенно когда я подумую, что объект споров — ты.

73. РОДЕ — НИЦШЕ
Киль, 1 августа 1871

Мой дорогой друг!

Положенный срок уже прошел, а я не получил от тебя ответа на свое второе письмо, хотя, в сущности, на него и нельзя было ответить ничего путного. Ведь тем самым была бы снова похоронена смешная надежда на наше окончательное воссоединение; демоны, видно, имеют против нас что-то особенное, если каждый раз бросают на нашем пути столь злостные камни преткновения.

[— —] Даже сейчас я стремлюсь к тебе, как всегда, ежечасно. Тебе трудно себе представить, в какой пустыне живет такое существо с бессильными крыльями, как я. Это можно оценить, лишь с мукой ощутив отсутствие того чудесного окрыляющего средства, которым *μουσική*⁴⁰⁶ обладает в своем всегда готовом к его услугам искусстве. А мы, *ἄμωσοι*⁴⁰⁷, плетемся по сухой почве, и ни один ветер не хочет нас поднять! *Βάλε δῆ, βάλε κηρύλος εἴην!*⁴⁰⁸ А мыслящий научно рас-судок удерживает человека в безрадостно туманных низинах, только он не смеет сказать, что влечение к этой поденной работе есть, в сущности, не что иное, как хорошо известное любопытство второй ступени. Тогда начинаешь тосковать по исключительно отрадному созерцанию, поверх нашей ежедневной рутины — ах, если бы рядом был верный друг, свой в музыке, который взял бы тебя с собой вверх! Только изредка он⁴⁰⁹ издали посылает человеку такого орла, который на сильных крыльях подымается в самые высокие, самые солнечные слои атмосферы, увлекая за собой и человека с бессильными крыльями, насколько тот сможет подняться.

В твоём сочинении о трагедии я снова с глубочайшим удовлетворением слышал то полное созвучие, которое всегда заново внушает утешительное сознание того, насколько мы с тобой едины и насколько тесно переплелись на глубине корней наших жизней, пусть даже на поверхности мы отросли друг от друга так далеко, как заблагорассудилось злокозненным демонам. Славный Риббек расхвалил твоё сочинение: он только хотел бы доказательств, хоть одного свидетельства того, что на *σκηυή*⁴¹⁰ действительно отобразились странные образы волшебного сновидения дионисийски восторженного хора. Но ведь так оно и есть! Кстати, какое странное мнение: как будто трудное искусство понимать бессознательное вплоть до его прозаически-логической фиксации вообще существовало где-либо до немецкой философии этого столетия! Ведь полагают, будто искусство Гомера исчерпывается жалкими внешними подробностями, которые были осознаны этим божественным ходяком и которые он совершенно наивно вкладывает в уста своих Одиссея и Демодока! Но в представлении, в эстетическом переживании этого поднятого из глубочайших бездн осознания бессознательного, конечно, рвется цепь логического объяснения: и тому, кто не ощутит, не увидит этого сразу, проповедовать напрасно. Кто может понять, тот поймет; пусть здесь никто не ждет приемов логического разъяснения. — Мною тут двигало главным образом то, что ты высказал об уходящем в бесконечность заднем плане мифа; вот что, наверное, и делает эти греческие мифические поэтические произведения совершенно непревзойденными в сравнении с другими видами искусства: картина мира, в которой нечто ужасающе могучее из широчайшей дали собирается воедино в крохотные фигурки индивидов переднего плана; лишь этот передний план мы и видим, но думаем, что тут есть только поверхность. Там, где нет, кстати, этого бесконечного заднего плана, как во множестве мнимо трагических произведений, нет и подлинно трагического начала вообще, которое заключается, видимо, именно и исключительно в битве внутри двойственной природы человека — как индивида и как общего, творческого начала, в битве двух сторон этой двойственности. Возвышенное, возвышающее воздействие трагедии заключается, может быть, в зрелище человека, героически поднимающегося над тесным индивидуальным существованием в стремлении к более широкой деятельности; он хочет стать богом, которого чувствует

в себе. Если им движет полнота ощущения собственной значительности, он будет активным трагическим героем; есть и примеры того, как мощная сила в индивиде чуть ли не против его воли разрастается до более чем индивидуальной деятельности, разрывая тесную форму: это пассивные трагические характеры, такие, как <Орлеанская> дева у Шиллера. В такой борьбе всегда есть нечто возвышенное; и в конце концов ощущаешь какую-то горькую радость, когда совершенно разбитый герой, который хотел чего-то идущего вразрез, человеческого, то есть индивидуального счастья, и одновременно сверхчеловеческих поступков, радостно отбрасывает свое индивидуальное начало. Соответственно, конечно, на роль трагически активных героев годятся только почти сверхчеловеческие фигуры, в отношении которых вообще не возникает вопроса о том, куда их несет действие — к безграничному сверхмогуществу, из которого они пали в свою жалкую индивидуальность в силу первородного греха, или же к ограниченному желанию земного счастья, которое живет и может жить только в индивидууме. Таковы воплощения воли, которые разъединились только как бы против своей воли. В сущности, все стремится назад, к единству, и даже всякое стремление к счастью, лишаящее людей покоя, есть не что иное как тоска по всеобщему, и только в трагическом характере это могучее стремление назад взрывает сдерживающую оболочку — а что потом? С этими дионисийскими измышлениями остаюсь твоим преданным другом,

Э. Р.

74. Ницше — Роде
Базель, 4 августа 1871

Мой дорогой друг,

я не ответил на твое второе письмо, потому что сначала хотел посмотреть, что смогу сделать для тебя в нашем деле. Что я не ленился после того, как ты предоставил мне действовать, я доказал тебе перепиской, насчитывающей 10 писем. Беспокоить тебя сейчас еще и общим ходом дела значило бы только докучать тебе — ведь результат уже известен, увы, известен: я не сумел добиться

для нас ничего, какими бы хорошими ни казались перспективы на предыдущих стадиях. Вчера Бенндорф несколько возбужденно разъяснил мне ситуацию; он, кажется, делает ставку на своего Матца или Дильтея, а мои меры, которые, как ни странно, встретили поддержку самых влиятельных цюрихских политиков, его, видимо, изрядно обидели. Но поскольку в комиссии у него важный голос и он совсем не хочет признавать тебя археологом, то на этом все кончено, и я снова буду поджидать новой возможности. Ты прав — боги, видимо, затеяли с нами что-то странное, если до сих пор так упрямо ставят нам подножку. В этом году я поставил уже два эксперимента — теперь будем надеяться на третий. —

Я очень счастлив, что у тебя сложилось хорошее впечатление о моем «Сократе» и очень благодарен тебе за поддержку. Многие из этой «пурпурной тьмы» станут еще яснее, когда все сочинение появится в связном виде.

Я и впрямь уверен, что многое смогу вывести из противоположности дионисовского и аполлоновского. — Твой Риббек с его желанием видеть свидетельства и доказательства доставил мне своеобразную радость, ведь что примерно могло бы гласить такое свидетельство? Стараешься понять возникновение самых загадочных вещей — и тут почтенный читатель требует, чтобы вся проблема была разрешена одним свидетельством, вероятно, из уст самого Аполлона; или эти же услуги должно оказать какое-нибудь место из Атенея? Для некоторых — даже еще лучшие. Ведь пророчествующему Аполлону нынче связали бы рот, как вола на пахоте. —

Вообще я не сомневаюсь, что когда-нибудь научусь излагать те же вещи еще лучше и понятнее. А пока прошу тебя довольствоваться мистическим чадом первой формулировки. Я держал себя поистине в узде строгих требований стиля и логики, но в таких вещах от некоторых ἀλογία¹¹¹ никак не избавишься. Ты всюду заметишь следы работы над Шопенгауэром, в том числе в стилистике: но необычная метафизика искусства, составляющая задний план, — более или менее моя собственность, точнее, недвижимая, но еще не мобильная, беглая, чеканная собственность. Отсюда «пурпурная тьма»: кстати, это выражение мне отчаянно нравится. —

Осенью Рихард Вагнер, вероятно, даст большой концерт в Мангейме. Для нас с тобой это повод встретиться. Ведь Мангейм примерно посередине между нами. Подробности я сообщу тебе, как только

станет известно что-то определенное. Напиши, нравится ли тебе моя комбинация. Встреча при торжественном звучании вагнеровской музыки — завораживающе-прекрасная мысль! Поскорей принесем жертву демонам, чтобы они не свели мне на нет и это желание!

Прощай, мой дорогой, славный, верный друг, и не печалься! Мы будем вместе! И тогда уж успокоимся!

Фридр. Ницше

75. Роде — Ницше

Вик-ауф-Фёр <август 1871>

«Зандваль» П. А. Петерсена

Мой дорогой друг,

я живу, как выразительно намекает шапка письма⁴¹², посреди североморского побережья и потихоньку отмываю тело и душу от книжного праха. При этом заодно смывается остаток страсти к писанию и даже почти совсем — насилу усвоенных орфо- и каллиграфии, потому-то я и пишу исключительно *ad hoc*⁴¹³. Но это *hoc*, которое неизменно составляет основной тон моих сладострастных песчаных мечтаний, — мимолетно обозначенная тобой в уважаемом последнем письме возможность нашей встречи «осенью» в Мангейме. Да когда ж будет эта «осень»! Денегу меня, естественно, нет, но в эту эпоху ссуд я тоже хочу где-нибудь занять, ведь мысль о такой встрече кажется мне здесь, где человек недвусмысленно заканчивает мечтами, столь непреодолимо манящей, что я изо всех сил ее лелею и балую. Так напиши мне, старый верный друг, поточнее, когда состоится упомянутый концерт, а тогда уж будем планировать. До ноября у меня ужасно много времени, поскольку на сей раз я не буду снова так глуп, чтобы месяцами распинать себя на какой-нибудь лекционный курс и тем самым испортить себе чудесные каникулы. В свой черед у тебя как у богача будет ужасно много денег, но совсем не будет времени, а ведь у нас должно быть по меньшей мере восемь дней, чтобы эта большая поездка была хоть насколько-то результативной. Если б ты был здесь! Да нет, о чем-то столь привлекательном нельзя было бы и подумать, если

бы мы с тобой вдвоем вообще ничего здесь не делали и часами не строили в теплом песке воздушных замков и химер! Такие мысли я вынашиваю сейчас в одиночестве — а что будет потом в Мангейме! [— —] Сейчас я закончу, пойду и принесу жертву заходящему солнцу: я стал солнцепоклонником, *in sresie*⁴⁴ осеннего солнца. Пусть же в Мангейме оно осветит наши сердца! С преданностью, твой

Э. Р.

76. Роде — Ницше
Вик-ауф-Фёр,
четверг 31 августа 1871

Мой дорогой друг,
сегодня — только несколько деловых строк. Я каждый день жадно жду гонца с письмом от тебя, где было бы указано время нашей встречи, и каждый день напрасно! В конце концов в душе я твердо решил, что мое «относящееся к сему» (как говорят в нашей «современности») письмо до тебя, должно быть, вовсе не дошло. Я так сильно надеялся, что смогу непосредственно связать конец моего пребывания здесь с началом нашей с тобой счастливой мангеймской встречи и прямо отсюда отправиться на Рейн, — но, вероятно, из этого ничего выйдет.

Ибо благие демоны хотят удержать нас от той мысли, что после всех тщетных попыток надолго оказаться поблизости друг от друга нам не суждено обрести даже этого скромного удовольствия ненадолго свидеться! У меня все в порядке, напряженными расчетами я даже составил смету возможных трат, так что жду только распоряжения, чтобы отчалить с попутным ветром! «Эх, нам бы туда!», — говорят благочестивые.

Короче, напиши мне, но быстро: выйдет ли что-то из этого плана, и время, к которому я должен приехать, а также как долго мы сможем там пробыть. Все это — в Киль, ибо завтра или послезавтра я уезжаю туда.

На сегодня всё, прощай, дорогой друг, меня зовет радостное осеннее солнце: пусть же на этот раз нам благоприятствуют гении

дружбы и все демоны, правящие департаментом поездок на Рейн и дружеских встреч!

Q. V. F. F. Q. S.⁴¹⁵

(если это поможет)

Итак, до радостного свиданья!

Твой неизменно прежний

Э. Р.

77. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 6 сентября 1871

Мой дорогой друг,

если я не писал, на это были свои причины. Ведь я не знал — и в Трибшене тоже еще не знали, — будет ли концерт в Мангейме и как он пройдет. Теперь, после того как я много раз обсуждал это с трибшенскими друзьями, совершенно несомненно, что мы рассчитывать на это не можем. Возможно, все это состоится в октябре. Кажется, тут все решает вопрос денег. Ты ведь знаешь, что Вагнеровский союз служит цели байрейтских предприятий, для которой и разработан этот концертный план. Я точно изложил в Трибшене свои планы и сказал, что осенью поеду в Северную Германию, если мангеймский концерт меня не удержит. Госпожа Вагнер, кажется, толком в это не поверила, потому что Вагнер, которому долго мешали беспрестанные надоедливые визиты, сейчас, наконец, снова сочиняет и не захочет, чтобы его прерывали.

По жестокой аналогии, так же вот снова, вероятно, разрушится и эта наша надежда.

И все же, все же — мы к ней стремимся! Мы хотим провести этот год немного не так, как велят звезды, а именно —

Ты уже понял, что я собираюсь съездить на Север, то есть в Наумбург и Лейпциг. Что думаешь? Не хочешь ли приехать в Лейпциг? Сейчас у меня, при умеренной осенней прохладе, проснулась настоящая тоска — пошататься с тобой по Лейпцигу, по надгробиям нашего прошлого.

Я уеду отсюда в Наумбург 1 октября. В Лейпциге рассчитываю быть, начиная с 10 октября. А 20-го я должен буду вернуться.

Представь себе, вчера вечером ко мне приехал Ромундт, он здесь проездом в Ниццу, куда нанялся на работу на 9 месяцев.

А мы с тобой можем в этом году съездить в Лейпциг — конгресс филологов там и не думает справлять свои оргии⁴⁶. Ах, как много нам надо друг другу поведать! Ромундт раскрыл мне глаза на то, насколько я обособился и потому должен держаться близких друзей, чтобы окончательно не потерять присутствия духа... —

Будь добр, поскорее напиши мне, что ты решил. Не хочу больше ничего писать тебе, после того как снова — снова! — обрел надежду увидеть тебя!

— Дражайший демон, даруй же нам, хорошим детям, немного радости, позволь же свидеться старым друзьям!

Ф. Н.

78. Роде — Ницше

Киль, 13 сентября 1871

Мой дорогой друг,

в спешке, перед отходом ко сну, еще несколько слов. Конечно, я приеду в Лейпциг, и сейчас ты только должен определить детали: когда мне нужно прибыть и как долго мы сможем быть вместе. Для нас это будут, наверное, блаженные деньки: и именно в этом старом, так полюбившемся нам гнезде, где каждый шаг напоминает нам о радостных и волнительных часах того сладчайшего года жизни!

Так что ты только напиши мне, *carissimo*⁴⁷. Обо мне сообщить больше нечего, кроме того, что я вернулся с моих островов блаженства только в прошлый четверг, отдаюсь наслаждению сладчайшей каникулярной свободой и притом скрежещу зубами в предвкушении наших лейпцигских *conciliabula*⁴⁸, много хожу за городом, сижу где-нибудь на лугу, читая греческое старье, и в условиях этой утешительно мягкой осенней погоды чувствую мурашки в спине от эмбриональных крыльев музыки (à la Платон): могу представить себе, как это мягкое праздничное настроение, разлитое сейчас по земле и морю и раскрывающее душу нам, бедным гиперборейцам, воодушевляет, должно быть, того, кто умеет не только слышать му-

зыку, но и творить ее, на глубочайшие созвучия возвышенной безмятежности! Такими синими я никогда не видел на Севере тени, а море — таким по-гомеровски темным и фиалковым. —

Итак, прощай, дорогой товарищ по душе, до радостного и скорого свидания в старом Липцке под звуки арф и флейт всех благих демонов и демоненков!

С прежней преданностью, твой

Э. Р.

Если этот наемник Ромундт еще у тебя, передай ему мой сердечный привет. Зачем только бедняга идет в услужение! Как много людей пропали там!

79. Роде — Ницше

Киль, четверг <5 октября 1871>

Мой дорогой друг,

хотя меня уже несколько дней мучит ужасный катар, так что скоро я стану живой иллюстрацией гераклитовского $\rho\acute{\alpha}\nu\tau\alpha \rho\acute{\epsilon}\tilde{\iota}$ ⁴¹⁹, я тем не менее думаю прибыть в старый Липцк в понедельник 9-го, не знаю, в который час, под литавры и трубы. Если ярмарочные и другие евреи⁴²⁰ не займут все места, я думаю остаться в городе Риме.

Итак, до радостного свидания.

Твой Э. Р.,

в спешке

80. Ницше — Роде

Наумбург, в пятницу вечером <21 октября 1871>

Мой дорогой друг,

сегодня я посылаю тебе только несколько слов в пояснение ярмарочной фотографии, которую позавчера Хенниг вручил мне к моему восхищению. Этот фотограф хочет получить с нас еще 1 талер, из-за чего расходы каждого из нас вырастают еще на 10 зиль-

бергрошей⁴²¹. Меж тем платил я. На этой фотографии мы стоим в слегка смещенном положении, и главным образом я, «некрасиво искривленный», с тупым взглядом, выражающим всю тупость этой ярмарки, включая ее спиртные напитки. В остальном — *senza frivoluta*⁴²² — мы были самыми счастливыми ярмарочными евреями⁴²³ в Лейпциге и могли бы распределить между собой роли из «Бродяги»⁴²⁴, причем я претендую на роль Сапожника, по причине *delirium tremens clemens demens*⁴²⁵.

Между тем потерявшийся «Фауст» найден мной и Густавом Кругом на Кнабенберге, на месте, где делал привал Герсдорф: я чувствую это как великолепный оmen⁴²⁶. Случайное место, на котором я раскрыл книгу, гласило: Альтмайер: «Да, как теперь не верить в чудо?»⁴²⁷. Это живо напомнило мне о наших ярмарочных чудесах и о рождественском чуде нашей жизни в Лейпциге.

«А что, вино из дырок льется?»⁴²⁸

Мне так и кажется, мой дорогой друг, что наше призрачное появление в Лейпциге не было фокусничеством. Мы были там и будем там снова, что евреи выражают, видимо, словом Иегова. Господи, помяни родовскую комнату!

Благослови тебя святой Пифагор, меня святой Фритцш и нас всех — вещь сама по себе!

Завтра я уезжаю обратно в Базель, встав из-за трапезы моих каникулярных друзей, как сытый кутила. Я еще никогда не проводил каникулы так торжественно и пышно и знаю, чем обязан своим друзьям. Но еще больше — всем демонам, которым в ближайшее время давайте принесем совместную благодарственную жертву в один и тот же час, тем самым блистательно подтвердив идеальность пространства и времени. В следующий понедельник в 10 вечера пусть каждый из нас поднимет бокал темного красного вина и половину выльет в черную ночь со словами *χαίρετε δαίμονες*⁴²⁹, а вторую половину выпьет. *Probatum est*⁴³⁰. Благослови наше дело Самизель! Уху!⁴³¹ — Герсдорфу я сообщу.

Благодарю тебя, мой милый, милый друг!

Ф. Н.

81. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 23 ноября 1871

Мой дорогой друг,

немного усталый, я только что прилег на софу и закрыл лицо руками, но внезапно, подумав о тебе, вскочил, схватил перо и, как видишь, пишу тебе. Мне пришло в голову, что ты давно ничего не слышал обо мне, а, возможно, хотел бы узнать, каковы мои специальные обстоятельства, сложившиеся между тем вокруг фритцше-ницшевской книжечки. Раскопал ли ты что-нибудь такое подходящее из области гемм⁴²? Потому что сейчас крайний срок послать что-нибудь благородному издателю. Или пошлем моему другу Мозэнгелю, который в свое время говорил мне, что принадлежит к немногим художникам, умеющим еще и «гравировать». Не знаю, уместна ли техника гравюры именно в этом случае: как обстоит тут дело? —

Только в прошлое воскресенье я получил известия от славного Фритцша. Хотя до того это дело меня тревожило, я не делал ничего, ни за, ни против, а просто тихо ждал, что решат мои демоны. Наконец пришло разъяснение: Фритцш отослал мою рукопись сотруднику своего листка для критической оценки, а этот бездельник бездельничал так долго! Теперь, кажется, все пришло в порядок. Оформление, как в вагнеровском «Назначении оперы», гарантировано и, думаю, еще ни одного первенца не вынимали из крестильной купели укутанным так пышно, словно это княжеское дитя.

Я получил еще прекраснейший отзвук нашей встречи, внутренне и внешне подкрепившей меня вместе с умеренно теплыми лучами осеннего солнца так, что я вдруг снова, по прошествии 6 лет, сделался композитором. Вернувшись в Базель, я сразу за короткое время написал более или менее длинную четырехручную композицию длительностью 20 минут, которой совершенно доволен. Она, в продолжение юношеских воспоминаний, называется так:

«Отзвук одной новогодней ночи, с гимном, крестьянским танцем и полуночным колоколом».

Подобным образом я благодарю вас, мои дорогие друзья, и ты поймешь это, когда услышишь композицию.

Чествование демонов я провел вместе с Буркхардтом: он присоединился к жертве, и в 10 часов два бокала красного темного вина

вылились в ночь. — На следующий день у меня было демоническое похмелье. —

Я с удовольствием читаю лекции по Платону и латинской эпиграфике. Тут мне в голову снова кое-что приходит. Скажи, дорогой друг, не думал ли ты когда-нибудь сам написать и опубликовать что-нибудь о моей трагедийной книжечке? Я все время боюсь, что филологи не захотят читать ее из-за музыки, из-за музыкантов в филологии, из-за философов музыки и филологии, и тогда мне придется бояться за моего славного Фритцша и сострадать ему. Возможно, тебе удастся открыть филологам *согат*⁴³, например, в письме к редактору Рейнск. Музея или в открытом письме ко мне. Короче говоря, мне не хватает «большой рекламы». Тебе известно, как сильно филологи пинают все, что выходит не у Тойбнера и не оснащено критическим аппаратом. Пни их! Я тебя прошу. —

Прекраснейшее письмо Вагнера о постановке в Болонье напечатано в последнем воскресном номере «Норддойче альгемайне». У тебя ведь есть письменная связь с Вагнером? Твое сочинение читалось с серьезным отношением. Второй акт «Гибели богов» закончен 3 дня назад.

Порадуй меня скорым письмом, мой милый, милый друг.

Твой преданный
ὁ μουσικός⁴³⁴.

Деньги я получил, но около 2 франков — лишние. Что мне с ними делать? Или они предназначены для моего обогащения? —

Базель, четверг

Я как раз думаю о том, чтобы ты все-таки «овладел» «Центральблаттом»: тогда ведь мы, возможно, подумаем о серьезном сопротивлении редакции? Или нет? Во всяком случае, захвати там какое-то место. — Я пришлю тебе один из первых экземпляров. Наверное, около Нового года.

82. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 27 ноября 1871

Мой дорогой друг,

я уже так долго медлил с письмом, что, наконец, только сейчас, в этот час позднего вечера, пользуюсь удобным случаем, чтобы, наконец, отдать то, что так давно задолжал.

Прежде всего, я обязан тебе еще многообразной благодарностью, во-первых, за великолепную фотографию трех праведных гребенщиков⁴³⁵: на самом деле это изображение трех совершенно пьяных балаганных шутов, и его надо постоянно показывать в предостережение от регулярного употребления крепких спиртных напитков. Вопрос о том, кто из нас выглядит наиболее жалким, мог бы стать призовой загадкой. Меня уже давно беспокоило, как передать тебе 10 грошей за это произведение искусства, и тут я вдруг узнаю, что при возмещении трат ты получил на 2 франка больше: вот и прекрасно, что таким образом, при покровительстве демонов, преодолена и эта неприятность.

Но куда более глубокую благодарность я высказываю тебе, дорогой друг, за твой прекрасный «Фрагмент сам по себе»: он всегда будет оставаться для меня *pignus amoris*⁴³⁶; когда я в Рождество окажусь вблизи сведущих в клавирной игре людей, а сейчас я способен только тупо глазеть на нее, то хочу, чтобы эта так радующая меня пьеса прочно засела в моем слухе и в памяти. Какие это были великолепные вечера, прежде всего в Наумбурге, на которых юная, меланхолично-восторженная *ψυχή*⁴³⁷ проявлялась в юношеских поэтических произведениях с такой несравненно глубокой и взволнованной искренностью! Для тебя, счастливица, память о тех богатых днях звучит сейчас еще и определенными мелодиями, я же по крайней мере все еще чувствую новый, освежающий порыв, который мне, словно колоколу, долго висевшему в молчании, придает дружба с тобой в каждом новом соприкосновении. Такой музыке воспоминаний мы, кстати, должны будем дать зазвучать в любом случае, когда какой-нибудь благорасположенный демон сведет нас в следующий раз.

Кстати, не удивительно, что демон тебе благоволит: ведь ты умастил его вельтлинером⁴³⁸ и даже торжественно преподнесенным похмельем (заменившем древнее человеческое жертвоприношение). Я провел приношение демонам истинно иезуитски: не найдя

никакой возможности вылить вино «в черную ночь», я под демоническое бормотание вылил его в черную пустоту под столом; кроме того, мне показалось, что это в общем-то и не вино, а кровь голубого сына вересковой пустоши. Если бы я был уверен, что демон не слышит этого — например, поскольку как раз сейчас наслаждается вельтлинером у благочестивых базельцев, — то сознался бы в том, что подло обманул его. Впрочем, во искупление вины я еще сегодня вечером, торжественно бормоча, брошу в море приличествующую сумму в честь βάσκανος δαίμων⁴³⁹.

После этих орфико-дионисийских тайных учений я надлежащим образом перехожу к твоим предстоящим Великим, или фритцшевским Дионисиям. «Да здравствует заслуженная честь», старый друг: я ради тебя радуюсь пестрому государственному одеянию ожидаемого сына богов. (Поскольку ты ничего не пишешь о «деньгах», надо полагать, ты их не добыл?) Что касается анонса книги, я уже и сам думал о Царнке и надеялся сделать тебе сюрприз: не вижу оснований для проблем с его стороны. Впрочем, нам надо еще договориться со всей возможной ясностью о том, какую из множества мыслимых сторон <книги> мне следует выделить преимущественно: например, ее необычайную плодотворность для нового поворота в историко-филологических исследованиях, или что-то еще. Напиши мне об этом. — Я только что отделался от двух очень скучных рецензий для Царнке на две еще более скучные, даже деревянные книги: Teufelii Opuscula и Rankii Meinekius. Ужасно! — Вагнеру я в свое время, по твоему совету, послал моего «Ямвлиха», — правда, сомневаюсь, что он способен как-то его воспринять. Ты свой экземпляр получил? Его письмо в «Норддойче альгемайне цайтунг» я прочитал и порадовался прекрасной теплоте, проявленной им к этим блаженным сынам солнца, которые, чтобы в прекрасном сиянии и пленительном благозвучии этого мира εἶδωλα⁴⁴⁰ наслаждаться блаженной жизнью, получили столь богатые задатки, а тем самым чуть ли не право. Кто знает, не возникнут ли у них, на их лад, и ιδέαί⁴⁴¹. — Доброй ночи, дорогой друг, и поскорее напиши, в ответ на что и я не захочу снова впадать в порок лени. С преданной любовью, твой Э. Р.

Передай, пожалуйста, мой сердечный привет Буркхардту συδαμιονιστής⁴⁴², а также старому Фишеру.

83. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, после 21 декабря 1871

Мой дорогой, дорогой друг,
прежде всего — сердечный рождественский привет!

Я надеялся, что в это время уже пошлю тебе свое сочинение, но случились кое-какие задержки, и не по моей вине, а потому мой рождественский подарок на этот раз немного запоздает. Некоторые проблемы возникли из-за виньетки к титульному листу: рисунок, сделанный другом Герсдорфа Рау, заслужил наше высшее одобрение, но «проверенный» гравер по дереву, которого для него нашел Фритцш, схалтурил, и его оттиск нельзя использовать или исправить, так что нам пришлось снова передать работу одному из лучших граверов, художнику академического направления Фогелю из Берлина. Герсдорф верно помогает мне, он отличается надежнейшей готовностью прийти на помощь во всех делах (ты не написал ему хоть раз письмеца? Думаю, он очень обрадовался бы. Он входит в состав правления Берлинского Вагнеровского общества: не хочешь ли рекомендоваться ему? Александриненштрассе, 121, 2-й этаж.)

Набор значительно более сжатый, чем в «Предназначении оперы», поэтому объем у книги меньше, около 140 страниц. Восемь листов готовы вплоть до последней страницы, мне остается исправить только самую малость и Предисловие. Вся последняя, еще не известная тебе, часть наверняка повергнет тебя в изумление, я сильно рискнул, но все-таки смею воскликнуть о себе в совершенно неимоверном смысле — *animam salvavi*⁴⁴³, а потому думаю об этом сочинении с большим удовлетворением и не тревожусь о том, что оно может показаться максимально возмутительным и вызвать кое у кого после своей публикации прямо-таки вопль негодования.

Кстати, я чувствую себя чудесным образом укрепленным в своих взглядах на музыку и убежден в их верности — тем, что пережил в эти недели в Мангейме вместе с Вагнером. Ах, друг мой! Как жаль, что тебя там не было! Что значат все прочие эстетические воспоминания и переживания в сравнении с этими, самыми последними! На душе у меня было так, словно наконец сбылось какое-то предчувствие. Ведь музыка — именно это и больше ничего! И именно это я называю музыкой, описывая дионисовское начало, больше ничего! Но, подумав о том, что лишь несколько сот человек из следующего поколения по-

лучат от музыки то, что получаю от нее я, я ожидаю появления совершенно новой культуры! Все, что остается за этими пределами, все, что не поддается постижению через музыкальные взаимосвязи, вызывает во мне подчас прямо-таки омерзение и отвращение. А вернувшись с мангеймского концерта, я испытал поистине странно усиленный, бледный от бессонницы ужас перед дневной действительностью: она показалась мне уже совсем не реальной, а призрачной.

Рождественские праздники я проведу один в Базеле — от сердечных приглашений из Трибшена я отказался. Мне нужно время и одиночество, чтобы поразмыслить о моих 6 докладах (о будущем наших образовательных учреждений) и собраться. Госпоже В<агнер>, день рождения которой 25 дек. (и которой я на твоём месте написал бы), я посвятил свою «Новогоднюю ночь» и теперь живу в напряжении, ожидая оттуда отзыва о своей музыкальной работе, ведь я еще ни разу не слышал об этом ничего компетентного. Когда я как-нибудь исполню ее для тебя, ты, я надеюсь, с волнением услышишь теплый, созерцательный и полный ощущения счастья тон, пронизывающий ее, — для меня он имел значение просветленного воспоминания о счастливых переживаниях моих осенних каникул.

С Якобом Буркхардтом я провел несколько прекрасных дней, и мы с ним обсудили многое касательно греческих тем. Думаю, сейчас в Базеле можно кое-чему поучиться в этом отношении. Твою пифагоровскую статью⁴⁴⁴ он прочел с великим интересом и законспектировал для себя, а то, что ты говоришь об эволюции образа Пифагора в целом, — конечно, лучшее из всего сказанного до сих пор на столь серьезную тему. Между тем у меня появилось какое-то количество концептуальных взглядов на Платона и, думаю, мы с тобой смогли бы некогда порядочно и прочувствованно отогреть и осветить эту до сего времени такую убогую и мумифицированную историю греческих философов. — Только не сообщай проклятым филологическим журналам то, что можешь сказать на общие темы: немного подожди, пока не появятся «Байрейтские листки»! — Я очень рад и заранее очень благодарен тебе за твою обещанную рецензию у Царнке. Мой дорогой друг, мы должны пройти рядом друг с другом еще большой кусок жизни: так давай же хранить взаимную преданность.

Ф. Н.

84. РОДЕ — НИЦШЕ

Гамбург, 22 декабря 1871

Рождество на пороге, мой дорогой друг, и я не хочу упустить возможность в канун нового года без тебя передать дружеский привет более далекому сообществу преданных людей. Для тебя, несмотря на болезнь и неприятности, этот год сложился удачно, ведь он подарил тебе самое прекрасное — глубокое понимание самых таинственных сил человеческой природы. Я вижу это лишь издалека; но тем глубже я распознаю силу твоей дружбы в том, что даже сейчас, когда все твои желания и мысли устремлены вверх, к одной великой цели, ты иногда вспоминаешь обо мне. Что касается меня самого, я иногда ощущаю чуть ли не как измену, если не всегда в состоянии вместе с тобой вылавливать из этих морских глубей жемчуга, а с детским удовольствием забавляюсь пескарями и другими филологическими вредителями, что доступно и более слабой леске. Но верь, мои мысли и самые теплые пожелания, при всем крохоборстве, к которому принуждает поденная работа, в лучшие мои часы — с тобой, и тысячи моих мыслей устремляются путями, по коим ты так удачно пустил в одной великолепной квадриге античность и музыку, философию и поэзию. А потому, мой дорогой друг, будем неизменно хранить наш союз, хотя один из нас высекает своим резцом возвышенные образы богов, а другому — мне — приходится довольствоваться мелкой шинковкой. Глядя на твою великую цель, я частенько стыжусь всех этих своих смутных разработок; но в конечном итоге в этом хламе все еще достаточно аристократизма, свойственного всякому чисто теоретическому образу действий, так что даже занятия этим пестрым миром явлений древних, по-настоящему «гуманных» эпох способны заставить человека забыть о тщетности реального, плотского существования. Конечно, удивительно, как при первых же звуках подлинной музыки все эти игрушки смываются прочь, и тебя уносит далеко вперед, к тому *τόπος ὑπερουράνιος*⁴⁴⁵, где водят свои хороводы вечные идеи. Но как же редко в нашей стране варваров можно услышать что-то действительно отрешенное и как скоро опускаются бессильные крылья у человека, погруженного в немзыкальную, не звучащую повседневную жизнь! Но в конце

концов кропотливая, мелочная работа тоже может получить свою награду: она предохраняет от тех пустых абстракций, которые многие бездумно путают с идеей, и по крайней мере гарантирует «сплошную определенность», свойственную таким *idéai*. Только нужно поддерживать в себе страсть увидеть когда-нибудь высочайшую из идей — идею эллинизма. —

Напиши мне скорее о себе, о том, как складывается твоя жизнь в Базеле и Трибшене, как далеко продвинулись твои дела с Фритцше. — Кажется, вышел первый том Собрания сочинений Вагнера; я его еще не видел, только рецензию Ноля в «Новой аугсбургской газете». Кстати, бравому Нолю нужно бы заткнуть рот; я убежден, что он только вредит доброму делу там, где ему еще можно навредить, но также и использовать. В сущности, такие герольды только опасны для специальных мыслительных систем, герольды, не вполне способные к истинному пониманию, то есть такому, которое позволяет самостоятельно воспроизвести всю совокупность идей. Но п<рофессор> Ноль говорит, словно человек, наполовину посвященный в таинства, — он пересыпает свою речь великими словами иерофанта и, конечно, производит на *ἀμύητοι*⁴⁶ впечатление наполовину пьяного. Он, может быть, хороший музыкант — естественно, не мне об этом судить, но беда чисто музыкальных друзей Вагнера в том, что нередко они несут с собой однобокую мерку для поразительного объема всего его идейного мира, который, как и его музыка, охватывает всю вселенную, так что когда они говорят, совсем не видно, для чего нужны котурны. —

Дела мои так себе: я с наслаждением читаю Фукидида, хлюпаю носом и пребываю в скверном настроении. Если бы можно было наложить сургуч на свои мысли, ты получал бы множество прекрасных писем с мыслями, но удачные минуты и свободное время совпадают не всегда. Сейчас блаженное время каникул — не приходится работать под заказ и на злобу дня; можно забыть о своем жалком приват-доцентстве и воображать, будто у тебя есть обязанности и положение. — Прощай, любезный друг, поскорее порадуя меня письмом и будь уверен в неизменной преданности

твоего

Э. Р.

85. Ницше — Роде
Базель, 2 января 1872

Мой дорогой друг,
может быть, ты уже получил книгу? — Не пошлешь ли Царнке короткую записку, что взялся бы за рецензию?

Если тебе, кстати, раскованный Прометей на титульном листе нравится так же, как Якобу Буркхардту, то воздай честь художнику и узнай, как его зовут: Леопольд Рау из Берлина.

Сегодня я получил первые экземпляры: это было для меня волнующее мгновение. Я все время приговаривал: «Приведи мой труд смиренный, Боже, к цели вожденной!»⁴⁴⁷.

Наши с тобой письма пересеклись в пути. Ах, мой дорогой друг, чем только я не обязан твоей преданной дружбе! Твоя любовь заставляет меня стыдиться. Это ощущение вызывает во мне каждое твое письмо.

Я спешу и добавлю только одно: храброго Нового года! Нам обоим!

Преданный тебе
Фридр. Ницше

86. Роде — Ницше
Киль, 9 января 1872

Любезный друг!

Твое письмо от 2-го пришло ко мне 6-го, еще в Гамбурге; твою книгу я обнаружил только вчера вечером, когда вернулся оттуда. В ней сделан великий шаг, и пусть он принесет удачу! Мне нет нужды говорить тебе, как благодарен я тебе за этот подарок! Царнке я напишу завтра; мне, конечно, придется сильно сжаться, чтобы пролезть в его *angustiae*⁴⁴⁸! Но другого пригодного для этого места не остается. Рассчитывать на специальные филологические журналы было бы почти издевательством: стоит только представить себе, как разинет рот все это александрийство⁴⁴⁹! По этому поводу на ум мне всегда приходит эпиграмма Шиллера о «мудрости и уме»⁴⁵⁰: но

в Александрии живут — кроме нескольких умных Ричлей, которые скажут, словно тот римский наместник: «Ты безумствуешь!», — бесчисленные глупцы и совсем уж немногие, кто нуждается в глупинной мудрости. [— —]

Я еще ничего не читал, а просто наслаждался видом текста. Внѣтка задумана прекрасно, но, мне кажется, выполнена не очень удачно (правая рука, голова коршуна и явно слишком маленькая и кривовато сидящая на шее голова).

Только завтра, а также и послезавтра, если мне помогут κρεῖττοτες⁴⁵¹, я предамся чистым праздникам, войдя с твоей помощью в страну дионисийского исступления! А все остальное пусть катится к чертям!

И на этом сегодня κόυξ ὄμπαξ⁴⁵², дорогой брат в Дионисе и мистагог! Как бы ни шли дела, будь уверен в моей неизменной любви.

Душевно твой
Э. Р.

Пожалуйста, рекомендую меня Буркхардту; я благодарен ему за интерес к моим пифагоровским мелочам. —

87. Ницше — Роде
Базель, воскресенье <28> января 1872

Мой славный дорогой друг,
недавно я получил предварительный запрос, не захочу ли я принять профессию в Грейсвальде; он пришел через Зуземиля, но я сразу отклонил его в твою пользу и рекомендовал тебя. Продвинулось ли как-то это дело? Я перенаправил его Риббеку. — Но здесь это стало известно и снискало мне большую симпатию со стороны славных базельцев. Хотя я и протестовал, что это вовсе не приглашение, а всего лишь совершенно предварительный запрос, студенты устроили в мою честь факельное шествие, мотивируя его тем, что хотели выразить мне, как высоко ценят мою работу в Базеле. Впрочем, я это факельное шествие не приветствовал. — Я читаю здесь лекции «О будущности наших образовательных уч-

реждений», и дело дошло до «сенсации», а там и сям до энтузиазма. И почему мы с тобой не живем рядом! Ведь всего, что у меня на душе, всего, что я готовлю на будущее, в письмах нельзя даже затронуть. — С Вагнером я заключил тесный союз. Ты и представить себе не можешь, как мы с ним сейчас близки и как переплетаются наши планы. — То, что мне приходится выслушивать о моей книге, совершенно невероятно, потому я об этом и не пишу. — Что ты об этом думаешь? Когда до меня все это доходит, я чувствую, что дело обстоит куда как серьезно, ведь в подобных голосах я распознаю будущее того, что в моих планах. Эта жизнь еще окажется очень тяжелой.

В Лейпциге, видимо, тоже царит злоба. Никто оттуда не пишет мне ни слова. Даже Ричль. — Мой славный друг, когда-нибудь нам снова придется поселиться рядом; это священная необходимость. Уже какое-то время я живу, словно в бурном потоке: почти каждый день несет с собой что-то удивительное; но выше целятся и мои стремления, замыслы. — Ставлю тебя в известность, совершенно тайно и обязывая хранить тайну, что среди прочего готовлю памятную записку о Страсбургском университете в качестве запроса в Имперский совет, лично для Бисмарка: я хочу показать в ней, как постыдно упущен великий момент для основания истинно немецкого образовательного учреждения, призванного воскресить немецкий дух и уничтожить то, что до сих пор называлось «культурой». — В битву на ножах! Или на пушках!

Конный артиллерист,
с самым тяжелым орудием

88. Роде — Ницше
Киль, 29. 01. 72

Да почему ж ты совсем онемел, мой дорогой друг? [— —] Рецензию для Царнке я уже отправил ему и надеюсь только, что он уважит мою просьбу о скорейшем напечатании и не впадет при этом в такое же самоуправство, как с моей рецензией на «Майнке» Ранке (в прошлую субботу), где он без моего ведома спереди

и сзади <моей рецензии> отвесил поклоны своему другу Ранке, чью совершенно глупую книгу мне, естественно, рекомендовать читателю совсем не хотелось. К счастью, он не напечатал мой шифр — р. [—] Так, стало быть: «Исчезни, призрак!»⁴⁵³ (стр. 110). Ах, дорогой друг, придет ли оно когда-нибудь, то золотое время, когда мы разверзнем пропасть между собой и этим наглым миром, ведь в глубине души нас отделяет от него космическая бездна — в мышлении, стремлениях и чувствах? И когда мы, община тесных союзников, будем в ожидании раскрываться свету, который в конце концов однажды, конечно, взойдет и для нас? Не может быть большей близости в ощущениях, чем у нас с тобой, и я каждой своей клеточкой чувствую, что эта твоя книга по всем направлениям дает мне разительно ясное и исчерпывающее выражение и моим глубочайшим переживаниям. И это отнюдь не мои мечтательные выдумки; разве могло бы где-то в глубинах души переживать их вот так какое-то второе существо! А если Вагнер поддерживает нас в таком понимании глубочайших вещей, то это скрепа, которая может привязать к нему и меня крепче, чем я отваживался ждать в ином случае. Поэтому я собираюсь сделать то, что долго оттягивал, — в ближайшее время, ἀγαθῆ τύχῃ⁴⁵⁴, выразить ему свое почтение письменно. — На сегодня у меня закончились бумага и силы, уже поздний вечер. Напиши поскорее, дорогой друг, и будь уверен в моей преданности.

Э. Р.

89. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 4 февраля 1872

Твоя рецензия, мой дорогой друг, — шедевр сокращенного и концентрированного зеркального отображения оригинала, и я в очередной раз чувствую твою безграничную поддержку. Я даже прямо-таки изумлен (и со мной вместе Овербек, которому я читал ее вслух), насколько красиво и свежо, насколько стильно ты справился с этой трудной задачей, и не знаю, как мне отблагодарить тебя, если только не самым искренним признанием, что никогда в жизни больше не увижу ничего подобного этой рецензии. А се-

годня я пошлю ее в Трибшен, чтобы мои друзья насладились тобой вместе со мной. Только не сердись на Царнке⁴⁵⁵, ведь общаться с автором таких писем — это проституция. Так что пусть он катится к черту; мера его грехов исполнилась, и мы не можем простить ему бесстыдство иметь что-то общее с рецензией Ранке. Кстати, в том, что касается моей книги, он следует не столько собственным импульсам, сколько импульсам своих друзей Курциуса, Овербека и т. д.: ведь именно в этом кругу царит индейская ярость. Какая наглость говорить о «дружеской услуге» относительно такой заметки, которую был не в силах написать никто другой! И меньше всего — глупый гербартианец Циммерман (который «уничтожил» эстетику Шопенгауэра и является ревностным поклонником Ганлика!) или хотя бы славный Лерс, который «недостаточно знаком с музыкой и античностью», чтобы «дорости до такой рецензии». Нам просто нужно привыкнуть видеть сейчас в этом деле наиболее глупое. Ведь никто не имеет понятия о том, как возникает такая книга, об усилиях и мучениях до такой степени удержаться в чистоте от напора со всех сторон иных представлений, о смелости замысла и честности исполнения: но, может быть, меньше всего — о невероятной задаче, связанной с Вагнером и вызвавшей в моей душе множество тяжких сокрушений, — задаче даже здесь быть самостоятельным, занимать как бы отчужденную позицию. И то, что это мне удалось, подтвердили мне как раз мои трибшенские друзья, хотя и были потрясены решением проблемы, наивысшее выражение которой представлено в «Тристане». Отважусь сказать тебе, мой любезный друг, что именно в этом пункте я чувствую себя гордым и счастливым, и убежден в том, что моя книга не канет в Лету. — Глупый Царнке думает, что ты хотел быть полезным мне! Как будто, наоборот, речь не может идти о том, чтобы такой рецензией принести пользу другим! Ну что ж, предоставим мертвым хоронить своих мертвецов.

Я хочу попробовать послать твою рецензию в Аугсбургершу⁴⁵⁶, хотя уже заранее испытываю сильнейший скепсис. — Что касается «Центральблатт», у меня уже было ясное ощущение, что ничего там не выйдет, и я испустил вопль торжества, получив сегодня твое письмо. Будет еще праздник и на нашей улице! И нам в должный момент придется понять, что любые компромиссы только вредят: да здравствует артиллерийское сражение!

А Вагнерам ты напиши: ты найдешь у них самое сочувственное понимание. Там ведь тебя любят, и мы можем строить планы, какие захотим, — ты всегда будешь в них участвовать.

С душевной благодарностью,
твой Фридрих Ницше

Ты получил мое сообщение о Грейфсвальде?

90. Роде — Ницше
Киль, 6 февраля 1872

Мой дорогой друг!

Нет, нам, что совершенно очевидно, не надо входить ни в какую общность с этими умниками. [— —] Но если я все-таки еще найду какую-нибудь дыру, из которой смог бы возвестить о твоей славе, то хочу, с некоторыми оговорками, изменить в рецензии многое, которую я, дурак, думал написать для «Центральблатт», хитро адаптировав ее, — изменить, но тогда уже подчеркнув главным образом великую заслугу подобной, так сказать, космодицеи (ты меня понимаешь). [— —] Господину Царнке я ответил очень «стильно»: без грубости, но «весьма солидно». [— —] И еще раз: «Исчезни, призрак!» (стр. 110). Меня утешает, что рецензия тебе понравилась, несмотря на то, что была адаптирована по случаю: мы с тобой, я думаю, все больше внутренне срастаемся, мой старый друг! — Как знак чистейшего доверия меня необычайно тронули пришедшие мне по почте вчера письма из Трибшена: я глубоко чувствую полный звук колокола, свойственный проявляющейся в них могучей натуре, особенно в письме маэстро, — он подобен звучной бронзе, сильной и проникновенной. Выражение такой природы в таком чувстве — поистине, дорогой друг, ты не мог бы желать лучшей себе награды за все свои усилия: к таким усилиям я отношу и <твою> способность говорить при свете солнца, понятными словами перед всем народом на площади о бессловесно темных движениях глубочайших сил. Есть тонкое чувство стыда и в сфере мышления: его подавляешь в себе только для того, чтобы с безудержной откровенностью любви довериться кому-то наиболее благород-

ному. Благо тебе, что в лице В<агнера> ты встретил такую понимающую любовь. — Несколько слов о Грейфсвальде. Ты снова заставил меня устыдиться: благодарю тебя, мой дорогой друг, от всего сердца, но это снова было напрасно. [— —]

Твой преданный Э. Р.

91. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, середина февраля 1872

Мой дорогой верный друг, я наскоро черкну тебе лишь несколько строк. С «Аугсбургшей» ничего не вышло, давай не связываться с этим листком, ведь на его совести есть низости, направленные против В<агнера>. В нашем распоряжении могла бы быть «Норддойче <цайтунг>» — но не покажется ли это тебе смешным? Мне, по крайней мере, да. Кроме того, имей в виду, что я не согласен с тобой относительно тактики в рецензии на мою книгу в том смысле, что хотел бы держаться подальше от всего метафизического, всего связанного с дедукциями: ведь именно это, собранное в вогнутом отражателе, отнюдь не побуждает к чтению, а как раз наоборот. Ведь ты и сам не думаешь, что читатель Царнке, если прочтет твою рецензию, но о книге, помимо этого, ничего не зная не будет, сможет почувствовать себя свободным от бремени ее прочтения, в то время как желательным результатом должно быть как раз противоположное — все, занимающиеся античностью, ощутят себя обязанными прочесть ее в силу долга. Давай не будем так уж облегчать жизнь хорошим филологам, прогоняя их прочь, — нет, они должны понять книгу как свое дело. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы книга производила из-за этого впечатление чисто метафизической и в известном смысле «потусторонней», — живым свидетельством тут мне служит Якоб Буркхардт, который энергично дистанцируется от всякой философии, и прежде всего от всякой философии искусства, в том числе и моей: он так зачарован открытиями моей книги для познания сущности греческой античности, что размышляет над ней днем и ночью и на великом множестве частных примеров показывает мне пример самого плодотворного исполь-

зования моей книги в истории, так что на его летних лекциях об истории греческой культуры я надеюсь многое узнать, тем более, что мне уже известно, на какой хорошо знакомой мне и близкой почве они выросли. Ты да он — вы оба поистине представляете идеал правильного читателя, но если ты ведешь речь о «космодичее», то он говорит мне, что только теперь правильно понял Атенея и т. п. Но поскольку любая книга должна достичь известной «общепонятности», как выражается Буркхардт, прежде чем ее воспримут всерьез, то тактика рецензии заслуживает серьезных размышлений. Твоя рецензия, кстати, находит В<агнера> «великолепным»: госпожа В<агнер> тоже находит, что она вышла <у тебя> слишком хорошо для «Аугсбургерши»; но последняя желает, чтобы ты сосредоточился не столько на произведениях, сколько на делах. С этим я опять-таки не вполне согласен: ведь показать, в чем заключается дело, не так-то легко без величайшего оскорбления читающей публики, — а дело-то нужно измерять по его результатам, и, возможно, они тут слишком уж незначительны, а, возможно, дело сводится к толчению воды в ступе; короче, мне не хочется, чтобы говорили обо мне. Кроме того, если уж оценивать «дела», пришлось бы выражаться с какой-то окончательностью.

Таким образом, мой дорогой друг, я совершенно откровенно говорю тебе, как к этому отношусь. Я благодарен тебе за твои благородные усилия и разошлю твою рецензию друзьям, но давай воздерживаться от веры в то, что сейчас мы чего добьемся такого рода рецензиями. Желанная «общепонятность» как раз и будет, возможно, достигнута скандальными осуждениями и оскорблениями — советую тебе ничего не писать в мою защиту, а уж ни от Вагнера, ни от Буркхардта я этого точно не жду: давайте выжидать, а радоваться или сердиться будем только про себя.

Только что письмо Ричля принесло мне неожиданность, но, в сущности, очень приятную: он нисколько не утратил дружелюбного расположения ко мне и пишет без всякого раздражения, что я высоко в нем ценю. Посылаю тебе его письмо с той же просьбой, что и прежде, — при случае вернуть мне эти документы. Из этого письма ты узнаешь и кое-что относительно Дерпта.

Я сижу тут, полностью погруженный в размышления о будущем наших образовательных учреждений, и дело каждый день «организуется» и «входит в силу», правда, сначала только в голо-

ве, но с самой определенной практической «тенденцией». Сегодня я выражаюсь на низкий лад — приписывай мои стилистические затруднения постоянно текущему носу и общему неудобству от *κατάρρους* с *βράγχος*⁴⁵⁷. А ты написал в Трибшен? Напоследок расскажу тебе о 22 мая, то есть дне рождения Вагнера, о закладке здания театра в Байрейте, а также о вагнеровском доме и, наконец, о классическом исполнении 9-й симфонии <Бетховена> — короче говоря, «все — в Конневиц⁴⁵⁸!». Хорошо бы, чтобы мы все встретились в Байрейте в Троицыну неделю. Дорогой друг, чуть ли необходимо быть там, в том числе и тебе. Я отношусь к этому со всей серьезностью и полагаю, что так будет и у тебя. Через пятьдесят лет мы себе не простили бы, сочли бы безумием, что не были там, — поэтому давай не будем придавать значения известным неудобствам: пусть Базель и Киль обретут свою середину в Байрейте. Я и впрямь заклинаю тебя всем, что нам наиболее свято, искусством — поезжай туда! Мы должны пережить это вместе, так же как и «сценический фестиваль» в следующем году. Напиши мне поскорей, мой дорогой верный славный друг, и думай обо мне как о человеке, который призывает тебя через огромный рупор: в Байрейт!

Ф. Н.

92. Роде — Ницше
Киль, 26 февраля 1872

Мой дорогой друг,

я уже давно снова пожал бы тебе руку — в письме, но у меня снова наступил один из тех периодов, когда при полном здоровье я чувствую себя парализованным и с промерзшим мозгом, как Овидий в Томах⁴⁵⁹, где мучительно ощущаешь бремя и тяжесть бытия и ведешь только ту экзотерическую жизнь, которая ведет человека из скучного общества в пустые пивные, к тупому филологическому рабству. — Но это прошло! — Ах, друг любезный, я очень часто думаю о тебе, и притом истинно сердечно, когда по вечерам гуляю по прекрасному буковому лесу, где в свете умирающих сумерек обитают одиночество и отрадные мечты. — Отсылаю тебе обратно три твоих

письма; с двумя первыми я глубоко ознакомился, а также с письмом Ричля, довольно странным. Все-таки я должен сказать еще кое-что о потерпевшем крах предприятии с рецензией, поскольку это затронет и концепцию самой книги. Я очень хорошо понимаю, что тебе нравится в филологически-исторической концепции Буркхардта. Поверхностные наблюдатели [— —] могут ведь на самом деле прийти чуть ли не к удивительной мысли, будто здесь проповедуется монашеское отречение от «разума и науки»: но наблюдателю более глубокому научная ценность книги будет, напротив, в высшей степени отрадна. Можно ли ставить созерцательную жизнь выше, чем это делаем мы — я присоединяюсь к тебе, в противовес вульгарной деловитости, в которой у нас заключается «серьезное отношение к жизни»? И разве не имеем мы заодно права сетовать на обмеление этой прикованной к мимолетности явлений деятельности и тосковать по культуре, где сама $\pi\rho\acute{\alpha}\xi\iota\varsigma$ ⁴⁶⁰ была бы чем-то большим, нежели пустое вращение мельницы, а созерцание — чем-то большим, нежели описание змеиной кожи, которую вечно Единое сбрасывает с себя в каждый момент времени? Неужели же мы поэтому настолько глупы, желая искоренить александрийство в эту эпоху, которой оно так свойственно? Ведь что было в эпоху диадочов более благородного, чем эти старые добрые александрийцы? Но разве нельзя думать и тосковать о культуре, где самые благородные были бы чем-то большим, чем ученые? Поэтому-то, полагаю, как-то особенно выпячивать филологически-историческую сторону книги было бы не слишком полезно. Разве что для таких разочарованных <в метафизике>, как Буркхардт, но не для тех, кто хотели бы подойти к точке зрения самой книги. Но и ставить «дело» во главу угла было бы сколь недипломатично, столь же и неправильно. Прежде всего, отдельная воля в беспрестанном вращении мирового колеса может немного, если не будет представлять множество волей. Но, предположим, на дело прямо толкнул какой-то вызов — вот тут, боюсь, прав старик Ричль: мы способствовали бы чудовищному дилетантизму, от чего упаси нас святой Гёте! Ведь книга с ее чудовищной для обывательской точки зрения парадоксальностью читается, безусловно, на куда более мистический лад, чем была задумана, и как Ричль вычитал в ней своего рода теорию отрицания, так же будет, конечно, и со многими другими. Но вот что именно эта книга примиряет секуляризацию нашего академизма с глубочайшей мисти-

кой, что она ожидает преодоления одновременно мистики и рационализма в мифе о единстве $\epsilon\nu$ и $\pi\acute{\alpha}\nu$ ⁴⁶¹, в искусстве, и демонстрирует все это в греческой античности, питая в нас счастливую надежду на то, что в старости нас ждет высшая природа, которая от рождения присуща ее счастливым любимцам, — все это должно быть сказано тем или другим образом. То есть ни холодное филологическое познание, ни еще не рожденное дело, которое ведь может быть порождено и недоразумениями, — а в первую очередь пробуждение глубочайшей потребности в полном человеческом развитии, и императивный элемент заключается в познании греческого характера. Разве не Германия однажды уже была способна на это? Но кто сегодня еще чувствует хотя бы мучительную загадочность в противоречивом единстве Единого и индивидов? А если он чувствует <это единство>, есть ли у него, мечтательного немца, другой путь, чем мистическое возвращение к сердцу Единого извечного Отца? [—]

А *propos*⁴⁶²: 22 мая! Поскольку этот день выпадает на Троицу, давай все-таки питать надежду на такие прекрасные торжества: я не знаю, что могло бы помешать мне «разрешить» это себе, кроме проклятых денег, из которых у меня есть только один сплошной *minus*⁴⁶³. Ты и представить себе не можешь, насколько чудовищно мало получает приват-доцент, — но настанет время, когда я еще поднимусь! «Однако я начинаю философствовать.» Поэтому «умолкаю, с искренним уважением подписываясь

твоим преданным слугой»⁴⁶⁴

Э.Р.

ТЫ ТОЛЬКО НАПИШИ ПОСКОРЕЙ!

93. Ницше — Роде

Базель, пятница <15 марта 1872>

Наконец-то, любезнейший друг, я снова тебе пишу. Не удивляйся: было и есть много поводов для раздумья. Мне пришлось работать над своими 6-ю лекциями об образовательных учреждениях в условиях университетского цейтнота, причем двойного. Это будет моя вторая книга и, надеюсь, ты будешь держать ее в руках до

середины этого года или раньше. По содержанию она совершенно позитивна, и в сравнении с «Рождением» ее можно назвать популярной или экзотерической. Я хочу доставить себе удовольствие адресовать ее лейпцигскому Филологическому союзу сильным введением. Ты, конечно, понимаешь все последствия этой меры. Результатами своей здешней работы я чрезвычайно доволен, у меня самые серьезные и преданные слушатели обоего пола, и студенчество более или менее в целом — лучшего типа. Когда я предаюсь своим надеждам и планам, ты неизменно со мной, так что недавно я даже разозлился и сказал себе: «Только Роде, и больше никто! Черт возьми!». Мой милый и верный товарищ, мы с тобой теперь должны пытаться пробивать себе дорогу вместе и дальше. Хотя со своими размышлениями об образовательных учреждениях я снова чувствую, что мне безусловно необходимы твой интерес и одобрение, так ободрявшие меня при крещении моего первенца! Печально, что я смогу представить тебе эти вещи только уже напечатанными, тогда как, в сущности, надо было бы, чтобы все проговаривалось, продумывалось, переживалось нами вместе. Ну да настанет однажды день, когда все будет иначе, — я в это верю.

А что теперь досталось на мою долю? Очень добрые письма о моей книге, по меньшей мере очень примечательные, например, от Ромундта, — правда, он на очень метафизический лад пишет мне о статье, которую посвятит мне, и о чем же? Разумеется, о «вещи самой по себе»! Затем от Франца Листа (очень неожиданно!), Ганса Бюлова, капитана фон Балиганда, Густава Круга, д-ра Хагена из Берна, а кроме того, из сообщений трибшенских друзей мне стало известно, что книгу читают от Москвы до Флоренции, и всюду ее принимают очень серьезно и с энтузиазмом. Короче говоря, образуется ее маленькая община — я не слышу ничего только о славных филологах, там всё тупо, глухо, гм, гм, как говорится в немецких переводах Шекспира⁴⁶⁵.

Впрочем, я понимаю все, что ты говоришь в конце своего последнего письма, и потому еще раз спрашиваю тебя, есть ли у тебя охота написать сравнительно большую статью для «Норддойче альгемайне» (воскресное приложение) или письмо к редактору «Рейнского музея», чтобы его там же и напечатали. О той или другой возможности, мне кажется, стоит подумать. Нас не должна пугать предосудительность в глазах филологов, и мое нынешнее стремле-

ние — по возможности донести все до нужного адресата. Вот что еще пришло мне в голову: может быть, написать письмо о моей книге берлинскому Вагнеровскому союзу, разумеется, для печати в «Нордд. альгем.». Кроме того, я мог бы еще тебе предложить сделать объявление о докладе на конгрессе филологов в этом году. Все эти предложения примерно одинаково скандальны. Но к чему стыдиться, если нужно сказать что-то правильное?

Впрочем, наверное, наилучшим выходом было бы открытое письмо о книге, адресованное Рихарду Вагнеру, объемом примерно в 40 страниц, изящно отпечатанное у Э. В. Фритцша. Тогда было бы нужно представить тебя как филолога и как преподавателя: это могло бы быть маленьким посвящением к празднику начала строительства в Байрейте. У тебя не было бы недостатка в публичности мнения, высказанного по такому поводу.

Это, наверное, самая приемлемая мысль. Напиши мне что-нибудь на этот счет. А теперь прощай, мой милый товарищ в войне и мире!

Твой преданный, в данный момент
изготовившийся к обеду друг
Ф.Н.

94. Роде — Ницше
Гамбург, 10 апреля 1872

Ты наверняка уже сгораешь от нетерпения, мой дорогой друг, после <моего> ответа на твое последнее письмо. [— —] Так вот, безусловно сомнительны — если мы отказываемся от простой, но совершенно ни на что не влияющей рецензии в «Новой Аугсбургской», — все пути. О докладе на филологическом конгрессе, конечно, не стоит и думать: даже если я не поеду в Байрейт, я ни в коем случае не поеду в Лейпциг на этот Троицын конгресс. А все остальные возможности [— —] требуют того, чего мне недостает, — важности авторитетного выступления, без которой будет очень трудно не показаться в какой-то мере смешным. Но поскольку я не могу и не хочу терпеть эту дикую тишину вокруг книги, я в конце концов пришел к той

же наилучшей возможности, какой она показалась тебе, — открытому письму к Вагнеру. [— —] Тогда, адресованное к В. как *patronus causae*⁴⁶⁶, оно на самом деле будет обращено к господам *philologos*⁴⁶⁷ с целью побудить их понять из твоей книги, что, перестав быть исключительно буквоедами, они смогут сделать себя гвардией более благородной образованности, для чего в качестве путеводного образца им могли бы послужить только греки. [— —] Но чтобы вообще получить право таким вот образом «подшутить» над Вагнером, я в конце концов сделал то, чего мне уже давно хотелось, — написал ему лично, естественно, никак не упоминая о плане такого открытого послания. [— —] Теперь я надеюсь только на солнце: под этим затянутым небом я подобен старой вороне — *χρῶζω*⁴⁶⁸. Я не такой простодушный, как ты, наверное, подозреваешь. [— —]

С преданной любовью, твой Э. Р.

95. Ницше — Роде

Четверг <Базель, 11 апреля 1872 или чуть позднее>

Любезнейший друг, чтобы немного развеселить тебя колдовством надежды, в виде ответа на твое письмо расскажу тебе, во-первых, какую комбинацию я недавно осуществил — правда, только мысленно — для тебя и твоей работы, иначе говоря, средств к существованию. Я подумываю о том, как бы тебе примерно на Михайлов день сделаться моим полноправным преемником по Базельской профессуре, со всеми ее почестями и доходами. Сам-то я собираюсь следующей зимой перебраться в немецкое отечество, получив приглашения от Вагнеровских обществ крупных городов, чтобы читать доклады о фестивальных нибелунговских представлениях — ведь всякий должен выполнять свой долг, а в случае коллизий и больше, чем долг. Но если на этом пути я расстанусь зимой с университетом, то, конечно, использую внезапно наступивший вакуум, чтобы 2 года ездить по Югу. С этой целью я откажусь от своего места здесь, после чего ты во всех отношениях станешь моим преемником; а если университет будет благосклонным ко мне, то, думаю, он оставит за мной титул и звание ординарного профессора без ущерба для совершен-

но не зависящей от этого и предназначенной для тебя профессуры, естественно, исключая оклад. Есть ли у тебя желание пуститься на такую комбинацию? — Повторяю, я считаю это проектом, о котором мы с тобой договоримся. Думаю, что сам я смогу прожить два с половиной года на последние остатки своих денег, примерно 2000 талеров, — а что будет после, Бог знает, пока меня это совершенно не волнует. Какое небесное чувство благополучия — шататься по Югу не стипендиатом, постоянно оглядывающимся на государственную службу! Но прежде всего я должен знать, готов ли ты к этому в случае чего. Решение нужно принять в конце мая. —

Ты доставил мне истинную, большую радость, написав Вагнеру. Ведь для самого ценного и благородного, к чему мы стремимся, у нас нет другого покровителя: а потому ему по праву в качестве жертвенных даров полагается все, что произрастает на нашей собственной пашне. Поэтому если мне серьезно чего-то не хватает, так это твоей близости: нам всегда надо бы вместе наслаждаться им и продвигаться в познании его творений. Перед моими изумленными взорами все больше вырисовывается его творение о нибелунге — это что-то невероятно гигантское и совершенное, не имеющее себе равных. Но приблизиться к таким творениям трудно, а потому тот, кто думает, что многое переживет и ощутит в нем, обязан об этом и говорить, — отсюда мой план на зиму.

По поводу твоего открытого письма к Вагнеру желаю тебе радостного и удачного исхода. Прошу тебя, подумай о том, в какое время ты отсылаешь его Вагнеру: как-нибудь позднее я смогу разъяснить тебе, насколько оно оказалось одним из самых сложных и волнительных моментов, когда любой подлинный знак понимания и причастности — смягчающий бальзам.

Прилагаю несколько писем — от Ромундта, от Балиганда (это камергер короля Баварского), от Франца Листа, от Густава Круга, от проф. Хагена из Берна, от Шуре из Флоренции, от графини Кроков, от Матильды Майер. Кроме того, могу еще поведать тебе об очень любезном письме от министерши фон Шляйниц из Берлина, от госпожи Мейзенбух <т. е. Мейзенбург> из Флоренции и т. д. Ганс фон Бюлов, с которым я не был знаком, нанес мне здесь визит и спросил, может ли он посвятить мне свой перевод Леопарди (результат его итальянских часов отдыха). Он так впечатлен моей книгой, что разъезжает с множеством ее экземпляров, чтобы раздаривать их. Скоро

будет второе издание. Кстати, нет еще никакого публичного объявления, даже от книготорговцев, успех чисто келейный. Дом, редактор «Кладдерадача»⁴⁶⁹, — тоже один из «энтузиастов», будет о ней писать, наверное, первым, что выглядело бы трогательно и смешотворно. — Только наши чокнутые филологи молчат — письмо Ричля было не слишком-то искренним, да и слишком незначительным.

Виндиш обручился в Лейпциге с дочерью Рошера⁴⁷⁰ — прекрасное родство по восходящей линии!

Герсдорф предан, деятелен и хорош, как всегда, а теперь состоит в полезнейшей и постоянной переписке с Трибшеном. — Впрочем, мой любезный славный друг, Байрейта 22 мая нам с тобой не избегать, согласно приговору судьбы! А уж осенью, если моя комбинация закончится удачей, ты станешь бенефициарием! Так что приезжай, но прежде напиши мне. На все, что ты предпримешь, прими благословение своего друга, который тебя любит и душевно тебе предан.

Фрд. Ницше

96. Роде — Ницше

Киль, середина апреля 1872

Мой дорогой друг,

сердечное спасибо за полное любви письмо. [— —] Конечно, чтобы презирать всех кривящих губы филистеров, нужны и такие запасы самообладания и характера, которые ты умеешь противопоставить этим злодеям. Тем не менее ты, разумеется, уже давно продумал во всех последствиях свое внезапное извещение, которое в какой-то степени стало для меня неожиданностью, — в том числе и особенно на тот предмет, сможешь ли ты оставить за собой свою базельскую должность, несмотря на временное отсутствие. Ведь по меньшей мере вполне можно себе представить, что после твоего апостольского странствия вся оставшаяся дома братия объявит тебе войну. Οὐ χρῆ γόνον λέοντος ἐν πόλει τρέφειν⁴⁷¹ — издавна было девизом этих аристократов. Но мне, конечно, неизвестно, не захочешь ли ты, в угоду своему гению, хладнокровно проигнорировать всех этих академических светил, и какие дальнейшие планы ты

строишь в связи с Байрейтом. [— —] По крайней мере, базельцы были бы полными идиотами, если бы запросто живешь отпустили тебя: они, видимо, очень хорошо понимают, что ты для них никоим образом не заменим. [— —] Будет ли облегчен твой уход, который базельцам во всяком случае покажется несколько бесцеремонным, если ты сразу предложишь кого-то, за чью добропорядочность можешь ручаться? В таком случае я, разумеется, если меня утвердят, безусловно соглашусь. Но только если меня возьмут! Проклятье, я сейчас сижу между двух тех стульев, на которых так любят грациозно раскачиваться истинные академические «соискатели», но которые производят на меня весьма неприятное впечатление. [— —] Тогда я решительно обещаю, [— —] что я, просто отказавшись от здешних перспектив, не пойду на «использование» в Берлине приглашения в Базель (чего наверняка будет ждать Риббек), а соглашусь перейти в Базель⁴⁷². [— —] Напиши же поскорее, дружище, и будь уверен в неизменности моего образа мыслей.

Твой Э. Р.

97. Ницше — Роде
Базель, 30 апреля 1872

Мой славный дорогой друг, да ведь это не телеграмма, а настоящее счастье, во все стороны излучающее свет, воздух, тепло и благоволение у Господа и людей! Представь себе, я как раз на днях от всего сердца страстно желал подобного быстрого оборота дел, потому что вдруг начал бояться, что, возможно, дружба со мной тебе вредит — для братии она явный минус. Я как раз собирался письменно, но настойчиво просить тебя не предпринимать ничего, что позволяло бы делать вывод об очень тесном общении со мной и уж подавно с Вагнером; ведь, боюсь, уже сейчас наша коллизия с «Центральблатт» оказалась окружена слухами с довольно комической окраской, что может настроить кого-то против тебя. Но теперь, когда мы, двое вооруженных, стоим как два верных товарища по оружию посреди академического цеха, а «первоочередные нужды» отступили за задний план, мы снова можем отважиться на

многое, чтобы устроить этих людей — согласно пословице: «Что страшнее флейты? — Две флейты!».

С сегодняшнего дня Трибшен кончился⁴⁷³! Я провел там еще несколько дней, скорбных дней, словно среди сплошных развалин. Мы много говорили о тебе, мне рассказали в том числе о твоём «глубоком, значительном и волнующем письме»: как только все <у них> несколько успокоится, В. тебе напишет. А пока он просил меня передать тебе, как благодарен тебе, и просит принять его приглашение на 22 мая в Байреит. Тебя признали своим, и ты всегда будешь пользоваться в их кругу самым душевным участием. Ах, какая неистовая жизнь излучается теперь из этого центра! И как уникально счастливы мы с тобой тем, что нам не надо стоять снаружи!

Появилась и первая рецензия на мою книгу, и очень хорошая, — но где! в итальянском «Европейском обозрении»! Это прелестно и символично!

Зато у меня есть известия о том, что настоящим специалистам я теперь кажусь уже смешным, смешным и таким, за которого неловко, почему по отношению ко мне, к примеру, перестали проявлять общепринятую вежливость письмами. А ведь как раз сейчас вышел в свет «Указатель» к «Рейнскому музею» — представь себе, ни Ричль, ни Клетте не сказали мне ни слова благодарности за этот безвозмездный каторжный труд! Уже мое сочинение о Гомере (хотя и не опубликованное) сопровождалось фразой: «Еще нечто подобное, и он погибнет!». Тогда, конечно, вполне уместно показать зубы этому постепенно наглеющему племени и умиротворяюще ткнуть его носом в вещи, которые оно не может разглядеть своими слабыми глазами. Но мои 6 лекций пока еще не напечатаны, а будут только следующей зимой, после полной переработки. — Ах, как я рад, дружище, что теперь мы оба внутри академического окопа, с головешками в руках. — Твое последнее письмо вызвало во мне живейшую благодарность: не могу без ужаса представить себе, каким бесконечно одиноким я чувствовал бы себя, если бы при всех своих планах и надеждах не мог бы думать о тебе. Твоя любовь заменяет мне миллион, как говорит Фальстаф. Давай обсудим в Байрейте все то, чего я сегодня написать не могу, чтобы не написать много. Напишу только: есть вероятность того, что на следующий семестр я еще останусь в университете, а блаженное бегство на юг поберегу на тот момент, когда служба станет для меня невыносимой и тошнотворной. Пока

еще она такой не стала. Мало того, твое сегодняшнее назначение сделало мое настроение даже более светлым и пышным, чем на протяжении долгого времени, и я чувствую себя немного озолоченным лучами солнца императорско-министерской милости, которое нынче вошло над тобой и твоим домом. Oga pro nobis!⁴⁷⁴ К тому же сегодня издатель «Философского ежемесячника» затребовал от меня биографию, из-за чего я в известной степени чувствую себя принятым в среду «профессоров философии». В-третьих, думаю, что услышу преданное и патриотическое ликование со стороны Страсбурга и гимн *regeat diabolus atque irrigores!*⁴⁷⁵ Обычная академическая гордость распирает грудь, которой я намерен остаться у твоей груди, метнувшись к ней, — у твоей груди,

уважаемый господин профессор,
преданный Вам
*irrisor academicus*⁴⁷⁶.

98. Ницше — Роде
Базель, 4 мая 1872

Мой дорогой друг, прошу тебя, дай мне как можно более скорый и определенный ответ на вопрос, приедешь ли ты в Байреит. Я-то с доверчивой надеждой на это рассчитываю, и не только я, но и мои друзья из *Fantaisie*⁴⁷⁷. Сегодня я получил оттуда известие: на места в театре спрос колоссальный, в то время как это прекрасное здание в стиле рококо вмещает только 700 слушателей. «Однако Вагнер самым определенным образом зарезервировал два места для Вас и д-ра Роде, которого он полностью считает своим человеком.» Дословно.

Два «вагнеровских» профессора не могут не присутствовать.

Я выезжаю в пятницу перед Троицей и буду в Байрейте рано утром в субботу. Мы будем присутствовать на репетициях, это необходимо. Срочно напиши твоему

ждущему другу
Ф.Н.

99. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 6 мая

Ну, любезный друг, раз уж ты так напирал на меня, чтобы получить скорейший ответ, мне придется гартим⁴⁷⁸ взяться за перо и ответить: да, я приеду в Байреит, где, как ты говоришь, мой приезд столь любезно санкционирован и ожидаем. Правда, в пятницу, 17-го hujus⁴⁷⁹, я выехать еще не смогу, потому что у меня лекция, — самое раннее во второй половине дня пятницы, так что в Байреит я тогда приеду, скорее всего, в воскресенье. [— —] Пусть же, к нашему удовольствию, получится так: я буду особенно рад свидеться с тобой на несколько дней, хотя во всех остальных отношениях и в музыкальном обществе я как закоренелый ἄμουσος⁴⁸⁰ и буду чувствовать себя, словно китаец в Риме.

За твое поздравление по случаю моего назначения профессором я благодарю тебя столь же гартим: это очень хорошо, что я наконец приплыл в своего рода гавань. Впрочем, этим успехом я обязан, помимо благорасположенности других коллег, главным образом дружбе с Риббеком, которого никогда не устану благодарить за это. [— —] От всей души, но гартим, ut supra⁴⁸¹,

твой Э. Р.

100. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 12 мая 1872

Мой дорогой друг, как славно, что ты собираешься ехать. При огромной нехватке мест, квартир и т. д. было совершенно необходимо срочно узнать, приедешь ли ты. А сейчас я уже давно передал это в Fantaisie, где теперь живут мои друзья.

Значит, мы с тобой снова свидимся! Наши встречи становятся все более величественными, более историческими, правда?

Говорят, что первая репетиция будет 19-го, вторая в понедельник, третья во вторник.

Я, правда, немного нездоров, у меня на затылке «опоясывающий лишай», но надеюсь, что между кожным возбуждением и моз-

говой деятельностью будет вовремя заключен мир, ведь мне позарез надо в Байрейт, несмотря на *singulum*⁴⁸².

В короткие пасхальные моменты отдохновения я написал и патетическую четырехручную музыку, так что сейчас две *chorixá*⁴⁸³ словно обрамляют *ἐπεισόδιον*⁴⁸⁴ этой зимы. — Я, кстати, собираюсь привезти с собой для тебя мои зимние лекции, которыми я вызвал здесь несоразмерное волнение и энтузиазм, особ. у студентов. Печататься они не будут. Сейчас я читаю в университете «Хозфоры» для 6, а доплатоновских философов для 10 слушателей. Жалкое положение! Наши драгоценные коллеги по цеху хранят полную тишину относительно моей книги, даже не пикнут. Меж тем во мне зреют совершенно новые вещи, о которых ты должен услышать.

Так когда ты приедешь в Байрейт? Я-то, как я уже сказал, буду там с утра субботы.

То, что нам суждено пережить, поистине невероятно! К тому же вместе! Я и представить себе не могу, чтобы мы с тобой не столковались в таких важных вещах! Этого еще не хватало! Давай снова принесем жертву нашей дружбе.

Adieu⁴⁸⁵, любезный друг,
Ф. Н.

Великий день — концерт Вагнера в Вене! И заодно — день *riforma federale*⁴⁸⁶ в Швейцарии! Для нее это будет или начало конца, или конец начинаний.

101. Роде — Ницше
Киль, май 1872

Дорогой друг!

Ну так удачи в эти прекрасные дни! Я не смогу выехать до второй половины пятницы. [— —] О твоей болезни я слышу с сожалением: опоясывающий лишай в любом случае штука подозрительная. Пусть пребывание в излюбленной стихии будет для тебя благотворным: я радуюсь «вельми» прекрасному воссоединению. *Che Dioniso ci guardi!*

A rivederci tosto e lieti!

Dev^{no} Ervino.

Ti prego di mandar I miei rispetti alla “Fantasia”⁴⁸⁷; это моя чистой-шая итальянская тарабарщина.

102. Роде — Ницше

Киль, май 1872

Вот тебе, мой милый друг, назад твои письма и с ними вместе рецензия на твою книгу в «Норддойче альгемайне»⁴⁸⁸, рецензия, которая, правда, «ошиблась в своем предназначении», ведь ее подлинная цель — только быть проявлением дружбы к байрейтским торжествам, но к ним оно запоздало. Кстати, прошу тебя рассматривать эту рецензию лишь как аванс: ведь я хорошо понимаю, что рецензия на такую книгу, засунутая между судебными делами и свиноводством и рассчитанная на узкий круг уже посвященных, не может быть заметной. Но зато я определенно обещаю тебе, что еще раз выступлю с речью об этой книге перед публикой, *in specie*⁴⁸⁹ филологической, и с совсем другой, а именно филологической точки зрения, — вероятно, в обсуждавшейся нами форме обращения к Вагнеру. Ведь я во всяком случае увез с собой из Байрейта ощущение того, что там мы оставили нашу родину и что у меня есть моральное обязательство помогать тебе в борьбе за эту высочайшую ценность своими меньшими силами, как брат по оружию. Но, прошу тебя, дай мне время, чтобы это дело созрело, ведь лишь в таком случае оно может иметь смысл и принести пользу и тебе, и мне. А в данный момент меня снова совсем замотала рабочая суета. [— —] Засим остаюсь, в спешке, но душевно

твоим другом Э. Р.

103. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 27 мая 1872

Друг, друг, друг, что ты сотворил! Такое Е. Р.⁴⁹⁰ бывает только раз в жизни. Не видя этих букв, я читаю с все большим изумлением и медленно спускаюсь в байрейтскую бездну ощущений; наконец слышу, что голос, звучащий так торжественно и глубокомысленно, принадлежит другу. Ах, дорогой друг, что ты для меня сделал!

Пишу ночью и в спешке, чтобы попросить у тебя разрешения сделать себе особый оттиск этой твоей великолепной рецензии, красивый и роскошный, <которым> ты будешь доволен, — бумага и печать, как в моей книге. Во-вторых, можно, я по своему усмотрению разошлю экземпляры нашим друзьям, как я сделал раньше (с «Сократом и трагедией»)? Как ты поживаешь? Фантастически, правда ведь?

Я плавлюсь. Битву, битву, битву! Мне нужна война.

Прощай, дружище!
Друг мой!
Фридрих Н.

104. РОДЕ — НИЦШЕ
Киль, 5 июня 1872

Мой любимый друг!

[— —] Ты, вероятно, уже видел этот памфлет⁴⁹¹. Во всяком случае, ты сочтешь ниже своего достоинства ответ на него. Поэтому, думаю, уже настал тот момент, когда я должен тебя заменить. [— —] Тогда я в самый короткий срок в форме открытого письма к Вагнеру, имея в виду этот скандал, с холодно-презрительной прямоотой разделаюсь с этим человеком и, самое главное, привнесу что-то позитивное в филолого-историческое обоснование твоих воззрений. [— —] Я чувствую вместе с тобой, насколько важно для тебя, сейчас и в будущем, в этой битве твое положение на высшей преподавательской позиции и в коллегиальной среде, два главнейших представителя которой, Фишер и Буркхардт, связаны с тобой настоящим уважением и даже

определенным участием. Кому охота отказываться от такого положения в пользу ситуации ученого, не знающего ни сна, ни отдыха, лишенного профессии и кочующего с места на место! [— —] Живи в покое и μελιτόεσσα εὐδία⁴⁹². Но будь уверен в моей неизменной любви!

Твой Э. Р.

105. Ницше — Роде

Базель, 8 июня 1872

Вот видишь, мой милый, милый друг, насколько мы с тобой возмутительны! А вскоре узнаем, насколько мы одиноки. И вот мы должны скромно оставаться на своем посту. Если ты именно сейчас встанешь рядом со мной как мощный соратник, потрясающий копьем, я, разумеется, напомню тебе о том, что κελαινοῦ κύματος πικρὸν μένος⁴⁹³ очень скоро будет обращено и против тебя. Но по этому поводу нам придется взаимно утешать друг друга. Все, что бы ты ни сделал, будет благословлено моей любовью! Будем же совместно со стойкостью переносить, дорогой друг, и более серьезные невзгоды, чем нынешние. Ведь это — только бесстыдный пролог, сыгранный неопытной мальчишеской рукою, — мы лишь предчувствуем «мелодию», которая однажды зазвучит нам в лицо из круга тех, кто «повыше»: ἐπὶ δὲ τῷ τεθιμένῳ τόδε μέλος παραχοπὰ παραφορά⁴⁹⁴ —

Герсдорф известил меня об общем смысле этого памфлета, и тогда, лишь наполовину осведомленный и гадая о форме, я немного нервничал; вчера я получил это сочинение и совершенно успокоился. Я не настолько невежествен, как меня изображает автор, ни настолько лишен любви к истине: с той жалкой ученостью, которую он хвастливо демонстрирует, надо было, конечно, еще побегать в школе, прежде чем участвовать в разговоре о таких проблемах. Он получает то, чего хотел, только с помощью самых наглых интерпретаций. При этом он плохо меня читал, потому что не понимает меня ни в целом, ни в деталях. Он, видимо, еще очень незрел — его явно используют, стимулируют, подзуживают: всё указывает на Берлин. Представь себе, прошлой осенью он нанес мне визит в Наумбурге, в очень почтительной форме, и я сам

посоветовал ему изучить мою книгу, которая тогда скоро должна была выйти. Это он на свой лад и сделал. Тут уж ничего не поделаешь, придется его уничтожить, хотя паренек, конечно, просто сбит кем-то с толку. Но это нужно сделать из-за того гнусного примера и ввиду возможного огромного эффекта от подобного лживого памфлета. В благодарность за то, что ты его уничтожишь, он получит где-нибудь место профессора и будет счастлив.

Но прежде всего, дорогой друг, отнесемся к этому делу серьезно, как нам свойственно, а критикующего паренька будем иметь в виду лишь как некий тип: в этом смысле я был от души обрадован, что ты сохранил идею открытого письма к Вагнеру. Что ты тут за меня, конечно, произведет неслыханную сенсацию в гнезде филологов; я от души благодарен тебе за этот план. Фритцш сделает свое дело быстро и красиво, в этом я уверен.

А теперь прощай, мой дорогой верный друг! Мы должны сохранять присутствие духа и быть выше всего этого! Должны!

Adieu, мой милый филолог будущего!
Твой Ф. Н.

106. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 11 июня 1872

Сегодня я пишу тебе, мой дорогой друг, лишь для того, чтобы ты совершенно не беспокоился на мой счет; я поистине пребываю в той *μελίσθεσσα εὐδία*, которой ты мне пожелал, мало того, даже в несколько озорном напряжении. Я имею удовольствие принимать у себя свою сестру и вместе с ней веду самую простую жизнь, а в наиболее одинокие часы меня посещают образы, которые я попытаюсь заклясть в своем следующем сочинении. В этом меня поддерживает то удовольствие, которое я испытываю от своих лекций, особенно от курса о философах-доплатоников; эти великаны предстают передо мной более живыми, чем когда-либо, и лишь смеха ради я могу читать затянутые сообщения почтенного Целлера. Между прочим, я с наслаждением и признательностью последовал за тобой в хронологическом вопросе о Пифагоре: я сейчас вообще прямо-таки выса-

сываю твою статью. Не знаю, одобришь ли ты это, но я, в принципе в духе Аристотеля, а в прочем вопреки традиции помещаю пифагорейскую философию после атомистики и до Платона: ведь именно на это время приходится ее подлинное формирование. Я не верю в то, что уже сам Пифагор нашел <готовыми> все зародыши этой философии, как еще полагает Целлер, и очень слабым кажется все, из чего он пытается вывести известность пифагорейских принципов Пармениду и т. д. Вся философия чисел, напротив, кажется мне новым путем, на который толкала очевидная или мнимая неудача элеатов, Анаксагора, Левкиппа, — прошу тебя сообщить мне свое мнение по этому вопросу совсем коротко, одной фразой.

Кроме того, я обнаружил особенное значение Анаксимандра. — Датировкам Аполлодора я принципиально доверяю: уже он обнаружил всю произвольность древнейших διαδοχα⁴⁹⁵ и упразднил ее своими датами. — Главными фигурами я считаю Анаксимандра, Гераклита, Парменида, в этой последовательности, затем — Анаксагора, Эмпедокла, Демокрита. Фалес для меня — предтеча Анаксимандра, Ксенофан — предтеча Парменида, Анаксимен — предтеча Анаксагора, Эмпедокла, Демокрита (поскольку он первым выдвинул строго определенную теорию специфики мироздания, μάνωσις πύκνωσις⁴⁹⁶). Левкипп — тоже предтеча. Кроме того, есть последователи — Зенон и т. д. Получается прекрасная таблица категорий — основной представитель, предтечи и последователи!

А сейчас мне нужно идти обедать. Мой дорогой друг, я всегда думаю о тебе с величайшей любовью и удовлетворенностью, а еще с ощущением того, что мы с тобой избежали большой опасности — не бывать в Байрейте вместе. Разве это не заслуживает специального жертвенного возлияния? Я отправляюсь за стол, чтобы немедленно совершить таковое.

От всего сердца приветствую тебя и прошу о нескольких строчках письма.

Твой Фр. Н.

107. Роде — Ницше
Киль, середина июня 1872

Дорогой друг!

В величайшей спешке три слова! Завтра ты наверняка прочтешь в «Н. а. ц.» открытое письмо Вагнера, где, помимо прочих великолепий, совершается и расстрел *dr. phil*⁴⁹⁷.: настоящий праздник для Феба Аполлона, ведь *τέρπουσιν λιπαράι Φοῖβον ὀνοσφαγίαι*⁴⁹⁸. Так как же быть с моим открытым письмом к Вагнеру? Самая важная часть его смысла уже предвосхищена совсем другими силами. [— —] Вопрос: а) уверен ли ты вообще, что такого рода рода подтверждающее суждение со стороны близкого к тебе «верующего друга» необходимо и благотворно? б) удружи мне, найдя привлекательную форму для этого вадемекума. Хорошо бы, чтобы можно было бы облачить в письмо к Вагнеру и такое содержание, это самое лучшее, потому что оно по большей части крепко бьющее.

*Tantum*⁴⁹⁹. Видишь, я сегодня пишу с поспешной деловитой грубостью унтерофицера. От души благодарю тебя за твое последнее письмо, на которое отвечу в ближайшее время на досуге. В его тоне и впрямь есть что-то от *εὐδία*⁵⁰⁰, и это здорово меня успокоило: ты возвращен земле⁵⁰¹!

Засим остаюсь твоим другом,
Э. Р.

P. S. Недавно из типографии <издательства> Брайткопф и Хертель (Лейпциг) мне прислали оттиск моей рецензии в «Норддойче альгемайне цайтунг» в виде, кажется, корректуры; в таком же виде я отослал его назад. Я, вероятно, правильно понял, что это была проба особого оттиска, которым ты оказываешь слишком много чести этой рецензии, склёпанной только на время. Но все равно спасибо, милый друг!

Мой дорогой друг,

из-за последствий желудочно-кишечного заболевания я несколько дней провел в постели, да и сегодня еще очень вял, поэтому не жди ничего особенно разумного, когда я сейчас буду отвечать на твое письмо после разнообразных запутанных размышлений и оценок. Эх, дружище, в подобных случаях о том, что называют «самым умным», совершенно невозможно догадаться с помощью хитрости, но задним числом можно заметить, ухватил ты его или нет. Ведь этот случай особенный, и я не могу подобрать аналогии. Я со своей стороны возлагаю сугубую надежду на то, что филологи изумленно прозреют, когда ты как филолог вдруг выступишь на моей стороне. Я не знаю, что Вагнер написал в своей любви в мою пользу, но при нынешней грубости наших собратьев по цеху это определенно подействует иначе, чем он рассчитывает. При таких делах незримое заклятье против «духа» становится зримым. Но совершенно не предусмотрено и даже ужасно, чтобы какой-нибудь авторитетный филолог стал на мою защиту: для того-то и нужен был безгранично наглый тон этого берлинского юноши. Впрочем, в его извинение я самым определенным образом считаю, что он — лишь эхо инспирировавших его «старших». В видах отрезвляющего предостережения и чтобы при каждой новой работе не приходилось иметь дело с этими отвратительными берлинскими хранителями целебных истоков ты сделал бы нечто в высшей степени полезное — даже после письма Вагнера, — если бы со всей филологической серьезностью и строгостью выразил нашу позицию в отношении античности и прежде всего подчеркнул бы, что участвовать в разговоре о ней, не говоря уже о том, чтобы писать рецензии, дано не первому попавшемуся *dr. phil.* Дорогой друг, я представляю себе твое сочинение прежде всего исходящим из наиболее общих наблюдений над нашей филологической суетой: и чем более общими и серьезными будут эти наблюдения, тем легче будет адресовать все письмо Вагнеру. В начале ты мог бы объяснить, почему обращаешься именно к Вагнеру, а, к примеру, не к собранию филологов: потому что у нас сейчас совершенно отсутствует высший форум для разработки наилучших способов воздействия

наших античных исследований. Затем ты смог бы сказать о наших байрейтских переживаниях и надеждах и почепнуть отсюда право связывать наши античные устремления с этим «Проснитесь, близок день!»⁵⁰². Затем то, что касается моей книги и т. д. — ах, дорогой друг, с моей стороны просто смехотворно писать это здесь в моем вялом настроении. Но главное, мне кажется, что обращение к В. должно остаться, ведь именно непосредственное отношение к В. по большей части испугает филологов и вынудит их к размышлению. Но и казнь этого самого Виламовица тоже должна быть исполнена чисто филологически. Может быть, после адресованного В. более или менее длинного введения общего содержания ты сможешь подвести черту и, извинившись, совершить расправу. Но все-таки в конце текста тон снова должен стать настолько общим и серьезным, чтобы читатели о Виламовице позабыли и удерживали в памяти лишь тот примечательный факт, что с нами шутки плохи, — для филологов это будет много. Ведь я сейчас слышу у них «шуточным филологом» или, как я услышал на днях, «писателем на музыкальные темы».

А поскольку это сочинение в любом случае будут читать и нефилологи, не будь, дружище, уж слишком «важным» при цитировании, чтобы нефилол. друзья античности узнали, где смогут чему-то научиться. Увы, тон моего сочинения запрещал мне давать им такого рода информацию. Если получится, попробуй затушевать впечатление, что речь в нем идет об обитателях луны, а не о греках. — Уложится ли это открытое письмо в объем, скажем, 30—40 страниц? И согласен ли ты на то, чтобы его издал Фритцш? Или, может быть, Тойбнер? Это, наверное, устроил бы для меня Ричль (Р. относится ко мне со сказочной любезностью и благоволением). — Извини меня, мой дорогой друг, за это глупое письмо и сделай все по своему усмотрению. Но будь уверен, что я придаю очень большое значение тому, чтобы это сделал ты. Меня, при моей нынешней изоляции, можно игнорировать как выдумщика или глупца — станем рука об руку, оба с любовью к В., и это непременно вызовет бешеное, скандальное внимание со стороны наших филолог. мещан и мошенников. С душевной любовью и преданностью, твой

Ф. Н.

Мой дорогой друг,

я тем временем попытался раздобыть для твоего открытого письма тойбнеровскую типографию — через Ричля, в чем искреннем участии я при всей напряженности ситуации уверен. Но я отошел от него — и пересылаю тебе письмо Р. как демонстрацию того, насколько принципиально <по-разному> уже толкуются все наши шаги. Хотя я живу в довольно защищенном изгнании, время от времени до меня все же доносятся голоса наинаглейшего филологического высокомерия и презрения; цех, сдается, приговорил меня к смерти. Правда, я сомневаюсь в том, достаточно ли он силен, чтобы действительно убить.

На днях мы (Герсдорф и я) хотели послать тебе телеграмму из Мюнхена. «Тристан»! Но мы подумали, что выражение нашей воодушевленной радости, может быть, вызовет у тебя очень болезненные ощущения — и не стали этого делать. Ах, мой дорогой, дорогой друг! О «Тристане» говорить невозможно! — В первой половине августа его дадут снова, а затем, к юбилею университета, «Лоэнгрин» и, возможно, еще «Мейстерзингер».

Сохранилось ли у тебя несколько копий твоей великолепной рецензии? Она стала очень известной — я, в виде издевки, снабдил ею и «злыдней». Никто не знает, что рассылку делал я, ведь Герсдорф устроил ее из Тегернзе⁵⁰³. Хаупт, Курциус, Царнке и т. д. — снабжены все φίλτατοι⁵⁰⁴! Господь их упаси!

Наш друг Ромундт уже несколько недель как здесь — он окончательно стал у нас приват-доцентом философии! На его долю выпал самый дружеский прием. В следующем семестре он будет читать лекции о материализме и повторительный курс по истории философии. Он пользуется поддержкой и весьма доволен. Его работа «Кант и Эмпедокл» выйдет здесь в издательстве Георга.

В Мюнхене Бюлов сообщил мне о французск. переводе моей книги. Одна воодушевленная дама, которая прежде переводила на франц. сочинения Шумана, мад<муазель> Диодати (вилла Диодати близ Женевы. Вилла Байрона), уже работает всюю.

Я обрел знакомство с целым кругом друзей во Флоренции.

Раз уж я занялся рассылкой писем, приложу к сему последнее письмо Вагнера — пусть оно послужит противоядием письму Ричля. Прочти его! Оно дарит необычайные впечатления.

Как ты живешь, дружище? Здоров ли и пользуешься ли умеренным довольством?

Когда я думаю о тебе, я всегда счастлив. Давай сохранять полное спокойствие и не слишком сильно подставляться брызгам волн. То, к чему мы стремимся, хорошо, — разве у тебя на душе не так? В средоточии этого «стремления», в замысле и разработке нашего мира, у меня на душе так, что кроме нас (в вагнеровском смысле этого «мы»), нет на свете вообще никого. Равнодушная шумная компания филологов проходит тогда мимо меня, как войско оловянных солдат.

Прощай, мой славный милый друг. Хотел бы я знать, чем ты занимаешься и все ли у тебя в порядке.

От всей души твой
Фридр. Ницше

Дорогой друг, теперь мы ориентируемся на Фритцша. Правда? Но ты только не думай, никакой особенной спешки с задуманным открытым письмом нет! Работай над ним покойно — но о филологах пиши только высоким, высочайшим стилем!

110. Роде — Ницше
Киль, 12 июля 1872

Мой дорогой друг,

я давно уже написал бы тебе пару строк, если бы не жил, думая, что мое письмо до тебя не дошло. К этому мнению меня склонял почтовый штемпель Тегернзе, который значился на экземпляре моей рецензии, отосланном Риббеку. Впрочем, я благодарен тебе за великолепное одеяние, которое ты заказал впору для этой рецензии; вот только нахожу сомнительной ее рассылку всякого рода несправедным, ведь они явно увидят в ней наивное искательство их благосклонности, а не издевку, как было задума-

но. [— —] Ну кому может прийти в голову внушить Ричлю, будто опровержение Вагнера влечет за собой проклятье в адрес филологии как таковой? Об этом я даже и не думаю. Ведь целью моего сочинения может быть, наоборот, только демонстрация безосновательности чисто филологических упреков, призванная как раз сохранить эту связь исторического и философского рассмотрения как конечную цель филологии. [— —] Не намерен я также вести здесь принципиальную борьбу с обывательским филологичеством, хотя необходимое указание на полную оправданность подхода к античности с философскими мерками *in specie*⁵⁰⁵ Шопенгауэра вызовет священный гнев берлинских и лейпцигских критиков. [— —] И наконец, чтобы уж покончить с этой полемикой, я прошу тебя, дорогой друг, помочь мне найти короткое и разящее название. [— —]

Итак, я надеюсь закончить все примерно за сорок дней. [— —] Все-таки мне хотелось бы узнать больше подробностей о Мюнхене и «Тристане». — Дела у меня в принципе идут хорошо, но настроение скверное. В ближайшее время мне предстоит одна действительно большая потеря: Риббек осенью перейдет в Гейдельберг, а с ним я потеряю по-настоящему преданного друга. Его уход, кстати, не будет способствовать моему повышению. За тебя и за него я очень рад тому, что у вас поселился Ромундт: это большое приобретение. Если бы сейчас я был, скажем, во Фрайбурге⁵⁰⁶, мы составили бы тройственную компанию, а так передай ему от меня привет и оставайся моим другом!

III. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель <незадолго до 13 июля 1872>

Мой дорогой друг,

мне как раз кое-что пришло в голову. А именно, я понял, что никто не читал этого письма Вагнера, и прошу Господа, чтобы оно было написано не напрасно, потому как оно и прекрасно, и истинно.

Что, если мы издадим письмо Вагнера и твое открытое письмо вместе, в одной брошюре у Фритцша? Меня подмывает думать, что совместное чтение будет вполне уместным. Название произволь-

ное, например: Два письма о «Рождении трагедии». А потом — второе, более специальное название!

Если это предложение покажется тебе сколько-нибудь стоящим, напиши мне очень, очень скоро! Тогда я сразу начну обсуждать это с Вагнером.

Со спешкой и любовью,
твой Ф. Н.

112. Роде — Ницше

Воскресенье <около середины июля 1872>

Дорогой друг,

мысль напечатать письмо Вагнера вместе с моим сочинением уже приходила в голову и мне. [— —] Но я отказался от нее тем решительней, что, по длительном размышлении, этот способ показался мне неподходящим сам по себе. [— —] Две столь разные личности, прикованные друг к другу, на деле представляли бы чистейший трагеллаф, над которым люди по праву потешались бы. Даже если предположить, что Вагнер согласился бы. Так что, дорогой друг, прошу тебя, откажись от этой своднической идеи! Он и я — мы были бы слишком уж неравной парой. [— —] Желаю тебе здоровья и солнечного света, любезный друг, и передавай привет Ромундту; напиши поскорее.

С сердечной любовью,
твой
Э. Р.

113. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 16 июля 1872

Вот, мой дорогой, славный друг, это название, находка моего соседа по дому проф. Овербека, встреченная ликованием и язвительными воплями:

Лжефилология
д-ра У. ф. Виламовица-Мёллендорфа.
Открытое письмо
филолога
к Рихарду Вагнеру⁵⁰⁷

Свое имя ты поставь тогда только под письмом, т. е. в конце (но со всеми полагающимися регалиями!). В заключительном слове ты можешь несколько раз благожелательно обратиться к Виламовицу как «лжефилологу». Мы <, дескать,> считаем его представителем «ложной» филологии, и удачным результатом твоего сочинения должно оказаться то, что таким же он покажется и другим филологам. Я собираюсь снова, совершенно серьезно и настоятельно написать Ричлю, чтобы он по возможности отказался от этой непонятной идеи, будто мы замыслили атаку на антиковедение (или на историю). Я написал ему только, что ты в простой филологической манере хотел разделаться с этим дерзким малым. А теперь его так напугало письмо Вагнера, что он начал бояться нас всех. К тому же он тревожится за «Тойбнеровскую филологию»! Рекомендую тебе это как сугубо домашний девиз.

Касательно утверждения Вил<амовица> об Аристархе и титанах — я не могу отыскать ничего, на что он, видимо, хотел бы сослаться. О догомеровском <происхождении> титаномахии ярче всего говорит Велькер («Мифология», I 262). Не хочу больше постоянно выслушивать слабенькое утверждение о догомеровском мире как юном, о весне народа и т. д.! В том смысле, в каком оно сформулировано, оно ложно. Одно из моих глубочайших убеждений — это то, что мрачная грубость и жестокость порождают чудовищную, дикую борьбу и что Гомер стоит победителем в конце этого долгого, безотрадного периода. Греки куда древнее, чем думают люди. О весне можно говорить, если помнить, что до весны есть еще зима: ведь этот мир чистоты и красоты не с неба свалился.

Мой подход к проблеме фигуры сатира кажется мне чем-то очень важным в этой сфере исследований, да и является чем-то существенно новым, не так ли? — Очень предосудительно, что сатиров, какими их представляли себе в глубочайшей древности, я назвал козлоногими. Но ведь совершеннейшая глупость, возражая против этого, ссылаться исключительно на археологию и т. д. Ибо археологии известен лишь облагороженный тип из сатирических игрищ — а прежде было представление о козлах как служителях Диониса и о козлиных прыжках его почитателей. Козлоногость — исконная характерная черта древнейшего представления, и без всяких археологических доказательств я мог бы утверждать, что οὐτίδανοί καὶ ἀμυχάνοεργοι⁵⁰⁸ Гесиода были козлоногими, то есть сарπίδες⁵⁰⁹, как говорит Гораций (од. 2, 2) и другие поэты (в том числе греческие). Σάτυροι <сатиры> я объясняю, как и τίτυροι <титиры, вариант слова «сатиры»>, в качестве удвоения корня τερ (как Σίσυφος <Сисиф> относится к σοφός <умелый, умный>). Τόρος — пронзительно ясный, σάτυροι — «пронзительно вопящие», эпитет козлов, как μῆκαδες <блеющие> — коз. Думаю, это отличное уравнение — τόρος к τίτυρος = σοφός к σίσυφος. Если оно тебе по нраву, приведи его тоже. — Разумеется, я не смешиваю сатиров и панов, в чем меня обвиняет Вил. Я говорю (с. 8): «...Аполлона, который мог показывать голову Медузы только силе, не более опасной...»; Вил. вместо этого говорит: «размахивать», с. 9 и 18, где он вообще неверно цитирует меня с кавычками. Я так и не пойму, чем недоволен В. — если, конечно, он знает, что такое эгида. — Что я только выдумываю сцену, как, например, с Аполлоном Бельведерским, это же совершенно ясно. — Для Архилоха особ. важно место из Вестфала, «История древней и средневековой музыки», с. 115 слл., но о ней у парня нет никакого представления. — К прим. на с. 26. Само собой, изречение оракула гласит Σοφοκλῆς σοφός, σοφότερος δ' Εὐρύπιδης⁵¹⁰. — «Вечно веселая любезность Софокла» как общая характеристика заставила меня изрядно потешиться. — На с. 29, наверху, находится выдающийся пример бездумной плоскости читающего Вил. Вообще, вся эта страница увеселительна. — Скандально-непристойные шутки в середине с. 18 заслуживают кары: посмотри, пожалуйста, что я на самом деле сказал на с. 19. Да и эпиграф ужасно пошл. — Подмена элегии лирикой тоже прелестна. Да и ἀύλητης⁵¹¹ Мимнерм мог бы порадоваться тому, что написано на 17. — В том, что Эсхил — это высшая точка античной музыки,

наряду с Симонидом, Пиндаром, Фринихом, Пратином, мы просто должны верить Аристоксену (Вил., с. 21). Его общему ощущению я подчиняюсь и в том, что касается новейших дифирамбистов. Ведь Аристофан ясно говорит о «возбуждающей музыке», а для подражательной мне, увы, больше не на что сослаться. Я не занимаюсь здесь «поношением». Для понимания новой музыки — нома и дифирамба нам приходится использовать Еврипида, чья *σκηνική μουσική*⁵¹² внутренне родственна этой музыке: это и пародирует Аристофан. — Об отношении Сократа к трагическому искусству в высшей степени важное место у Арист<офана>, Ляг<ушки> 1491: *χαρίεν οὖν μὴ Σωκράτει | παρακαθήμενον λαλεῖν | ἀποβαλόντα μουσικὴν | τὰ τε μέγιστα παραλίποντα τῆς τραγῳδικῆς τέχνης*⁵¹³ и т. д. — Тебе известно, что, говоря о «музах с Дионисом в середине», я думал об акварели Дженелли, висевшей у Вагнера в Трибшене. — Так напхни же филологам, что у моего Сократа есть руки и ноги, — я очень сильно ощущаю контраст между моим изображением и другими, которые кажутся мне сплошь мертвыми и истлевшими. — Мойра как вечная справедливость в руках Зевса — важное эсхиловское представление. Предпоследняя страница Вил. — совершенно пошлая из-за подлогов и т. д. Отношение Эсхила к мистериям распространяется и на Аристофана. — Мой дорогой друг, не теряй терпения и не сердись — у тебя отвратительная работа, и когда я думаю, что ты чувствуешь себя в ней ужасно, мне становится стыдно, и я страшно раскаиваюсь, что вообще принял от тебя такую жертву. Советую тебе язвительный смех и сатанинские удовольствия как приправы к жизни. В спокойном промежутке ты сможешь потом услышать от меня кое-что о «Тристане», а также о невероятном предприятии, касающемся Байрейта, которое я породил в Мюнхене и которое чревато большой ответственностью⁵¹⁴. Я всегда близок, дорогой друг!

Ф. Н.

Фритцшу я напишу сегодня. Так, значит, 2 листа?

[на конверте:]

Вышли мне мои лекции! Пожалуйста!

114. РОДЕ — НИЦШЕ
Киль, 20 июля 1872

Вот, наконец, тебе назад твои лекции, дорогой друг: не гневайся, что я так долго копался с ними.

Большое тебе спасибо за твои сепни⁵¹⁵: поскольку я уже сам обшарил все кругом, они стали для меня главным образом только доказательством того, что я правильно понял твои интенции. Новым для меня было напоминание о картине Дженелли, которого сейчас я, впрочем, вспомнил очень хорошо.

Что теперь подумывает делать Фритцциус?
На сегодня прощай: в страшной спешке

твой друг Э. Р.

115. НИЦШЕ — РОДЕ
Четверг <Базель, 25 июля 1872>

Ну, дружище, насчет Фритцша не беспокойся! Он тотчас прислал мне благоприятный ответ и просит тебя как можно скорей переслать ему рукопись. Потом, в начале осени он хочет «широчайшим образом» организовать рецензию на оба наших сочинения. Касательно оформления я ему ничего не написал; доверимся тут его блистательному профессионализму; на твоём месте я вообще не упоминал бы об этом пункте. — Что ты думаешь насчет заголовка?

Как тебе, спрошу кстати, мои «образовательные» лекции? Я, спасибо тебе, получил их назад и сейчас дам читать Ромундту. В начале зимы я собираюсь прочитать здесь шестую и седьмую из них, тем самым закончив эти очень популярные предварительные чтения. Ромундт, который передает тебе сердечный привет, печатает свое сочинение: за это взялся один здешний издатель, но нам это совсем не подходит — печать и оформление у него совершенно никудышные.

Сейчас я делаю наброски следующего сочинения с названием «Состязание Гомера»⁵¹⁶. Ты можешь сколько угодно смеяться над неумностью моих агональных исследований, но на сей раз из них кое-что выйдет. —

То, что я тебе в последний раз написал о виламовицщине, — совершенно пустячные вещи, в них нет ничего более или менее принципиального. Но слава Богу, если ты уже закончил; тогда у меня груз долой с плеч, а именно, знание о том, что ты занят этой виламовицкой писаниной. Эх, дружище! Это не должно больше повториться. Даже и не знаю, как еще мог бы поддержать тебя в этой истории, если бы не думал постоянно о нашей с тобой редкостной ситуации с Вагнером. Мы с тобой как авторы открытого письма к В. попадаем под одну и ту же особую рубрику, и я рад тому, что нас с тобой будут упоминать вместе. И уж на этот раз давай доведем дело до публичного успеха, хотя бы для того, чтобы покарать тойбнеровскую ложь: они в письме к Ричлю бьются об заклад, что с вероятностью десять к одному не будет распродано и сотни экземпляров. Я имел удовольствие написать Ричлю, что принимаю пари. Я раз и навсегда заклился иметь дело с этим тойбнеровским сбродом, прочтя их подло-торгашеское письмо.

И все же уверенность этого утверждения о вероятности 10:1 так напугала меня, что я ожидаю отрицательного ответа и от Фритцша.

В следующий вторник я еду на юбилей⁵¹⁷ в Мюнхен. Кстати, в течение девяти дней там будут давать “Лознгрину”, “Голландца”, “Тристана”, — Герсдорф, вероятно, тоже будет там. — У вас уже каникулы? Больше не рискну ничего сказать.

Сегодняшнее утро посвящено чтению неизданных сочинений Гёте: ad hoc я приглашен к единственной еще живой дочери Шарл<отты> Кестнер, а недавно уже услышал два прелестных стихотвореньца «На дорогу графине Э<глоффштайн>».

Хотел бы я, чтобы ты услышал «Тристана» — это нечто самое невероятное, чистое и неожиданное, что я знаю. Здесь купаешься в возвышенном счастье.

Напишешь мне скоро что-то о себе, мой дорогой верный друг? Прощай!

Твой Ф.

116. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, суббота <конец июля 1872>

Я закончил свое сочинение, дружище, осталось только его переписать, и уж тогда вперед! [—] Я очень благодарен тебе и Овербеку за эту находку — «Лжефилология». Слово хорошо тем, что обозначает филологическую точку зрения, скучность которой потом, все-таки уравнивается добавкой «к Вагнеру». Но это превосходное слово для меня все же отдает чем-то аристофановским. [—]

Basta per oggi⁵¹⁸. Я много думаю о тебе, мой дорогой друг, но вообще-то о тебе ничего не слышу, ни о том, как твои дела, ни о твоих планах, о том, что ты думаешь и делаешь. Давай же не терять друг друга, а хранить верную близость. А Ромундт уже у вас? Если бы я мог поехать во Фрайбург, где продвигается Брамбах⁵¹⁹. Кто туда поедет? Засим прощай, дорогой друг и брат.

В спешке и жаре,
твой друг и почитатель
Э. Р.

117. НИЦШЕ — РОДЕ

<Базель, 2 августа 1872>

Значит, ты справился, дорогой друг? Тогда, думаю, твоя рукопись уже в руках бравого Фритцша. С ним достигнута договоренность в лучшем виде; об оформлении и гонораре я даже не упомянул, думаю, мы доверимся ему и не будем об этом говорить вообще.

Название и связанная с ним проблема основательно обсуждались со всех сторон, и все мы, Овербек, Ромундт и я, окончательно согласились в том, что оно совершенно невинно. Есть же у нас такое популярное выражение, как лжеискусство и т. п. Если <нашему> zotiacus⁵²⁰ еще из чувства вины и пришлось с пристрастием подвергать Виламовица аристофановской интерпретации, то уж его глисты нам совсем не нужны. Но все-таки я прошу тебя, чтобы избежать всяких недоразумений, может быть, прямо на первой же странице дать краткую дефиницию и толкование термина «лжефилология»⁵²¹; тем самым мы уйдем щепетильную совесть.

В Мюнхен я не поехал — Герсдорф прибыть туда не смог, у него сильно болит ухо. Да и то — крутиться среди всего этого сброда, сплошь в жидкой патоке энтузиазма, мне совсем не улыбается; короче говоря, я остался на месте и рад этому.

Я собираюсь переработать свои образовательные лекции. Скажи же мне что-нибудь о них — ты ведь должен понимать, что я не хочу неприятностей из-за них и прислушаюсь к <твоим> советам.

Я наконец всерьез прислушался к советам относительно моего последнего сочинения, которое я играл вам в Байрейте; письмо Бюлова для меня неоценимо в своей честности, прочти его, посмейся надо мной и поверь — я в таком ужасе от самого себя, что с тех пор не могу подойти к фортепиано.

Г-жа Мейзенбург, видимо, приедет в Швейцарию в ближайшее время, и мы с ней собираемся пожить поблизости друг от друга в каком-нибудь прелестном уголке. Она — очень по-матерински любвеобильное существо. В Мюнхене мы с ней почти все время проводили вместе. Советую тебе почитать «Из мемуаров русского» Александра Герцена (отца Ольги Г.).

Здесь несколько дней провел Дойсен. Оставив по себе на удивление неприятное впечатление.

Брокгауз осенью станет твоим коллегой в Киле. Это исключительно почтенный человек, достойный большого уважения. — О Фрайбурге мне ничего не известно, вообще ничего. Как я приветствовал бы комбинацию с твоим переводом туда! Но ничего не могу сделать — Брамбах, видимо, прокрадется туда тайком. Я часто и настойчиво напоминал о тебе своим фрайбургским знакомым. Так прошу тебя, пошли свою работу о Вилаговице проф. Шёнбергу и проф. Мендельсону.

А теперь, мой старый славный друг, поздравляю тебя с каникулами и даже не желаю добавлять, что вторая половина нашего летнего семестра еще впереди.

Ромундт передает тебе сердечный привет. Я получил в подарок несколько писем Гёте — от 86-летней г-жи Кестнер (дочери Лотты).

Я живу здесь со своей сестрой в полном порядке, а тебе желаю, чтобы дела у тебя обстояли еще лучше.

Преданный тебе
Фр. Н.

Почему, дражайший мой друг, я ничего не слышу от тебя вот уже три недели? Может быть, не дошло мое последнее письмо (с вложением письма от Бюлова)? Или почта совсем обнаглела? А может, ты и вовсе заболел (от чего демон береги)? Я предпочитаю думать, что ты удобно устроился на морском пляже и немного отвык от пера. А? Но если уж перья для крыльев у тебя отросли, то, пожалуйста, используй их, чтобы лететь ко мне, конечно, *metaphorice*, а без метафор — напиши уже мне, мой дорогой верный друг!

Между тем здесь напечатана работа Ромундта, она называется «О сущности вещей и человеческого познании», отчего мне пришло в голову переименовать скучную «вещь саму по себе», назвав ее «тоттато» — это будет крайне абстрактное использование артиклей для обозначения неопределенной чистой содержательности.

Защита докторской Ромундтом ведет меня во Фрайбург, куда мы все хотели бы заполучить тебя — то-то была бы чудная Троица! Но Брамбаховский ручеек⁵²² прожурчал и просочился тайком, чего никто даже не ожидал. Вот честный человек из Горациева погрёба и получил себе место.

Я, кстати, наконец послал в «Рейнский музей» продолжение своей статьи о «Сертатен»⁵²³, на что Ричль прислал мне чертовски добродушную почтовую карточку, которую я рекомендую твоему восхищению. С какой глупой готовностью превратного понимания приходится бороться! Впрочем, меня устроит, если ему будет хорошо и он успокоится на вере в то, что я снова «вернулся на старую проверенную симпатичную стезю»; он искренне желает мне блага, и я так же искренне ему благодарен. Вот как: «Только вернись! Только вернись», — призывает он меня теперь. А я ему на это: «Что на уме, не высказать ни в жисть!»⁵²⁴. Ведь это возмутительно, если он думает, что, послав статью о состязании, я прекратил быть «филологом Рождения трагедии»!

А как обстоят у тебя дела с твоей фритцшианой? Меня спрашивают об этом иногда из Байрейта, да я и сам с удовольствием узнал бы что-нибудь об этом. Доволен ли ты этим бравым Ф.? Давай постараемся за столбить для нас эту славную фирму. Как только соберешься напечатать что-нибудь более крупное, подумай о нем,

а я уж заклился иметь дело со всеми этими тойбнерами, энгельманами и т. д. Во мне сейчас бурлят планы, но я неизменно чувствую, что передо мной один путь, и я с него не сойду; если только будет позволять время, я все это осуществлю. Особенно плодотворными стали мои летние занятия доплатоновскими философами.

В юбилейном Мюнхене я не был — может быть, я тебе об этом писал. А как насчет осени? Я еще не решил окончательно, приеду ли в Северную Германию.

Стоит такая бодрая погода позднего лета, что было бы настоящим счастьем встретиться! У меня все время только одно желание — не пороть горячку, а такая погода наглядно проповедует эту идею, синей и золотой краской.

Хвалю Базель за то, что здесь мне позволено вести спокойное существование, словно в собственном поместье. Зато мне ненавистен один лишь звук берлинского органа, как звук паровой машины. Недавно нас здесь посетил один такой берлинец, словно *deus ex machina*, редактор «Шпенерше», Веренпфенниг⁵²⁵, — я вздохнул с облегчением, когда он уехал.

Ну, мой дорогой, славный, верный старый товарищ, будь здоров и — чуточку блажен, а именно блажен на письма в отношении твоего швейцарски-уединенного, живущего в бочке

Διογενής Λαερτιάδης⁵²⁶.

119. РОДЕ — НИЦШЕ
Херсбрук, 28 августа 1872

Мой дорогой друг!

Я как будто еще не стал свинопасом или подмастерьем пивовара в этой вышеназванной дыре⁵²⁷, но то, что я сочиняю это «Открытое письмо филолога» в сенсационном кабачке означенной дыры, — это удостоверенный факт. [— —] От поездки еще долго тоже будет мало радости, в особенности если придется сочинять письма среди орущих и громко отрывивающих свой ужасный баварский диалект возчиков, как это происходит со мной постоянно. Но я радуюсь зелени за окном, природе, в которую я сейчас так бы

и вбежал, после того как долго терся во всяких городах. Будь у меня больше денег, я подался бы в Швейцарию, а еще лучше в благословенную Италию. К этому времени я побывал в том числе в Нюрнберге и снова ощутил, что чистой и полной радости там, среди этих квадратных рож, меньше, чем в каком-нибудь одном-единственном маленьком итальянском городе искусства — Вероне, Падуе, даже в Брешии. Но те великолепные люди были, конечно, на пути к свободной красоте, пути, идущем не через залетевший на небеса идеализм, не отваживающийся изображать ничего таким, каким его видит, а представляющий какой-то выдуманный спектр. И вот все эти Дюрер и т. д. остались стоять там, где стояли реалисты старофлорентийской или падуанской школы: что препятствовало им двинуться вперед? Ах, — эта проклятая теология и Тридцатилетняя война; а засим пребываю, с давней любовью, твоим другом и возчиком,

Э. Р.

120. Роде — Ницше
Киль, 27 сентября 1872

Мой дорогой друг!

[— —] Ты ведь, наверное, получил мое письмо из Херсбрука? После него я еще около двух недель шатался по миру, впитывая «дальний мир и жизнь большую»⁵²⁸; в особенности я получил наслаждение от основательного осмотра Дрезденской галереи. Весьма «раздумчивый» феномен, что созерцание таких картин явления может давать нам такое чистое, глубокое удовольствие; это, конечно, наслаждение и один из вернейших признаков того, что столь чистое освобождение интеллекта от воли, как его понимает Шопенгауэр, есть воображение: иначе откуда берется определенное чувство, правда, чистого и несравненного, но наслаждения? «Однако я начинаю философствовать.» [— —] Недавно я получил книгу Ромундта: передай ему мою живейшую благодарность; в ближайшее время я напишу ему сам, как только буду в более или менее хорошем расположении духа. Я еще толком не успокоился после

поездки, не достиг равномерной температуры в чувствах, когда не ждешь счастья и с удовольствием принимаешь мелкие радости. [— —] А здесь я чувствую себя совершенно одиноким и брошенным, несказанно одиноким и безотрадным, а уж тем более с тех пор как уехал Риббек, который как-никак относился ко мне с теплом, вынося мои так хорошо известные ему мнения с тактичностью и бережностью, да и не без симпатии. Я благодарен ему за многое и навсегда; он человек благородный. — А теперь я совсем осиротел душой, да к тому же уже две недели непрерывно льют дожди, и все кругом отдает безнадежным мраком, безвыходностью и холодом. Эх, если б я был поближе к тебе, друг мой любезный, — вот все та же старая жалобная песня. Был бы я хотя бы где-нибудь на юге Германии, в том же Фрайбурге, который, как я давно, разумеется, знаю, прямо-таки набит пивными. У вас-то в Базеле всё, конечно, в полном порядке: двое противятся судьбе, но один из них совсем solo, soletto⁵²⁹, это печально. Что поделявает Буркхардт? При случае передай ему от меня привет. Можно ли было какое-то время назад представить себе, что он приспособится к этой муравьиной цивилизованной берлинской суете? Я испытываю настоящий ужас перед этим Берлином; [— —] вполне понятно, каким кошмаром казался некогда первым христианам Рим, «великая блудница». Но где сегодня этот Спаситель? Новая кровь? Силы верить в Богочеловека как инкарнацию Любви? А ведь, каким бы безумием это ни было, здесь проявлялось что-то величественное и отрадное. Ах, дорогой друг, я все еще не теряю надежды, но одно знаю твердо — что вагнеровское «мы», если и не преобразит мир, то предложит что-то наверняка великое и доброе. Напиши мне поскорее, дружище, и придай мне дух.

Со старой, преданной расположенностью,
твой
Э. Р.

121. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 25 октября 1872

Наконец-то, любезный друг, я преодолел первое волнение, из-за которого чуть не получил несварение, — было бы жаль, если бы я подавился этой великолепной виноградной, правда? А теперь я очень уютно-послеобеденно сижу в своей теплой комнате и, как ребенок, радуюсь подарку, все снова его обнюхивая и обглаживая. Не могу передать словами, что ты сегодня для меня сделал, я ни за что не смог бы сделать это для себя сам и знаю, что нет на земле другого такого человека, от которого я мог бы получить такой дружеский подарок. Чего тебе только не пришлось претерпеть, бедный милый друг, так долго возясь с этим парнем! Задним числом я больше всего понимаю, насколько его атака была отвратительной и постыдной, чувствуя, как ты страдал, имея с ним дело. Ну а теперь твое сочинение выплывает на простор и волочит за собой на простор этого утопленника. Каких последствий этого ты можешь ждать, ты сможешь понять из следующих сообщений, которые до меня дошли, хотя я, видит Бог, этого не добивался. В Лейпциге раздался один голос о моей книге: что он вещал, озвучил своим студентам в Бонне честный и весьма уважаемый мною Узенер. “Чистейшая чушь, с которой ну совсем уж нечего делать, — любой, кто написал что-то подобное, для науки мертв.” Как будто я совершил преступление; молчание длится уже 10 месяцев, потому что все действительно думают, что с моей книгой полностью покончено, так что не стоит тратить на нее слов. Так Овербек описывает произведенное ею впечатление в письме ко мне из Лейпцига. Все стороны здесь едины: но в виде затейливого исключения позавчера пришло письмо от Э. Лейча, написанное в «старушечьем» тоне и проявляющее симпатии <ко мне>! Есть во всем этом что-то идиотское! (Кстати, этот старый холостяк прислал толстый том, содержащий, наверное, 10—15 статей, программы и т. д., а именно, его доклады о Феогниде, в старомодно-затейливом переплете! Животики надорвать можно от смеха!) Почти всюду меня считают даже зарвавшимся, ведь это утешение для наших «здравомыслящих», когда никакие другие утешения уже не действуют.

А какое великолепное зрелище — твое сочинение со всем его великодушием и боевой солидарностью, падающее в эту стаю гогочущих гусей! Ромундт и Овербек, единственные, кому я пока имел

возможность его читать, вне себя от радости за твою прекраснейшую удачу, не устают с похвалой подчеркивать и отдельные места, и все в целом, и называют эту полемику «лессинговской» — ты ведь знаешь, что добрые немцы имеют в виду под этим качеством. Больше всего мне нравится слышать постоянный фоновый низкий гул, как от большого водопада, — уже только благодаря ему полемика будет удачной и произведет величественное впечатление, — тот фоновый гул, в котором звучат заодно любовь, доверие, мужество, сила, боль, победа и надежда. Дорогой друг, я был совершенно потрясен, а когда ты заговорил о «друзьях», я долго не мог читать дальше. Какие же великолепные впечатления достались на мою долю в этом году! И как разлетелись о них все невесь от куда свалившиеся на меня беды! Черпаю я ощущение гордости и счастья и из души Вагнера, ведь твое сочинение характеризует примечательную поворотную точку в его отношении к научным кругам Германии. Недавно <берлинская> «Национальцайтунг» настолько обнаглела, что причислила меня к «литературным лакеям В-а»; каково же будет изумление, что к нему примкнул и ты! Наверное, это будет поважнее того, что ты выступил на моей стороне? Правда, мой старый друг? Это, и ничто другое, делает мой сегодняшний день самым счастливым днем долгого последнего периода — я вижу, что ты своей дружеской услугой для меня сделал для Вагнера! Когда твое сочинение прочтет Герсдорф, он, я уверен, два-три раза встанет на голову, от радости и счастья! А как прекрасно и «блаародно» бравый Фритцшиус снова сделал свое дело! Эх, если б он только так же здорово обеспечил и продажи — и чуть скорее, чем печать; в последнее время я уж и не знал, что придумать, и даже собирался ему написать. Ты ведь знаешь последнее сочинение Вагнера об актерам и певцах? Это совершенно новая сфера эстетики! И какое плодотворное применение находят в нем некоторые мысли из «Рожд. трагедии»! Я беседую с этим новым сочинением, как будто я с Вагнером, в чьей близости уже так долго нуждаюсь.

Будем же хранить мужество, мой славный, милый друг! Сейчас я неизменно верю, что будет лучше, что лучше будет с нами, что мы будем расти в своих хороших планах, хороших способах, что мы будем бежать ко все более благородным и дальним целям! О, мы их достигнем, и после каждой победы цель будет сдвигаться все дальше, а мы будем бежать к ней еще более рьяно. Так ли уж должно нас

печалить, что найдется немного, даже совсем немного зрителей, которые захотят смотреть на наше ристалище? Опечалит ли нас узнать только, что эти немногие зрители — еще и единственные судьи в нашем соревновании? Я, со своей стороны, даю приз в виде всех лавровых венков, какими только может наградить наше время, одному такому зрителю, каков Вагнер; удовлетворять его требованиям для меня — побуждение более сильное и высокое, чем какое-либо иное. Ибо это трудно — ведь он откровенно высказывает все, что ему нравится или не нравится, и являет собою для меня как бы чистую совесть, карающую и награждающую.

Да пребудут с нами все добрые духи, мой милый друг! Пойдем же бок о бок, с одной верой и одной надеждой! Что на душе у тебя, то и у меня, и нет ничего, что каждый из нас испытывал бы только за себя, ничего хорошего и верного!

Благодарю тебя, друг мой, благодарю тебя!

Твой
Фридрих

122. Ницше — Роде
Воскресенье <Базель, 27 октября 1872>

Здесь, мой дорогой друг, я посылаю тебе великолепное письмо от Вагнера — он написал мне его, когда твоего открытого письма у меня еще не было. Я хотел бы, чтобы ты соучаствовал во всем хорошем, что выпадает на мою долю, а в случае писем от Вагнера — чтобы соучаствовал только ты один. Ибо такое письмо, как сегодняшнее, я не показываю даже Ромундту и Овербеку, как бы сильно их не любил и чтил. Из такого письма ты почерпнешь мужество и силу, как делаю и я.

В высшей степени оригинально и чуть ли не забавно всеобщее смущение по поводу меня как композитора в кругах музыкальных мастеров: тебе ведь известно письмо Бюлова — а теперь еще и Лист, который называет расстройство Бюлова «весьма глубоким».

Я все еще читаю твою «Апологию Не-Сократа» на завтрак и на ужин; один экземпляр вместе с твоей рецензией в «Нордд. Аль-

гем.» я отдам приготовить для своего праздничного стола, роскошно отделав кожей и золотом.

Эх, если б только Фритцш дал толковое объявление об этой работе! Я хотел бы, чтобы он сделал это в «Литераришес централь-блатт»: «Друзьям на радость, врагам на вечную зависть!» Напиши же ему что-то о «Центральблатт» и, скажем, о «Рейнск. музее», а, может, и о «Гермесе»! Уж во всяком случае об «Аугсбургерше»! Тогда пусть он пошлет экземпляр Лейтшу.

Приготовимся к шумному скандалу и заткнем уши ватой, но — ватой хорошего образа мыслей и «покойной подушки», которая называет себя чистой совестью.

Я постоянно с изумлением оглядываюсь в поисках похожего случая и не нахожу. Есть ли другие такие «друзья», как ты? Будущие поколения в рамках «критики» станут говорить, будто это ты сам и написал «Рожд. трагедии», а меня привлек лишь как *πρόφασις*⁵³⁰, чтобы задним числом писать такие вот рецензии и апологии! Из глубины сердца! Но и от поверхности! Я, кажется, предвосхитил твою мысль, но ты настолько мне друг, чтобы не сердиться?

Короче говоря, есть в этом что-то чудесное; посмотрим же, что скажут наши «критики» на этот «монизм дуализма».

С сердечной любовью,
твой Ф.

123. Роде — Ницше
Киль, 1 ноября 1872

Друг мой!

Ты, может быть, был удивлен тем, что я послал тебе свое полевое сочинение без всякого привета и теперь уже долго молча гляжу ему вслед. Не могу я в качестве убедительной извинительной причины сослаться и на безусловно срочные, на сей раз чуть ли не благотворно перенапрягшие меня работы к началу семестра. И все же, думаю, в глубине души ты поймешь все это мое нежелание сказать теперь что-то еще. Разве нужно нам говорить об этом деле что-то, чего каждый из нас и сам не ощущал бы в своем сердце! Мы

с тобой уже объединили свои усилия в жизни и совместно вытерпим всю низость окружающих. Но не это угнетает и истощает меня теперь: кто по-настоящему любит дело или личность, будет долго подвергаться ядовитой злобе *genus humanum*⁵³¹, и сможет выбирать только между людской глупостью и надоедливими *πλύσιοι*⁵³² с их пошлой ограниченностью. [— —] Тогда это вызывает самые мучительные судороги — ведь надо теперь там и сям публично повторять перед всеми этими бравыми негодьями эту потасовку, которую ты, вздыхая, вынудил себя занести на тихую бумагу. Ведь тут оказываешься стоящим перед форумом, который про себя не признаешь, но к которому приходится относиться с внешним уважением. — Во всякой такого рода полемике это самое ужасное, и нужно почувствовать это на собственной шкуре, чтобы заречься от нее на все будущее: «Брось ты ввязываться в спор, // Чуть не так — противоречить»⁵³³. Невыносимую мерзость этого чувства я преодолел отчасти тем, что, обращаясь к Вагнеру, мог прежде всего адресоваться к другу, с которым ощущал глубокую душевную общность. Я, разумеется, не взял бы на себя всю эту мороку и отвращение — ведь всюду, где я от всего сердца с кем-то говорю, натура у меня совершенно антиполемическая, — если бы не считал этот шаг абсолютно необходимым и хотя, несомненно, внешне совершенно безуспешным, но по крайней мере плодотворным в том отношении, что это послыл, во всеуслышание адресованный господам «товарищам по цеху», чтобы среди всех их издевок и сморщенных носов ты нашел хотя бы одного товарища, который не стал молча смотреть на происходящие низости. Ведь я ничуть не сомневался, что все это, насколько оно предназначено для этих господ, будет сказано на воздух; надо не знать человеческой природы и особенно природы этой чрезвычайно самодовольной секты, чтобы воображать, будто самые энергичные воззвания смогут помочь им считать весь мир и античность <в частности> чем-то большим, нежели очередной пример, который каждый, в ком есть хоть какой-то здравый смысл, может вычислить на основе разрозненных данных. Здесь мы с тобой не найдем себе приверженцев, и если я в своем сочинении делаю вид, будто верю в это, то, как ты, наверное, почувствуешь, только потому, что нужно было, в противоположность этому кротовьему отродью, спасти так называемую «научную» честь, а это без определенных послаблений не получилось бы: я не мог дать заметить, что воюю,

собственно, не с одним господином В<иламовиц>.-М<ёллендорфом>., а со всей филологической consorteria⁵³⁴, от которой нас с тобой отделяет глубокая пропасть. Но теперь я с удовольствием покажу всему этому племени спину и буду общаться с ними лишь там, где они сами sapiunt⁵³⁵, а именно в чисто philologicis⁵³⁶: но прежде придется мучительно пройти через шпицрутены издевок, зависти и всех отвратительных мелочных придирок этих мещан. — Ты не должен понимать меня превратно, любезный друг, когда я совершенно наивно говорю тебе обо всех этих своих неприятных переживаниях; я ничуть не раскаиваюсь, что сделал этот шаг; я заранее понимал, к каким последствиям он приведет, и теперь во мне лишь вдвойне растет глубокая потребность отойти от брани и ненависти ко всему, что нам совершенно чуждо, и со всей простотой сердечной любви, которая не слышит завистников и хулителей, повернуться лицом к любимому другу. Если глубоко противные занятия этим позорищем не дали мне, используя насмешку и весело посвистывающее игнорирование, с легкостью подняться над всем этим болотом, то я все же надеюсь, что ты и друзья, о которых я думаю, во всей этой неуклюже-грубой полемике расслышали прежде всего подлинный сердечный тон: все это дело было для меня чем-то смертельно серьезным! Об этом мне говорят и твои милые письма, за которые я благодарю тебя от всего сердца. Пиши мне часто, дружище, я страдаю от голода по твоим письмам, а особенно теперь, когда в обстановке омерзительно разразившейся враждебности или издевательств мне может дать силы и утешение только неизменно освежаемое сознание того, что я единоклубен, тесно связан самым теплым чувством с тобой и с нашим образцом и вожатаем в мире доброго и чистого. А в остальном нет никакого спасения в этом разразившемся над нами половодье пошлости, кроме одного: не подставлять слабые стороны, а идти с гордо и высоко поднятой головой. Душой я совершенно свободен от любых поползновений высокомерия и завышенной самооценки, но в такого рода борьбе нужно, конечно, принимать выражение неколебимого самоуважения, чтобы не наступить на это отродье. — Мы, конечно, можем браться за такое дело и считать, что путем этой одной проституции пришли вот к чему: мы больше никогда не должны давать сбивать себя с наших путей полемикой с инакомыслящими — *in positivo salus*⁵³⁷! Отрицание ни на что не годно.

В общем, *evviva l'amicizia*⁵³⁸! Очень скоро я вновь приду к тому, что всё другое, кроме «нас», мне совершенно безразлично. А что касается «нас», мое пожарное сочинение сработало, как должно. Я получил от Вагнера дружественное письмо, исполненное той возвышенной наивности, которая свойственна ему как прекраснейшая характерная черта гения. Словно я, присоединившись к нему, смог что-то добавить к его делу. Твоя похвала, милый мой друг, этому сочинению не обманывает меня относительно его недостатков, но я говорю себе, что в этом случае на самом деле важен только «факт», а именно факт издания такого сочинения, а вовсе не его качество вообще, но вообще-то такого рода похвала (какую госпожа Вагнер тогда высказала в адрес твоей книги) представляется мне минимумом похвалы для книги, имеющей самостоятельное значение. Фрау Вагнер высказалась о сочинении в адрес Герсдорфа весьма удовлетворенно; надеюсь, что когда смогу послать ей переплетенный экземпляр, и сам получу от нее несколько строк. [—] Когда они наконец придут, я и тебе немедленно пошлю «толжное» («И у меня есть толжное», — сказал один лейпцигский обыватель о «прекрасных наилучших детях»: см. байрейтский праздник Троицы). Верный Герсдорф и мне написал весьма удовлетворенно. — [—] А от меня — еще два замечания: с 13 октября я снова провел две недели в Гамбурге, наслаждаясь обществом своей сестры и двух ее чудесных малышей. Там я вспоминал о тебе 15-го и обнаружил снова возвращенное письмо от 9-го⁵³⁹, а заодно и «Лжефилологию».

Совершенно великолепное письмо Вагнера ты в самом скором времени получишь назад, а также твою раннюю версию «Рождения». Кроме того, кое-что о последнем сочинении Вагнера, которое он мне прислал. До скорого следующего письма, мой единственный любимый друг.

Твой Э. Р.

Дружище! Фритцшиус совершенно оправдан; он шлет мне переплетенные экземпляры, не такие великолепные, какими я видел их в мечтах, но все же в переплетах. Вместе с одним из этих экземпляров я посылаю тебе некоторое количество других для раздачи кому угодно. [—] Напиши поскорее, будь здоров и весел: *δέξαι τὰν ἀγαθὰν τύχην, δέξαι τὰν ὑγίειαν! Ἐρβίνοσ*⁵⁴⁰.

Мой милый, славный друг, уж это мы как-нибудь вытерпим. А вот другой, несколько удручающий меня факт: в нашем университете не осталось филологов на зимний семестр — явление единственное в своем роде, которое ты, наверное, оценишь так же, как и я. В одном специальном случае мне даже известно, что студент, изучавший филологию здесь, вернулся в Бонн и удовлетворенно написал родным: он благодарит Господа за то, что не остался в университете, где преподаю я. — Иными словами, фема⁵⁴¹ свое дело сделала, но по нам это не должно быть заметно. Трудно смириться с мыслью, что этот маленький университет должен страдать еще и от меня. У нас сейчас на 20 человек меньше, чем в последнем семестре. Я с большим трудом набрал группу на спецкурс о риторике греков и римлян, и в ней всего два слушателя: один германист и один юрист.

Якоб Буркхардт и советник Фишер чрезвычайно обрадованы твоим сочинением. Обоим я отдал по экземпляру из тех красивых, что мне прислали, а еще Овербеку и Ричлю, затем жительницам Флоренции — Ольге Герцен и г-же ф. Мейзенбург. Теперь у меня есть два роскошных экземпляра — может быть, что, изготовленные здесь, они выглядят так, как ты видел в своих мечтах. На них напечатано «Э. Роде. О "Рождении трагедии"», а под обложкой оба твоих сочинения. Они — мое сокровище, предмет зависти любого автора древнего и нового времени: мой здешний друг Иммерман думает даже, что твои вещи как минимум так же прекрасны, как мои. Иными словами, люди замечают наше с тобой оресто-пиладство *χαλεποῖσιν ἐνὶ ζείνοισι*⁵⁴² и рады ему, о чем я лишь упоминаю, поскольку мы оба не сомневаемся, что куда больше людей злятся на него.

Из иностранцев никто еще даже не пикнул. Естественно, исключая наших. Ты знаешь, что Вагнер с женой через несколько недель приедут сюда на 8 дней? Ромундт прочел свою вступительную лекцию, и ему повезло набрать слушателей на все три объявленных им курса. Герсдорф заедет сюда в январе по пути из Италии. У него «голова закружилась от радости» по поводу твоего сочинения!

Ты слышал о скандале с Цёльнером в Лейпциге? Загляни как-нибудь в его книгу о природе комет; там есть на удивление

много интересного для нас. Этот честный человек после этого своего преступления самым подлым образом оказался как бы отлучен всей республикой ученых, от него отреклись ближайшие друзья, и его всюду считают «помешанным»! На полном серьезе «душевнобольным», поскольку он не трубит в громкий рог товарищества! Вот он, дух лейпцигской ученой охлократии!

Ты, наверное, уже знаешь, что один психиатр на «благородном языке» доказал⁵⁴³, будто Вагнер — сумасшедший, и что то же самое в отношении Шопенгауэра сделал другой психиатр? Вот видишь, как помогают друг другу «здравомыслящие»: они, правда, не предписывают неудобным талантам эшафот, но больше, нежели внезапное устранение, им годится затяжное злобное презрение — оно подрывает доверие следующего поколения. Шопенгауэр забыл об этом искусном приеме! Он удивительно соответствует пошлости пошлейшей эпохи!

Ну, мне пора на лекцию, но не хочу ждать, чтобы послать тебе привет. Мы ведь будем этой зимой обмениваться не только листочками и маленькими письмами, но и степенно длинными посланиями, правда же? Мой драгоценный друг, желаю тебе добра, добро побеждает уже только потому, что забывается зло. Забудем же этих собак!

От всего сердца,
твой Ф.

125. Роде — Ницше
<Киль, 14 ноября 1872>

[— —]⁵⁴⁴ На днях Гутшмид рассказал мне, что Ричль недавно говорил ему в Лейпциге: в ряду перспектив <на профессорское место> во Фрайбурге был в первую очередь я, но оказался для них неприемлемым из-за той публикации в «Норддойче альгемайне цайтунг». Мне показалось, что эту историю славный, незаинтересованный Гутшмид рассказал мне исключительно «по заказу», в качестве avis⁵⁴⁵. В любом случае, она показывает, как теперь делаются дела.

А теперь отвлекусь от этой мерзости: как бы все это ни грозило мне в грубой материи, внутренне я совершенно спокоен. Я даже не способен по-настоящему ненавидеть кого-то из этой своры, и меньше всего господина Вил.-Мёлл. Разве вся наша душа и мир, этот бескончно богатый мир созерцания, не принадлежат нам безраздельно, а все собачонки не изгнаны оттуда, как из *τέμενος*⁵⁴⁶ храма? Вот и я всякий раз заново выпрямляюсь, вступая в ту священную рощу, где молчание и благоговение прерывает лишь внутренняя музыка, окружающая меня звуками. Человек не нуждается в том, чтобы вместе с единоклюнной общиной стремиться к каким-то далеким блаженным островам, как в разные эпохи поступали смиренные люди, над которыми постоянно издевалась чернь. Если даже благое искусство в этой глухой дыре лишь изредка берет нас в свои нежные руки, то мы все же сидим в своей тихой зимней комнате, а на одиноких прогулках, наедине с утешительной природой, Единой Матерью, избавляемся от всех забот и тягостей. Я часто желаю только, чтобы рядом со мной была целиком преданная, совершенно чудесная личность со всеми своими слабостями и достоинствами, наделенная телом, безоглядно любящая женская душа: с такой подругой, которую в этом мире найти необычайно трудно и которая погружалась бы во все глубины восприятия с той же целеустремленностью, как и я сам, жизнь, наверное, была бы жизнь, подобная полету блаженной парой на сияющих серафимовых крыльях по пустынному эфиру к высочайшим звездным мирам. Разве тогда меня волновала бы глухая чернь в туманах снизу! — Недавно мне в руки попала фарнгаеновская галерея портретов из круга Рахели⁵⁴⁷: во втором томе <ее переписки> я обнаружил одного увековеченного в письмах человека, каким я его еще никогда себе не представлял, — Александра фон дер Марвица⁵⁴⁸. Эта душа захватила меня, как редко какая другая, — «смотрящий неотрывно ввысь»⁵⁴⁹, на все наиболее благородное, искренне пылкий, без опоры на какое-либо суеверие, не подверженный неге в царстве духов, но все же отражавший мир, людей и книги в зеркале благороднейшего духа с целью истинного освобождения созерцающего; он очень гордился своим аристократизмом, но все же, как настоящий человек, был безмерно далек от всякого высокомерия. Прочти-ка

это, дорогой друг! И пусть не говорят, что наша эпоха не осталась ужасающе далеко позади той! Да разве можно представлять себе человечность столь простодушно-необязательно, не впадая, к всеобщему ликованию, в психиатрические штудии на этот счет? Те люди были бы сейчас нашими, а до других нам и дела нет.

Э. Р.

126. Ницше — Роде
Базель, 20 и 21 ноября 1872

Душевно любимый друг мой, посылаю тебе курьёзный случай кавалерственного осла фон Лёйтша⁵⁵⁰. Он, кстати, тоже не ответил мне на мое тоже очень обходительное письмо, может быть, тоже потому, что я уж слишком наивно выразил свое восхищение его героизмом, а в конце торжественно отослал его к тебе и твоей «Лжефилологии». Да ну его, старому ослу все равно не будет от этого никакой пользы, а уж нам и подавно!

В пятницу вечером здесь будет проездом Вагнер с женой, примерно на неделю, а тем временем видны беспрестанные телеграфические зарницы между Базелем, Мангеймом и Дармштадтом. То-то будет дым коромыслом, и мы втроем будем вспоминать о тебе, в горе и радости, с неизменной преданностью! Рассчитывай на порядочный звон бокалов и звон в ушах!

Сегодня вечером здесь будет роскошный большой бал, а поскольку для меня это связано с некоторого рода проклятой романтикой, то я поступлю, как древний конь Ивик — ἦ μὰν τρομέω νιν ἐπερχόμενον⁵⁵¹.

Что не только вы в Киле подверглись кухарочьему ходатайству со стороны почтенной важности, я надеюсь доказать тебе прилагаемым, совершенно невероятным письмом. В нем с простой мужицкой ясностью выражено честное и страстное желание жениться.

А что ты скажешь по такому поводу: недавно один уважаемый из числа других, вполне дельный композитор приватнейшим образом обратился ко мне с просьбой написать текст оперы (на карфагенскую музыку, по «Саламбо»), а заодно текст кантаты для

реформы старокатоличества, и притом по той причине, как он совершенно спокойно признался, что его подвел его друг, «поэт Лингг⁵⁵²» (я называю его «поэтлинг»)! Вот тоже еще одни «прекрасные наилучшие дети», и у меня тоже есть такие «толжные»⁵⁵³!

— Продолжаю наутро после тех танцев, с которых я ушел около 3 часов: день серенький и слякотный, но у меня все прекрасно, «только мысли так далёко», как говорится у Тика и у меня. — Так, значит, ты в Киле ломаешь комедию? —

Между тем пришла почтовая карточка от Ричля, которую я прилагаю для назидания и с иными задними мыслями. А также, увы, и телеграмму, которая отменяет визит Вагнера в Базель, но вызывает меня самого для встречи в Страсбурге: туда-то я утром и поеду, чтобы насладиться благотворной атмосферой с пятницы до субботы.

Я сейчас думаю, когда у меня есть возможность и в любом месте, каким фокусом свести нас с тобой вместе, особенно чтобы вызволить тебя из твоего ошибочного кандального одиночества. Здесь можно жить себе уже потому, что у людей хватает демократичного такта, чтобы создать условия и для «дурака на свою голову». Но трудно представить себе тебя где-нибудь в таких условиях, ведь везде наготове кандидаты, даже на кафедре еще отнюдь не уставшего от жизни Герлаха⁵⁵⁴.

Твои пророчества, вероятно, верны, дружище; у меня зудит большой палец на руке, когда я о них думаю, а ведь это феномен не менее профетический, чем ручка, возвещающая о первом сорте⁵⁵⁵. У меня была мучительная желтуха, когда я читал твое письмо и собирался пойти погулять, чтобы мне пришла в голову разумная мысль о том, как возвести для тебя материальный фундамент и постамент. Но до сей поры «пустынно море»⁵⁵⁶, и не видно ни корабля! В Страсбурге я собираюсь обсудить с Вагнером идею классической профессуры в Болонье; г-жа фон Мейзенбург тоже может дать об этом кое-какие сведения. Что ты думаешь, помимо всего прочего, о ректорской должности в Байрейте? Но все это в данный момент глупости. Может быть, удалось бы добиться редакторского оклада в 2000 талеров, если состоится давно запланированный В. и мною периодический журнал, в котором должна на практике проявиться, например, возможность культурной газеты с возвышенным образом мыслей, по-настоящему благородной и истинно назидательной. Правда, <это будет> только начиная с 1874-го. Кста-

ти, я раздумываю о том, чтобы аранжировать следующее мое сочинение в качестве юбилейного на 1874-й год и для Байрейта; может быть, называться оно будет «Последний философ». Я строю на нем *rugamidum altius*⁵⁵⁷. — Я подумал, что мы каким-то образом могли бы определить, как следует отметить тот год и тот праздник. —

Наконец, у меня всегда в запасе есть выход — торжественно передать тебе мою профессуру, которая приносит мне сейчас около 4500 франков дохода. Правда, теперь я еще толком и не знаю, куда я тогда приткнусь, но ведь на самом деле и сейчас моя судьба постоянно выкидывает такие фокусы, что я, возможно, быстрее, чем можно подумать, найду на это ответ. В любом случае тебе еще недолго придется пребывать в печальном материальном настроении и задаваться меланхолическим вопросом *ὄβς μοι τοῦ σῶ;*⁵⁵⁸ А пока что продолжай разыгрывать комедию, дружище. Как и я, который отнюдь не склонен строить мину «весело посвистывающего игнорирования». Уж давай мы с тобой обуздаем коней наших жизней, как Диоскуры.

Adieu, старый друг!
Ура, ура! Живи и здравствуй!
Твой Ф. Н.

127. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 7 декабря 1872

Как дела, дружище? В ближайшее время надеюсь отправить тебе свой большой фотографический портрет, а сегодня — только парочку хороших приветов. Ты ведь тем временем получил хорошее письмо от госпожи Вагнер? Я видел, как она его заканчивала, — в Страсбурге, где мы с ней были соседями в отеле *ville de Paris* и порядочно наверстали все то, что люди упускают, когда друг друга не видят. О тебе мы все время говорили так, будто ты с нами, причем правилом и неизбежностью для нас была полная откровенность в отношении тебя. Сейчас она письменно задает мне вопрос: «Слышали ли Вы что-нибудь хорошее или хотя бы сносное о проф. Роде? С той поры, как мы вместе обсуждали его судьбу, у меня не

стихает поиск возможностей; это вечное бессилие при живом участии — судьба, нести которую нелегко!». Вообще-то мне надо рассказать тебе еще многое, особенно о том сильном впечатлении, которое твое сочинение оставило у В<агнера> и его жены (а равным образом у графини Мухановой): они полагают, что таким полемическим шедевром во Франции можно было бы прославиться одним махом, а вот немцы для такого не слишком-то «тонки». Впрочем, я не знаю, не написала ли тебе уже обо всем этом госпожа В<агнер>. Мы с ней не упускаем из вида ни одной до конца приемлемой возможности для успеха твоей внешней жизни, к примеру, места библиотекаря при итальянской (и вагнеровской) кронпринцессе. Когда-нибудь, к твоему благополучию, выпадет что-то из того, что мы определили как номер в жизненной лотерее.

В последнее время я получил полные участия письменные замечания о твоей книге от г-жи Мейзенбург, Густава Круга, моей матушки и особенно многочисленные — от моей сестры. Мой здешний книготорговец сказал, что ею очень интересуются и раскупают. Моя книга фактически распродана в Лейпциге. Самая свежая новость: Якоб Бернайс объявил, что это его взгляды, только сильно преувеличенные. Это, по-моему, божественно нагло со стороны этого образованного и смышленного еврея, а заодно потешный признак того, что «деревенские хитрецы» уже что-то такое почуяли. Евреи повсюду, и тут тоже, впереди всех, а вот добрый тевтонский Узенер с добрыми рогами плетется позади и блуждает в тумане.

Сейчас во флорентийском обществе читают мои образовательные доклады — как раз теперь, кажется, там царит большое возбуждение относительно планов по реформированию <учебных> заведений, и меня восхищает мысль о том, что мой голосок будет расслышан в этом итальянском хоре. — Славная графиня Диодати всю переводит, и да хранят ее Господь и французский языковой гений для того, чтобы я не выглядел уж слишком солирующим.

Меня сейчас занимает исключительно «Философ», то есть мое совершенно не насиженное мыслительное яйцо, столь же разноцветное и влекущее, как красивое рождественское яйцо для хороших детей. — Герсдорф бросает в декабре свою юридическую стезю и в январе на пути в Италию остановится в Базеле. Круг написал очень красивый квартет и послал его мне — это прекраснейшая «музыка воспоминаний», словно один день из

нашей общей мечтательной мальчишеской жизни, день, сплошь затянутый вечерними облаками. На Рождество я собираюсь поехать в Наумбург и там заняться музыкой вместе с Кругом, в том числе звучаниями «Новогодней ночи», которые должны сохранить свою аффективность: разве я могу допустить, чтобы музыка была плохой! Впрочем, «Манфред» еще более «несуразный», и я не могу без смеха вспоминать ту абсурдную сцену с барабанным боем в Байрейте, в доме до глубины души изумленного и ошарашенного книготорговца.

Неужели тебя не могут пригласить в Гейдельберг? Риббек и Виндиш точно будут за тебя, а Кёхли не сможет сказать слишком многое <против>. Я знаю там только одного человека, и это женщина, но очень хорошая, мать художника Фейербаха. Когда я буду ей писать (по делу моего протеже, воспитанника иезуитов, который будет учиться медицине здесь, в Базеле), приложу твоё сочинение.

Пусть у тебя все будет хорошо, мой верный, славный друг, и будь так же тверд духом, как я. Вагнеры нашли меня совершенно здоровым и «энергичным» в смысле Гёте и Мадзини и были очень этому рады. Если нам с тобой когда-нибудь удастся устроить себе общую жизнь, вот это будет славная жизнь! Между делом почти-тай-ка предпоследний том Грильпарцера (в собрании его сочинений), касающийся эстетики: он почти во всем один из наших!

С любовью вспоминающий о тебе,
твой Ф. Н.

128. Роде — Ницше
Киль, 8 декабря 1872

Дорогой друг,

надо мне, наконец, вечно стесняющих меня занятиях, все-таки освободить себе руки, чтобы пожать тебе руку и снова увериться в нашей старой общности. [— —]

Не доставляй мне беспокойства, беспокоясь обо мне, а take it easy⁵⁹, и не думай в первую очередь о том, как бы передать мне твоё место в Базеле без срочного увольнения; я с каждым днем все

сильнее ощущаю, насколько важно, чтобы мы работали именно на университетских кафедрах, если рассчитываем в том числе воздействовать на юношей не столько прямыми проповедями, которые бывают всего лишь метанием бисера перед свиньями, сколько через *influxus magicus*⁵⁶⁰ наших личностей. —

Посылаю тебе назад: 1. Письмо Вагнера. 2. Карточку Ричля — сказать об этом нечего: я считаю это заявление совершенно искренним, и мы были бы глупцами, если бы отклонили союзничество на одну восьмую такого как-никак пронизательного человека. Насколько далеко оно пойдет, мы, видимо, без особенного изумления узнаем вскоре, когда попросим — даже не какой-то публичной солидарности, а всего лишь, скажем, <чтобы он разместил> объявления книготорговца, продающего мое сочинение, на задней обложке «Рейнского Музея». И тогда мы, наверное, столкнемся с отказом. — Сейчас, кстати, я понимаю неожиданное одобрение тех лейпцигских студентов; да и Риббек примерно две недели тому назад написал мне любезно и тоже с одобрением, что прочел сочинение с полным удовлетворением, — таким образом, по его мнению, полностью достигнута цель реабилитировать твою «научную честь»; он не сомневается, что эта работа будет с симпатией встречена (в филологических кругах). А Ричль написал ему: «Обоих участников следует поздравить с “превосходным полемическим сочинением”». — *Très bien*⁵⁶¹; но я хотел бы вплоть до подробностей представить себе возможную коллизию, которая возникнет в том смысле, насколько это одобрение рискнет проявиться вовне. 3. Твой «фрагмент». Его я много раз читал с великой жадностью и благоговением, и мне даже нет надобности говорить о том, что я целиком разделяю его содержание; а вот публиковать что-то подобное было бы столь же опасно, сколь и бесплодно. Ибо я думаю, что для многих, то есть для всех этих либеральных оптимистов, этот их оптимизм не без серьезного умысла отгорожен какой-то мудрой природой с помощью как бы защитного покрова: так же как прикровенность неизбежности страдания и смерти должно побуждать *δέλοι βροτοί*⁵⁶² к продолжению жизни и труда, в целях, которые не являются их индивидуальными целями, так, видимо, и этот глубоко укорененный оптимизм для многих людей есть якорь, за который только и удерживаются моральные побуждения к добру, то есть к всему тому, что служит благу целого. Если бы они познали, что это целое по своей сути ужасающе, что оно

несовместимо с человеческими представлениями о справедливости и со слепой свирепостью обращено против всего индивидуального, то, боюсь, они сочли бы себя свободными от всяких моральных побуждений для службы целому. Добрая воля, конечно, несомненно, есть нечто достохвальное в человеке, но вот с отважным пониманием устрашающих условий существования в этом мире, кажется, могут спокойно жить лишь немногие, те, кто таковы от природы. Но если, конечно, освободившись от целительной глупости, оптимистическое большинство начнет навязывать человечеству свои истине противостественные идиллические воззрения, то наступит хаос: ибо *κόσμος*⁵⁶³ зиждется, безусловно, на ужасающе жестокой силе. Однако большинству невозможно объяснить это без опасных недоразумений. —

Я получил из Страсбурга любезное письмо от госпожи Вагнер; я бы ответил ей, но куда, не зная адреса? Когда они приедут в Гамбург? Напиши мне об этом и о многом другом! От всего сердца

твой Э. Р.

129. Роде — Ницше
Гамбург, 22 декабря 1872

Мой дорогой друг,

сегодня я здесь лишь для того, чтобы передать тебе праздничное пожелание счастья, призванное заверить тебя в моей преданности. Было бы также совсем неплохо, если бы я сейчас смог оказаться в Наумбурге и немного поучаствовать в ваших — твоих и Круга — музыкальных оргиях, слушая «наостренным ухом» и, возможно, понимая несколько больше, чем тогда, в Байрейте, где я, совершенно *overpowered*⁵⁶⁴ всеми звуками этого дня, сидя на софе господина Гизеля (или как там звали этого славного книготорговца), словно во сне слушал, как манфредизируете то ты, то господин Джордж Чатем, и внезапно не без волнения расслышал мелодию: вот тут-то и появишься, казалось бы, дух! Прекрасно! Но я был настолько закупорен, что не смог последовать за ним. Когда мы снова свидимся в Байрейте и станем свидетелями новых, совсем других

явлений духа? Это было бы настолько необычным, настолько в нынешней «современности» чудесным, что я все еще никак не решусь в это поверить; дружище, успокой же меня как следует насчет несчастной денежной стороны дела — последнее сообщение от славного Фойстеля прозвучало весьма «элегично и печально». И что это, собственно, за пустяк, о котором идет речь? Недавно в Вене удвоили траты на оперный театр, где предположительно будут продолжать виртуозничать в старом стиле, а для по-настоящему подлинного искусства, «примера», подобного которому новое время еще не знало, со стенами, вздохами и усилиями едва наскребут жалких денег, и от их недостатка, возможно, потерпит крах самое изумительное деяние, тотальное обновление искусства! — Я с большим интересом следил за поездкой Вагнера по талантам и сильно потешился забавной покровительственной миной, с которой кёльнская и бременская газеты дали ему рекомендацию — не быть в своих личных проявлениях таким «высокомерным», как в своих сочинениях, в коих эти ослы ничегошеньки не разумеют! А потом еще удивляются, когда демоническое воздействие этого человека не соответствует даже тем пошlostям, которые какие-то *litterati sine litteris*⁵⁶⁵ выдавили из его отдельных брошюр! Я очень рад, что они <Вагнеры> в Гамбурге, да только вот не знаю никаких подробностей. — Благо тебе, любезный друг, если ты сможешь прочесть эти ужасные каракули, выполненные пером моей матери: да и помимо этого, благо тебе вообще, а, с другой стороны, и в особенностях. Сохраним бодрость духа: разве нас может что-то тревожить, если мы можем считать себя «настоящими» и хотим оставаться заодно друг с другом во всем хорошем? Так пусть Христос-младенец дарует нам общую победу и радость победы, пусть сохранит нашу дружбу и преданность друг другу! Передавай приветы своей матушке и сестре, а также Кругу (*καδίσχος*⁵⁶⁶).

От всей души твой
Э. Р.

bibliotecario in spe di Altezza
Reale la principessa Margherita di Savoia⁵⁶⁷
(девиз: «Я не могу быть княжеским слугой»,⁵⁶⁸ ШИЛЛЕР.)

Сердечное спасибо, любезный мой друг, за твои по-рожде-
ственски удовлетворенные письмо и приветы. А ты, конечно, полу-
чишь от меня мою фотограмму: сегодня, в последний из наумбург-
ских каникулярных дней, я хочу написать лишь совсем немного,
потому что уже вечером уезжаю *retrorsum*⁵⁶⁹. Часто вспоминали
о тебе, Густав и я, всякий раз, когда музицировали, а еще чаще
вместе с моими домашними. Я послал госпоже Вагнер пухлый ма-
нускрипт, озаглавленный так: «Пять Предисловий к пяти книгам,
которые не написаны (и не будут написаны)». 1. О пафосе истины.
2. О будущем наших образовательных учреждений. 3. Греческое го-
сударство. 4. Об отношении философии Шопенгауэра к немецкой
культуре. 5. Состязание⁵⁷⁰. Из них тебе известен самое большее № 3;
все остальное совсем новое.

Вагнер пригласил меня на Новый год, к празднованию дня
рождения госпожи Козимы; я приехать не смог. В январе, думаю,
ты будешь приветствовать их обоих в Гамбурге на большом кон-
церте и в это время, вероятно, станешь кавалером госпожи Вагнер.

Во второй день праздника я был в Веймаре, чтобы послушать
«Лознгрину»: интенданту я телеграфировал, что ни разу не слушал
его, и оказался в его ложе. В Лейпциге я тоже побывал во второй
половине дня: мой издатель письменно запросил разрешение на
второе издание, а я устно дал согласие. Теперь я попрошу тебя без
обиняков сказать, какие правки в тексте, изменения или замены
слов, ты хотел бы видеть. Ты — лучший знаток и судья моей книги,
в том числе и ее деталей, поэтому скажи мне, что ты думаешь. При-
лагаю листок, на котором я записал то, что пришло в голову мне. Что
ты думаешь о введении греческих окончаний <в слове> *Dionysos*⁵⁷¹?
Побывал я и у Ричля, он поведал мне все мельчайшие подробности
о профессуре в Киле: он полагает, что Шёлля не возьмут. О тебе он
полагает, что скорее всего ты когда-нибудь сможешь получить хоро-
шее постоянное место, и что вообще о тебе уже много раз упомина-
ли по другим поводам. О Фрайбурге он ничего не сказал. Мне, кстати,
известно, что фрайбуржцы опечалены своей абсолютной ошибкой
(Келлер). — Обо мне самом Ричль умудрился высказать кое-что не-
приятное, например, что я, вероятно, скверный преподаватель (он

выразился не так сильно, но имел в виду именно это). Я пропросил его зафиксировать это письменно и тебе этот документ пришлю. Я, мол, недостаточно общедоступен и т. д. А поскольку в пользу этого свидетельствуют только два моих нынешних слушателя, а из моей книги у всех складывается искаженное представление о моей позиции, то при господствующем нерасположении ко мне я понимаю его суждение, с которым теперь, однако, будут ловко связывать мою академическую непригодность и бесперспективность. Вообще-то я, признаюсь без всякой скромности, вполне нормальный преподаватель, да и в Базеле думают так же. —

Прощай, друг любезный, и в новом году живи все лучше. Будь уверен в бодрости моего духа и в том, что мы в конце концов восторжествуем. Аминь.

Ф. Н.

131. Роде — Ницше

Киль, 12 января 1873

Мой дорогой друг,

прежде всего, прими мои наилучшие новогодние пожелания: этот год может принести нам многое и намного приблизить для нас тот волшебный момент, когда «день придет тому, что благородно»⁵⁷². Благая весть о втором издании будет для нас счастливым знаком: правда, до сих пор странно, что совсем ничего не слышно о воздействиях этой как-никак столь явно много читаемой книги, но ее время, конечно, скоро наступит — смотри у иудея Бернайса, который уже давно именно так все себе и представлял. Это и есть способ объяснять себе такие не слишком-то смертельные обстоятельства; другие предпочитают их «опровергать» и даже «искоренять», как французы в последней войне — наши войска, когда оказывалось весьма удивительно, что эти десять раз «искорененные» все снова одолевали искоренителей. Так еще и поныне поступают с Шопенгауэром (не говоря уж о Вагнере): недавно мне на глаза попала брошюра⁵⁷³ бравого Й. Бона Мейера из Бонна, где со смехотворным самомнением (которое в таком карапузе — сравнительно

с нашим великаном — чуть ли не хуже, чем обычное в подобных случаях моральное негодование) Шопенгауэр приговаривается к смерти как ну очень одаренный «софист». Так теперь, видимо, будет и с тобой. Αργος⁵⁷⁴: ты читал глупые разглагольствования дядюшки Лейча в одном из последних номеров «Ведомостей» о моей рецензии на «Рождение»? Какого барана втемяшилось выбрать себе этому аристократу для «беспристрастного» отчета? Не хватало еще только, чтобы такой вот месье [— —] и вовсе рекомендовал твой пунш в качестве безобидного жидкого супчика для каждого бравого обывателя! —

А теперь вкратце — конкретные предложения, которые ты хотел от меня получить⁵⁷⁵. В более крупные проблемы ты, по-моему, входить не должен: было бы, конечно, нецелесообразно уже в начале совсем коротко как-то разяснять свои воззрения на сущность музыки и других искусств — я определенно думаю, что так, как это сделано, профанам в начале непонятно многое из того, что объясняется лишь потом. [— —] —

Греческое написание: *Dionysos* и т. д. я бы очень не советовал — 1) не нужно в такие *ἀδιάφορα*⁵⁷⁶ привносить налет школьного педанства, а это единственный эффект подобной «корректности», 2) такое написание без соответствующего ударения — чистая полумера. [— —] Спокойно ограничься латинским или полулатинским написанием [— —].

Ты употребляешь «als» <нем. «как, в качестве»> с относительным местоимением по большей части неверно: можно применять его только тогда (и совершенно прекрасно), когда оно соответствует латинскому *qui* с конъюнктивом или *quippe qui*. [— —] — С. 4, строка 8 «*unwankend*» ошибочное словоупотребление⁵⁷⁷: «*un*» можно употреблять только перед *Substant. Adject. Partic. Passiv.* и совсем немногими отдельными *Partic. Activ.* Вагнер очень часто грешит против этого правила в «Опере и драме». [— —] С. 7, строка 10 снизу «греки как спящие Гомеры и т. д.»⁵⁷⁸. Разумеется, Виламовиц понимает тебя совершенно превратно: и, уж конечно, выбранное тобой в угоду антитезе выражение «спящие гомеры» неясно — оно ведь должно означать, что в сновидении они <греки> суть гомеры по принудительной фантазии; а поймут это первым делом так, что они подобны Гомеру, когда он видит сны, что очевидная бессмыслица. Думаю, вся антитеза должна быть развернута иначе⁵⁷⁹. [— —]

Теперь — огромное спасибо за твой, однако, действительно зверский портрет, надпись на обороте которого я обнаружил лишь вчера. «Господи, борода-то лезет, как из грядки», по Рошеру. Вагнеры приедут на концерт в Гамбурге 21-го: встреча дионисиастов. А теперь подумай о нас с тобой. — Прощай и поскорее отвечай.

Преданный тебе

Э. Р.

132. Роде — Ницше

Киль, воскресенье <26 января 1873>

Мой дорогой друг,

я, конечно, льстил себе надеждой по возвращении из Гамбурга найти письмо от тебя, но даже и так я хочу, не применяя репрессивных мер, поведать тебе кое-что о проведенных там примечательных днях. Я был там три дня, вторник, среду и четверг, и посетил за это время два концерта и исполнение «Мейстерзингеров», очень несовершенное и странным образом устроенное особо в честь Вагнера. Эти концерты, сыгранные в общем довольно несовершенным оркестром, все равно были очень интересны для меня потому, что некоторые произведения, такие, как вступление к «Лоэнгрину», пролог и финал «Тристана и Изольды», песнь любви из «Валькирии» («Ушли зимние бури...») и песни кузнеца из «Зигфрида», я слышал отчасти впервые, а отчасти (как в особенности «Тристана и Изольду») — впервые в правильном темпе и с верной интонацией. К тому же я имел удовольствие видеть свой родной город в целом очень приличным: настоящая *haute volée*⁵⁸⁰ организовала очень хороший банкет (принять участие в котором я, увы, не смог) с хорошими выступлениями уважаемых людей; короче говоря, появились следы понимания выходящего за пределы театра, капельмейстеров, первого и второго теноров значения Вагнера, а, вероятно, и успех для финансовых целей Вагнеровских союзов не будет скромным, пока Вагнер в моде и пока добрых гамбуржцев не отговорят их туземные «музыканты» и «критики», к чему у них есть опасная склонность. — Лично для меня по-настоящему самым важным было спокойное личное общение с ними обоими — конеч-

но, при постоянной суете и понятной усталости Вагнера оно доставалось мне непросто. Поэтому я рассчитываю на следующую, более мирную встречу, и в душе я подумал, что самым приятным была бы возможная наша с тобой встреча в летние каникулы на несколько дней в Байрейте; тогда мы, наверное, и впрямь составили бы «плодоносящее общество». — Кроме этих скупых и минималистичных описаний, я сейчас не в состоянии сказать об этих днях что-то подобающее — подобные события доходят у меня до полного осознания только мало-помалу, а со временем все глубже и осмысленней, особенно если я забываю о своей несчастной простецкой смущенности, которая именно при такой праздничной суматохе неизменно заставляет меня играть в какой-то степени глупую роль: тогда я нередко говорю или молчу невпопад, хотя сам по себе я вовсе не так уж и глуп. — Несомненным для меня всегда оказывается только одно — глубокое ощущение того, чем на самом деле является для нас этот человек, для нашего рассудка, духа, сердца и воли! А когда наконец приходится прощаться, я в глубине души тяжело страдаю. Ну зачем надо жить в глуши, если ты мог бы вести самую насыщенную жизнь в обществе немногих внутренне родственных людей! А стоит вернуться назад, как наступают болезненные борения, длящиеся, покуда возбужденные волны не успокоятся наконец в усталом журчании обычного жалкого существования. Ах, если б я не был так одинок! В такие моменты я больше всего тоскую по тебе, мой дорогой друг, — среди этих людей с блеклыми душами, по отношению к которым я вовсе не чувствую высокомерного превосходства, но ни в одном пункте им не родствен и не склонен с любовью открывать им душу. [— —]

В немногие спокойные моменты мы много говорили о тебе. Прежде всего, госпожа Вагнер передает тебе горячий привет, а кроме того, просит твоего прощения за то, что не ответила на твое письмо: для настоящего письма в Берлине, где Вагнеры были до этого, и еще меньше здесь, у нее не было времени. Телеграмму, которую я отправил от ее имени, ты, наверное, получил. При первой же возможности она сама напишет тебе, что думает о твоих «Предисловиях», как высоко их ценит. Статья о гомеровском состязании показалась ей если не самой значительной, то во всяком случае такой, следовать по большей части и дальше по стезе которой она тебе желает — отчасти, как она несколько афористически-сокращает

щенно (из-за времени) изложила мне, поскольку настоящая философия достигла, конечно, своего предела в Шопенгауэре, а отчасти потому, что, по ее мнению, такие идеи в подробном изложении могут послужить твоей филологической реабилитации. Последнее — заблуждение, о чем мы с тобой знаем лучше. О настроениях лейпцигских <филологов> против твоей книги она после встречи с старым Брокгаузом (который кажется более старым изданием своего сына) сумела сообщить нечто странное, но не неожиданное. — Мне нет нужды говорить, как много о тебе думал и каждый день думаю я, — и больше всего на исполнении (очень сомнительном, для Вагнера по-настоящему изнурительном) «Мейстерзингеров»: при самых причудливых искажениях я с глубочайшим волнением думал о том прекрасном времени, когда впервые познакомился у тебя с этой волшебной поэмой, почувствовав себя в окружении этих звуков словно плывущим на золотом облаке и незримым для прочих ахейцев. — Как у тебя дела с вторым изданием? И как дела у тебя, сердечно милый мой друг? Поскорее напиши мне об этом и передай мой привет Герсдорфу, итальянскому паломнику, и Ромундту.

Э. Р.

133. Ницше — Роде
Базель, 31 января 1873

Сердечно милый мой друг,
я был болен и лежал в постели, когда пришло твое первое письмо, и нездоров еще и сейчас, когда получил твое второе. Это замечательно, что мое молчание не напугало тебя. Я с большой благодарностью принял твою обильную антологию из первого издания⁵⁸¹ и применил ее всю без исключения: по всей справедливости хотел бы я ответить тебе тем же. Небольшая переработка первых трех страниц была самым большим, на что я мог пойти при корректуре, иначе я принялся бы вносить все новые улучшения в отдельные слова. Никакого нового предисловия — все как было. — Между тем я стал членом жюри — Общенемецкий музыкальный

союз выделил премию в 300 талеров на популяризирующее вагнеровское либретто «Нибелунга» сочинение в 5 листов, причем проф. Гейне, проф. Зимрок и я — члены жюри, первый — по моему предложению. Как-никак приличная коллегия. Размер премии я взвинтил с первоначальных 100 талеров до 300 и теперь радуюсь, что это получилось. — Я подумываю организовать швейцарский Вагнеровский союз. Кстати: ты читаешь «Музыкальный еженедельник»? От Вагнера там были великолепные путевые заметки, от меня — яростная атака на Альфреда Дове⁵⁸². Ты не мог бы как-нибудь в дни пасхального отдыха написать для этого еженедельника маленькую статью — разумеется, с нашей, любительской точки зрения, что-нибудь о наших байрейтских надеждах, может быть, в связи с проведенными там нами на Троицу днями? Это единственное издание, где мы можем обращаться к таким, как мы, совершенно откровенно. Вчера мне написал итальянец Герсдорф, опьяненный Флоренцией. О тебе в письме тоже шла речь в следующем виде: «Я говорил с г-жой ф. Мейзенбург об устройстве Роде и о наших пожеланиях в этом смысле и рекомендовал нашего друга ее попечению. Когда у нее будет возможность поговорить с ним наедине, она доложит дело господину Виллари. Этот превосходный человек, с которым я недавно познакомился, конечно, сделает все, что в его силах. Он очень влиятелен; но, разумеется, могущественны и враги, попы и иезуиты, они подкапываются, как кроты».

Г-жа Мейзенбург переводит на итальянский мои образовательные доклады, чтобы потом опубликовать их в итальянских журналах, — тогда они прозвучат еще более наивно, и это божественно. — Я очень рад, что г-жа Вагнер в какой-то степени довольна моими «Предисловиями». Ты их не читал? Там есть одна глава — первая, «О пафосе истины».

Я, в сущности, больше не жалуюсь, разве что когда думаю о тебе, мой любимый друг. Почему ты должен, как белый медведь, одиноко ютиться там, на Севере? А что там с университетом? Еще не выяснилось? — Во Фрайбурге, по новейшим сведениям, тяжело переживают глупость, которую совершили с Келлером.

Не пропусти мимо внимания одно маленькое, но в высшей степени интересное сочинение, наполовину ошибочное, наполовину верное и правильное, то есть очень хорошее, — заглавие нашему брату ничего не скажет, поэтому я специально рекомендую тебе:

Поль де Лагард, «Об отношении немецкого государства к теологии, церкви и религии». Гёттинген, 1873, издательство и книготорговля Дитериха.

Кроме того, я читаю Гамана и zelo удовлетворен: видна наша немецкая культура поэзии и мышления в состоянии зарождения. Очень глубоко и искренне, но плебейски неэстетично.

Я, кстати, снова пишу о древних греческих философах, и когда-нибудь рукопись придет к тебе, для апробации. — Ты получил программу проф. Овербека, который настроен очень по-дружески по отношению к тебе? Он послал ее тебе как раз во время наводнения. Мы боялись фатального исхода.

О Брокгаузе ты пишешь то, о чем мы все знаем, переживаем и сожалеем. Он абсолютно приличный человек, это совершенно точно и в полной мере несомненно. В остальном черт его поberi! — Так что же старый Брокгауз сказал обо мне госпоже Вагнер?

В то время, когда шли концерты, я много думал о тебе и о вас. Стало быть, летом байрейтский собор! А мы — словно епископы и вельможи новой церкви! Я очень хочу написать еще что-нибудь в поддержку нашего дела, но не знаю как. Все, что мне приходит в голову, так оскорбительно, вызывающе и в первую очередь вредит этой поддержке. Ведь даже мою мечтательно-уютную книгу приняли так плохо! Странные люди! Что делать нашему брату! Восклицательный и вопросительный знаки. Да здравствует дружба и самый преданный из друзей Эрвин Роде.

134. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 21 февраля 1873

Любимый друг, я ничего от тебя не слышу и очень хочу думать, что причина тому — не твое плохое самочувствие. Ведь не болеть в это время года — это уже фокус; я и сам неделями таскаюсь в гриппозном состоянии, но со всей ясностью духа, хотя и с жестокой простудой. Сейчас, впрочем, погода благодатна, а на масленицу я хочу попробовать съездить на несколько дней на Фирвальдштетское озеро — эх, если бы вместе с тобой! Прекрасное здесь в завидной близости, и если я тебе <например> скажу, что на Пасху

по многолетней привычке езжу на недельку в Монтрё, то возможность делать это в любое время совершенно спокойно — настоящее счастье. — Между тем я был немного занят, работая над своими древними греческими философами, — после пасхальных каникул я питаю приятную надежду выпустить о них *opusculum*⁵⁸³. А до той поры пожелай мне покоя, здоровья и свободы от огорчительных остановок: сами-то по себе остановки мне очень любы и необходимы, если, конечно, они не несут с собой болезнь и заботы. Философия — личность, за которой я следую то с любовью, то с ненавистью, но подчас с отвращением или яростью отворачиваюсь. Тогда для меня потребностью становятся остановки иного рода; так, за последние дни я сочинил свадебный подарок для Ольги Герцен, которая в марте выходит замуж за г-на Моно <Monod>: это четырехручная композиция, предназначенная для супружеской пары, под названием “Une Monodie à deux”⁵⁸⁴. Она оказалась удачной и не навлекла бы на меня бюловских писем.

Из Байрейта я получил длинное письмо от госпожи Вагнер. Они выручили от концертов в Гамбурге и Берлине 12000 талеров. Об особенностях Гамбурга г-жа В. написала особенно благосклонно: твой родной город показал себя самым тактичным в мире. — Читаешь ли ты «Музыкальный еженедельник»? Известный тебе д-р Фукс взялся за Лотце и Гервинуса как *aestheticos*⁵⁸⁵ и смело колошматит их почем зря. Недавно в некоем «Евангелическом вестнике» я прочел о себе такое, что на несколько недель обеспечит мне веселое настроение: меня назвали там «дарвинизмом, переведенным на язык музыки», моя теория, мол, — «пропаганда протоплазмы» и т. д., короче говоря, полная чушь! — Один книготорговец известил меня, что в «Биржевой газете» (есть в книготорговле) анонсирована новая статья д-ра В.-Мёллендорфа против меня (или нас) — снова у братьев Борнтрегер. Но я запретил присылать мне нечто подобное и не знаю ни одного человека, который это читал, надеюсь, кстати, что и ты поступаешь так же.

Надо идти обедать, но я выпью за твое здоровье с Овербеком и Ромундтом, которые, так же, как и я, всегда вспоминают о тебе с грустью — грустью о том, что тебя здесь нет. Ах, черт! Ну почему!

Твой
Ф. Н.

Мой дорогой друг!

Сердечное спасибо тебе за твое последнее, а также за предыдущее письмо: я сам все время собирался написать, особенно чтобы услышать что-то более точное и утешительное о твоём самочувствии, но постоянно откладывал. Хорошо хотя бы, что ты, наконец, снова идешь на поправку; боюсь, ты относишься к себе недостаточно серьезно и уделяешь недостаточно внимания в какой-то мере плебейским развлечениям в условиях одинокого мышления, которое постепенно истощает человека изолированного, если происходит непрерывно. Ах, какого черта фатум разводит нас с тобой так сурово и далеко! Какую великолепную жизнь мы могли бы вести, если бы были рядом, и смеяться над бесчисленными врагами и нытиками, а так приходится влачить довольно-таки жалкое существование, по крайней мере мне, влачить его все дальше в плачевной затхлости. — Хватит об этом; ничто не мешает мне быть счастливым, кроме небольшого насморка: но мешает ли человеку необходимость лежать, как в зимней спячке, со сложенными и сдавленными крыльями?! —

Я очень рад, что ты будешь писать статьи и дальше, из которых, если я правильно тебя понял, статья о греческих философах, даже уже вот-вот выйдет. Ты только еще раз в свое время пришли мне и книгу с предисловиями. А как продвинулось дело со вторым изданием «Рождения»? Внуши-ка Э. В. Фритцшу, чтобы он лучше позаботился о его продажах: с моей «Лжефилологией» он обошелся так странно, что один здешний книготорговец недавно с полным удивлением сделал мне запрос о существовании этого сочинения, о котором ничего не знал! Станный он шутник! С Нового года он не присылает мне даже свой еженедельник, несмотря на мои неоднократные напоминания — некоторые номера я видел у Вагнера в Гамбурге, среди них и номер с твоей яростной атакой на господина Дове. Надеюсь, теперь Фр<итцш> быстренько пришлет мне всё чохом. — Сейчас, по крайней мере, я вообще не хочу садиться за стол: у меня начался период отвращения к письму, который всегда зиждется на трудно преодолимой досаде *χαλεποῖσιν ἐνὶ ξείνοισι*⁵⁸⁶ человека, ведущего одинокую жизнь. — Я тоже получил сообщение

о второй брошюре Вил.-Мёлл. и оказался достаточно любопытен, чтобы ее себе заказать. Но отвечать я буду (ибо это произведение направлено, естественно, против меня) уж точно только в самом крайнем случае. [— —] — У Царнке недавно напечатана какая-то ерунда о тебе — очевидно, ее написал Г. Циммерман, автор безбожно скучной эстетики. — [— —]

Это мое письмо полно настоящих соплей, дружище. Я не оптимист, но и не сильно расстраиваюсь, а, скорее, в глубине души каждый день думаю, насколько можно назвать в целом удачной судьбу, которая в юности полностью перекрывала все надежды на будущее, но в настоящем дает возможность тихого роста в том, что нашему брату доступно из подлинного образования. Это чувство тихого постоянного роста — чуть ли не единственное, что в холоде жизни еще дает мне ощущение счастья; а кроме этого, я славлю судьбу, которая одарила меня таким верным и настоящим другом, как ты: так давай же хранить нашу верную связь.

С прежней любовью,
твой Э. Р.

А ргорос: где там Герсдорф-итальяшка и что пишет? Передай приветы Ромундту и Овербеку, чью программу я прочел с большим интересом, как уже писал тебе.

136. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, середина марта. Нет! Около 22 марта <1873>

Любезный мой друг, вчера и этот семестр, уже восьмой для меня, ушел к черту или куда тебе угодно, а сегодня появилась возможность немного вздохнуть полной грудью. Но с этим вздохом не выйдет ничего путного, если я для начала не заключу мир со своими друзьями, ведь они будут сердиться на то, как редко я пишу письма и как неблагодарно поступаю с их писемописательской любовью. Недавно, во время масленицы, я, испытывая глубокую досаду, получил твои строки, любезный друг, и снова проклял демона, разлучающего нас, или, чтобы выразиться совсем прямо, глупое поведение фрайбуржцев, которые могли бы тебя заполучить, или,

говоря еще прямее, милое предательство моего «друга» Ричля, который им в этом воспрепятствовал. И вот мы сидим на своих крошечных кафедрах и не можем быть рядом! Каждое письмо хочется начинать с проклятья и им же заканчивать, и я даже рекомендую тебе, для нашего употребления, новое слово — «письмоклиная (я письмоклинаяю, ты письмоклинаяешь и т. д.)».

Вообще я, честно говоря, держусь тут лучше, чем ты. Овербек и Ромундт, мои друзья по столу, дому и мыслям, — самая лучшая компания в мире, и с этой стороны я совсем избавлен от охов и вздохов. Ромундт вчера закончил свой первый семестр как преподаватель и произвел этим своим первым опытом большой фурор на кафедре. Он и впрямь возбуждает у студентов интерес и вполне определенно окажется в своей стихии, если останется преподавателем. Овербек — самый серьезный, свободомыслящий, а как личность самый любезный и простой человек и ученый, какого только можно пожелать себе в друзья. К тому же он отличается тем радикализмом, без которого я уже вообще больше не мыслю себе общения с кем-либо. В пасхальные каникулы он представит документ такого радикализма — открытое письмо к Полю де Лагарду. То, что в течение года мы с тобой обсуждали относительно важных и захватывающих вещей, очень значительно, и при этом я постоянно ощущаю, чего не хватает, когда не хватает тебя. Наша жизнь должна продлиться достаточно, чтобы позаботиться о превращении многих пожеланий в свершения; но для нас когда-нибудь станет *necessitas*⁵⁸⁷ жить рядом, и именно ради этих «свершений».

Скоро я надеюсь продвинуться настолько, чтобы переслать тебе большую часть моей очень медленно рождающейся книги о греческих философах для предварительного просмотра. Насчет названия я еще твердо не решил, но если оно будет гласить «Философ как врач культуры», то ты поймешь, что мне приходится иметь дело с прекрасной всеобщей, не только исторической проблемой.

Дело с наборщиком в Лейпциге еще не утряслось, поэтому второе издание сильно задерживается. Второе сочинение Виламовица я прочел, мне прислали его домой, оно показалось мне довольно забавным и совершенно отменяющим само себя. Герсдорф видел этого шутника в Риме, посылаю тебе его письмо счастья, дабы и ты наслаждался счастьем «шатающегося кавалера»⁵⁸⁸.

Недавно состоялась свадьба Ольги Герцен и мсье Моно из Парижа. Я явился со свадебной композицией, четырехручной, со следующим названием, призванным играть роль символа удачного брака:

Une Monodie à deux.

Г-жа Мейзенбург глубоко несчастна и очень достойна сожаления, она попросила меня приехать к ней во Флоренцию на Пасху, чтобы как-то утешить. Увы, у меня нет или все равно что нет каникул — благодаря почтенному Педагогиуму.

Р. Вагнер прислал мне свое еще не опубликованное сочинение 1864-го года «Государство и религия», изначально написанное для короля Баварского: оно доставило мне большое наслаждение. О государстве и религии так теперь никто не пишет, особенно королем. — Кстати: какую скандальную историю имеет в виду Виламовиц в замечании о «Филологическом вестнике» на с. 3 в примечании к своему памфлету? Что, разве старый Лейтш еще и двурушничал?

Я постоянно забывал прислать тебе статью о <гомеровском> состязании, которая теперь уже окончательно отложена, но все равно лучше не стала. Прими это благосклонно, сказал ребенок отцу в день его рождения и уронил торт в грязь.

Если б мы с тобой овладели еще каким-нибудь искусством, мой преданный друг, чтобы вместе бродить по свету! Быть конъектурной крысой — вовсе не почтенная профессия. Крутить шарманку и то лучше⁵⁸⁹. В этом семестре дело у меня дошло до двух слушателей — один был германистом, второй юристом, и обоим я преподносил риторику! Это кажется мне несусветно извращенным, особенно когда я думаю о том, что один из них — мой персональный поклонник и с равным успехом мог бы чистить для меня сапоги, как и слушать у меня риторику! В следующем семестре будет немного лучше: Педагогиум выпустит несколько хороших филологов, с которыми хотя бы можно будет общаться.

Сегодня мной овладело здесь изобилие образов, и я вспоминаю о наших хороших осенних лейпцигско-наумбургских деньках! Хорошо бы нам с тобой их наилучшим образом повторить — в этом году, так ведь, дружище? Летом ко мне в гости придет сестра. Но в октябре я двинусь тебе навстречу, в славную Тюрингию. Или давай съедемся в Дрездене? Только не снова в этом Богом проклятом Лейпциге!

Желаю тебе чистого неба, ясного духа и рекомендую, в качестве моего общеукрепляющего средства, Марка Антония⁵⁹⁰; с ним расслабляешься.

Преданный и всегда вспоминающий о тебе
Фридрикус

В письме Герсдорфа тебе встретится кое-что трогательное — оно касается моих докладов. Это настоящий друг⁵⁹¹.

137. РОДЕ — НИЦШЕ
Гамбург, 23 марта 1873

Милый мой друг!

Почему я уже так давно совсем ничего не слышал от тебя? Дай мне по крайней мере поскорее узнать, что ты не заболел снова и пребываешь в хорошем настроении.

Во-вторых же, обдумай следующий чудесный план. По неоднократному приглашению Риббека я навещу его в Гейдельберге, начиная со следующего четверга, 27 марта. Как долго я там пробуду, не знаю. В любом случае, оказавшись так близко от тебя, я не хочу упустить редкую возможность пожать тебе руку. [— —]⁵⁹²

От всего сердца,
твой Э. Р.

138. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 5 мая 1873

Мой верный друг,

ты снова полностью погружен в преподавание? Мы-то начали как раз в эти дни. И ничего выдающегося снова не выйдет — впрочем, и ничего жалкого и совершенно презренного, как прошлой зимой. Сегодня утром пришло письмо от Герсдорфа из Сицилии.

Овербек закончил свою работу (мы называем ее «Теологией будущего»), да и издатель нашелся — кто бы, ты думал? Фритцшиус! Она выйдет не в таком красивом наряде, как «Рожд. трагедии», и не преминет возмутить все теологические партии. Герсдорф прав, когда пишет, что Базель стал вулканическим. Вот и я снова изрыгнул немного лавы: почти закончил работу против Давида Штрауса, по крайней мере в первом варианте, — но прошу тебя соблюдать полнейшее гробовое молчание, потому что будет запущена большая мистификация. Я вернулся из Байрейта в такой стойкой меланхолии, что в конечном счете не нашел никакого другого спасения, кроме священной ярости.

Большое спасибо тебе, что прислал свою статью об Элии Промоте⁵⁹³ (этот господин доселе постыдным образом был мне неизвестен), я прочел ее с подобающим почтением и признаюсь тебе без смущения, что считаю себя жалким оборванцем в сравнении с тобой *philologum*⁵⁹⁴. Зато ты не смог бы ни написать «Гимна к дружбе», ни подразнить (пошебуршить *vulg.*⁵⁹⁵) папу «Монодией».

Знаешь, я напился пьян на нашей грандиозной прощальной вечеринке в Лихтенфельсе. Получилось так, что мне померещилось, будто я качусь в большом колесе; у меня кружилась голова, я заснул, проснулся в Бамберге, выпил кофе и снова стал человеком. Потом провел вторую половину дня в Нюрнберге, а также второй день Пасхи, и физически чувствовал себя в высшей степени уныло! А все кругом вырядились и гуляли, а солнце было таким по-осеннему мягким. Ночью я умчался в Линдау, в 5 утра, при борьбе ночного и дневного светил, переплыл через Боденское озеро, еще рано утром был у Рейнского водопада под Шаффхаузенем и там остановился, чтобы пообедать. Новый приступ меланхолии, потом тронулся домой; проезжая мимо Лауфенбурга, я видел, что в городе сильный пожар.

Сюда на все лето приехал друг Ромундта, человек вдумчивый и одаренный, шопенгауэрианец, по фамилии Ре. — Ричль подразнил Виламовица и прислал мне соответствующие страницы «Рейнск. музея». Меня это совершенно не затронуло.

Кстати, мне кажется, что мы с тобой как следует не наговорились, но все же многому научились и многое поняли вместе — а эта общность как-никак важнее.

Цирюльнику я не заплатил, что меня сильно удручает. Слуга, которому я заплатил по-княжески, был, как мне пришло в голову,

вероятно, тот самый, которого я тогда чуть было не спустил с лестницы. За все на свете приходится расплачиваться. В Шарфхаузене я купил отличную чернильницу с гуттаперчевой втулкой: чернил в ней совсем не видно, и перо макается немногим ниже этой втулки, поэтому чернила не пылятся, а перо не переполняется. По этой причине сегодня я пишу тебе так красиво, что ты ничего не можешь прочесть, правда?

Так давай же и дальше влачить наше существование, распевая стих из моего «Гимна к дружбе», который начинается так: «Друзья, друзья, сплотитесь попрочнее!». Дальше я еще не сочинил, но сам гимн готов — и это вот такая метрическая схема:

<p>— ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — — — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — — — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪ — ∪</p>	<p>«Друзья, друзья, сплотитесь попрочнее!»</p> <p>Объявляю конкурс для всех моих друзей — сочинить стих или два!</p>
--	---

Я думал, что пока я буду писать это письмо, ко мне на лекцию придут несколько студентов. Это час моих занятий; но не пришел никто. Увы, увы!

Прощай, мой милый славный друг, и вспоминай меня по-дружески.

Твой Фр. Н.

Киль, 20 мая 1873

Мой дорогой друг!

Ты недолго будешь считать меня самым вероломным из всех корреспондентов из-за моего долгого и невеселого *silentium*⁵⁹⁶. На сей раз я не слишком-то и виноват, ибо с головой погружен в ослиную зубрежку, и когда вечером настает час для занятий всем хорошим и прекрасным, к примеру, писанием писем, мой мозг и глаза, как правило, от усталости неспособны ко всему разумному. [— —] Твои великолепные, тонко и прелестно написанные *alcidamantia*⁵⁹⁷ как относящиеся к литературным кругам, сформировавшимся в доперипатетический период, я уже с удовольствием и хвалой пустил в дело, даже пристроил к нему.

Я вернулся домой после нашей с тобой прекрасной встречи без особых проблем. [— —] Мне Ричль тоже прислал свою статью *Erotema* [philologicum] против Виламольха. [— —] Какой же это осел наржал на твою книгу у дядюшки Лейча? Я только заглянул туда; получается, будто только слепцы лучше всех осведомлены о красках! [— —]

— Я очень внимательно изучил поджигательское сочинение Овербека. (Передай ему и Ромундту мой горячий привет.) Лагарда я впервые прочел только сейчас, <он пишет> с эмфазой, очень сильным, даже суровым апостольским тоном и серьезностью. Особенно прекрасно то, что он говорит о более чем «историзирующей» теологии как введении к религии. Правда, в качестве предпосылки нужно все-таки добавить к нему, что на почве мутной тины «христианской» традиции зиждется подлинное, более чистое, настоящее (прежде всего не чисто моральное, а метафизическое) откровение: иначе эта новая «теология» в своем историзирующем виде не имеет смысла. — Озадачило меня его мнение о Евангелии от Иоанна: я снова прочел его, и, конечно, можно допустить, что полное отсутствие в нем догм очень древнее — в нем не видно ничего, кроме учителя спасения, действующего совершенно магически посредством своей личности, который предсказывает гибель *ὁ ἄριστος οὗτος*⁵⁹⁸, гибель, где он сам будет играть роль не судьи, а *σώζων*⁵⁹⁹ верующих в него. Кстати, нет ничего более печального, чем полное

одинокчество, в котором он, согласно Иоанну, был и среди своих учеников. [— —] Эти дни сплотят нас в чудесных воспоминаниях. До скорого: vale meque ama⁶⁰⁰.

Φιλόλογος⁶⁰¹

140. Роде — Ницше
Киль, 20 июня 1873

Мой дорогой друг!

Кажется, твоя злосчастная ἀμβλύωσις⁶⁰² отступила, наконец, настолько, что можно рискнуть в нескольких строках выразить тебе сочувствие, не вызвав этим нового усугубления лиха. Герсдорфу, который написал мне из Базеля такое дружеское письмо, я уже давно ответил бы, если бы имел представление о том, как долго он останется у вас, то есть сможет получить там письмо. Присутствие и деятельная помощь этого самого преданного из всех товарищей была для тебя, должно быть, большим облегчением в твоей беде: если он еще в Базеле, передай ему от меня сердечный привет. Ты же, мой дорогой друг, прежде всего самым тщательным образом следи за своим бесценным зрением, чтобы мы не сделались несчастными летучими мышами, жалко попискивающими и копошащимися, семенящими на одном месте, подобно «бессознательному» господина фон Гартмана, сравнимому с кротом, которому выкололи глаза.

Мне очень сильно хочется услышать какие-нибудь подробности о течении болезни, — то есть, конечно, если эта болезнь позволяет тебе писать без осложнений.

Я все еще чувствую себя старой рабочей лошадкой на пашне, зубрящей и втаптывающей в землю зерна учения, с утра до вечера; я ем, перевариваю, сплю и моюсь, и идеи меня почти не тревожат. Вот так вот. — [— —]

Зато на Пасху я побывал в Копенгагене и с величайшим интересом наблюдал, как вокруг меня бурлит совершенно чуждая жизнь. Если бы различить эти странно звучащие потоки, стало

бы без всяких сомнений ясно, что жизнь здесь течет так же пошло, как повсюду в мире; а так, будучи чуждыми и невнятными, эти звуки производят такое же странно притягательное и волнующее впечатление, как чисто инструментальная музыка, которая дает простор всем мыслимым полетам фантазии, или же как пение на чужом, непонятном языке, который тоже дает возможность воображать что-то притягательное в своих чуждых звуках. Это прелесть чужбины. Кстати, Копенгаген — очень милая, по-особенному мягкая и любезная островная земля. [— —]

Передай мой сердечный привет в первую очередь Герсдорфу, но и всей умственной «тесной компании» тоже — за исключением того «привидения с хоботом», которое так разительно живописал мне Герсдорф. [— —] Меня не забывай и заботься о своем здоровье.

Твой Э. Р.

141. РОДЕ — НИЦШЕ⁶⁰³

Флоренция, на почте, <осень 1873>, вторник

Дружище!

Страшно спешу только со следующим вопросом, который постепенно становится «своевременным»: когда у вас начинаются каникулы, *сiоё*⁶⁰⁴, когда ты уедешь из Базеля? Мне надо знать это, чтобы определиться со своими дальнейшими планами на поездку. Если ты в конце сентября — начале октября будешь в Базеле, я в любом случае проложу свой путь через это «место»; в противном случае я вернусь другим путем. Итак, прошу тебя сообщить мне в двух словах о своих планах, причем в двойном, хотя и том же самом виде — ради осторожности и предусмотрительности, а именно:

Синьору Роде (больше ничего! пиши разборчиво)
Генуя, до востребования

и то же самое: Парма, до востребования.

Теперь о другом. В остальном о моей поездке коротко изложить подробности не получится: Флоренция выше всех мыслей и слов, а сейчас, после проливных дождей, и погода стала более прохладной, свет великолепен, воздух освежающе прекрасен, настоящий «тонкий воздух» Флоренции, а ведь он-то, видимо, и произвел тонкие и грандиозные умы прежних времен. Герсдорфу надо поспешить заехать сюда. А напиши мне и о его планах и предположительной возможности встречи: и всё дважды, поскольку письма сюда по большей части вообще не доходят, и двойные даже чаще, чем одинарные.

Figurati⁶⁰⁵, кто оказался моим дорогим соседом по каза Нардини, где я жил до экскурсии в Сиену в прошлую субботу (теперь я переехал)? Наш аристократический друг господин Ульр. фон Виламовиц по прозванию д-р фил.! — Бумага кончается, addio⁶⁰⁶ и до скорых известий.

Сердечно твой Э. Р.

142. Роде — Ницше
Гамбург, 14 октября 1873

Мой дорогой друг,

прежде всего от всего сердца желаю тебе здоровья и радости, новых сил для твоего «Несвоевременного», пусть оно постепенно становится все более своевременным. Завтра в полдень я с тихим воспоминанием осушу бокал за твое здоровье и долговечность нашего союза, в котором меня заново укрепил последний визит в Базель. Echaudi nos, daemon⁶⁰⁷, и дай нам, наконец, жить и творить вместе: да будет это самым дорогим пожеланием и для меня. Но об этом, наверное, в ближайшее время не будет и речи (Кайм⁶⁰⁸).

[— —] Как странно неожиданно бывает всякий раз заново обнаруживать, что большинство людей, за немногими исключениями, до самого конца живут не в целенаправленном «усилении», а в бесцельном временном состоянии. Собственно говоря, и сам живешь таким вот образом, но при этом произвольно

представляешь себе других более счастливыми и менее похожими на невинное «быдло», которое проявляет эту бесцельность совершенно наивно. После этого отклонения скажу: это было очень неудобно. [— —] На следующий день я был в Лейпциге. Там угасающий ярмарочный огонь, старые, хорошо знакомые запахи, наполовину клоака, наполовину аптекарский магазин (вспоминаю запах, свойственный большинству вещей), затуманенный осенний воздух: я до глубины души погрузился в память о семестре нашей дружбы, о том блаженном времени сумерек, когда для моего чувства впервые прозвучал совершенно новый и чуждый тон. И вот я целый день в мечтательном настроении шатался кругом, которое у человека *μουσικός* сгущается, вероятно, в *musica autumnalis*⁶⁰⁹. — Вечером я был в гостях у Фритцша. [— —] Твои предположения о его молчании совершенно превратны, как и предсказывал тебе в Базеле один пронизательный критик (подписывающийся Э. Р.). [— —] В конце концов: кто хвалил «Рождение» и «Лжефилологию»? Профессор Венцель по прозвищу Кот, в память Кинчи⁶¹⁰! [— —] Ах, дружище, какое нам дело до этих чужаков! Поприветствуй от меня поскорее друзей Овербека и Ромундта и заверь их, что несколько проведенных в Базеле дней внушили мне и возобновили самую настоящую и искреннюю симпатию к ним. Передай привет и своей сестре и оставайся здоровым, дорогой друг. *Semper idem*⁶¹¹

Э. Р.

143. НИЦШЕ — РОДЕ⁶¹²

Швейцарская граница <Базель>, 18 октября 1873
<надпечатка: Гостиница Боденхаус, Шплюген>

Дорогой друг!

Вышестоящее название гостиницы говорит лишь о том, что в прошлом году я был в этом самом Шплюгене и что в данный момент у меня нет другой почтовой бумаги. А тот, кто пишет это письмо такой неверной рукой, носит фамилию Ромундт.

С твоего отъезда я еле таскаюсь, каждые три дня мне приходилось ложиться в кровать, и я не смог отметить день твоего рождения, как подобает, — письмами и винными жертвенными возлияниями. Что касается моего собственного, я решил всегда отмечать только минование года и с покорностью наблюдать приближение будущего. Если боги будут очень благосклонны, то сохранят для меня в новом году то, что у меня было в старом, а именно, моих друзей и наслаждение делать что-то стоящее.

А все новое ужасно, у меня была возможность убедиться в этом уже в первые дни нового года. Новое, напр., — это требование, пришедшее ко мне сегодня: в пользу Байрейтского предприятия и по поручению патронатской комиссии написать «Призыв к немецкому народу» (говоря культурно). И это требование тоже ужасно, ведь я и сам однажды попытался по своему почину сделать что-то похожее, но не справился. Отсюда моя срочная и сердечная просьба к тебе, дорогой друг, помочь мне и посмотреть, не сможем ли мы вместе совладать с этим чудовищем. Смысл этой прокламации, набросать которую я тебя прошу, сводится к тому, что стар и мал, куда звучит немецкий язык, должен заплатить деньги своему торговцу нотами, к каковому поступку людей может мотивировать следующее (согласно информации, сообщенной Геккелем и идущей, видимо, от Вагнера): 1. Значимость предприятия⁶¹³, значимость предпринимателя, 2. Стыд за нацию, где такое предприятие, в которое каждый участник вкладывает деньги бескорыстно и лично, может быть представлено и атаковано как предприятие шарлатана, 3. Сравнение с другими нациями: если бы во Франции, Англии и Италии человек, который вопреки всем воздействиям со стороны общественности передал театрам пять произведений, и они с успехом шли на сцене от Севера до Юга, воскликнул: «Существующие театры не соответствуют духу нации, как искусство общественное они — срам, помогите мне подготовить место для национального духа!», — разве не пришли бы ему на помощь все, хотя бы из самолюбия, и т. д.? В конце можно было бы сослаться на то, что все (3946) немецкие торговцы книгами, картинами и нотами, которые могли бы дать желаемую информацию, предложат списки для подписки и т. д. Не раздражайся, дружище, и приступай к делу; я и сам сделал бы это, но при моих хворях в сердце и желудке вообще ни на что не

пригоден. Кстати, дело срочное. Так могу ли я рассчитывать вскоре на лист в наполеоновском стиле?

Меж тем другое дело выросло до гигантских размеров и стало нам не по зубам. Даже в письме можно только намекнуть на него, а не сказать открыто. Кто-то, как мы с Овербеком совершенно уверены, пытается повернуть жуткую махинацию — отдать в международные руки *** лейпц. издательство. Фритцш, как мы опасаемся, уже скомпрометирован и уже, вероятно, получил деньги. Наше дело, на которое мы возлагаем надежды, будет уничтожено немедленно, как только публики достигнет хоть одно словечко о нем. Я хотел было сегодня вечером выехать в Лейпциг, чтобы немедленно выразить личный протест. Меня удержали неожиданно возникшие служебные дела, поэтому я поеду в Лейпциг только из Байрейта. У проницательного критика Э. Р. есть не весь критический аппарат (а именно, не хватает писем и высказываний призрака Р<озалии> Н<ильсен>⁶¹⁴). Из того, что нам известно, и менее опытные критики способны прийти к ужасающе определенному результату, особенно если пользуются пресловутой умозрительной зальной пустотой Р<омундта>. Пожалуйста, сообщи нам еще, по своему ли почину Фритцш пришел к упоминанию того завещания, в каком тоне он упоминал о Призраке и не говорил ли он случайно о его здоровье. Кстати, диктующий и записывающий это письмо всерьез просят тебя немедленно его сжечь.

Стучит ли в твоей груди сильное мужское сердце?

После таких событий я не отважусь подписывать это письмо. Мы живем Замаровыми⁶¹⁵, мыслим только минами и контрминами, подписываемся только псевдонимами и носим накладные бороды.

У! У! Как ветер воет!⁶¹⁶

Глухим замогильным голосом —
от имени заговорщика Хуго.

Сердечный привет шлет и
писавший

Всё как-то зыбко, вот и у Овербека бурчит в животе, он думает, что отравился; передает тебе привет. —

144. Роде — Ницше
Киль, 23 октября 1873

Ах, любезный мой друг, я не готов написать этот «Призыв», с которым так хотел бы тебе помочь: как бы я ни вертел это дело в мыслях, мне самому оно кажется мало эффективным, если представить себе толпу, которой оно адресовано и которая не имеет ни малейшего представления о значимости человека и его дела и теперь вдруг должна быть просвещена отвратительно популярным, но все же не пошлым образом. Мне претит всякий популярный пафос, и особенно в эти дни, когда все мое время и мысли до судорог поглощает слишком долго откладываемая подготовка к лекции. Я хочу еще раз попробовать, не сойдет ли на меня внезапно дух, ибо только тогда, может быть, это и получится, а медленное размышление тут бесполезно. Это ужасно трудно, особенно потому, что надежда на какой-либо успех и не могла бы маячить, воодушевляя; стимулом, самое большее в качестве чувства исполненного долга, остается лишь полная уверенность в безуспешности.

Надеюсь, дружище, что у тебя дела обстоят несколько лучше, т. е. прежде всего надеюсь, что ты благоразумен, ведешь только растительное существование и не делаешь невозможным окончательное, и притом на все будущее, выздоровление «несвоевременными» усилиями. Специально рекомендую тебе в этом отношении твоих верных товарищей, обоих я приветствую от всего сердца — от их лица прошу передать особую благодарность опустошителю залов Ромундту за его помощь в качестве писца.

И еще кое-что о ночном призраке. [— —] О ней он говорил очень пренебрежительно: однажды он, кажется, тоже выставил ее. — Как я уже сказал, я все еще не верю в эту историю. [— —]

От всего сердца,
твой Э. Р.

145. РОДЕ — НИЦШЕ
Киль, среда <октябрь 1873>

Очень коротко, дружище, и в страшной спешке из-за лекций. Мое совершенно честное мнение о «Призыве» состоит в том, что хотя всеми друзьями дела он будет воспринят как абсолютно искренний, как со всей силой и гневом выражающий их чувство, но людей вялых и уж тем более тех, кого хотелось бы отбить у наших врагов, отбить будет затруднительно, по крайней мере для этого годятся не все его части, к примеру, уж точно не тон вступления. Я, конечно, не ставлю это в грех тебе, ведь, строго говоря, все предприятие, вероятно, несбыточно, поскольку превосходит силы человеческие. Разве можно призвать этих вялых, недовольных, годами подстрекаемых глупейшими критиканами к насмешке и антипатии немцев подобным последним призывом так, чтобы не дать повода для гневного выражения их глубочайшего негодования, а изменить тон на тот, который годился бы для уговаривания колеблющихся? Но ведь такие уговоры и есть задача как раз подобного призыва, который без этого оказался бы совершенно безуспешным и, значит, полностью бесцельным — мало того, он мог бы только испортить все дело. Чтобы дать громогласно-озлобленное выражение презрительному недовольству, если дело — *quod di avertant*⁶¹⁷ — совершенно бесперспективно, всегда найдется благоприятный момент. Так вот, я считаю, что ты слишком упустил из вида эту труднейшую, представляющуюся мне реально невыполнимой задачу — убедить эту *canaille*⁶¹⁸ что-то сделать, не слишком любвеобильно польстив ей. Это мое откровенное размышление ты поймешь правильно, дружище; я воспринимаю «Призыв» скорее как многократно заслуженный пинок под зад для *хахо!*⁶¹⁹, чем как приманку для примостившейся за печкой собачонки, а в такую приманку он и должен превратиться, если уж решиться на подобный шаг. —

При всем том я подчиняюсь высшей пронизательности собравшихся в Байрейте мужей: если «Призыв» будет принят в таком виде, то, естественно, в его содержании самом по себе не будет ни одного положения, которое могло бы побудить меня не ставить под ним свою подпись. Вот только эффекта я от него не жду. — Все

это ты, я надеюсь, воспримешь в правильном смысле. Кстати, я самым серьезным образом прошу тебя при случае не показывать это письмо Вагнеру: оно содержит лишь мое сугубо частное мнение, которое я решил сообщить тебе, дружище, но не навязывать Вагнеру. — [— —] «Гренцботен»⁶²⁰ я здесь не вижу: видимо, там напечатана полная ерунда. А о ком? Прощай, дружище, будь благополучен и здоров в эти печально возбужденные дни, когда все мои мысли с тобой. Передай также мое искреннее сопереживание Вагнеру и его жене. Я жадно жду развязки. — С преданностью,

твой Э. Р.

146. Роде — Ницше
Киль, 19 ноября 1873

Скоро уже три недели, дружище, с тех пор как в Байрейте состоялись те важные встречи, к результату которых я, как тебе известно, питаю живейший интерес, — и все еще напрасно жду какого-нибудь известия от тебя об этих результатах. Я просто не могу объяснить себе это поразительное молчание. Сначала я был удивлен, но мало-помалу начинаю тревожиться. Неужели ты болен? Но об этом мне, уже верно, сообщил бы кто-нибудь из базельцев, если, конечно, они не предполагают другое — что я стал равнодушен к болезни и несчастью своих друзей. Или ты нашел в моем последнем письме что-то такое, из-за чего и заболел? Я писал его с откровенностью, которую, безусловно, может позволить себе друг, который всегда на деле проявлял свою верность и надежность своих чувств, как я по праву могу думать и о тебе. Если, стало быть, тебя что-то задело в том письме, то, во всяком случае, откровенная жалоба была единственным способом привести меня к пониманию моей ошибки, а нас обоих — к ясно выраженному согласию, чего не могло бы случиться при затаенном неприятии. И сейчас я прошу тебя, дорогой друг, написать мне, в чем ты может быть, будешь меня упрекать, с наиполнейшей откровенностью; я, по крайней мере, не вынесу постоянной мысли о том, что мой друг, к которо-

му я неизменно питал самое беззаветное чувство любви и участия, затаил на меня гнев по поводу, мне совершенно неизвестному. — Мне тяжело писать эти слова; их заставляет меня высказать не обида, а только тревожное опасение, что наш дружеский союз, без которого я не мыслю себе жизни, будет омрачен. Сделай мне одолжение и напиши с полнейшей откровенностью — или, еще лучше, успокой меня тем, что твое молчание связано с какой-то случайностью; во всяком случае, сними с меня своим словом бремя этой неизвестности! С преданностью,

Э. Р.

147. Ницше — Роде
Базель, 21 ноября 1873

Мой верный дорогой друг, вот тебе оправдание за мое долгое молчание, которое сегодня прервется лишь ненадолго, — ведь я все еще и впрямь не смею пустить в ход свои глаза и при всем желании вынужден выкраивать крохи светлого времени суток для лекций, занятий в «Педагогиуме» и своих собственных дел. Что касается последних, я продвигаюсь с № 2 несоответственности⁶²¹; пожелай мне на ближайшие недели бодрости и того настроения, которое владеет мною сейчас, и тогда я его закончу. — Не согласишься ли прочитать его корректуру? Вещь будет небольшая, всего около каких-то 100 страниц. Если тебе будет трудно, просто скажи нет.

Фритцш в Байреит не приехал, денег мне не прислал и молчит. Бедняга застыл на месте, Бог с ним, он, вероятно, не может иначе⁶²². Аминь.

От «Призыва» я отказался, ты правильно все прочувствовал. Большое спасибо за твое дружественное послание в Байреит. Там все было душевно и тепло, по-настоящему ободряюще; сочиненное проф. Штерном «Воззвание» печатают все газеты подряд. Склады немецких книготорговцев могут повсюду превратиться в сокровищницы — я днем и ночью хочу, чтобы это желание осуществилось. — Откровенно говоря, Вагнер, госпожа Вагнер и я больше

убеждены в действенности моего «Призыва», нам кажется, это только вопрос времени, когда он останется единственным и абсолютно востребованным.

Здесь нам друг с другом радостно — как людям, задумавшим что-то хорошее. Эх, почему ты не можешь быть с нами!

Мы неизменно думаем о тебе с тихой и громкой печалью.

Как у тебя дела с греческим романом? — Ты только подожди, мы пробьемся, все еще будет хорошо, и не вечно нам быть такими одинокими.

Хотел бы я, чтобы ты как-нибудь прочел ту статью в «Гrenzboten», хотя бы как потешный курьез: так мы теперь иногда ее используем. Бык и красная тряпка. Д-р Фукс хотел написать опровержение, советник Фишер — публично протестовать, и потребовалось приложить усилия, чтобы утихомирить этих людей. Базель как «заштатный университет» стал здесь с тех пор — назло — притчей во языцех и модным словом застольных речей на торжестве в ректорате.

Ричль прислал мне статью на иудейско-римскую тему.

Прощай. Да пребудет с тобой
доброе настроение,
любовь и дружба.
Твой верный в
Базеле

148. Ницше — Роде
Базель, 22 ноября 1873

Ты ж мой милый, славный друг, какое письмо и какие мысли! Ахти, Господи! Все неправда, правды ни следа. Мое настроение незыблемо, во веки веков, аминь. Гимн «К дружбе» дописан до конца и постоянно звучит во мне.

О байрейтских делах я подумал, что ты, должно быть, получил известия из всех газет за последние две недели. Прилагаю то «Воззвание» (на него я, увы, возлагаю не слишком много надежд —).

И еще кое-что, что прислали мне сегодня бог весть откуда и из чего я узнал, что мой «Призыв» — шутовская проповедь.

Вот теперь ты больше не будешь на меня злиться, дружище!

В страшной спешке, в сильном замешательстве и невинный, как теленок,
твой друг

Ну и дела!

149. Роде — Ницше

Киль, вторник <25 ноября 1873>

Мой дорогой верный друг,

задним числом я кажусь самому себе совершенно безрассудным, даже посрамленным, из-за, слава Богу, бессмысленных и превратных представлений, которые — в сопровождении мрачных и безнадежных мыслей, которые <обобщали> все, что я слышал и читал о Байрейте и последних встречах, — в конце концов настолько во мне укрепились, что я по-настоящему страдал от них и в результате решил на такое неразумное извержение. Прости меня, дружище, за глупость и прими мою сердечную благодарность за твои письма, уже первое из которых, написанное, возможно, в тот же час, что и мое глупое, сняло у меня с сердца тяжелый камень и чуть ли не заставило меня, с досадой на себя самого, смеяться над безрассудным малодушием, которое запугало себя этими ночными призраками. Так что смотри, наоборот, на меня как на теленка, с которым ты незаслуженно изволил сравнить себя в своем последнем послании.

Нам с тобой и впрямь не остается ничего лучшего, чем теснейшим образом братски сплотиться в этом враждебном мире и хранить верность друг другу; разве природа не сделала нас родными, не определила в братья друг другу? Так будем же ими во веки вечные. И вот я заново протягиваю тебе руку — не для примирения, ибо таковое не требуется, но для торжественного обещания того, что глупый дух, который мучает отшельников, когда-нибудь снова

не собьет меня с толка, не сделает малодушным, и никогда больше не подтолкнет меня к сомнению — не в тебе, в ком я и не сомневался, а собственно во мне самом и в моей *sufficienza*⁶²³ для тебя, мой дорогой друг.

И ведь все эти глупости происходят от корня всех пороков и зол, а именно от нашей с тобой разделенности, которая оставляет мне лишь половинчатую и отчаявшуюся жизнь и нередко придавливает меня и сбивает с толка. Пусть же дэимон это исправит! Вот чего я желаю каждый день и каждый час. — Одними письмами делу не поможешь, это точно; и я прошу тебя не принуждать свои глаза, которые тебе надо беречь превыше всего, к такому напряженному писанию писем ради моих эгоистических желаний. Собственно, мне следует читать каждое твое письмо как эксцесс — и только с угрызениями совести. Корректуры твоего № 2 тебе нельзя держать ни в коем случае. Для меня будет истинной радостью читать не только одну эту, но и множество других корректур, которые надо будет читать, и я твердо надеюсь, что ты доверишь их мне все.

Мой «Роман»⁶²⁴ продвигается вперед очень медленно — чертовски трудно организовать такую массу отдельных заметок в хоть сколько-нибудь связный поток. — О байрейтских делах я не хочу ни говорить, ни слышать; у меня по этому поводу сердце кровью обливается. Оттиски <с «Воззванием»> выложены и в здешних книжных магазинах; но из этого ничего путного не выйдет. Что же еще должно, может случиться еще? —

Кстати: куда нынче писать превосходному Герсдорфу? Последнее письмо от него было около трех недель тому назад из Венеции. — Покойной ночи, дорогой друг; будь здоров. Мы с тобой заодно, и хотел бы я увидеть того черта, который заставил нас пошатнуться.

Твой Э. Р.

150. Роде — Ницше
Гамбург, 23 декабря 1873

Дорогой, верный друг!

Я все-таки хочу, как бы там ни было, передать тебе рождественский привет, хотя и не знаю, куда именно его направить. В Наумбурге ли ты или остался в Базеле? Застанет ли мой привет тебя здоровым и веселым или в борьбе с коварными демонами, которых бог мух и рецензентов⁶²⁵ послал на твои глаза и нервы, и теперь мне невольно приходится неизменно представлять себе твои мучения от них.

Давай покадим или хотя бы сделаем обычные совместные жертвенные возлияния демону, чтобы в наступающем году он даровал тебе передышку и вдохнул в тебя силы: *ὕψια μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θυατῶ*⁶²⁶, как говорится в схолии [— —]. Но об этом тебе и впрямь надо бы задуматься куда серьезнее, дорогой друг, чем ты делал это доселе. Можешь ли ты сделать так, чтобы некоторые из наваленных на тебя чрезмерных нагрузок были навсегда с тебя сняты и переложены на других? Ведь на радикальное лечение Иммермана, лечение, о котором Герсдорф недавно мне написал: «Станьте глупее и будете здоровее», я по-настоящему не надеюсь. Ах, дорогой друг, какую радость доставил бы ты мне, если бы вдруг и окончательно сообщил о своем полном выздоровлении! Только тогда я с совершенной радостью услышал бы о твоём бесстрашном продвижении в том, что стало теперь целью твоей жизни; ведь сейчас я с неизменно смешанными чувствами смотрю, как вызревают твои новые «Размышления», на которые ты, несомненно, всегда тратишь часть своей энергии и здоровья!

Но при всем том надо похвалить тебя за мужество и неодолимую уверенность; такая точка опоры, безусловно, нужна, чтобы оставаться веселым и уверенным в эти смутные дни, когда все отступает и валится назад и когда что-то не видно совсем уж никакого просвета. — [— —] Если уж говорить о самых незначительных вещах, Вильманс тоже уезжает на свое старое место (в Кёнигсберг библиотекарем); на факультете шли разговоры о том, чтобы назначить преемником меня; говорили обо мне исключительно хорошее, а в конце концов пришли к выводу, что я слишком молод для должности экзаменато-

ра, организатора семинаров и т. п. и спокойно могу подождать еще «несколько семестров», а уж тогда меня всемилостивейше назначат ординарным профессором. Это, конечно, мелочь, но она мучительна именно для моего строя души. [— —]

Такое новое разочарование может заставить меня, находящегося под влиянием этих чувств, неделями и месяцами видеть все в самом безнадежном свете и уж подавно сделать для меня невозможным умение уходить от злобы дня, это высшее искусство жизни. Такова моя нынешняя болезнь, дорогой друг; и я уверен, что важнейшим лекарством от нее было бы соединение с тобой на долгий срок: как я посмеялся бы тогда над всеми этими бедами! Но не бойся, что эти жалкие мысли больного будут держать меня в плену долго; к счастью, у меня еще есть силы в удачные часы воспарять до более обыкновенного образа мыслей, и в этом заключается единственная панацея против скупости судьбы, которая так жалко дает сбыться самым горячим желаниям. —

Теперь перехожу к чему-то более отрадному: мой «Роман» непрерывно складывается воедино, хотя и продвигается медленно, потому что я работаю с одними фрагментами, и тут не должны быть слишком заметны мои усилия. — Несколько недель тому назад я получил письмо от госпожи Вагнер, которое меня очень порадовало. Она хотела получить известия о тебе, и я тотчас же отправил их ей. В остальном настроение спокойное, каких-то особенных новостей мало, кроме того, что Лист читает твои «Несвоевременные» с восхищением. — Бумага заканчивается, дорогой друг: пусть же вот так закончатся и все неясности, которые нас разделяют и угнетают. Пусть не будет у нас недостатка в мужестве и доверии — и в любви, которая нас с тобой соединяет!

Твой Э. Р.

Сердечные приветы твоим близким: прежде всего мои мысли ищут тебя среди твоей семьи, которую ты должен поприветствовать от всей души; а если ты в Базеле, то передай мои наилучшие рождественские пожелания обоим друзьям. — (Написано поистине презренным пером моей матушки.)

Мой дорогой славный друг, как ты порадовал меня своим письмом, тем более что я лежал в кровати, больной после дороги и несколько озлобленный на жизнь. Вот уж хотел бы я знать, не считали бы я себя свихнувшимся, если бы у меня не было моих друзей; а раз вы у меня есть, я благодаря вам держусь, и если мы ручаемся друг за друга (обрати внимание на это прекрасное «друг за друга»), то при нашем образе мышления в конце концов что-нибудь да выйдет, в чем все до сих пор сомневаются.

К примеру, даже Ричли, которым я нанес краткий визит — на протяжении получаса они обстреливали меня беглым словесным огнем, из которого я вышел невредимым и соответственно себя чувствовал; в конце концов они решили, что я высокомерен и их презираю. Общее впечатление было гнетущим: старый Ричль вдруг пустился в яростные издевательства над Вагнером как поэтом, затем вдруг перескочил на французов (я слышу у них почитателем французов), наконец, основываясь на слухах, но совершенно ужасно стал издеваться над книгой Овербека. Я услышал там, что Германия находится в «переходном возрасте», а потому счел себя вправе и самому немножко отрочески нагрубить (мне поставили на вид неумеренность и грубость в отношении Штрауса). Зато Штраус как автор классической прозы был и впрямь уничтожен: папаша и мамаша Ричли это установили и нашли его отвратительной стилизацией «Вольтера». —

Жил я у Фрицша и не могу нарадоваться на этого славного человека. У него все в полном порядке, в том числе со здоровьем. Моя вторая «несвоевременность» (или неумеренность) уже печатается, и в ближайшие дни ты получишь первый корректорский лист, ведь, дружиче, я всерьез отношусь к твоей любезной готовности и потому даже прошу тебя помочь мне в том или другом месте моей работы своими советами и морально-интеллектуальной правкой. Кстати, нам нельзя терять время: напечатано будет быстро, все должно быть готово к концу января.

Так что, мой милый, быстренько посылай свои исправления в Базель; ведь, конечно, при больших удалениях текста ситуация

будет несколько затруднительной, и нам нужно следить за тем, чтобы печать не останавливалась.

Оформление <текста> будет, как в № 1. Когда печать будет закончена, начнется новое издание «Рождения трагедии».

Я с большой радостью слышу от тебя, что «Роман» движется, вздымается и стучит изнутри в окружающую его яичную скорлупу. — Кого из знакомых в Киле ты наметил в издатели?

Рукопись № 2 снова переписывал Герсдорф, он очень трогательный и неоценимый друг. На днях я должен дописать свою заключительную главку и очень хотел бы управиться за сегодня и завтра. Здоровье мое шатко и так себе: уж с Нового-то года дело должно пойти получше. Ведь если здороья нет, надо его раздобыть.

Сумасшедшую радость доставили мне вышедшие анонимно «Двенадцать писем еретика в эстетике» Карла Хиллебранда (Берлин, «Оппенхайм», 1874) — какая отрада! Прочти и изумись, это один из наших, один из «Общества надежды».

Пусть же в новом году это общество будет цвести, а мы останемся его добрыми членами. Ах, мой верный друг, выбора у нас нет никакого: нужно либо надеяться, либо отчаяться. Для себя я решил раз и навсегда выбрать надежду.

Я сильно рассержен на этих отвратительно осторожных академических собратьев у вас в Киле, их страхом перед «молодостью»!

Ну, я им отомстил, в заключении своего № 2 пропев гимн молодости, который сделает очень больно этой отвратительной мелко-брюзгливой породе.

Передай от меня привет своей почтенной матушке; мои близкие со своей стороны желают тебе много счастья в новом году!

И давай сохранять любовь и верность друг другу

в 1874-м и так далее вплоть до

дней последних.

Твой Фридрих Н.

152. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 9 января 1874

Мой верный друг!

Для начала — радостное новогоднее поздравление, которое должно принести тебе счастье и *καλλίστη ὑγίεια*⁶²⁷: но будь, кроме того, благоразумен и ужасно неисторичен, хотя и не сверх-историчен, потому что это было бы для нервов нехорошо. Видишь, как я уже «акклиматизировался» в твоём № 2, как теперь говорят. Прилагаю первый только что законченный, одним махом исправленный лист, по твоему предписанию отправленный в Базель. В нем я вписал на полях (в скобках) сс. 8, 11, 13, 14 и некоторые стилистические замечания, которые предоставляю тебе принять в соображение любым способом. Мне даже не надо говорить, как я от всего сердца согласен с тобой во всем. Будущим поколениям стоит удивляться тому, с какой решительной ясностью ты в этой нашей горячке распознал симптомы болезни, которую все, конечно, принимают за румянец здоровья и которая накладывает свою неизбывную и небывалую печать на всю нашу породу, а именно постепенное прогрессирующее разрастание всяческой наивности. И мы все варимся прямо-таки в самой гуще этого недуга — именно поэтому я хвалю тон твоего сочинения, доселе сдержанный, более спокойный, даже холодно-зерцательный: ведь, в сущности, и это чувствуется само собой, здесь следует больше обвинять, чем осуждать ради осуждения. — Addio, саго⁶²⁸. Каникулы я провел в Гамбурге, где получил и твое любезное письмо. [—] Передай привет Овербеку и Ромундту.

Преданный тебе Э. Р.

153. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 15 февраля 1874

Прежде всего — наилучший воскресный привет, дружище! Ты сейчас на седом Севере? А у нас такие чистые теплые дни и много солнца, мало того, уже даже солнечные закаты густых цветов. За

всю зиму снег у нас шел только один день. А еще я с Нового года жил более благоразумно и осторожно, и сейчас могу похвалиться своим самочувствием. Вот только глаза! Мне нужен переписчик! Правда, здесь вот уже с полгода назад у меня появился очень симпатичный талантливый ученик, который уже сейчас полностью наш: его фамилия Баумгартнер, он из Эльзаса, сын фабриканта из Мюльхаузена. Он приходит ко мне каждую среду после обеда и остается до вечера; тогда я диктую, пишу письма, а он читает мне вслух. Короче говоря, для меня это настоящая находка, а когда-нибудь, я это обещаю, и для всех нас. На Пасху я снова собираюсь в Наумбург, чтобы снова вести там совершенно регулярную жизнь ради здоровья и покоя, ведь так я продержусь еще долго. С Рождества я передумал много разного и был вынужден блуждать по столь отдаленным друг от друга сферам, что сейчас, когда пошли корректурные листы, нередко с трудом понимаю, в какое время, собственно, писал эту штуку, мало того, — я ли все это написал. Сейчас я прилагаю все силы в борьбе против политических и бюргерски-добродетельных обязанностей, а при случае проезжаю даже по «анкетным данным», — Господи, помилуй их и меня!

Ко всем твоим проблемам, мой славный, преданный друг, теперь прибавилась еще проблема корректур. Все твои кивочки были использованы («высучены») мною с благодарностью, а кое-какие пятна оттерты твоей рукой. Некоторое количество проблемных мест, кстати, обязано своим существованием не мне, а копированию моей трудно читаемой рукописи. Увы, как раз для последнего листа я не смог воспользоваться твоей помощью. По многим причинам я думал, что тебе забыли переслать этот последний лист, а дело было срочное. К счастью, я сам устранил наиболее злостную помеху, а также несколько облегчил заключение, вычеркнув текст объемом примерно в страницу. Потребовался, кстати, в известной мере универсальный подход, потому что мне приходилось учитывать специальные рассуждения в следующих «Несвоевременностях». Ведь если проскочит какое-нибудь безобразие, кому от этого станет лучше? Кто станет хотя бы читать? Думаю, читатель сделает вывод о моей чудовищной глупости — и ведь он будет прав! Но я уже не выдерживаю этого благоразумия и снова отхожу от него к себе самому. Иначе я правда не могу; но ведь ты не начнешь

сразу презирать меня за это, а? Ибо я думаю, что в этих делах ты смотришь на меня сквозь пальцы, и тут ты прав, дружище! Думая о своих коллегах-филологах, я и сам порой чувствую что-то вроде стыда. Но не верю, что меня так легко выбить из колеи — и первым делом хочу выговориться до конца, ведь нет большего благодеяния, которое можно сделать себе самому! Если ты уже получил экземпляр (надеюсь, две недели назад), прошу тебя еще об одном: скажи мне со всей суровостью и краткостью об ошибках, неестественных и сомнительных местах моего текста — тут я на себя не полагаюсь, и мне нужен кто-то другой. Так что помоги мне короткими намеками, я буду очень тебе благодарен.

Есть кое-какие новости о Байрейте, и если бы только они были правдивыми! Одна очень выразительная заметка из мангеймского журнала («Органона» Геккеля⁶²⁹) передает из наивернейшего источника (т. е. от госпожи Вагнер), что представления сейчас окончательно утверждены. Вот было бы чудо! Будем надеяться! С Нового года длилось безутешное состояние, от которого я в конце концов нашел только самое странное избавление: с величайшим хладнокровием начал исследовать вопрос, почему предприятие не удалось; при этом я многое изучил и думаю, что теперь понимаю Вагнера много лучше, чем прежде. Если «чудо» произойдет на самом деле, это не опровергнет результата моих исследований. Но если всё правда, это для нас будет блаженство и пир во время чумы!

Разве тебя не пригласили в Грейфсвальд на место Шёлля? Ведь что-то же должно произойти. Я слышал, что Кёхли переходит в Берлин, будет преемником Хаупта — по крайней мере, об этом болтают в газетах. А теперь, возможно, профессорство в Гейдельберге! Это было бы уже кое-что после фиаско с Фрейбургом. А как у тебя дела с «Романом»? Ты еще не знаешь, что Хайнце у нас назначен философом, Ромундта не утвердили, потому что наивно проявился страх перед Шопенгауэром (не у Фишера, но он не всемогущ). Меня пригласили сотрудничать в одном итальянском обзоре, которое будет выходить в виде книги; я отказался, как и Я. Буркхардт. Г-жа Мейзенбург снова больна, она поехала в Сан-Ремо под Ниццей, откуда написала мне трогательное письмо. У Ольги Моно родился мальчик. Герсдорф, роскошный сельский джентль-

мен, теперь пример для моей фантазии: нам всем надо обзавестись поместьями и тогда уж тихо и без страха жить до самого конца. Но как бы там ни было — всегда вперед, отважно биться⁶³⁰!

Прощай, мой милый друг!

Твой

Фридрих Н.

154. Роде — Ницше

Киль, конец февраля 1874 (?)

Только пару строк, милый друг, чтобы очень кратко призвать тебя правильно понять мое молчание: на этой неделе мне пришлось много работать с последними курсами лекций и совершить при этом великое множество всяких глупостей, почему я не смог на покое перечитать твою книгу и сообщить тебе свою позицию. Все это я сделаю на покое в Гамбурге, куда отправлюсь на следующей неделе. Intanto, stia bene⁶³¹, но bene в собственном смысле, не с потаенными нервными болями и т. п.: дома давай как следует выздоравливай. Я все время думаю о тебе и о базельцах, которых я люблю.

У тебя есть сведения о смысле мангеймского ликующего сообщения? Если да, напиши мне в двух словах. Но тогда уж: пусть прогрехочет праздничный салют!

Видишь, как я спешу:

прощай, милый, отважный друг!

Твой Э. Р.

155. Ницше — Роде

Базель, 19 марта 1874

У меня семестр тоже подходит к концу, а именно завтра, хотя, правда, только в университете; Педагогиум по своей скупой манере больше вообще не добавляет мне полторы недели пасхальных

каникул. В этом, дружище, тебе повезло больше, но только в этом, ибо в остальном твой жребий мы, побратимы, постоянно оплакиваем, и вместе, и порознь. Я снова разработал прекрасный план на будущее, чтобы нам долго не расставаться, но придется еще несколько лет подождать. Правда ведь, что наша осенняя встреча, *concilium Rhaeticum*⁶³², состоится точно? — А теперь о Байрейте! От госпожи Вагнер нам известно — и пусть это останется дружеской тайной, — что баварский король помогает предприятию в форме ссуд размером до 100 000 талеров, что отлично продвигает работы (машины, декорации). Сам Вагнер пишет, что крайний срок — 1876-й год, он бодр духом и думает, что перспективы у предприятия теперь окончательно определились. Дай-то Бог! Все эти ожидания и опасения давались тяжело, я сам временами впадал в полное отчаяние.

Я постоянно жду от тебя сообщения о твоей действительной профессуре. — Кстати, эти люди ужасно глупы в отношении академических назначений, недавно я был во Фрайбурге и слышал там жалобы на несносного педанта и брюзгу Келлера. Ну правильно, подумал я, жалуйтесь и дальше; еще я узнал, что инициатором его назначения был Ричль. Последний молчит, и я забавляюсь при мысли, как мало он поймет при чтении моей «истории». Такое непонимание защищает его от раздражения, и это самое хорошее во всем деле.

Профессор Плюсс из Шульпфорты, лично мне не знакомый, историк, взволновал мой родной Наумбург своей вдохновенной речью о «Рожд. трагедии» и первом «Несвоевр.». Господин Бруно Майер написал длинную тяжелую статью-опровержение о докладе Дрезеке по вагнеровскому вопросу животиконадорвательной памяти, в которой я торжественно объявлен «врагом нашей культуры», а впрочем изображен хитрым обманщиком среди обманутых. Он послал мне свою статью персонально, да еще с указанием адреса; я хочу послать ему два сочинения Виламопса⁶³³. А это значит по-христански облагодетельствовать своего врага. Ибо невозможно выразить, как этот добрый Майер за Виламопса порадуется.

Д-р Фукс снова тошнотворно превозносил меня в «Еженедельнике», я уже по горло сыт этим. Да что я рассказываю тебе о хвале и хуле! Мы с тобой довольно хорошо защищены от капризов и взаимного раздражения благодаря нашей дружбе, и поскольку я сно-

ва кое-чем брюхат, хвала и хула меня совсем не волнуют. Я хорошо понимаю, что эти мои излияния — довольно дилетантски-незрелые, но мне важно только одно: однажды исторгнуть в себе самом полевически-негативный материал. Я хочу бодренько пропеть сперва всю гамму своих антипатий, снизу вверх и сверху вниз, пропеть совершенно брутально, «чтоб содрогался весь подвал»⁶³⁴. Потом, лет через пять, я отшвырну всю полемику и настроюсь на «солидный труд». Но сейчас у меня в грудь порядочно забита слизью одного отвращения и удрученности, так что мне позарез нужно отхаркаться, все равно, прилично или неприлично, и если бы только окончательно. Мне нужно пропеть еще одиннадцать хорошеньких мотивов. — К своей великой тайной радости, я снова пропустил нашего Овербека так далеко вперед, что на Пасху он снова публично разразится, на манер собственного боевого и мирного сочинения № 1. Видишь, как бодро у нас идут дела, мы рубимся направо и налево. Всегда вперед, отважно биться! — Вот только славный превосходный Ромундт внушает нам кое-какие озабоченности — он превращается в досадного мистика. К ясности он никогда не был склонен, к познанию мира тоже, а сейчас у него формируется странная ненависть к культуре вообще — и вот, как я сказал, мы (Овербек и я) несколько обеспокоены. Он немилосердно ломает себе голову над причинами восприятия, синтетическим единством апперцепций — Господь упаси нас от этого!

Мне приходят хорошие письма от многих адресатов. Мой коллега Буркхардт с энтузиазмом написал мне о своем чтении «Истории» нечто вполне хорошее и дельное. — У старого Фишера дела очень плохи, он отказался от большей части своих обязанностей и выглядит весьма серо-буро-малиново-жалко.

«Рождение трагедии» усердно печатается — наконец-то!

Когда осенью ты сможешь навестить нас? Я хотел бы уже сейчас знать об этом поточнее, чтобы все друзья могли выстроить свои планы на лето.

Прощай, сердечно любимый отшельник и романтик Севера в отношении Юга.

Кстати, все мы — странные ребята, я удивляюсь себе чем дальше, тем больше.

Твой Ф. Н.

156. РОДЕ — НИЦШЕ
Гамбург, 24 марта 1874

Мой дорогой друг!

Мне, в сущности, следовало бы все свои письма начинать со слова «наконец», ведь каждый раз всё для начала становится «наконец», пока я, в раздумьях написав множество длинных писем друзьям и продвинувшись по известному пути «паломниц неба»⁶³⁵, по-настоящему, *realiter* и *effective*⁶³⁶, не утверждаюсь на своем *séant*⁶³⁷, чтобы написать вам теперь уж во всей телесности, даже с «полной отдачей личности процессу написания писем». Вот за это, за этот органический порок, я раз и навсегда усердно прошу генерального пардону.

Сначала большое спасибо за твое письмо, из полнейшего молчания которого относительно твоего самочувствия я смею с надеждой заключить, что оно хорошее и утешительное. Но с удивлением замечаю, что ты вообще ничего не пишешь о своей «намеченной» поездке в Наумбург. Может, ты ее отменил? Тогда это определенно безрассудно. Ведь если сейчас ты и занят корректурами «мирового процесса», то я мечтаю прежде всего о том дне, когда услышу, что ты путем основательного лечения занялся приведением в нормальное состояние своей «земляной блохи», если не сказать τὸ σκῆψος⁶³⁸, то есть проклятой нервной системы, поскольку в настоящее время она все-таки все еще несколько «нестабильна». Так что береги себя самым серьезным образом, дорогой друг! Почему бы тебе не взять отпуск на пару недель?

Я имею в виду при этом *concilium subalpinum*⁶³⁹. Ты знаешь, что у меня есть время для этого с 10 августа до 20 октября. Так что более детальных планов я жду скорее от вас, чье время куда более ограничено. [— —] Нам никак нельзя отказываться от этой великолепной встречи, которой я заранее радовался всю эту снежную зиму. [— —]

Теперь кое-что об «Истории»⁶⁴⁰. Если ты ждешь разъяснений насчет своего стиля и тому под. от меня, то я, конечно, мог бы возразить, творя кровавую месть Э. ф. Гартману: бесполезно притворяться, плут из плутов! Ты ведь знаешь, что ученику не дают исправлять работу господина учителя. Между тем несомненно, что лучше уметь

и больше знать — разные вещи и что в некоторых деталях иногда можно обладать последним и в то же время в первом быть «ни бе ни ме», как говорят саксонцы. И вот я хочу, по твоему требованию, указать на всякие вещи, на которые можно, пожалуй, смотреть иначе. Настоящий изъян общей композиции я вижу в четвертой главе. Очень верное замечание о противоположности внешнего и внутреннего сделано слишком внезапно, как выстрел из пушки, а, в сущности (на с. 36), как икота. Тут я отмечу один недостаток, который мне нередко тычут в нос посторонние и которым отчасти обусловлена трудность твоих книг. Ты слишком мало дедуцируешь, оставляя на долю читателя больше, чем правильно и положено, а именно самому наводить мосты между твоими идеями и утверждениями. Конечно, кропотливое выведение второго из первого, третьего из четвертого и т. д. *in infinitum*⁶⁴¹ часто бывает смертельно скучным, но ошибка противоположного метода, доведенная до крайности, часто делает книги об и без того сложных предметах чертовски утомительными, как это бывает, к примеру, у Вагнера почти во всех его сочинениях (за исключением «О дирижировании» и «Еврейства <в музыке>»). В этом специальном случае, в № 4⁶⁴², взаимосвязь между чрезмерным историцизмом и его фатальной антитезой, о которой ты говоришь, вовсе не становится ясной, поскольку ты нигде не высказал ее выразительно и убедительно. Эта антитеза, как можно было бы подумать, могла бы возникнуть и в том случае, если бы немцы по своему прежнему обыкновению все еще оставались творцами абстрактных теорий; а поскольку она связана как раз с чем-то противоположным этому прежнему обыкновению, а именно с современной «прекрасной фактичностью» и ее дьявольской манерой заниматься сотней тысяч вещей, которые, на такой лад, каким ими занимаются, совсем не подходят в виде полезного питания ни характеру, ни собственной воле, ни жизни, ни общей духовной конституции человека, — это в принципе означает, что она проведена там и сям, но недостаточно. Именно поэтому, я боюсь, твои прекрасные замечания в № 5 о неэффektivности даже самого великого и могущественного человеку далекому покажутся не столь ясными, каковы они сами по себе. Нет четкой взаимосвязи, в том числе с № 4 (для чего, кстати, эта вредная перебивка «В пятерюком отношении» и т. д.? Это было бы уместно в начале № 4), которая, как

я предполагаю, должна была быть такой: люди согласились со всем величием бесконечного прошлого так холодно и «объективно», то есть равнодушно и без личного отношения, достигнув в этом столь гнусной виртуозности, что теперь эту виртуозность переносят и на настоящее, удивительные события и удивительных людей сразу же, заученным образом понимают «по историческому методу», по которому, избавившись от изумления, имеют возможность управиться с великим, теперь уже «понятым», и больше никому не позволять нарушать свой уют. Короче говоря, дружище, для воздействия твоих книг было бы безусловно бесполезно, если бы ты уже в набросках более решительно приравнивался к самому примитивному уровню понимания почтенной публики, которой такого рода идеи и без того ужасающе чужды и совершенно непонятны. Посмотри как-нибудь, к примеру, английские дедуктивные сочинения: эти типы со своим стилем здравого смысла, конечно, частенько бывают смертельно скучными, но лучшие из них прекрасно, без назойливости, справляются с трудным искусством логического изложения. Это не относится лишь к Карлейлю, он ритор, превосходный, глубокомысленный человек с горячим сердцем, который, однако, совсем не умеет ходить, а может только прыгать, и как раз этого-то, по крайней мере в быту, следует избегать. —

Должен поругать тебя за еще один грех. Ты, как мне кажется, время от времени используешь не вполне удачные, а часто и вовсе сильно хромающие образы дольше, чем полезно для их воздействия. Таков, скажем, образ дерева на с. 30. Я хорошо понимаю, откуда это берется. Наш язык очень далеко ушел от правильной образности, которая изначально присутствовала в каждом слове языка (ты понимаешь, что я имею в виду). Я часто вижу по собственной писанине, насколько серыми, абстрактными, безобразными сделались наш язык и сфера выразительности. Возможно, виной тому — преобладание научной прозы, в том числе и в особенности шлейермахеровщины и гегелевщины. Так, мы, возможно, и впрямь выражаем свои мнения точнее и вернее, чем более ранняя эпоха, но у нас нет этой прелестной сопричастности множества представлений, подразумеваемых благодаря образным словам. Такую засушенность переживаешь с досадой, пытаясь слегка смягчить ее употреблением намеренно образных выражений — намеренно не

потому, что они навязываются спонтанно, инстинктивно, а потому, что образное начало при этом ощущаешь постоянно и удерживаешь и как раз потому невзначай наносишь слишком много красок и удерживаешь слишком долго. Впрочем, как раз в твоём стиле мне нравится насыщенность, или, в ростбифной метафоре, сочность выражений, богатых образностью ещё и самих по себе, что, наряду с тысячью других особенностей, так великолепно отличает тебя от нынешних писак. А вот в фугированном проведении действительных образов ты часто перебарщиваешь. Я чувствую это, потому что у меня и у самого так получается с лёгкостью.

Я даже не упоминал бы обо всём этом, если бы куда как больше, чем эти отдельные изъяны, не чувствовал так глубоко силу и красоту твоего стиля, если бы не соглашался с тобой от всего сердца во всех идеях твоего сочинения и не пил из него полными глотками познание, подтверждение, наставление. Поэтому ты не поймёшь меня и так, будто я стремился исправить твои ошибки с миной школьного учителя и, согласно известному стихотвореньицу Грильпарцера⁶⁴³, чувствовал чуть ли не своё превосходство в том предмете, о котором пишу. — Кстати, ещё кое-что, дружище. Порой у меня возникает впечатление, что отдельные куски и фрагменты <твоего текста> сначала приняли свою собственную законченную форму, а потом, так и не растворившись в потоке металла полностью, были внедрены в готовое произведение. Но я могу и заблуждаться.

На этот раз хватит мне брюзжать. В остальном каждое твоё новое сочинение создаёт между нами новую связь: я всякий раз заново понимаю, насколько глубоко общим выступает наш способ восприятия всех важных вещей, так что я даже не удивляюсь всем глубоко продуманным идеям твоих сочинений, ведь, стоит мне хоть раз их услышать, я всей душой переживаю их как свои собственные. Какой, кстати, вид на самом деле принимают в глубине своих душ наши *confratres in philologicis*⁶⁴⁴, от меня совершенно сокрыто. Всякий настоящий филолог-классик и даже настоящий филолог-германист должен быть заранее согласен с такими идеями, каковы твои идеи об исторической науке, которые разъяснят им, филологам, к примеру, бессмысленный антагонизм, состоящий в том, чтобы опустить классическую филологию до «чисто исторической» науки в самом современном смысле слова — а изначально

она ею не была и не собиралась, — но все-таки в гимназиях дать ей преимущество перед другими «чистыми» историями: за это все еще выступают, пользуясь самыми диковинными оборотами и в силу остатка инстинкта. Да, как эти господа будут бушевать, браниться и брызгать слюной! Зато я сейчас, кстати, раз и навсегда стал совершенно невосприимчивым. Я даже частично прочел обстоятельного господина Бруно⁶⁴⁵. Пошли-ка ему Мопса, они друга поймут: Arcades ambo⁶⁴⁶. Мы, разумеется, больше никогда не будем реагировать на атаки. Фукс мне на глаза еще не попался. Да здравствует, кстати, бравый Плюсс: видимо, в филологических умах еще сохранилась кое-какая дельность. В остальном, как я уже говорил, я все меньше понимаю эту породу. Irenaeum⁶⁴⁷, кстати, видимо, расстроит та библиографическая заметочка. Я жажду поточнее узнать о высказывании Буркхардта; он остается несравненным умом, которому в молодые годы не хватало только способности надеяться и, возможно, как следует, увы, сказать, — способности к жизнеутверждающей иллюзии.

Итак, бодро приступим ко второму «Рождению»⁶⁴⁸. Ты только давай мне читать корректуры, если доволен моей последней помощью. — По поводу *** вам беспокоиться на стоит. Мистическая склонность есть, наверное, у всякого серьезного человека, и она стремится в нем отпылать. Я, скорее, всерьез опасаюсь за его внешнюю карьеру. Я хотел бы, чтобы ему как-нибудь помогли в этом. Моего назначения ординарным профессором ты можешь ждать еще долго. Я знаю слишком мало коллег и не чувствую никакой охоты знакомиться с другими. К тому же я совершенно не владею ухищрениями ambitus>a⁶⁴⁹.

Прощай, мой верный друг, будь здоров и передавай привет бабельским друзьям.

Твой Э. Р.

Что касается Байрейта, то я все-таки пока отложил «праздничный салют»: как бы снова вслед за ним не прокралось какое-нибудь разочарование! Я еще не могу как следует обрадоваться.

Киль, 10 мая 1874

Мой дорогой друг!

Чем старше становишься — а я уже начинаю чувствовать, как жизнь, словно рыхлый песок, расплзается под ногами, — тем больше ощущаю абсурдность письменного общения между людьми, которые должны прожить эту короткую и сомнительную жизнь вместе в личном общении, поскольку составляют единое целое. Поэтому не имеют никакого смысла попытки закрепить на листе бумаги какую-нибудь из бесчисленных минут, из которых складывается жизнь — а уж в общем смысле и звучании, пронизывающем все эти минуты, хотя лишь в виде страстного желания, друг уверен и без того.

Я хотел сказать, что эта мудрость относится только ко мне, от тебя же, дорогой друг, я хочу и жажду слышать многое часто и гораздо чаще, чем это бывает. Ведь ты мужественно и обнадеживающе деятелен, и тебя поддерживает дух музыки, живущий в тебе. Я ползаю в пыли и все дни, в неизменно жалких состояниях, по которым влачит нас жизнь, живу в поистине упадочном малодушии. Неприятно об этом говорить, а потому, дружище, прошу тебя, почаще подавай мне знаки своего внимания, своей общности со мной, без которой мне совсем не хочется жить и дышать. Какое-то ужасающее малодушие вырывает из моих рук все другие планы, желания, надежды — оно, иногда по ночам при внезапных пробуждениях, наваливается на меня, словно удушающий кошмар, и тогда я кажусь себе потерянно блуждающим, как в пустыне, без друзей, без отрады, нелюбимым всеми кругом, неуверенным в своем существовании, которое представляет глупостью любой серьезный подход к хоть какой-то надежде, к плану жизни. Всё это химеры, не соответствующие правде, но для того, кто рожден под несчастливой звездой, тысячи и тысячи мелочей способны запутаться в такой заколдованный моток отвращения, что если он так возбудим, как я, они становятся бесконечным мучением и помехой, а какое-нибудь ничтожное разочарование — символом неудавшейся во всех отношениях жизни. —

Вот тебе отвратительная история болезни. У меня нет никакой другой отрады, кроме мысли о том единственном, что у меня

есть: о твоей дружбе, мой дорогой и преданный друг, дружбе, подтверждения которой каким-нибудь знаком я хотел бы видеть чаще. Ты дашь мне силы несколькими мужественными и бодрыми строками больше, чем может сделать тысяча моих головомоек самому себе по поводу этой нелепой робости. —

Мой «Роман» под столь мрачными небесами моего настроения подвигается очень медленно: я могу работать, только когда весел. [— —] Скоро я снова выкарабкаюсь из этой жалкой пещеры уныния, а riveder le stelle⁶⁵⁰. От всего сердца,

Твой Э. Р.

158. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 10 мая 1874

Ну что, дружище, вот и снова мы с тобой в заботах начала семестра? Кусок моих каникул размером в полторы недели был быстро проглочен, но последние 6 недель я использовал хорошо, сочинив до конца свой «Гимн к дружбе» и наилучшим образом записав его на бумаге для четырехручного исполнения. Эта песнь спета для вас всех и звучит бодро и душевно; думаю, с таким настроением мы выдержим еще изрядную долю жизни. Кроме того, № 3 моих «Несвоевременных» готов настолько, что мне надо только дожждаться теплого плодоносного ливня, а после него он внезапно появится на свет, как ростки спаржи.

В Байрейте очень огорчены и обеспокоены той меланхолией, которую я, наверное, выдал в одном из писем; но мне хотя бы известно, что это не досада и не раздражение. В остальном все идет так же. Доброго здоровья! И никаких нервов, уж я-то об этом знаю. Обнимаю тебя, дружище,

Твой Фридрих Н.

Базель, 14 мая 1874

Вот, мой дорогой бедный друг, кое-какие *anti-melancolica*⁶⁵¹, которые были мне прописаны в первую очередь. По ним и по аналогии, примененной к себе самому, ты поймешь, что меня мучает, — но не в том смысле, чтобы я жаловался на это первым из нас, потому что знаю, насколько сильно и куда больше меня страдаешь ты. Нередко я думаю, что для тебя было бы приятнее, если бы ты слышал от меня только хорошее и лишённое сомнений; но загляни в приложенные письма — иногда я ужасно пускаю нюни и всегда с глубокой меланхолией, при всей веселости, осознаю, что со мной творится, а раз уж изменить ничего нельзя, я делаю ставку на веселье, выискиваю то, в чем мое жалкое состояние совпадает с всеобщим и всячески избегаю принимать его как сугубо личное. Господи, я выражаюсь так темно и неумело, но ты меня поймешь.

Кстати, я снова погряз в выдумывании планов, нацеленных на то, чтобы целиком и полностью обособиться и от всех официальных отношений с государством и университетом вернуться к самому разнузданному одиночному существованию, бедственно-простому, но достойному.

Пока что я выбрал Ротенбург-об-дер-Таубер⁶⁵² своей частной резиденцией и пустыню; летом собираюсь осмотреться в нем. Там по крайней мере жизнь еще течет на старонемецкий лад, а я ненавижу бесхарактерные эклектичные города, утратившие свою цельность. Так, наверное, будет правильно. Там даже можно будет, надеюсь, вынашивать мысли, строить планы на десятилетия и доводить их до конца.

Моя «История» послужила причиной очень симпатичного письма из Флоренции — с совершенно незнакомого адреса: Э. Гверрьерри-Гонзага⁶⁵³. Кажется, это женщина.

Молодой Фишер-Хойслер пожертвовал нашему факультету (чьим деканом я являюсь) 100000 франков на учреждение кафедры филологии и сравнительного языковедения. — Старому Фишеру все хуже — что-то ужасное с мочевым пузырем. — Хайнце, которого я очень хорошо знаю, завтра читает свою вступительную лекцию «О механистическом и телеологическом мировоззрении».

Мое следующее «Несвоевременное» будет называться «Шопенгауэр среди немцев».

Д-р Фукс снова сблизился со мной, и я про себя простил ему все, что внушало мне в нем опасения. Он много трудится, над жизнью, над собой.

Сегодня погода такая, что можно отдать Богу душу, — пронизывающий холод и сырость.

Да не будь ты безутешен так, будто совсем одинок, — боль и любовь, всё связывает нас; и потом, давай все-таки всерьез подумаем о том, что нам нужно для того, чтобы быть вместе навсегда.

Если бы мы были хоть немного более обеспечены! —

Ведь в этом случае и минимум — уже чрезвычайно много. Напиши мне, что думаешь об этом.

Я с удовольствием послал бы тебе свой «Гимн», но у меня такая беда с тем, кому отдать его в переписку, что я потерял всякое мужество.

На следующей неделе день рождения Вагнера.

Прощай, от всего сердца любимый друг.

Твой Фридрих Н.

Товарищи, Овербек и Ромундт, велели тебе кланяться, то же и моя сестра, которая уже две недели снова у меня в гостях.

160. Ницше — Роде

Базель, предположительно 25 мая 1874

Только несколько слов — в знак моей любви и благодарности. Шлю тебе сегодня письма и неизменно думаю о том, что все хорошее, выпадающее на мою долю, должно принадлежать и тебе.

Рекомендую для увеселения: «Э. фон Гартман о Ромео и Джульетте» (он либо шельма, либо овца, и это навсегда!). Не думал я, что так скоро снова окажусь перед таким выбором с этим господином.

Ты уже читал письма эстетического еретика⁶⁵⁴? Самочувствие отличное; сегодня начались каникулы.

Скоро напишу подробнее.
Твой Fridericus.

161. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 1 июня 1874

Любезный друг,

только что, опять-таки от Герсдорфа и байрейтцев, я узнал, что мною снова сильно обеспокоены, что находят мое поведение опасным, окрашенным мрачным юмором и гумором и т. д. Я поделать тут ничего не могу, некоторые люди издали видят лучше, чем я с минимального расстояния, а потому, наверное, в такой обеспокоенности что-то есть. Но вот мое самочувствие с телесной стороны хорошее, желудок, стул, цвет лица — все в полном порядке, а к тому же я снова нахожусь в сносно-продуктивном душевном состоянии, то есть весел, моя сестра со мною, короче говоря, я выгляжу настолько похожим на человека счастливого, насколько вообще представляю себе, что такое счастье, а что нечто подобное существует, в этом нет никакого сомнения.

Теперь прочти письмо Герсдорфа и подумай о том, что оно относится и к тебе тоже. — Если б я только знал, что дела у тебя обстоят не хуже, чем у меня! Я вздыхаю, когда думаю о тебе.

Скажи-ка, дружище, не хочешь ли и ты применять один приемчик, который применяю я сам, а заодно и Овербек? Надо вскрыть себе жилы и выпустить немного крови — несвоевременно, как вопят другие, которые считают кровопускание анахроничным и устарелым лечебным средством. Я имею в виду: не хочешь ли ты выплеснуть немного наружу свое и наше бедствие и высказать, от чего ты страдаешь? Совершенно несомненно, есть какое-то облегчение в том, чтобы сказать людям прямо в лицо, как на самом деле чувствует себя среди них наш брат. Устраним ленточного глиста меланхолии письменным способом, вынудив других глотать наши сочинения.

У вас тоже такие чудные лунные ночи? Не хочется уходить домой, а порой я действительно думаю, что воздух поет. — Я только что написал предисловие к своему третьему «Несвоевременному».

Наилучший, наисердечнейший
воскресный привет!
Твой Фридрих Н.

162. Ницше — Роде
Базель, 14 июня 1874

Дружище, меня и нас беспокоит, что мы о тебе ничего не слышим: удается ли работа? Вышел ли ты хоть немного из пещеры Одолламской⁶⁵⁵? Здесь все идет как надо и как подобает, многого можно ожидать от осени и нашей встречи, скоро я как-нибудь засяду за своего рода программу; для вечерних бесед у меня появилось кое-что Прекрасное, о котором ни ты, ни вы все еще ничего не знаете.

Недавно здесь побывал твой земляк Брамс, и я много его слушал, прежде всего его «Триумфальную песнь», которой он сам дирижировал. Разобраться с Брамсом было одним из тяжелейших испытаний для моей эстетической совести; сейчас у меня уже есть кое-какое мнение об этом человеке. Но еще очень шаткое.

Только что я написал письмо своей новой приятельнице из Флоренции; я говорил тебе о ней? О маркизе Гверрьерии-Гонзага? Может, ты читал или слышал о переводе Гверрьерии из «Фауста»? Хиллебранд очень его хвалил; его выполнил брат ее супруга.

Кстати, я слышал, что Хиллебранд собирается разразиться статьей о моей «Истории» в «Аугсбургерше». Так пишет г-жа Мейзенбуг.

Мы надеемся (говоря совсем тихо) получить Виндиша для учрежденной здесь кафедры сравнительного языкознания. Странно, правда?

Старому Фишеру становится совсем плохо, опасения врачей очень серьезны; полагают, что этот год он не переживет. — Наш старый Хагенбах умер.

Прощай, милый верный друг.

Будь добр, напиши словечко, только чтобы мы знали, хватает ли у тебя веселья и храбрости.

Не положиться ли нам как-нибудь на лотерею?

Твой Ф. Н.

163. Роде — Ницше

Киль, 17 июня 1874

Прости меня, дружище, за то, что я снова так надолго промедлил со своими прекрасными планами написать тебе, так что возбудил у друзей ненужные опасения. К счастью, они не нужны совершенно: ибо я страдаю только от одного известного *torpor*⁶⁵⁶ чувств и отвратительного отвращения к общению. Поэтому-то я полностью погружаюсь в глубины чудеснейшего моря моего романа и наслаждаюсь тамошними безумными созданиями, прикрытыми личинами, и прочими шиллеровскими морскими чудовищами⁶⁵⁷. Туда не проникает даже самый дальний колокольный звон — в мое одиночество и отстранение от всего внешнего. Ты только не беспокойся обо мне ни в каком отношении — такие глупые вспышки, которые есть в моем последнем письме и о которых я сразу пожалел, уже отослав его, бывают у меня редко. Обычно мое настроение по большей части *né trista né lieta*⁶⁵⁸, и это совершенно нормально.

Публичное выражение моего образа мысли, какое ты рекомендуешь мне в качестве целительного кровопускания, я отложу на куда более позднее время, когда стану более зрелым: я такое существо, которое зреет очень долго, и кольца на мне нарастают <, как на дереве,> очень постепенно. Сейчас я и впрямь не чувствую себя достаточно зрелым, чтобы публично выступать на общие темы, — мне требуется ствол конкретного предмета, по которому я мог бы взобраться наверх.

Кстати, прошу тебя, дружище, об одном: сделай так, чтобы я получал от тебя достоверные и полные сведения о твоём истинном

настроении, ибо для чего же нам скрывать друг от друга свои беды, руководствуясь ложно понятой жалостью, а не совместно нести груз того, что мы переживаем одинаково? Кстати, ты наверняка не сможешь долго выносить вечные и ежедневные мучения, которые, должно быть, доставляет тебе должность в университете в зависимости от обстоятельств. Только не принимай решения быстро, как советует тебе и Герсдорф. Черт возьми, разве нет уже на свете богатых женщин, желающих выйти за нас, неотразимых молодых людей! С лотереей ничего не выйдет: мне по крайней мере в игре не везет. Да и в любви тоже: вокруг меня водятся только такие женские существа, которые в прошлой жизни уж точно были гусынями или кошками; а поскольку я уже тогда, вероятно, был ослом, как известный друг Пифагора, то между мною и ими никак не складывается *φυσική συμπάθεια*⁶⁵⁹. Если бы у меня в друзьях, о чем я сейчас читаю так много, был какой-нибудь ракшас, то я — да и ты тоже — вскоре купался в золоте и свысока поплеывал на всех невест-миллионерш! — Так напиши мне о своих планах на каникулы! — Я с великим благоговением читаю «Божественную комедию» Данте. — Не мог бы ты при случае дать понять госпоже Вагнер, что я давно испытываю угрызения совести за то, что не писал ей, — я сделал бы это уже в ближайшее время, но сейчас так пуст и глуп, как выжатый лимон. — Передай многочисленные приветы друзьям, а также бедному старому Фишеру; передай также мое почтение сестре. — Отклик на <твою> «Историю» здесь глух, ух, ух. Это новейший и самый верный способ уничтожения. На Пасху в Гамбурге я видел ее выложенной в каком-то читательском кружке, она была буквально зачитана до дыр и захватана грязными пальцами, в чем обыкновенно выражается у немцев интерес и глубокое уважение. Addio,

Твой Э. Р.

164. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 4 июля 1874

Любезный друг, у нас стоит жара, жажда каникул все сильнее; я хотел было управиться со своим № 3 «Несвоеврем.» раньше, но никак не получается — по причинам телесным. Если бы только все вышло в точности так, как мне хотелось! Я рад сообщить тебе об этом. Ведь я на самом деле думаю, что это должно принести нам всем пользу и набраться сил (потому что я ощущаю это на себе). Я и правда говорю на основании опыта, советуя тебе: некоторые вещи можно стряхнуть с себя и со своей души — по крайней мере, на порядочное время. В этом смысле я вообще не понимаю, что такое «зрелый» и «незрелый», ведь человек выкручивается, как может, только для того, чтобы выстоять. Я никоим образом не хочу, чтобы такие вещи втягивались в литературу. Если они и обладают какой-нибудь ценностью, то это их нелитературная сторона: вещи, писать на которые рецензии просто глупо. —

Наш добрый старый Фишер при смерти, вся семья с ним рядом, и смерть может наступить каждый день и каждый час; надо надеяться, что она избавит его от невыносимых болей. Из всех базельцев он, несомненно, тот, кто одаривал меня самым большим и широким доверием, в том числе в сложных обстоятельствах. Коротче говоря, в его лице я многое потеряю, а университет станет ко мне еще несколько более безразличным, чем уже есть. Мы, Овербек и я, сейчас и так в почти жуткой изоляции, а там и сям можно заметить признаки того, что нас боятся.

Я сделал предложение насчет нашей осенней встречи — чтобы каждый из нас привнес в нее что-то из своих сокровенных запасов.

Пусть Господь благословит тебя и твой «Роман» и дарует тебе прохладные дни с чистым небом и сонные ночи, полные лунного и кометного света. Я жажду холодной горной воды, как последняя скотина.

Будь вполне здоров.
Твой Fridericus.

165. Ницше — Роде

26 сентября 1874

Дружище, старая вдова заманивает меня из своего затхлого угла, ты уж верни ей ключ от квартиры, который прихватил с собой в поездку.

Сегодня, наконец, последний час перед каникулами, из школы я прямо на вокзал, оттуда на Риги, вместе с Ромундтом и Баумгартнером, а уж там надо попробовать лечение огромным количеством молока и горного воздуха.

Ночью я спал мало, несколько часов пережевывая в душе одно глупейшее дело, но не смог отделаться от него, хотя в то же самое время смеялся над собой. Жалкие мы люди! Один из моих четырех изувеченных Эсхилом студентов задним числом открылся — он по профессии обойщик, ему 30 лет, а за греческий он впервые взялся на 29-м году.

Сегодня жду, что придет последний корректурный лист. А бедняга Овербек приклеен к месту и ехать вместе со мной не может, потому что до 5 октября должен прочесть еще 8 листов корректур. Жалкие мы люди!

Потом мы жалели тебя и нас за то, что Киль и Базель так странно сошлись под знаком Скорпиона. Только не делай из этого слишком уж мрачную картину! В нашем доме температура в среднем на один градус больше; в то же время мы на сей раз жили прямо-таки согласно омерзительному обороту Фукса: вдоволь нахлебавшись.

Ах, мой славный друг, я места себе не нахожу, хоть на стенку лезь. Если я сейчас еще и останусь без друзей, на душе у меня будет мрачно и мерзко. Слава Богу, что вы у меня есть, и ты, дружище, и ты!

Твой верный

Ф. Н.

Вчера вечером, дружище, я вернулся с гор, а сегодня утром с поздравительного письма к тебе должна начаться и получить благословение предстоящая зимняя жизнь. У меня нет недостатка в мужестве и полном доверии: я привез их с собой из тишины гор и озер, где я очень скоро заметил, в чем имелся недостаток или, скорее, в чем был избыток. В эгоизме — а он появляется от бесконечного копания в себе и длящегося страдания. В конце концов непрерывно чувствуешь себя, как будто у тебя сотня язв и каждое движение причиняет боль. А ведь и правда, мне уже совсем скоро будет 30 лет, и тут уж дело должно пойти несколько иначе, а именно более мужественно и стабильно, без этих проклятых метаний вверх-вниз. Продолжать свой труд, как можно меньше думая о себе, — вот, наверное, то, что нужно. Иногда, как следует поразмышляя, я кажусь себе со своей мучительной робостью прямо-таки неблагодарным и глупым: я подумал о том, сколь исключительные дары принесли мне последние 7 лет, а я так и не прочувствовал до конца, что значат для меня друзья. Ведь на самом деле я живу благодаря вам, я иду вперед, опираясь на вас, поскольку мое чувство собственного достоинства слабо и жалко, и вам приходится все снова ручаться передо мной за меня самого. К тому же вы для меня — лучшие примеры, потому что и ты, и Овербек несете свой жизненный жребий с большим достоинством и с меньшими жалобами, хотя в некотором смысле у тебя с этим хуже и труднее, чем у меня. И чаще всего я ощущаю, насколько вы превосходите меня ласковой расположенностью, меньше думая о себе. Я много размышлял об этом в последнее время, и уж это я могу тебе сказать в письме по случаю дня твоего рождения.

Я провел несколько дней вместе с Ромундтом и Баумгартнером на Риги, а потом славную неделю один в Люцерне. Моими соседями по столу были епископ Райнкенс и профессор Кноод. Сегодня вечером пройдет освящение самого последнего <средства> Иммермана⁶⁶⁰; мы трое будем ассистировать. Я много раз был в Трибшене, где мне не хватало столь многого; в Люцерне я излил душу вместе с графиней Бассенхайм, она тоже чувствует себя совершенно «осиротевшей» после переезда Вагнера и была откровенно рада

услышать о Байрейте что-то новое и более точное. Герсдорф придет только около 12 октября, ты видишь, как разваливается на куски наша осенняя встреча, ведь он снова попадет на рабочее время — мои занятия начнутся с 10-го. Овербек все еще сидит за корректурой, я с ней уже справился и с часу на час жду поступления готовых экземпляров, чтобы сразу же отправить один из них тебе. Меж тем мне приблизительно уяснилось содержание № 4-го, что меня очень порадовало, поскольку я воспринимаю это как подарок. У Ромундта литературные замыслы, он частным образом организует такого рода государство и такого рода религию. Д-р Фукс, переслав приветы и концертную программу, показал тем самым, что дело еще не кончено, а Овербек написал ему хорошее честное письмо обо всех наших затруднениях. Баумгартнер оставил мне свой большой портрет, который отменно удался. Круг и Пиндер разъезжают туда-сюда со своими женами и встретятся в Гейдельберге; Круга я, увы, упустил, как и Дойсена, который тоже проезжал через Базель и хотел встретиться со мной.

Деньги и ключ пришли, большое спасибо. Герсдорф поселится в той же квартире, и мы с ним будем много говорить о тебе. Если твой «Роман» готов, прошу тебя, телеграфируй, и мы срочно устроим небольшой праздник. Как хорошо было бы, если бы ты мог слушать хоть немного музыки, музыки нашего склада!

На улице самая солнечная осень, и на моем столе такие прекрасные виноградные гроздья, что я хочу только одного — чтобы ты смог их отведать, мы сидели бы рядом, и я немного поиграл бы для тебя; я даже привез из Люцерна отличных сигарет. Но все это снова не сбылось.

Прощай, мой милый верный друг, и оставайся расположен ко мне, как и прежде, — тогда мы уж как-нибудь продержимся на этой земле еще.

Твой верный
Фридрих Ницше

Я сообразил, что у меня есть один напечатанный экземпляр №-а 3, правда, только в виде пробного оттиска. Как бы там ни было, он придет к тебе вовремя, если придет как раз к 9-му.

167. Роде — Ницше
Гамбург, 13 октября 1874

Мой самый любимый друг!

Пусть мои пожелания к твоему тридцатилетию и впрямь привнесут благополучие в твои дела и в твое сердце! И прежде всего — в строптивую телесную сферу, в проклятую *σαρχίον*⁶⁶¹, на которой вынуждена играть возлюбленная душа, как на чувствительном и легко ломающемся инструменте. Чем дольше живешь, тем яснее понимаешь, что самое простое — это на самом деле и лучшее, самое ценное, и потому я желаю тебе, совершенно по-бюргерски, чтобы в следующем твоём году дела у тебя со здоровьем и житейским весельем пошли лучше, чем в прошедшем. Тебе надо подавить в себе вовсе не пока еще тлеющий остаток эгоизма, как ты стремишься, а, поскольку ты принял на себя глубокую боль абсолютной истины, то должен избегать, словно наисквернейшей болезни, этой самой разочарованности, которой уже нет никакого дела до собственной персоны, и хотя бы не дать совсем погаснуть огню в очаге личной потребности в счастье, огню, вокруг которого другие привыкли так ревностно и успешно расставлять все свои горшки и сковородки. Если особенные условия жизни, каковы, к примеру, твои, делают невозможными и неисполнимыми все более глубокие и горячие пожелания, человек тем более склонен пренебрегать и глупыми, мимолетными моментальными облегчениями, мало того, с отвращением отбрасывать их как помеху беспрестанным глубинным раздумьям. Поверь мне, тебе с твоим сильным и болезненно неудовлетворенным пафосом необходимо отнюдь не разрушительное отречение, а тем более искреннее обращение к жизни с ее развлекательным разнообразием и утешительным теплом. Конечно, она предлагает лишь паллиативы, но даже их следует ценить выше болезни, которая с такой легкостью вызывает непреодолимо мощный стимул к деятельности, если в нем нет сильных иллюзий, призванных, собственно, сопроводить его и проносить над его опасностями. — Итак, по-моему, не стоит навсегда отказываться от веселого, а при случае и дерзкого настроения, — ведь только оно и может охранять и закрывать столь ранимую глубину души от этого мира, пошлого до дна. Нам,

прочим, это будет даваться куда легче, какими бы тяжеловесными немцами мы ни были, ведь именно наше личностное начало держит нас в плену гораздо более крепко и бесцеремонно, чем тебя; но именно поэтому тебе для самосохранения следует пожелать большей дозы эгоизма, потворства своему земному «я» и своим самым невинным душевным потребностям. —

За чудесную посылку на день рождения, за твой № 3, пока — только моя благодарность; прежде чем сказать что-то о нем, мне сперва нужно еще раз основательно проштудировать его в тишине, потому что 9-го я, естественно, его только быстро пролистал. Теперь и Овербек должен как можно скорее справиться со своим опусом, тогда-то я и увижу, наверное, тот урожай, при созревании которого я, правда, только в виде зеваки, присутствовал, — в значительной степени почти уже сжатый на моих глазах. Несмотря на то, что тогдашние обстоятельства были неблагоприятны, пребывание в Базеле все-таки стало для меня драгоценным, я увидел вашу жизнь вблизи, а также хорошо и отчетливо ощутил многообразие различий между нашими натурами, и тем отчетливее прочувствовал, насколько сильно, при всем при том, глубокая общность ощущений, устремленности и желаний создает ту симпатию между нами, которая, при неизбежных расхождениях разных индивидов, способна соединить группу людей дружеской связью на фоне смутной чужеродности окружающих. — Я вернулся согласно своей программе. В Гейдельберге я так и не встретил Риббека, [— —] в Майнце опоздал на пароход и потому целый день не без приятности провел там, в этом видном епископальном городе. Затем была по-осеннему туманная, но отчасти прекрасная поездка по Рейну, через Кёльн сюда, домой. Здесь [— —] я, чего мне никак не удавалось сделать во время других каникул, довольно далеко продвинулся со своим «Романом». Правда, до конца зимы он готов не будет; но я надеюсь, что за время месяцев тумана он обернется в золотое облако и избежит кильских неприятностей. Сколько праха мне при этом приходится глотать, не передать словами; но каких стараний мне стоит в какой-то степени избавиться от этого праха читателя! — [— —] О вас всех вместе я люблю думать за чашкой чая (к которому я полностью обратился, отвернувшись от немецкого ядовитого пива), в уюте теперь, как

я надеюсь, безмятежных и немного более свободных вечеров: я хотел бы, я мог бы, откладывая в сторону перо по вечерам, без обиняков войти в ваше дружеское застолье. [— —] На сегодня доброй ночи и доброго дня, доброго года на послезавтра и навсегда. С прежней преданностью,

твой Э. Р.

168. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 15 ноября 1874

Дружище, я по уши погряз в зимнем семестре, и настолько, что в состоянии разве что мельком прищуриваться на все хорошее вблизи и вдаль, а в нашем с тобой случае писать только совсем уж коротенькие письма, и даже, боюсь, нечасто. Во-первых, у меня «История литературы», во-вторых, «Риторика Аристотеля», затем еще семинар и школа, короче говоря, у меня дни и недели расписаны по часам, и я самым мучительным образом живу по этим часам, иначе не получается. — С глазами у меня на удивление сносно, лучше, чем я ожидал. Но вообще здоровье бунтует. Зато этой зимой не будет никакого нового «Несвоевременного», принуждать себя ни к чему.

Своим № 3 я вызвал в Байрейте совершенно невероятный фурор, да и вообще, кажется, моя работа идет в мир под доброй звездой. Шмайцнер теперь получил еще и «Христианскость» Овербека, и мои №№ 1 и 2. При этом оказалось, что их продажи были довольно плохи: Штрауссиады продано чуть больше 500, а «Истории» — меньше 200 экземпляров. Какое уж там будущее!

Ромундт думает, наконец, заняться школьными уроками с Пасхи; для нашего бедного друга будет плохо уехать, плохо <было> и приехать. И все же сейчас мы считаем в любом отношении необходимым для него отказ от академического философствования, и главным образом потому, что как личность он чувствует себя в нем плохо, частенько совершенно измученным и издерганным.

Твой денежный долг пришел — совершенно неожиданно, подобно подарку. Но своим письмом ты меня по-настоящему растрогал,

друзья и впрямь думают обо мне слишком хорошо, а о себе слишком мало, тут всё по-прежнему.

Завтра у Овербека день рождения, ему исполнится 37. Какая прекрасная книга, я обгладываю ее со всех сторон, и всюду она мне нравится. Есть какая-то упрямая сила в его натуре, о которой я высочайшего мнения; он самостоятелен, добр и прилежен, и у него хватает духа превращать один год в целых три. Тридцать семь лет! —

Баумгартнер — мой архиученик, сейчас он служит в гусарах в Бонне и пишет так, что можно только порадоваться.

Сегодня вечером я четверть часа испытывал настоящее счастье — слушал «Carneval romain»⁶⁶² Берлиоза. Будем же делать все наши дела как следует, и от этого все потянет за собой целый хвост счастья.

Герсдорф в Хоэнхайме, мы провели вместе совершенно сумасшедшую, полную удовольствий и обжорства неделю; каждое утро с 11 до 12 вели разговоры о женитьбе и тому подобном.

Прощай, мой любезный славный друг, мне безмерно жаль, что в последний раз ты нашел базельское общество таким мрачным и смутным. Целыми месяцами дело обстоит иначе. К примеру, сейчас. Со всей преданностью, твоей

любящий тебя друг Ф. Н.

169. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 13 декабря 1874

Господам Ницше и Овербеку зараз — прежде всего мой привет! —

Я сам удивляюсь не меньше, чем, вероятно, это делаете вы, дорогие друзья, той непонятной нерадивости, с какой я день за днем плыву вниз по ручью писательской лени, мало того, полной агрархеиа⁶⁶³, а ведь обязан вам обоим искренней благодарностью, не говоря уж о том, что каждый день со всей силой жажду побеседовать с вами совершенно откровенно. Сам обильно надивились этой своей «созерцательной лености» (как прекрасно выражается

один современный автор), чувствую, что настала, наконец, пора опоясать свои чресла поясом решимости, возложить на себя ожерелье красноречия и в сандалиях словоохотливости шествовать тягостной тропой эпистолографии⁶⁶⁴. Вместо этого я хотел бы и мог бы однажды вечером запросто сесть за ваш чайный стол и вести с вами разумную беседу после периода опустошительной тупости, в которой я, ежедневно претерпевая ущерб для своей души, вынужден вращаться здесь среди людей, с которыми, в сущности, уже не чувствую никакой общности настроений. Невсегда ваши писательские исповеди немного заменяли мне то, отсутствие чего я ощущал каждый день, — личную общность с вами. Я часто пользуюсь ими в свои добрые часы и снова чувствую себя среди вас, моих близких, хорошо и спокойно, соглашаясь в каждой мысли. «Шопенгауэра» я снова прочел насквозь еще вчера, в торжественную полночь, когда яснее понимаешь столь многое как бы в луче странного астрального света, в его необычном и новом освещении, и почувствовал себя приободренным словно какой-то величественной, героической музыкой. Ах, дружище, как мы, конечно, далеки от таких требований, и где хотя бы низшие основания культуры, как ты этого требуешь, культуры, вершина и цель которой в продвижении и возвышении гения! Я все яснее понимаю, что эту цель реально преследовала греческая культура времен своего расцвета — в бессознательном, даже гениальном порыве; мало того, она делала это с упорством и жестокостью. А у нас эту цель вообще видят всегда, конечно, лишь единицы, и всегда у них нет никаких инструментов для проведения своих идей в жизнь. Я и у тебя нахожу, что «цепь взаимосвязанных обязанностей»⁶⁶⁵, которая должна связать нас с этим высочайшим требованием, смутно имеется в виду лишь иногда даже при резком освещении самого требования. Будущие «Несвоевременные», наверное, как я надеюсь, реализуют именно эту единую идею, показав все опорные постройки и ступени культуры. Лично я всегда чувствую себя при такого рода чтении одновременно приободренным и пристыженным: *video meliora proboque*⁶⁶⁶. И все-таки я так глубоко увяз в болоте учености, что, совершенно несомненно, важной находкой будет мысль о том, чтобы либо через обращение к мелочам заставить нас забыть раздумья о по-настоящему

важном в жизни, либо, в лучшем случае, поставить нас в позицию лишь эстетического созерцателя этого важного смысла, созерцателя, который мудро складывает руки на животе. Избавиться от этого чрезвычайно трудно, ведь такое созерцательное обозрение очень и очень притягательно. Господь от этого упаси. — Из книги Овербека я особым интересом прочел исследование о рабах, почти с тем же чувством, с каким прежде его «Христианскость». Ведь для метеолога здесь и впрямь становится необычайно ясно, что правильно сформулированное некогда понимание смысла и сущности подлинной христианскости не может больше оставлять места любому сомнению в том, какую позицию в ее отношении, как и в отношении всех вопросов светского управления, должно было занимать серьезное христианство и каким образом в основе вскрытых Овербеком заблуждений лежит нечто куда большее, чем просто научная неосведомленность, а именно тот вялый компромисс со страшно серьезным, надмирным смыслом христианства, на который со страхом закрывают глаза официальные представители протестантского и даже, как я теперь понимаю, католического «христианства». А есть ли вообще, дорогой Овербек, какое-то толковое разъяснение того глубокого преобразования, которое должна была вызвать отмена рабства во всех условиях и целях культурной жизни? Оно было бы для меня очень интересно. С той поры с высшей целью греческой культуры, *δύνασθαι σχολάζειν καλῶς*⁶⁶⁷, совершенно очевидно, полностью покончено, и вместе с множеством жестокостей, которые при своем проведении в жизнь составляют предусловие этого принципа, по человеческому обыкновению, естественно, всячески искажаемого, с той поры во всяком случае упали на землю и его самые благородные плоды — и больше никогда не будут выращены.

Что касается меня, я качу дальше свой снежный ком, «Роман», куда как медленно; он все полнеет и толстеет, и когда я наконец сяду на нем сверху, то, думаю, с бранью и истинным удовлетворением дам ему скатиться вниз. Но когда же я взберусь на него? Я, кстати, не ощущаю себя обязанным особенно спешить и никакого сильного влечения, кроме большого желания избавиться наконец от этой материи. [— —] Бедному *** передавайте от меня горячий привет. Я нахожу весьма разумным, что он собирается вкусить от

кислого яблока учености; ведь чтобы вкусить от сладкого, вовсе не надо быть разумным. [—] А теперь я прошу о мгновенном (новом и прекрасном) ответе. Любите меня по-прежнему, верные друзья, и будьте ясны и спокойны!

От всего сердца ваш

Э. Р.

170. Ницше — Роде

Базель, 21 декабря 1874

Завтра, мой милый друг, мне надо ехать на родину, а еще так дьявольски многое следует не забыть, закупить, даже дать еще несколько уроков, а кроме того, я еще должен сочинить несколько красивых стихов, чтобы записать их в красиво переплетенные книги, а только что ко мне приходил мой превосходный ученик, друг и голубой гусар Адольф Баумгартнер, который принес целую кучу рождественских подарков, да и сам был подарком. А сегодня вечером дал о себе знать и еще один поэт, г-н Теодор Опиц, переводчик Петёфи; он прислал стихотворение, надписанное сверху «Шопенгауэр как воспитатель». Овербек уже упорхнул на каникулы и только на вокзале наказал мне «переслать» тебе (как изволил выражаться ныне блаженный Тишендорф) свои рождественские и новогодние пожелания. Ромундт Злосчастный остается здесь, как птица на своем насесте; но на Пасху с его преподавательской не-синекурой будет покончено; после этого ему придется уйти, здесь никто не настроен к нему благосклонно. Хороший пример — д-р Фукс, он учредил для себя новую родину — Хиршберг в Силезии, он позавчера после долгой паузы, несколько запыхавшись, впервые написал мне снова, хорошо, свободно и полностью настроив меня на другой, одобрительный лад. Вагнер 21 ноября закончил партитуру «Нибелунга» — *Laus Deo*⁶⁶⁸! Круг и Пиндер со своими женушками приезжают в Наумбург, Герсдорф тоже едет домой и, возможно, к графам Айнзиделям, тропами любви (*m<ezza> v<ose>*, даже *pp.* с нежнейшим *decrescendo*); сам я стаскиваю в одну кучу свои ноты, чтобы за этот каникулярный отдых еще раз отме-

тить весь музыкальный праздник жертвы моему детству и юности и упорядочить все переписыванием, в чем мне должен помочь однорукий страж на башне Наумбургского собора. «Гимн» будет переписан еще раз, для 2-х рук, но для a bitzeli⁶⁶⁹ больших рук. С моим курсом по <истории> греческой литературы я счастливо добрался до Трифиодора — и на нем застрял, иными словами, я отбарабанил эпос⁶⁷⁰, прости мне этот неуместный раж при воспоминании, — я надеюсь за три семестра закончить свои «Очерки», но это скорее *καλή ἔλπίς*⁶⁷¹.

В весь этот ветер странный, влажный, легкокрылый⁶⁷² вклинилась коробочка кильских шпротов, не скажу, как гром среди ясного неба, но, пожалуй, как дождь на сухую землю, когда ручейки слабы и едва ползут (видишь, я воспринял из эпоса это ужасное, но сквозное свойство неуместных сравнений). Короче, на вкус они были прекрасны, свидетельствуем все; что касается авторства, я сразу написал следующую эпиграмму:

Эти шпроты —
Не божьи твари,
Думаю, их автор — Ротт⁶⁷³.

Только что глянул на часы и содрогнулся — ровно час (ночи!). Долг и постель зовут, и у меня остались только одни чернила пера — наоборот! — чтобы сказать тебе, что теперича и в будущие годы я хочу быть и оставаться твоим верным другом и братом.

Покойной ночи.
Твой
Fridericus.

171. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 5 февраля 1875

Это ужасно, мой дорогой верный друг, — чувствовать, как улетают месяцы, а ты бодрствуешь, спишь и судорожно дышишь, но еще ужаснее представлять себе, что точно так же обстоят дела и у твоего далекого товарища, и почти ничего с этим не поделаешь. Хотел бы я услышать от тебя, что ты здоров и довел до окончания свой «Роман». Кстати, в этом году у меня на душе так, будто мне надо бы запретить себе всякое проявление недовольства, ведь в конце концов со стороны богини $\tau\acute{\upsilon}\chi\eta$ ⁶⁷⁴ это большая привилегия — целые годы быть современником байрейтцев; меня не должно было бы покидать чувство благодарности за это! Но ты же знаешь, какой печальный смысл вкладывают обыкновенно люди в такое «должно было бы». Иногда я начинаю сомневаться, смогу ли я на самом деле выдержать эти торжества, которых жаждал так горячо и слишком долго, при мысли об этом у меня уже сейчас сжимается душа; слишком много и слишком долго я ощущал отсутствие и страдал. Как только не складывается жизнь!

В Байрейте сейчас снова возникла эта проклятая необходимость — Вагнер и супруга должны ехать, чтобы давать концерты в Вене и Пеште. На время их отсутствия моя сестра по желанию г-жи Вагнер будет вести в Байрейте хозяйство и уже сейчас, видимо, должна быть там. Я совершенно счастлив получить этот великий знак доверия.

Между тем мое третье “Несвоевременное” прекрасно переведено на французский госпожой Баумгартнер-Кёхлин. Сейчас мы ищем издателя в Париже.

Адольф Баумгартнер снова прислал мне толстую красную тетрадь, уже четвертую; он записал ее, служа гусаром в Бонне. Это мой любимый сын, в котором я нахожу удовольствие. Он тоже приедет в Байрейт.

Герсдорф написал, что хочет приехать сюда в начале следующего месяца. Славный, превосходный! Мы от души этому рады.

На Рождество мы много времени проводили вместе с Кругом и Пиндером. Признаюсь, мы были по-настоящему вечно молодыми — вопреки своей тридцатилетней старости.

Ромундт уже твердо решил с Пасхи уйти из университета, но, увы, не знает, что делать дальше. Своими упрямыми химерами (лишенными всякой фантазии) он вызывает у нас настоящее беспокойство.

Овербек разворачивает перед собой церковно-исторические столетия и сильно потеет от такого рабочего задания на зиму.

Я задумал для себя многое.

Кстати, в Рождество «Гимн к дружбе» великолепно окончен Для двух рук. Сейчас я в очень редкие часы, по десять минут раз в несколько недель, работаю над гимном к одиночеству. Хочу выразить его во всей его ужасающей красоте.

В курсе по греческой литературе я уже покончил с лирикой, перехожу к драме. При этом я шаг за шагом учусь чему-нибудь действительно новому. Я считаю, что нашим филологам-эллинистам не хватает одного — настоящего наслаждения сильными и своеобразными характерами. А нет недостатка у них, увы, в одном — в отвратительной склонности к апологии греков.

Доброй ночи, дружище.

Преданный тебе Фридрикус Н.

Призрак⁶⁷⁵ дал о себе знать, прислав целый пакет страшно лирических стихов.

172. Роде — Ницше

Киль, 27 февраля 1875

Уж придется мне, дружище, урвать часок, чтобы подать тебе, наконец, признак жизни, — для настоящего часа отдыха и милой болтовни у меня никак руки не дойдут в эти недели, когда семестр заканчивается, а работа должна быть удвоена. Какое поистине жалкое состояние — по необходимости рассказывать другу в нескольких строчках то, что можно было бы поведать о ходе и настроении своей жизни только в ежедневном общении. Эпистолярное искусство — жалкое изобретение. — Я все еще вожусь со своим

«Романом»: вот когда он будет готов, ты лучше поймешь, почему я возился с ним с такой слоновьей медлительностью — все это дело такого рода, что я не могу довести его до конца быстро. При этом я иногда многое узнаю, как всегда, когда человек вынужден отдавать себе отчет в чем-то, в целом, правда, уже известном. До конца лета я, очедино, не справлюсь, а уж потом, надеюсь, избавлюсь от этой ноши и смогу с освеженными чувствами присутствовать в Байрейте на репетициях. Это будет знакомство с совершенно новым миром; пока я не знаю о таких вещах ничего.

От твоего № 3 не чувствуется ни следа реакции, но, думаю, в ближайшее время эти господа изойдут пеной. Здесь у нас в лице господина Пфляйдерера имеется образцовый шваб, а заодно философский шик. Недавно он поделился со мной: «Ну, Фаш друшок очень несдержанно высказался о том, что чиштых жениев не бывает; Господи, да толшны ше быть и посредственности, и т. д. Но уш больно грубо он вырашается, и т. д.». Вот так этот жений понимает смысл твоего сочинения! Я, естественно, вдаваться в спор с ним не стал. — Странное дело случилось со мной в начале года. В Берлине умер профессор Масс, мой друг с времен Рима; я потерял его из виду около двух лет тому назад — тем сильнее потрясло меня внезапное известие о его смерти. Имея самое преданное и чистое сердце, он всегда питал ко мне сердечное участие. И вот, вернувшись из Гамбурга 4 января, я обнаруживаю письмо с извещением о смерти; но кто же написал его с «последним приветом от ушпешего»? — Виламовиц! [— —] Когда приедет Герсдорф, передай ему большую благодарность за то, что прислал мне «Ромео и Джульетту». [— —] Вот уж поистине редкостная пьеса! Господин Гартман уже ею одной заслужил, чтобы «борцы за культуру» подняли его на свой картонный щит, как это нынче случается. [— —]

Овербеку и Ромундту — горячий привет от меня, а в ближайшее время подробнее напишет

твой
Э. Р.

173. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 28 февраля 1875

Как хотелось бы мне, дружище, услышать, хотя бы одним словом, что у тебя все в порядке. Недавно я видел сон — если это был сон, — который заставил меня волноваться. Да и из Байрейта меня просили сообщить что-нибудь о тебе — ты знаешь, хотя вряд ли достаточно ясно, с какой сердечностью и теплотой о тебе там вспоминают и о тебе беспокоятся. Сейчас в Байрейте моя сестра, она пробудет там несколько недель. Сразу хочу передать тебе предложение госпожи Вагнер, чтобы ты как можно скорее и познергичнее обратился к бургомистру Байрейта с целью получить там этим летом квартиру; будет очень трудно обеспечить прибежище всем гостям, и нужно как следует насесть на бургомистра, потому что с квартирным вопросом дела обстоят совсем неважно. И не нужно запрашивать «скромное жилище». Моя сестра пытается найти что-нибудь для себя и меня, но пока безуспешно.

Семестр близится к концу, в университете остается еще три недели, а в Педагогиуме еще пять. Здесь царит великое возбуждение — по той причине, что в Большом Совете сейчас обсуждается новая конституция города Базеля, все партии ожесточенно дерутся, а потом, весной, все дело решит народ. (Сегодня одно место из № 3 о всемогуществе государства было использовано в числе прочего в политической борьбе, что меня потешило.) Наш Педагогиум в Пасху потеряет старого Герлаха, который наконец уйдет на пенсию; но что будет дальше, остается только гадать. Мне сделали запрос, не захочу ли я в следующем семестре взять четыре часа латыни в старшем классе, я отказался из-за глаз.

В целом все у меня складывается хорошо и правильно: так и кажется, будто я стал феодалом, настолько обнесен рвами и внутренне независим мало-помалу становится мой образ жизни.

К Пасхе должен быть готов № 4. Я уже говорил тебе, что французский перевод № 3 закончен и снабжен посвящением, обращенным ко мне и похожим на письмо? Герсдорф приедет сюда на некоторое время 12 марта, узнай и об этом. —

А теперь кое-что, о чем ты еще не знаешь, но имеешь право знать как самый близкий и сопереживающий друг. У нас тоже — у Овер-

бека и меня — появилась семейная беда, семейное страшилище: не упади со стула, когда услышишь, что Ромундт собирается перейти в католичество и сделаться в Германии католическим священником. Это выяснилось лишь недавно, но, как мы к своему ужасу узнали задним числом, он обдумывал свой план уже несколько лет, и только сейчас, как никогда раньше, готов осуществить его. — Для меня это в каком-то смысле душевная язва, а порой это кажется мне самым неприятным, что можно было мне сделать. Конечно, Ромундт задумал это не со зла, до сих пор он постоянно думал только о себе, а этот проклятый акцент, который ставится на «спасении своей души», делает его совершенно глухим ко всему иному, включая дружбу. Для меня и Овербека мало-помалу становилось загадочным, что Ромундт, собственно, уже совсем ничего общего с нами не имеет, злится или скучает во всем, что нас воодушевляет и захватывает; особенно ему присуще своего рода ханжеское молчание, которое давно не сулило нам ничего хорошего. Наконец дело дошло до признаний, а теперь, почти целых три дня, до поповских вспышек. — Бедняга в отчаянном положении и больше недоступен для советов, иными словами, он настолько увлекся глупыми планами, что кажется нам как бы бродячей прихотью. — Наш добрый чистый протестантский воздух! Никогда прежде я не чувствовал своей зависимости от духа Лютера сильнее, чем сейчас, так неужели же несчастный обратит тыл ко всем этим освобождающим гениям? Не понимаю, в своем ли он уме и не надо ли полечить его холодными обливаниями: настолько для меня дико, что прямо рядом со мной, после восьмилетнего близкого общения, возникло это страшилище. А напоследок я еще — то, на чем продолжает висеть позор этого обращения. Видит Бог, я говорю это не из эгоистического интереса; но, думаю, и я представляю что-то священное и испытываю сильнейший стыд, столкнувшись с подозрением в том, что имею нечто общее с этим до глубины души отвратительным для меня католичеством. — Объясни себе эту чудовищную историю, исходя из своих дружеских чувств ко мне, и напиши мне в утешение несколько слов. Я прямо-таки уязвлен по части дружбы и больше, чем когда-либо, ненавижу неискреннюю вкрадчивость, свойственную множеству дружеских отношений: придется мне быть осторожнее. — Сам Р<омундт> будет хорошо себя чувствовать в каком-нибудь религиозном сборище, в этом нет никакого со-

мнения, но среди нас он страдает, как мне теперь кажется, постоянно. Ах, дружище! Герсдорф прав, когда часто повторяет: «Нигде нет ничего более безумного, чем в мире». С печалью,

твой друг Фридрих Н., одновременно и от имени Овербека, — сожги это письмо, если это покажется тебе правильным.

174. РОДЕ — НИЦШЕ

Киль, 12 марта 1875

Прости, дружище, что так долго не отвечал на твое последнее письмо: мне чисто физически [— —] было трудно писать, да я и сейчас все еще пишу с трудом.

Я, как и вы, опечален этим странным делом — или, скорее, ошеломлен им, ведь я совсем не понимаю смысла всего, что случилось. [— —] А потому я не отважусь бросить камень в огород несчастного — не хочу верить в глубинную ложь или самооговор, но совсем не понимаю подлинного смысла, если он лежит тут в основе. Несомненно только одно, и это, конечно, самое печальное, — что тот, кто так торжественно отрекается от разума и человеческой свободы, для нас потерян. [— —] И как ситуация может развиваться дальше? Ни советы, ни помощь, тут, конечно, не подойдут, ведь с нашей стороны на ту сторону нет, естественно, никаких мостов. —

В ближайшее время я напишу письмо в Байреит. Если я долго молчал, это было не так уж глупо и неблагодарно, как кажется; ведь, полностью погруженный в свою филологическую работу, я поневоле показался бы себе надменным, если бы отважился дать пухлый отчет об этой трудовой жизни, которая никак не могла бы вызвать там прямого интереса. [— —]

Прощай, мой самый верный друг; будь уверен в неизменности моих чувств; я верю, что мы будем держаться вместе до конца. Сердечный привет Овербеку.

Твой Э. Р.

175. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 7 июня 1875

Мой дорогой друг, я не пишу! Но ты, конечно, уже догадался, почему: потому что по-хорошему у меня не выходило. У меня была беда с желудком и глазами, но сегодня я собираюсь порадовать тебя только тем, что все-таки в состоянии решиться на что-то радикальное. Порадую ли? Бог весть, но по крайней мере за радикализмом и тут тянется пресловутый хвост. А именно: мы с моей сестрой заняты сейчас тем, чтобы снять здесь квартиру, купить мебель и т. д., короче говоря, чтобы с середины этого года начать жизнь, соразмерную моим нуждам и исцеляющую. Во время летней жары я, конечно, в Байреит не поеду — это как раз «хвост», а придется мне ехать на курорт, вероятно, в Пфефферс. Всё очень нужно. В предвкушении этих прекрасных новшеств я прямо-таки вздыхаю с облегчением.

Этот семестр очень трудный, ведь я читаю все свои спецкурсы. Живу я в комнатах Овербека, а сестра в моей квартире. В комнаты Ромундта осенью въедет юный Баумгартнер.

Для несвоевременностей у меня нет ни времени, ни сил.

Для французского перевода № 3 издателя, несмотря на усиленные поиски, найти не удалось. Шмайцнер продал 350 экземпляров книги. Может быть, ты предложишь ему свою книгу? Для него это было бы большой находкой. Кстати, он с удовольствием стал бы издавать работы по Индии и Китаю; ты можешь что-то посоветовать в этом смысле?

Думаю, что Овербек сегодня заканчивает свое лечение в Карлсбаде. Его письма полны веселья, хотя вода, видимо, сильно шипит. Ромундт ничего не нашел в Саксонии и теперь положил глаз на места гимназических учителей в Ганновере. У нас были тяжелые и переменчивые зимние недели, по сути дела, над домом лежал нехороший туман; прощание было крайне тягостным и болезненным, я не хотел бы пережить ничего похожего на это время.

Все мы очень одиноки на своем маяке — и если б это был именно маяк!

Эта часть жизни сурова, даже трудно как следует признать это. Но уже довольно явственно видно собственное положение. Картина складывается такая, что иногда во мне бывает избыток муже-

ства и надежды, а когда я примериваюсь к окружающей нас жизни и к предмету приложения сил, у меня такое чувство, будто я и пальцем пошевелить не могу. У тебя тоже так бывает?

Будем же нести тяжкую ношу жизни после тридцати, прощай, мой милый друг, *non olim sic erit*⁶⁷⁶.

Часто и всегда с любовью
вспоминающий о тебе
Фридрих

Если у тебя остались принадлежащие мне письма от Вагнера и его жены, пришли их мне.

176. Ницше — Роде
Базель, понедельник <14 июня 1875>

Ах, мой бедный милый друг!

Что за послание, полное страстей, я получил от тебя! Я все утро будто оглушен и не могу собраться с мыслями. Как за тебя взялись демоны! Да еще и глупый случай вмешался! Если б я мог хоть немного облегчить твоё бремя или хоть немного приободрить тебя. Даже летом мы с тобой не встретимся, потому что мной теперь правит врач, который запрещает мне Байрейт. Меня посылают в Гурнигель близ Туна пить сульфидную воду. Чувствую я себя очень плохо, после последнего письма у меня был жестокий приступ. Наверное, что-то вроде желудочного катара, который мучает меня годами. Сейчас мне приходится каждый день принимать натошак две столовых ложки раствора ляписа и жить по разработанному врачом плану. Лекции мне даются с заметным напряжением. Я уже нашел квартиру, где буду жить с сестрой начиная с августа.

Не могу передать тебе, как меня огорчает эта дерптская история. Может, у тебя есть желание, которое я мог бы исполнить?

Насчет дач для семей из Гамбурга я могу порекомендовать:

1) гостиницу Зегнес, домики в лесу близ Флимса в Граубюндене, если надо, со ссылкой на меня (4000 футов высоты),

- 2) климатический курорт Визен (Граубюнден), курзал Бельвю,
- 3) Бергюн в Граубюндене, гостиница Пиц Аэла,
- 4) гостиница Телльсплатте близ Флюэлена, на Аксенштрассе.

На сегодня хватит.
Страдая и сострада
в сердечной дружбе,
твой брат.

177. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 12 июля 1875

Дружище, мне понемногу становится легче, а в пятницу начинаются каникулы, и тогда уж можно будет вздохнуть. Я еду в маленький шварцвальдский курорт для желудочных больных —

Штайнабад близ Бонндорфа.

Услышать бы мне что-нибудь о смягчении, облегчении или выздоровлении у тебя или о каких-нибудь позитивных аспектах. Да приезжай в Байрейт, я постараюсь до августа стать байрейто-пригодным, каковым пока не являюсь. Если бы только ты был здесь со мной. Для меня очень важно, чтобы ты был вблизи совсем один и совершенно конфиденциально, и тогда мы снова сможем до конца привыкнуть друг к другу и обмениваться переживаниями, передать друг другу отдельные впечатления прошедших долгих пауз. Ты ведь тоже хотел бы этого? Так много всего приходит в голову, становится планом, целью и образом жизни, далекие друзья должны так многому друг у друга подучиться. Ты ведь получил недавно боценский горшок? Он от меня, в виде шутки. Господи Боже ты мой, да если б я мог дать тебе что-то большее, чем мостарду⁶⁷⁷! Это, конечно, нелепость, но ты ведь простишь мне ее?

Прощай, мой
сердечно любимый друг!

178. НИЦШЕ — РОДЕ

Штайнабад близ Бонндорфа,

Баденский Шварцвальд, 1 августа 1875

Сегодня, дружище, я представляю себе, как вы встретитесь в Байрейте и как меня не будет хватать вам и среди вас! Не получается то, во что я подчас все-таки верил в глубине души, — в один прекрасный день вдруг очутиться прямо посреди вашего круга и истинно наслаждаться обществом своих друзей! Не получается — и сегодня, в разгар моих каникул, я могу сказать это, наконец, с полной определенностью. Только что у меня был долгий разговор с д-ром Вилем, а вчера я снова слег в постель с сильными головными болями и во второй половине дня и ночью мучился от сильной рвоты. Одно очевидное зло — расширение желудка — мы уже вполне успешно поборолли за 2 недели лечения. Желудок стал прежним. Но с его возбуждением, идущим от нервов, придется повозиться еще долго. Тут необходимо строго выдерживать метод лечения и не терять терпения! Я провел несколько прекрасных, свежих и прохладных дней, шатаюсь по горам и лесам, совершенно один, но не могу передать, насколько это было приятно и исполнено радостного воодушевления! Не могу передать никакими словами, что это были за надежды, планы и возможности, детальнейшим мысленным исполнением которых я при этом себя услаждал! Тогда почти всякий день был отмечен хорошим, сердечным письмом; с гордостью и волнением я неизменно думаю о том, что вы — мои, любимые друзья! Если б только можно было раздарить немного счастья! Заботы и уныние мучают меня по большей части, когда я вижу, что человек ни на что не годится и вынужден мириться с вещами, какими бы немилосердными они ни были. А кроме того, иногда мне кажется, будто я сам — что-то вроде баловня судьбы, потому что пока избежал самых жестоких атак страданий. Я еще совсем не страдал по-настоящему особенно от глупостей и колкостей судьбы и совсем не достоин числиться среди великого множества действительно несчастных. Потому-то я и хотел сказать, что, в сущности, мог бы раздарить немного счастья. Если бы я только знал, как! и главным образом — как можно было бы доставить тебе, мой бедный друг, хоть небольшое облегчение⁶⁷⁸! Или узнать тайну большого облегчения!

Сегодня воскресенье, и повсюду в саду сидит множество местных жителей, распивая пиво, из леса веет чистейший ветер, а время от времени раздается ужасающая духовая музыка, которая на расстоянии двух часов пути, возможно, окажется более выносимой, напоминая волторну.

Здесь рядом со мной нет ни одного человека, и я веду совершенно аристократическую, независимую жизнь. Д-р Виль хочет завтра приготовить со мной пищу для моего увеселения и поучения, он известный интеллектуальный повар-искусник и автор распространенной диетической поваренной книги, переведенной на все языки. Вчера он прочел мне лекцию об эмалированной железной посуде и новой механической мясорубке, и я кое-чему научился для своего нового хозяйства.

Прилагаю кое-что любопытное — оно пришло ко мне неделю тому назад из Вюртемберга; это нечто из числа пресловутых вюртембергских *élégance*⁶⁷⁹ чувств и стиля. Письмо от Ромундта оставило во мне ощущение досады, поскольку он и сам не вдохновлялся чем-то лучшим.

(Сейчас духовая музыка разбушевалась немислимым образом; откуда только люди добывают такую плохую музыку! Я такого никогда не слышал, это не марш, не танец, а какое-то старомодное, но мерзкое дуденье, доносящееся из прошлого столетия)

Так вот, Ромундт рассказывает о своей работе, «которая сводится к иллюстрации Шопенгауэрова “ничто”

(музыка прекращается, местные хлопают)

из конца “Мира как воли” и т. д., этого самого отважного, трудного и правдивого слова, которое, по-моему, нам сказал Шопенгауэр». Подобное вызывает во мне высшую степень досады, ведь это старое шутовство — прицепиться к хвосту какой-нибудь философии и иллюстрировать как раз его! А какая дерзость нужна, чтобы стремиться к большей точности и ясности понимания, чтобы иллюстрировать там, где Ш. вообще прекратил понимать. — Затем он пишет, что его ученик Шенкель «заявил о своем постыдном отпадении к Беку из Тюбингена». Ну, это и не удивительно, да только Р. не надо было так постыдно скоро об этом говорить. Я не считаю отпадение от философии Ромундта постыдным, даже отпадение к Беку из Тюбингена. Этот студент Шенкель просто перешел от

замаскированного попа к явному и нескрываемому. — Но сильнее всего меня раздосадовало, что он вообще не встретился с нашим Овербеком и совсем не стремится поприветствовать его сейчас, после его выздоровления. Это и впрямь выглядит, как нечистая совесть, и он действительно, кажется, при отъезде снова полностью игнорировал хорошие намерения. Ведь он пишет: надеюсь, что учительство оставит мне время продвигать свое дело дальше. Я надеюсь на противоположное и желаю, чтобы он строжайшим принуждением удерживался от своего дела, это дело сейчас уже не столь невинно, оно портит его характер, как нам, конечно, теперь приходится опасаться! — Эта зима с ромундтовскими домашними страстями для меня — как страшный сон, во мне все вывернулось наизнанку, я преисполнился самого ожесточенного недоверия и до сих не оправился от этого нелепейшего переживания.

Мне пришло несколько самых любезных писем от г-жи Баумгартнер, лучшей матери, какую я знаю. Ее сын Адольф пережил тяжелые, полные безнадежности недели, кажется, воинская служба довела его чуть ли не до крайности, и г-жа Баумгартнер поехала в Бонн, чтобы немного его утешить. Способ, каким она это делала и как об этом рассказывает, подобен лучу солнца; душа у нее очень добрая.

Повсюду безнадежность! Но не у меня! А ведь я не попал в Байрейт! Ты знаешь, как это совместить? Я не знаю, и все же в воображении я там больше чем три четверти дня и, как привидение, постоянно слоняюсь вокруг Байрейта. Тебе не надо бояться разбедить мне душу, расскажи только чуть побольше, дружище, гуляя, я довольно часто дирижирую про себя целыми кусками музыки, которые знаю наизусть, и напеваю их себе под нос. Передавай горячий привет Вагнерам! Прощайте, милые друзья, мое письмо там и сям стало несколько коллективным. Сердечно любит вас ваш
Ф.

Шуре там у вас? Я хочу ему написать. Какой у него адрес? И какой адрес у г-жи Мейзенбург?

Сердечное спасибо, дорогие друзья Овербек и Герсдорф, за ваши письма! Я наслаждаюсь ими по утрам, после карлсбадской воды, во время лесной прогулки, — глоток здесь, глоток там. Ты, дружище Роде, прибыл после обеда на кофе с молоком, вместе с Шмайцнером и Ашером.

179. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 28 августа 1875

С нетерпением, от всей души жду тебя, дорогой друг!⁶⁸⁰ Ты будешь жить на моей старой квартире, в двух шагах от теперешней. И тут уж мы снова как следует сойдемся душами — я невыразимо этому рад! Ты увидишь, что я более оптимистично смотрю в будущее, чем в прошлые годы, я постоянно хожу с педагогически-антропологической страстью в голове и сердце, и к тому же стал здоровее.

На душе у меня так, будто мы сейчас наконец снова встретимся, находясь в настоящей нужде и тоске, будто нам многое нужно сказать, перечувствовать и заживить. — Как раз сейчас доставили мой «Гимн дружбе», красиво переписанный. А теперь приедешь ты, и это должно быть подобно гимну, хоть и не на фортепиано.

От всего сердца твоей.

Ф. Н.

Шпаленторвег, 48⁶⁸¹

180. НИЦШЕ — РОДЕ
<Базель, предположительно 18 сентября 1875>

Здесь, мой бедный, душевно любимый друг, привет от меня и заодно то, что меж тем пришло мне вместе с твоим адресом (письмо с почтовым штемпелем «Бруннен» я вскрыл, чтобы вложить его в этот конверт, прости; конверта побольше у меня нет). Вскоре после твоего отъезда пришло письмо, которое я тотчас переслал на адрес Риббека и которое, наверное, уже находится у тебя.

С позавчерашнего дня дела мои плохи: рецидив по всей форме, штайнабадские ощущения, рвота и т. д. Но скоро я снова выберусь отсюда, правда, не смею надеяться выздороветь сразу, да и кто смеет!

Вчера я думал о тебе и о себе, прочитав, что наиболее суровое средневековье — это зрелый возраст, нечто совершенно варварское, где человек был подвешен между глупцом и мудрецом. Имен-

но в это средневековье, и притом в самую его середину, тебя ввел «Тристан»; и по-настоящему варварским было ждать от тебя сейчас и этого!

Но сейчас ты крещен благословением несчастья, и тут нам надо думать только о том, чтобы сделать для тебя все возможное и показать, что есть и другие возможности, даже если это что-то самое насильственное. Может быть, наш выбор тогда окажется не самым удачным; не могу тебе передать, каким беспомощным я себя чувствую, дружище, вспоминая о твоих горестях и любви, — как раз так, будто я и есть совершенно отвратительная мешанина глупца и мудреца и так мало могу помочь тебе сейчас именно потому, что не являюсь ни одним из них в совершенном виде.

Если бы твое горе как-то могло смягчить присутствие друга рядом с тобой, правда, друга, который не может помочь ни советом, ни делом, — подумай все-таки о том, чтобы в начале зимы приехать в Базель. Твое одиночество страшит меня так же, как тебя самого. А здесь, в одиночестве вдвоем, мы по крайней мере нашли бы утешение в доверительных разговорах и взаимном сродстве, и на этой основе можно было бы, наверное, создать потом что-то большее. Я безмерно благодарен тебе за визит, ты снова проявил доверие, любовь и душевное единство по отношению ко мне, и именно сейчас! Как я благодарен тебе за это!

Сердечный привет и пожелания от меня и моей сестры,
твой друг Ф. Н.

181. Ницше — Роде
Базель, 7 октября 1875

Бог знает, мой дорогой друг, в каком свете ты увидишь на этот раз утро дня твоего рождения! Если этот день покажется тебе мрачным, даже отвратительным, то задумайся немного о том, чем ты являешься для меня, чем являешься для нас, и с точки зрения наших душ благодари небеса за то, что живешь на свете. Порадуйся хоть раз вместе с теми, кто тебя любит, если из себя самого обычно умеешь добывать только страдание и уныние. Ибо, может быть, этот день тебя ждет

с совсем иным выражением лица, более радостным, я ведь не знаю, что случилось у тебя за это время; а поскольку я чувствовал и сейчас чувствую себя не в состоянии посоветовать тебе что-то конкретное, то тем временем и не совсем отвык надеяться, и притом так, как надеялась твоя любовь, — на то, что все скрытое станет явным, всякая робость исчезнет, и что твоей благородной смелости соответствует такое же настроение, такая же смелость.

Покамест Овербек еще ничего не сообщил мне о твоём филологическом докладе (я больше не читаю газет, уже три четверти года). Я думаю. Ты пришлешь мне этот доклад? По крайней мере, я выпросил бы себе тем самым большую радость. Станным образом я почти все время забываю о том, что мы с тобой познакомились как филологи; с тех пор между нами сложилось так много общего, что я уже не могу удержать это изначально общее. Недавно мне почти пугающим образом напомнили о том, чем человек является и чем может стать как раз сейчас, когда он пустился в изнурительное предвосхищение будущего слишком рьяно и потому упустить из вида все возможное в настоящем. Дело в том, что мне пересказали кое-какие мнения Я. Буркхардта обо мне (он в Лёррахе откровенно говорил с врачом, которому полностью доверяет). Среди прочего он сказал: «Такого учителя у базельцев больше уже не будет». Это относится к моей работе в Педагогичуме — иными словами, я в действительности был приравнен к штатному школьному преподавателю и чуть ли не между делом, ведь вплоть до этого момента я служил на этой должности только с чувством долга и без всякого самолюбия, да даже и без радости. Может быть, мне еще удастся стать филологом тоже между делом и чуть ли не во сне; у меня такое огромное количество общих проблем, что я занимаюсь филологией чуть ли не как ремесленник, мне кажется, как чем-то, чем можно и стоит заниматься в любое время, уделяя этому мало внимания.

Мое «Размышление» под заглавием «Рихард Вагнер в Байрейте» напечатано не будет, оно почти готово, но я далеко отстал от того, чего от себя требую; поэтому оно только для меня самого имеет смысл новой позиции по наиболее трудному вопросу накопленного нами опыта. Я не заношусь и понимаю, что мне самому эта новая позиция далась не полностью, не говоря уж о том, что я мог бы помочь другим.

На том же вопросе, но без окончательной разработанности, я весной сосредоточился на «Размышлении» под заглавием «Мы, филологи». Если придет время, когда мы побудем вместе подольше и пообщаемся потеснее, я кое-что тебе расскажу: все это я пережил сам и потому оно с некоторым трудом высвобождается из меня. Я говорю так, потому что часто после встреч с тобой упрекаю себя в том, что рассказал тебе недостаточно. И дело тут не в отсутствии откровенности, ты ведь знаешь.

Меж тем я побывал в Бюргенштоке⁶⁸², вместе с Овербеком; последние отдыхающие и единичные жители! Много вспоминали о тебе. Это место не для тоскующих, <здешний> покой может свети с ума.

15-го числа на обратном пути из Парижа у меня будет госпожа Мейзенбург. А может быть, и Герсдорф; недавно он поведал мне о своем теперь уже твердом намерении обручиться в Берлине. Давай же от всей души благословим его на это.

Любезный мой друг, не забывай меня в своей беде, не забывай, что в водах уныния все-таки есть несколько бревен. А если и не найдется бревна, то всегда будет рука друга, за которую ты сможешь ухватиться, и будь что будет.

Я гляжу на улицу, на голубой, спокойный, холодный осенний день.

Прощай, дружище, и будь уверен в моей дружбе.

Вот и моя сестра передает тебе привет и наилучшие пожелания.

Твой Ф. Н.

Ромундт доставил мне огромную радость своими известиями. Он словно выздоровел и чувствует себя соответствующе: для этого ему пришлось сильно помучаться в качестве школьного учителя (греческий в предпоследнем классе в обоих полугодиях и немецкий в последнем). Это пошло ему на пользу.

182. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 8 декабря 1875

Ах, любезный друг, я не знал, что тебе сказать, молчал, боялся и беспокоился о тебе, я даже не хотел спрашивать, как твои дела, но как часто, как часто мои мысли, полные сострадания, устремлялись к тебе! И вот все сложилось самым скверным из всех возможных образом, так что еще хуже могло бы быть только одно: если бы дело не оказалось бы столь ужасающе ясным, каким оно оказалось теперь. Но самое невыносимое — это сомнение, сомнение призрачно полунастоящее; но по крайней мере ты лишился того настроения, от которого так ужасно страдал здесь. Что нам теперь делать?! Я ломаю себе голову, чем мог бы быть полезен тебе сейчас каким-либо образом. Я долго воображал, будто нужно создать для тебя возможность пространственного перемещения, что очень важно, и устроить во Фрайбург-им-Брейсгау. Но теперь это дело представляется мне совсем необдуманным. Тогда, конечно, издание твоей работы всегда остается самым целительным средством, оно как-никак доставит тебе какую-то радость и во всяком случае отвлечет твое внимание, да и есть в этом занятии зазор, который, наверное, поможет тебе пережить эту ужасную зиму.

Расскажу тебе, как обстоят у меня дела. Со здоровьем — не так, как я в общем предполагал, когда затевал полное изменение своего здешнего образа жизни. Раз в две-три недели я оказываюсь прикован к постели самым мучительным образом, о котором тебе уже известно. Может быть, со временем мне станет лучше, но пока я не перестаю думать, что ни одна зима не давалась мне так тяжело, как эта. День — через новые лекции и т. д. — проходит с таким утомительным трудом, что вечером у меня уже не остается сил ни на какую жизнерадостность, и я искренне удивляюсь, насколько трудно дается жизнь. Кажется, что все эти мучения ничего не стоят, человек бесполезен и себе, и другим в отношении проблем, которые создает себе и другим! Вот мнение того, кого не мучат страсти, — правда, и не дают ему блаженства. Когда мои глаза не работают, сестра читает мне вслух, и притом почти сплошь Вальтера Скотта, которого мне так и хочется вместе с Шопенгауэром назвать «бессмертным»: уж очень мне по нраву его эстетический покой, его

анданте, и я с удовольствием рекомендовал бы его тебе, да на твой ум не всегда подействуют те <его эстетические> приемы, которые действуют на меня. Это потому, что ты мыслишь острее и быстрее, чем я; а о лечении души романами мне сказать нечего, тем более что ты уже вынужден помогать себе сам своим «Романом». Может, ты перечитаешь сейчас «Дон-Кихота» — не потому, что это чтение самое веселое, а потому, что самое суровое, какое я только знаю, я это сделал в летние каникулы, и мне показалось, что все мои беды сильно съежились, мало того, что они достойны непринужденного смеха, и даже без всяких гримас. Вся серьезность, вся страсть и все, что волнует человека, — вот что такое донкихотство, и знать об этом в некоторых случаях полезно; в других же случаях, а их большинство, лучше об этом не знать.

Герсдорф в рождественские каникулы собирается предпринять шаги для своего обручения. У моего друга Круга родился мальчик, а д-ра Фукса пригласили в следующем году воспользоваться патронажным абонементом моей сестры на цикле байрейтских спектаклей. Здесь этой зимой ради моих лекций учатся два молодых хороших музыканта и композитора, это друзья Шмайцнера, а я стараюсь разжечь интерес издателей и ориенталистов к изданию буддийской «Трипитаки». Д-р Дойсен всю зиму читает сверхвоодушевляющие лекции о Шопенгауэре — три раза в неделю, в Аахене, и у него более чем зоо постоянных слушателей. Баумгартнер теперь изучает здесь филологию под моим руководством. На мой филологический семинар ходят 13 человек, по большей части это люди очень способные. Мой ученик Бреннер болен, и ему пришлось уехать в Катанию; я передал с ним привет для г-жи Мейзенбург. Д-р Ре, очень преданный мне, анонимно выпустил отличную книжечку «Психологические» наблюдения»; он — «моралист», наделенный острейшей проницательностью, и его дарование очень редко среди немцев. Сочинение Арнима «Pro nihilo»⁶⁸³ было для меня поучительно. Вагнеры до конца января останутся в Вене. Я живу совершенно уединенно, сестрой доволен, как отшельник, у которого не осталось никаких желаний, кроме того, чтобы все оставалось так же, как сейчас.

Теперь прощай, живи сносно, любимейший друг, и помни, что мы здесь всегда думаем о тебе так, словно можем дать тебе почув-

ствовать тем самым нашу дружбу. Но это, увы, не тот случай, так что довольствуйся этими жалкими строками. Моя сестра и Овербек передают тебе самый горячий привет, а я остаюсь твоим другом Ф. Н.

183. Роде — Ницше
Киль, 14 февраля 1876

Мой дорогой друг!

Ты замолчал так основательно, что я все больше беспокоюсь о твоём самочувствии. Последние сообщения от Овербека звучали очень мрачно — дай же мне наконец хоть какой-нибудь знак, говорящий о том, что ты все-таки на плаву и что начинаешь хоть немного щадить себя!

Мне в последнее время пришлось пережить всякого рода жестокие схватки — по большей части все они уже позади, хвала за это даймону, и прежде всего неприятности с издателем. [— —] К Пасхе меня опубликуют у Брайткопфа и Хертеля⁶⁸⁴. [— —]

А теперь последует наилучший и, что куда важнее, добрый конец. Очень скоро я смогу оставить за спиной и, надеюсь, забыть все мрачное и горькое, что проглотил здесь, — представь себе, верный друг, на Пасху я поеду в Йену, чтобы стать там ординарным профессором! Об этом позаботились Ричль и Гутшмид (мой тамошний будущий коллега). [— —] Пока я только извещаю тебя об этом кардинальном изменении, которое я все-таки не хотел бы откладывать. Передай мои сердечные приветы Овербеку (у него дела идут теперь, наверное, прекрасно и весело) и своей сестре. [— —] Напиши поскорее о себе, мой старый любимый друг, и пусть это будет, если возможно, что-то доброе и утешительное!

До скорого нового контакта,
твой [— —]
Э. Р.

184. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 18 февраля 1876

Дружище, хвала небесам, что у тебя наконец что-то получается, как задумано! Теперь, надо полагать, бури отбушевали, и луч солнца снова озарит тебя, чтобы утешить и исправить то, в чем никто не смог тебе помочь. Ох уж это бессилие твоих друзей! А на какое страдающее сострадание мы постоянно были осуждены! И до какой немоты дошел к тому же я сам, даже сейчас, когда наконец-то можно высказать тебе сочувствующую радость! — Голова у меня все еще плохо варит, я не могу читать и писать и с прошлой недели откасался от всех лекций. Какое утонченное издевательство! В марте я хочу вместе с Герсдорфом поехать на Женевское озеро.

Прощай, ничего не поделаешь!
Твой настоящий друг.

Благопожелания от моей сестры.
И от Овербека, нежданно счастливого⁶⁸⁵.

185. НИЦШЕ — РОДЕ
Страстная пятница <Базель, 14 апреля> 1876

Дружище, с позавчерашнего дня я снова здесь, проведя месяц на Женевском озере, рядом с замком Шильон, а последнюю неделю в Женеве у знакомых. Я стал намного более здоровым, внутренне раскрепощенным, полным надежды, погруженным в свои планы и цели — и это по прошествии долгого, почти невыносимого периода, когда я сомневался во всем. В Женеве я обрел истинного друга, дружба с которым обогатит нас всех, ты должен знать его по Байрейту, он руководитель Женевского оркестра, — Гуго фон Зенгера. Дружба с ним — мое крупное приобретение в ходе этой поездки. Мне нужно оставаться верным уже и себе самому, чтобы остаться верным вам, моим истинным друзьям, но меня снедал скепсис и недоверие. Обязывает меня и скрытое хождение моих сочинений, я постоянно слышу, что там и сям существуют кружки людей, сле-

дующих за мной и ждущих, когда я поднимусь еще выше и стану еще более освобожденным, чтобы и самим стать от этого более свободными. Ты читал стихотворение Лонгфелло «Excelsior»? А читал только что вышедшие 3 тома «Мемуаров идеалистки»? Очень прошу тебя сделать это. В них — жизнь нашей великолепной подруги г-жи Мейзенбург, зеркало для каждого дельного человека, зеркало, отражение в котором как пристыжает, так и ободряет, я давно не читал ничего, что внутренне меня преворачивало бы и делало здоровее. Ведь нам этой зимой пришлось выдержать многое, а то, что было благотворно для меня, будет таковым и для тебя, при всем несходстве наших натур и страданий. Овербек читал книгу вслух своей невесте, и после каждого чтения, как он рассказывал, оба они бывали охвачены все новым энтузиазмом и волнением. Есть в этом что-то от наивысшего *caritas*⁶⁸⁶. —

Как твои дела, мой милый? Я частенько мучался мыслью о том, что не могу дотянуться до тебя ничем, и ничем не могу быть тебе сейчас полезен. И дело тут было не только в расстоянии. Если б мы вели лучшую жизнь, в которой намеревались вечно чувствовать себя близкими! Я остаюсь твоим, поверь мне в этом сегодня.

Ф. Н.

186. Ницше — Роде

Базель, 16 мая 1876

Как мне хотелось бы услышать что-нибудь о тебе, дорогой друг! Но я подозреваю, что сейчас у тебя совсем нет охоты писать письма. Меня немного беспокоит, что я не вижу объявлений о выходе твоего «Романа», и надеюсь только, что какой-нибудь новый кобольд не перешел тебе дорогу. Обо мне самом ты получил или получишь несколько строк, которые я написал тебе по возвращении с Женевского озера (на йенский адрес). У меня все вполне сносно, только глаза не хотят нести свою службу. Но голова и желудок в порядке, да я особенно и не напрягаюсь — перед студентами я выехал на паре старых добрых лошадок, коими могу править в полусне. — Работа,

для которой я собираю все силы, — месяц в Байрейте. В Рождество я еще не верил, что смогу его пережить. —

Молодой музыкант, который приехал в Базель на несколько лет ради меня и которого я высоко ценю за талант и добродушие, полезен мне во всем. А теперь и я хочу сослужить ему службу в одном деле: как мне помочь ему стать своим в Байрейте? Через Вагнера это, увы, как я совершенно уверен, невозможно. Может быть, у тебя еще остался один цикл из 4-х вечеров? Я слышал, что ты — счастливый обладатель двух льготных абонементов. Не отдашь ли ты их этому музыканту по моему ходатайству? Его зовут Кёзелиц, и он сочиняет инструментальную музыку, а, будучи достойным и истинно учащимся, в ином случае обречен сидеть в хаосе гостей фестиваля.

Прошу тебя, дай короткий ответ на этот запрос, мой верный милый друг.

По-прежнему твой,
Ф. Н.

187. Роде — Ницше
Йена, середина мая 1876

Вот два экземпляра моего младшенького, дружище, один для тебя, другой для Овербека. Я все еще целиком затоплен водами своей вступительной лекции; как только вынырну и снова увижу звезды, напишу тебе внятное образцовое письмо. А пока только о том, что я был живо обрадован сообщением о твоем сильно улучшившемся самочувствии: сейчас это дело первостатейное. [— —] Овербеку мой горячий привет, а также и твоей сестре.

От всего сердца твой, Э. Р.

При случае дай почитать книгу Буркхардту.

188. Роде — Ницше

Йена, 18 мая 1876

Под напором всевозможных обязанностей, изо всех сил спеша, дружище, могу только послать тебе привет и несколько слов о твоём музикусе. Мой двойной патронажный абонемент, увы, оказался недоразумением; патроном я оказался совсем рядовым и простецким. Но, может быть, мы сможем как-нибудь помочь этому честному малому с одноразовым посещением четырех представлений, собрав нужные для этого 100 талеров. [— —]

В спешке, твой

Э. Р.

189. Ницше — Роде

Базель, 23 мая 1876

Давай же вместе от души порадуемся, что твой труд готов, дружище; я все время беспокоился, потому что подозревал, что он станет *μέγα βιβλίον*, зная, что во многих отношениях он уже был *μέγα χαλόν*⁶⁸⁷. И вот он тут, да еще в красивой шкурке, красуясь и восхищая меня. Я сразу был разочарован весьма приятным образом, ведь я немного побаивался того, что моя малая филологическая мудрость в этой далекой от меня области выявится как полная глупость. А теперь я уже замечаю столь многое, что получу очень большую пользу от твоих результатов (как общих, так и специальных) и что достаточно думал о греках и в общей связи, так что теперь мне без этой книги не обойтись. Так же будет и с Я. Буркхардтом, которому я о ней рассказывал (сейчас я каждый день общаюсь с ним самым доверительным образом). Из того, что я пока прочитал, я особенно выделяю несколько вещей, которые усвоились во мне, «как по маслу», к примеру, чем отличаются роман и новелла. Еще с. 56 сл. о характерологических штудиях перипатетиков, еще с. 18 (где о *morale di solitari*⁶⁸⁸). Очень поучительный раздел 4 на с. 22 сл.; еще с. 67 — читатели-женщины, с. 121 о природе подлинной популярности поэтов-александрийцев, еще с. 142 (с прим.) — очень

красиво об элегической повествовательности. Мне бросилось в глаза, что ты так мало говоришь о педерастии: но ведь идеализация эроса и чистое, томительное восприятие любовной страсти у греков выросло изначально на этой почве и, как мне представляется, лишь оттуда была перенесена на половую любовь, а вот до того это прямо-таки препятствовало ее (половой любви) эмоциональному и более возвышенному развитию. Что греки ранней эпохи строили воспитание мужчин на этой страсти и очень долго сохраняли это архаичное воспитание, относясь к половой любви в целом недоброжелательно, довольно несуразно, но, мне кажется, это правда. Я думал бы, что на с. 70 и 71 ты должен был бы вспомнить об этих вещах. Эрос как *πάθος καλῶς σχολάζοντες*⁶⁸⁹ в лучшую эпоху <греков> был гомосексуальным: мнение об эросе, которое ты называешь «несколько экстравагантным», что афродизийское начало в эросе не составляет его сущности, а случайно и акцидентально, главное же в нем — *φιλία*⁶⁹⁰, представляется мне не таким уж и негреческим⁶⁹¹. — Но, мне кажется, ты намеренно уклонился от всей этой области; вот и Я. Буркхардт в своих лекциях нигде не говорит о нем. — Впрочем, может быть, читая твою книгу дальше, я найду какие-нибудь указания и об этом, пока я продвинулся не слишком далеко, настолько плохи мои глаза. Изложение у тебя очень тщательное, но я хотел бы уловить еще больше от тебя, подлинного Роде, пусть даже с той потерей, что стиль будет не таким уж рафинированным, — так лично я наслаждаюсь стилем Овербека, несмотря на все «хотя». Что-то тяжеловесное, кстати говоря, есть в часто применяемом у тебя сочетании длинных прилагательных с причастиями, напр., «кипуче-плодотворный талант», «неестественно-посредническая манера», «легкомысленно-искусная работа», «утомительно-кропотливая манера» (с. 127).

Все-таки мне совсем не следовало бы говорить об этих вещах. Но я должен еще выразить свое великое изумление, привязанное к плотно закрытому рту: какой же ты все же удивительный человек! Сочинить такую книгу в эти последние годы, столь для тебя болезненные, было бы значительно выше моих творческих сил (и, кстати, моего таланта, какой он есть в любое время: на нечто подобное я не способен, хотя и желал бы быть способным). Демон филологии настолько тобою владеет, что порой я форменно робею перед его

яростью (в пронизательности и безбрежной эрудированности). Я не знаю другого человека, которому признался бы чем-то подобным, а что этот архифилолог к тому же еще и архичеловек, и притом мой архидруг, — вот уж действительно ἀνίγμα δύσλυτον⁶⁹², но помимо этого «щедрый дар Божий»!

Прощай, мой милый друг.

С музыкусом Кёзелицем давай уладим дело каким-нибудь другим способом. Овербек напишет на днях.

190. Роде — Ницше

Йена, 2 июля 1876

Имей терпение со мной, мой дорогой друг: осенью, в Байрейте, я попробую устно расплатиться с тобой за все, что задолжал тебе в смысле пропущенных письменных сообщений за это время надолго прерванного общения. К письмам я становлюсь все более непригодным: то ли я уже совсем закоснел, то ли мысли мои все больше сжимаются в судорогах. От всей души надеюсь на плодотворную личную встречу, чтобы набраться здоровья, омывшись в твоей атмосфере. Здесь мне жаловаться не приходится: мне все идут навстречу с непритворной благожелательностью (причем я, конечно, презираю особенно пышно процветающее здесь растение-ловушку, растение-паразита *invidia*⁶⁹³ огромного множества «обойденных»), а *studiosi*⁶⁹⁴, правда, совсем мало обтесаны, но очень старательны. Великолепная, фантастическая горная местность стоит задним фоном за всеми моими фантазиями и мечтами. Но при всем при том я снова и еще острее, чем в Киле, чувствую на новом месте, как, в сущности, одинок наш брат посреди этой академической «современности», в которой старому холостяку приходится тереться еще больше, чем тому, кто может запереться в свою раковину. Тебе ведь знаком этот сорт людей [—] : как же нам несимпатичен весь их душевный склад! И больше всего — самых молодых! А как опускает это вялое общее состояние; но к зиме я постараюсь укрепиться в этом строжай-

шем одиночестве, ведь если меня мало беспокоит общение с друзьями, то в себе самом тут можно потерять слишком многое. Меня очень порадовало то, что ты сказал о моей книге. В основном твое замечание о гомосексуальных истоках глубинной эротики. Я тоже не совсем обошел вниманием эту взаимосвязь, но предполагал, что этот поворот к эмоциональной интенсивности совершался в сфере любви к мальчикам и женщинам параллельно, а потому я могу (с понятной робостью) совсем оставить в стороне этих первых. Но ты прав, мне стоило все же рассмотреть их энергичнее. — Я очень хорошо понимаю твое изумление возможности написать именно эту книгу в разгар страданий прошлых лет. Эту возможность я объяснить не сумею; знаю только, что эта работа часто и сильно способствовала моему избавлению от ярости моей личной «воли». В этом отношении ты устроен настолько удачнее, что вряд ли поймешь, какой тяжестью была для меня моя земная половина, жаждущая счастья абсолютно неумело. Эх, если б я был исключительно ученым! Настоящим Вагнером! А я являюсь им лишь наполовину, плюс на 1/20 Фаустом, и из обеих этих натур слепились столь странные homunculi⁶⁹⁵, что даже близкие друзья смотрят на них, покачивая головой. — Но я твердо надеюсь, что моя «страждущая душа» когда-нибудь заснет, и определенно верю, что тогда-то и освободятся, тогда-то и заработают без всяких помех кое-какие силы получше, чем вагнеровские. А до поры до времени я не буду высвобождать свою «волю» настолько, с тем чтобы иметь возможность полностью сосредоточить свой ум на подлинно серьезных и важных проблемах, к которым нас должно направлять опять-таки очень энергичное участие «воли» — у меня она направлена иначе, а кое-где парализована. Так что пока я отношусь к филологии, как сильно нервничающий человек — к шипучке. — Эх, дружище, как я тоскую по Байрейту, единственному месту на земле, где я могу полностью избавиться от себя и своих страданий, а заодно от филологии, всякой вагнеровщины и от этого фатального академического удушья, и с головой погрузиться в море блаженства! В прошлом году, в разгар моих адских страданий, оно мне сильно помогло, а уж в этом году, когда давешняя боль едва подрагивает, поможет и подавно. Из газет я узнаю, что твое четвертое «Размышление»⁶⁹⁶ вот-вот выйдет. Я жду этого со страстью; для греков оно снова будет глупостью, а для евреев — досадой! Кстати, можно ли уже

приехать в Б.<айрейт> на генеральные репетиции? [— —] Напиши мне, дружище, поскорей, как человеку, одинокому в толпе. Поздравь счастливого Овербека. [— —]

От всей души твой Э. Р.

191. НИЦШЕ — РОДЕ
Базель, 7 июля 1876

Дорогой друг, отвечаю на твое письмо, от души обрадовавшее и взволновавшее меня, несколькими строками о жизненных делах, поскольку уже три-четыре недели я снова чувствую себя ужасно, и мне нужно подумать, как вырваться в Байрейт, но, главное, как его пережить. — В октябре я уеду в Италию, мне дали годовой отпуск, с соблюдением всех приличий и уважения. —

Судя по объявлению Вагнера в «Музыкальном еженедельнике», на репетиции не будут пускать никого. В газетах это объясняют тем, что баварский король зарезервировал генеральную репетицию для себя одного. — Я поеду в Байрейт 10 августа, а в последние дни того же месяца должен буду вернуться в Базель из-за Педагогума. — Только нужно будет послать свой патронажный абонемент банкиру Фойстелю, чтобы обменять его на 12 билетов: но это нужно будет сделать сразу же! — О Кёзелице тут не забыли. — Туда же придет и мой превосходный ученик Бреннер. —

Через неделю ты получишь мое сочинение. Оно должно было свалиться вам, моим добрым друзьям, как снег на голову, да суетливые книготорговцы портят человеку любую маленькую радость.

О самом сочинении не скажу ничего, самое большее вздохну с облегчением. — Уж очень несладко пришлось твоему другу в этом году. Но я безмерно счастлив, что все же несколько раз увидел прослеты в небесах.

Лишь бы нам и впредь оставаться храбрыми.

Неизменно твой

Ф. Н. сколько и строками о жизненных делах,

Моя сестра и Овербек передают горячий привет.

192. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, 18 июля 1876

Пусть будет на благо, дорогой верный друг, то, о чем ты мне тут сообщашешь⁶⁹⁷, на истинное благо: этого я желаю тебе от всего своего переполненного сердца. Так создай же в году спасения 1876-м свое гнездо, как наш Овербек, и, думаю, став счастливее, вы все равно останетесь со мной. Конечно, теперь я смогу быть спокойнее за тебя, хотя, возможно, и не последую за тобой по этому пути. Ведь тебе так нужна была душа совершенно близкая, и ты нашел ее, а тем самым и себя самого на более высокой ступени. Со мной дело обстоит иначе, Бог знает или не знает, почему. Мне кажется, всё это не так уж и нужно — исключая редкие дни. —

Может быть, в этом месте во мне какая-то злостная брешь. Мои устремления, моя нужда — другие: я с трудом могу об этом говорить и не могу объяснить.

Этой ночью мне пришло на ум сочинить об этом стихотворение; я не поэт, но ты уж меня поймешь.

Шагает странник по тропе
В ночной тиши.
И мир по капле льется вглубь
Его души:
И этот холм, и этот лог,
И поворот
С собой он в путь, еще неведомый, берет.
Вдруг слышит рядом птичье пенье:
«Ах, птичка, что за наважденье?
Зачем поешь ты сладко так,
Что сам собою медлит шаг
И в сердце больше нет покоя?
О чем же ты поешь с такою
Любовью и такой тоскою?»

Но птица говорит в ответ:
«Нет, странник, нет,
Не для тебя ни мой привет,

Ни эта песня.
Она о том, что ночь чудесна.
А твой удел — всегда идти
И быть в пути,
Но песнь мою
Тебе с собой не унести.
Едва вдали затихнет звук твоих шагов,
Как затяну я песню вновь
И буду петь до самой рани.
Прощай же, одинокий странник!»⁶⁹⁸

Такую речь я услышал ночью после получения твоего письма.
Ф. Н.
Еще — самые сердечные поздравления от моей сестры.

193. РОДЕ — НИЦШЕ
Йена, 20 мая 1877

Мой дорогой друг!

Я давно написал бы тебе, знай я что-то определенное о том, где ты находишься. Сейчас я упиваюсь сюрпризами — бюстом, присланным анонимно, и твоим письмом, пришедшим вчера. Прими мою глубочайшую благодарность за то и другое, друг мой, вот именно мой истинный друг и брат! Свадьба моя, правда, перенесена, как я и предусматривал, в первый раз перенося ее на послепасхальное время, — на начало осенних каникул, то есть первые дни августа, но я с живейшей благодарностью уже заранее принимаю изъявления твоей любви, чтобы наслаждаться ею тем дольше. Бюст Вагнера уже установлен и всегда у меня перед глазами — постоянная отрада с его твердыми, значительными и гордыми очертаниями в каждой линии. Мне все кажется, что в его присутствии мелочные мысли, обычно прокрадывающиеся довольно легко, вообще невозможны. Этот-то образ и должен напоминать мне одновременно о нем и о тебе, дружище, постоянно очищать меня, как чистый, укрепляющий воздух, вздымая мою грудь. — [— —] В одном будь уверен всегда, дорогой

друг, — что в моем будущем доме в любое время для тебя наготове душа и приют, не в виде подарка, а как твое собственное и неизменное достояние. — Пусть же для начала Τύχη⁶⁹⁹ дарует тебе прекрасные и отрадные дни в Пфэфферсе. Конечно, хорошо, что ты уехал из Италии до того, как там началась ужасная жара. [—]

Признание моей книги радует меня в особенности потому, что благодаря этому несколько возрастет мой авторитет, а потому уши станут более отзывчивыми к восприятию разных вещей, которые мне еще нужно сказать господам филологам. — В Гейдельберге по настоянию Ваксмута факультет настойчиво предложил меня на первое место; в ближайшее время напишу об этом больше. — А те-перь addio, дружище; остаюсь твоим с неизменной любовью!

Э. Р.

194. Роде — Ницше
Йена, 29 июня 1877

Мой дорогой друг!

Недавно в Кёзене я встретился с твоей матерью и сестрой и узнал, что сейчас ты обитаешь в горах и дышишь горным воздухом, который, надеюсь, вновь пойдет тебе на пользу. Я часто думаю о тебе с тревогой, дружище, и знаю, что в глубине души ты и сам относишься к себе с большой тревогой и раздумьями. Что можно было бы сказать тебе в утешение? Не нахожу ничего лучшего, чем предположить, что эта скверная болезнь, внезапно появившаяся из скрытого источника, может так же внезапно рассосаться. Надеюсь, ты сам отказался от намерения, о котором мне сообщил Ре, — в ближайшее время сложить с себя профессуру. Потерпи еще немного эту попытку неполного исполнения служебных обязанностей и сохрани за собой возможность вернуться к своим обязанностям; ибо разве не твой очевидный долг — пользоваться своим великим даром воздействия на молодежь и развивать его? Ты в любой момент можешь уйти, но тогда уж больше никогда не вернешься. В Базеле, конечно, никто не потребует от тебя столь преждевременного

отказа от должности. — Так что держи в поле зрения больше свою жизнь в целом, по ту сторону нынешнего ее жалкого положения, и продержись еще какое-то время. *Interim aliquid fiet*⁷⁰⁰. — Здесь я все так же ворочаю свою бочку <sc. Данаид> — недовольный не своей должностью, а достаточно часто собой. Не знаю, изменится ли это, когда я женюсь: я настолько неорганизован, что, как правило, не могу точно предсказать, каким стану в ближайшее время. Но моя девочка так сильно меня любит, и у нее такая искренняя, отзывчивая натура, что, надеюсь, мы с ней хорошо друг друга пойдем. — Ре [—] уехал в отцовское имение, Штиббе близ Тютца в Западной Пруссии, чтобы писать диссертацию. Надеюсь, он к нам еще вернется: я очень хочу заполучить его ко мне сюда. Твое письмо я ему переслал. — С Гейдельбергом ничего не вышло — очень жалко. — В августе я женюсь и, вероятно, съезжу в Париж.

Аргорос⁷⁰¹! Недавно здесь побывал некий господин Зигфрид Липинер, друг здешнего приват-доцента философии Фолькельта [—], человек с не внушающим отвращения робким, ищущим выражением лица. Он большой поклонник твоих сочинений, член Венского «Ницшевского союза», буквально бредит тобой и говорит, что послал тебе свою книгу «Раскованный Прометей». Я по его просьбе должен спросить тебя, получил ли ты ее: если нет, он тотчас пошлет тебе другой экземпляр. Напиши же мне поскорее. [—]

Addio, мой дорогой друг. Если б только я иногда мог бывать рядом с тобой, чтобы облагораживаться в твоей натуре и в твоих речах! Я тебя люблю и на веки вечные останусь связанным с тобой теснейшей дружбой.

Твой Э. Роде

195. РОДЕ — НИЦШЕ
*Париж, гостиница «Смирна»,
Рю Монсиньи, 5, 20 августа 1877*

Дорогой друг!

Я, вероятно, через некоторое время буду проезжать с женой через Базель, то есть в случае, если застаю там тебя. Так напиши же сразу, будешь ли ты там и когда. В пятницу мы, наверное, отсюда уедем. Горячий привет тебе и твоей сестре от моей жены и от меня.

Твой Э. Роде

196. НИЦШЕ — РОДЕ
Розенлауибад, 28 августа 1877

Милый, милый друг,

как же мне это выразить — когда я думаю о тебе, меня всегда охватывает волнение; а когда мне недавно кто-то написал: «Молодая жена Роде — совершенно прелестное существо, благородную душу которого излучают все ее черты», я даже пролил слезы, сам не зная почему. Надо бы спросить об этом у психологов; в конце концов они изрекут, что виновата зависть — я, мол, не радуюсь твоему счастью или злюсь из-за того, что кто-то умыкнул у меня друга и теперь скрывает его Бог знает где, на Рейне или в Париже, и совсем не хочет возвращать! Когда недавно я напевал про себя свой «Гимн к одиночеству», мне вдруг пришло на ум, что тебе совсем не нравится моя музыка и ты хочешь исключительно песню об одиночестве вдвоем, — на следующий вечер я такую и сыграл, как умел, и у меня получилось, так что ее с удовольствием смогли бы послушать все ангелочки, в особенности человеческие ангелочки. Но в комнате было темно, и никто ничего не услышал, и мне пришлось захлебываться счастьем, слезами и всем остальным.

Рассказать теперь о себе? О том, что за два часа до того, как солнце покажется над горами, я всегда уже в пути, а потом иду главным образом в длинных послеполуденных и вечерних теньях? О том, что,

пускаясь в раздумья о всякой всячине, я кажусь себе очень богатым — ведь этот год позволил мне наконец приподняться над старым болотом ежедневного принуждения в преподавании и мышлении? Здешняя жизнь позволяет мне выносить всё, даже со всеми болями, которые, правда, последовали за мной и на вершины, но в промежутках между ними есть так много счастливых подъемов мысли и чувства. Только что у меня был настоящий праздник — благодаря «Прометею раскованному». Если этот поэт — не натуральный «гений», то я уже и не знаю, кто: все чудесно, и мне так и кажется, будто здесь я встречаюсь со своим возвышенным и превознесенным до небес высшим я. Я глубоко склоняюсь перед тем, кто сумел пережить в себе и выразить нечто подобное.

Через три дня я вернусь в Базель. Моя сестра уже постаралась там все как следует наладить. Верный музыкант Кёзелиц переселится в мое жилище и будет исполнять службу всегда готового помочь писца-друга. Ближайшая зима меня немного пугает; надо, чтобы все сложилось не так. Человек, у которого остается совсем мало времени на главное, потому что ему приходится тратить все время и силы на исполнение обязанностей, чтобы не отстать в этом от других, — такой человек не гармоничен, он в разладе с собой и в конце концов заболевает. Если я и влияю на молодежь, то обязан этим своим сочинениям, а ими — своим похищенным часам, мало того, завоеванным болезнью промежуткам в профессиональной деятельности. — Теперь будет иначе: *si male nunc, non olim sic erit*⁷⁰². А тем временем пусть растет и цветет счастье моих друзей — мне всегда доставляет сердечную радость думать о тебе, дружище (а вижу я тебя в заросшем кустами роз озере, и к тебе плывет прекрасный белый лебедь).

С братской любовью, твой Ф.

197. РОДЕ — НИЦШЕ

Йена, 15 февраля 1878

Мне все кажется, будто между сегодняшним днем и моим последним письмом к тебе прошел целый эон, мой дорогой друг. Я думаю и постоянно надеюсь, что ты раз и навсегда достаточно убедился в моей верности и любви к тебе, чтобы тебя не смущало и мое столь долгое молчание. Мои мысли и желания в тихие часы тысячу раз устремлялись к тебе; я никогда не мог и не хотел толком сформулировать их. Очень большое бремя лекционных курсов (сплошь новых!) давит на меня, как могильный камень; в редкие праздничные дни я едва могу высунуть свою закосневшую ученую черепушку из этих рудников «науки» повыше, на более свободный свет дня. Вечер пятницы (как сегодня) — это мой выходной; но тогда я бываю, как правило, усталым и тупым, как старая мельничная кляча, так что обмен письмами при надвигающейся старости становится все более проблематичным. Мы живем ужасно далеко друг от друга, и вот в таком письмеце хочется преподнести далекому другу весь экстракт своей жизни, словно выжатый в лафитник. Но попытка сделать это проблематична и становится все проблематичнее. Вот усядешься и спросишь себя: «Ну, и как ты там?» — и тут же обычно сам погружаешься в удивленные раздумья: «Да нет, как ты живешь?» и сам не находишь ни ответа, ни озарения. И жить дальше позволяет, наверное, в конечном счете какая-то целительная тупость. Этим я не хочу себя оплакивать. Но, в сущности, сказать тут и похвалиться можно немного. Женитьба привнесла в ход моего часового механизма полную регулярность; дни проходят тихо и одинаково. Моя женушка — душа самая чистая и искренняя, какую легко⁷⁰³ найти где-либо еще на земле, и полна глубокой любви ко мне, которая меня трогает всякий раз заново. Летом, наконец, я смогу уделить ей больше времени и заботы: этой зимой я все свои силы расходую на зубрежку. В остальном брак — дело проблематичное: трудно представить себе, насколько он старит, ведь тут стоишь на некоей вершине, выше которой ничего уже нет. Нет больше обычного ежедневного ожидания ангела, который принесет тебе рай прямо в комнату; больше ничего не ждешь. В этом есть свои большие преимущества и большие опасения: брак, ви-

димо, воздействуя медленно и ежедневно, мало-помалу должен как-то странно видоизменить человека. — Надеюсь, дружище, на основании этих разглагольствований ты сможешь несколько понизить уровень воды в бассейне моего женатого профессорского бытия. — Летом я надеюсь найти куда больше времени, чем сейчас, когда я мотаюсь между работой и усталостью, и для того, чтобы позаботиться о превосходном Баумгартнере. Есть в нем очень хорошая основа, но такая, которая еще настоятельно требует серьезной доработки, да он и сам может провести ее со всем рвением. Я изо всех сил удерживаю его в области чисто филологической; он должен строить дом снизу, а не с крыши, — и нет опасности, что у него при этом пропадут разум и воля, чтобы потом воспарить выше. Между тем я тебя прошу при случае высказать мою живейшую благодарность его матери за ее очень любезное письмо, которое она прислала мне под Новый год; будет время, я напишу ей сам. — Из Байрейта у меня нет известий, и виноват в этом я сам, потому что уже целую вечность не писал. Ты ведь примешь участие в «Листках»? Я, по побуждению Вольцогена, дал неуверенное согласие; правда, я не имею никакого представления о том, в какой форме мог бы там выступить. Первый выпуск производит мрачное впечатление: даже слова Вагнера отзываются для меня глубоким малодушием. «Парсифаля» (откуда там, собственно, S и F⁷⁰⁴?) у меня еще нет, но посыльный из книжной лавки в конце концов мне его все же доставит. — От Овербека я не слышу о Герсдорфе ничего отрадного, а о Ре вообще ничего. Липинер, кажется, бездельничает в Зальцбурге при Зейдлице. Его будущее внушает мне опасения. —

А теперь, дружище, позволь мне в первую очередь надеяться, что в начале марта ты действительно приедешь сюда, как извещает меня Овербек; ты доставил бы мне этим несказанную радость. Жил бы ты у меня (только заранее напиши, когда приедешь), а напоследок я, смотря по обстоятельствам, ненадолго съезжу с тобой в Наумбург. Почему, кстати, ты ищешь курорты где-то вокруг себя, а не поедешь в Галле, куда так легко попасть из Наумбурга? Тамошний Грефе считается здесь настоящим чудесником в лечении глаз. — Передай Овербеку от меня самый искренний привет, мою благодарность за его многочисленные письма, за то, что прислал программу (я, кстати, действительно прочитал програм-

му!), за его доброту и дружеское участие, которыми он отплатил с помощью своих писем за мою леность в переписке и которые я с восторгом приветствую. Передай привет от меня и моих близких и его жене, а сам будь уверен в моей неизменной любви. Я часто думаю о тебе и о твоей болезни; если б я мог чаще бывать с тобой! Да приезжай же!

Твой Э. Р.

Жена передает тебе сердечный привет и радуется вместе со мной твоему прибытию!

198. Роде — Ницше

Йена, 16 июня 1878

Пока что, мой дорогой друг, я все же не подошел к той точке, исходя из которой мог бы в конце концов надеяться сделать обзор всего содержания твоей книги⁷⁰⁵, а потому, наверное, должен наконец решиться поблагодарить тебя и без этого. Я всегда надеялся, что все-таки придется дойти до того места, где *ὁ τρώσας*⁷⁰⁶ покажет и свою целительную силу. Но я могу читать книгу только спорадически, и читается она ужасно медленно, потому что пищи для ума там так много и в таких различных *στοιχεῖα*⁷⁰⁷, что я никак не могу перевалить даже хоть сколько-нибудь за середину: а те целебные травы, которые пока там выросли, кажется, выросли скорее случайно и остались не вырванными по ошибке, а не посаженными намеренно. Мое удивление этому новейшему Ницшеануму было, как ты можешь себе представить, невероятным: так, наверное, бывает, когда человека прямо из кальдария выгоняют в ледяной фригидарий⁷⁰⁸! Скажу тебе совершенно откровенно, друг мой, что это удивление не обошлось без болезненных ощущений. Разве можно было вот так вынуть вон свою душу, а на ее место впустить другую? Вместо Ницше внезапно сделаться Ре? Я все еще в изумлении стою перед этим чудом и не могу ни радоваться ему, ни составить себе никакого определенного мнения: ведь толком я так ничего и не понял. Тому, кто, как наш

брат, в силу профессии и косности воли вынужден обходиться чисто теоретической деятельностью, не надо, конечно, принимать близко к сердцу, когда ты вдруг рекомендуешь эту теоретическую профессию как самую желательную, как последнюю и высшую. Но моему настроению это совсем не соответствует. Есть ведь большая разница между тем, кто не чувствует в себе сил решительно оттолкнуться от несовершенной деятельности, оставляющей втуне половину человека, в направлении истинной *πρᾶξις*⁷⁰⁹, и тем, кто больше уже не ощущает эту свою слабость как упрек в том, что не смеет оторвать от нее глаз, подняв их к высшим ступеням человечности, а, во избежание мнимой «безответственности», должен стремиться к порядку и быть довольным собой. Никто не заставит меня поверить в эту безответственность, никто в нее не верит, в том числе и ты; и если копание в *φύσις*⁷¹⁰ не находит причин для «недовольства» несовершенством, то я лучше тысячу раз предпочту привлечь для его объяснения самые отчаянные метафизические гипотезы, чем отшутиться от факта этого «недовольства», растворив его в воздухе, столь ужасающе слабыми «историческими» объяснениями, которые ты заимствуешь у Ре, а он у французских сенсуалистов. Все подобные взгляды, согласно которым человек, как и другие животные, есть существо, рассчитывающее исключительно на себя, не просто думающее только о себе, но и призванное так думать, я не нахожу ни особенно глубокими, ни сколько-нибудь убедительными. Если все мы суть отвратительные эгоисты (я знаю, мой дорогой друг, насколько больше это относится ко мне, чем к тебе!), то тогда никто не решится вырвать из нас занозу, которая напоминает нам о том, что мы ими быть не должны. Ведь может статься, что кто-то в основном творит и добро ради связанного с этим ощущения свободы: но если свобода побуждает человека в ходе конфликта между своими эгоистическими и антиэгоистическими влечениями пожертвовать первыми, то этот странный факт невозможно выстроить в одну линию с побуждениями его эгоистического ощущения свободы, а нужно в любом случае противопоставлять им, как делают все, ставить выше их по ценности,

* Я, конечно, понимаю, что ты ведешь речь о совсем другом роде теоретической деятельности, нежели наша, но здесь эта разница не сказывается (*примеч. Э. Роде*).

и в любом случае почитать как благо, о котором, видимо, согласно Ре, вообще не стоит и говорить. — Это, вероятно, покажется тебе всего лишь напыщенными рассуждениями, но я не в состоянии вылезти из своей шкуры; и хотя я поэтому признаю относительную истину почти всех твоих утверждений, мне все же хочется всюду упреждать их неким «правда» и продолжать твои утверждения неким «но». А, по правде говоря, дружище, я думаю, что ты теперь отнюдь еще не достиг цели своего пути; твоё развитие описывает дугу и, возможно, когда-нибудь, подобно *ἀρμονία τόξου καὶ λύρα*⁷¹, вернется к своему изначальному направлению. В твоей книге я чувствую и ценю так глубоко, как только возможно, благороднейшее влечение свободного человека, мало того, самой неограниченной истины, а также во множестве мест нахожу совершенно великолепным то, как ты распускаешь ткань религиозных и эстетических иллюзий, и, право, не хочу, чтобы читатель с болью за разрушенные прекрасные химеры натужно цеплялся за разрушенную более трезвым взглядом веру, как если бы великовозрастный детина пытался втиснуться назад, в яйцеклетку. Вот только я сильно сомневаюсь, действительно ли эти взгляды являются окончательными и единственно верными: так химик может представить мне самую прекрасную картину как всего лишь смесь совершенно точно определенных, а может быть, и зловонных химических веществ — и будет на свой лад прав; но если он думает, что может выиграть в споре со мной о художественной ценности и смысле картины как целого, составленного из этих веществ, то жестоко ошибается. Не будем спорить о последствиях вашего «нового» воззрения, если представить себе, что оно станет распространенным: оно, мне кажется, должно было бы уничтожить все устремления — а правильное инстинкты (почему мы должны пренебрегать этим превосходным словом?), ориентированные на человеческую общность. В какую-то эпоху всеобщей «мудрости» я поверить не смогу; мудрость (а ее лишены весьма незрелые мозги 99,9 процента людей) изолирует, а потому на ней не может быть построена какая бы то ни было культура.

При всем том, что я излагаю тебе здесь со всей откровенностью, я думаю только об основном тоне твоей книги. В остальном она так необъятно богата предметами и точками зрения на них, что я могу только выразить тебе свою глубочайшую благодарность за эту

благодать. Я наслаждаюсь отдельными местами там и сям, в очень многих идеях снова обнаруживая старого, не меняющегося, не обгрызенного Реевскими бесплодными мечтаниями Ницше, и мое сердце, повинувшись старой любви и восхищению, тысячу раз следует за тобой по глубоким ходам таких размышлений. Особенно то, что во многих местах говорится о грехах, для меня убедительно, как истинные прозрения глубинной сути этих удивительных людей. — На сегодня прощай, дружище. Одновременно я пишу Овербеку, в том числе о всяческих персонах. В глубине души, можешь быть в этом уверен, ничто никогда не посеет во мне холод к тебе.

Твой Э. Р.

Сердечный привет твоей сестре!

199. НИЦШЕ — РОДЕ

Базель, вскоре после 16 июня 1878

Ну вот и хорошо и прекрасно, дружище: мы с тобой еще не стоим на глиняном постаменте, с которого книги обыкновенно сразу опрокидываются⁷¹².

На этот раз я спокойно выжидаю, пока постепенно не улягутся волны, в которых барахтаются мои бедные друзья: правда, я сам и загнал их туда, но из опыта знаю, что для жизни это не опасно; а если там и сям это бывает опасно для дружбы, — что ж, будем держаться истины и скажем: «Доселе мы любили друг в друге только химеру».

Многое можно было бы сказать, а еще больше несказуемого подумать про себя: в шутку рискну сравнить себя с человеком, задавшим большой пир, но гости с него разбегаются, завидев все эти лакомства. А если бы кто-то из гостей попробовал хоть несколько кусочков (как ты, мой дорогой и славный, оказываешь честь грехам), то получил бы удовольствие уже от них.

Не копайся в вопросах происхождения этой книги, а продолжай выхватывать оттуда то и сё. Тогда, может быть, придет час, ког-

да ты со своей прекрасной конструктивной фантазией разглядишь ее как целое и сможешь приобщиться к величайшему счастью, которое я уже вкусил.

Кстати: ищи в моей книге только меня, а не друга Ре. Я горжусь тем, что открыл его превосходные качества и цели, но на замысел моей «*Philosophia in puce*⁷³» он не оказал ни малейшего влияния: она была уже готова, а львиная доля ее записана, когда осенью 1876-го я свел с ним более близкое знакомство. Мы с ним поняли, что стоим на одном уровне, и получали от своих разговоров безграничное удовольствие, а также, конечно, большую взаимную пользу, так что Ре, любезно преувеличивая, надписал на моем экземпляре своей книги («Происхождение моральных ощущений»): «Отцу этой книги от ее матери — с живейшей благодарностью».

Не кажусь ли я тебе из-за этого еще более странным и непонятным? Если б ты только чувствовал то, что я чувствую сейчас, после того, как наконец утвердил свой жизненный идеал — свежий чистый горный воздух и мягкое тепло вокруг, — ты смог бы очень, очень порадоваться за своего друга. И этот день когда-нибудь да придет.

От всего сердца,
твой Ф.

Моя милая сестра шлет тебе сердечный привет. Ты уже знаешь, что через две недели она вернется в Наумбург?

200. Роде — Ницше
Тюбинген, 22 декабря 1878

Дорогой друг! Я воображаю, что ты в полном одиночестве проводишь это Рождество в своей хижине, без всякой связи с миром, от которого, как я слышал, ты отрекся: хотел бы я в таких обстоятельствах хотя бы пожать твою руку и заверить тебя, что мыслями я часто и помногу бываю с тобой. Благодаря сцеплениям жизни и многочисленным опытам, внутренним и внешним, люди все дальше

расходятся по двум разным мирам, так что однажды, в особенных обстоятельствах, уже не могут докричаться друг до друга и теряют представление о том, как живет другой. Мой дорогой измученный друг, не давай же своей жизни скиснуть; я уже слышал нечто подобное о настоящем бытии фиваидских отшельников, которым ты теперь подражаешь, отрехшись от всех радостей и приманок жизни. Я совершенно уверен, что такое принципиальное истощение твоих жизненных сил не пойдет на пользу твоему здоровью: зачем тому, кто, подобно тебе, мастер в игре на струнах души, нарочно связывать себе руки? Впрочем, я, конечно, не могу судить о том, в какой мере твое здоровье требует этого режима. — Мало-помалу я окончательно превращаюсь в домохозяина и филистера, но все-таки в меру, ибо моя женушка с ее чувствительно чистой душой постоянно поддерживает меня в возвышенной сфере любви и влюбленности. Моя малышка развивается удачно, мало-помалу из звереныша проступает наружу человеческая душа; я с подлинным удовлетворением и благочестивым ожиданием всматриваюсь в будущее, когда этому новому человеку, который от меня отделился, будет суждено противостоять мне в качестве другого «я». — В остальном моя жизнь течет исключительно тихо; во мне еще не возникло чувство сопринадлежности к этому диковинному народу швабов, но он уже начал утрачивать в моих глазах свой изначально отталкивающий характер.

Баумгартнер, вероятно, в ближайшее время навестит тебя, а потом, надо надеяться, обстоятельно все расскажет мне. [— —]

А сейчас прощай, мой сердечный друг; я вспоминаю о тебе
с прежней преданностью,

Э. Р.

201. РОДЕ — НИЦШЕ
Тюбинген, 22 декабря 1879

Мой дорогой друг!

Прошло много времени с тех пор, как я в конце концов обратился к тебе с чем-то другим, нежели просто с мыслью о том, что с трудом нахожу путь, которым прежде хаживал так часто. Я вспоминаю о давно прошедших временах, когда мы с тобой сдружились в Лейпциге, о твоих ночных фантазиях за фортепиано, о множестве чудесных часов, затем — о наших случайных встречах в Базеле, обо всех тех часах и днях, которые мы провели вместе в тени Вагнера, возможно, в очень разных мирах, и таким же казалось настроение, — я всегда думаю о тебе, воскрешая в памяти лучшие, самые чистые и полные предчувствий моменты моей молодости, а она по-настоящему началась у меня только в двадцать лет. Я не могу тебя потерять, даже если ты залезешь на самые далекие горные хребты мышления; то, что в прошлом столетии называли симпатией, увлечет меня за тобой — вот признание, идущее не просто от головы, но от всего моего существа, и как будто чуть ли не принудительное. Я должен был бы утешить тебя в твоих мучениях, но не могу сказать ничего, кроме этого: читая твои последние книги⁷¹⁴, я, при всем спокойствии ума, постоянно мучаюсь вместе с тобой, и это не переливается через край, словно избыток переживания жизни, как это бывает в книгах, — нет, тут изливается изобильный поток мыслей разного рода, но он перетекает через такое множество личных страданий и отречения всяких видов, что другу, который чувствует себя сопричастным, становится от этого тяжело на сердце. Так много мужества, ясности, тонкости и столь высокое благородство чувства, что он может отважиться по доброй воле отречься от всяческого благородничанья, такой свободный и чистый взгляд на мир — но на страшном удалении от всего по-земному грубого и тривиального; словно не открывая глаз, ты видишь всю полноту мира и человеческих поступков, правильно понимая их, но не теряя из-за них покоя и не смущаясь ими, и это причиняет боль читателю, если он тебя любит и (уподобляясь в этом глупым бабам) в каждом слове слышит своего друга, а не мысли сами по себе, в чистом виде. Но бу-

дем и впрямь вместе радоваться тому, что твои разговоры с Тенью уносят тебя так высоко и далеко прочь от всего личного: покуда ты обдумываешь и развиваешь свои мысли, тебя ведь должно переполнять удовлетворение оттого, что ты их нашел и выразил, тем более, что все твои мысли суть многочисленные битвы и победы над расслабляющей болезнью. Какой подарок немногим читателям своей книги ты делаешь, об этом сам ты вряд ли можешь судить верно, ведь ты живешь в собственном духе, мы же, прочие, никогда не слышим таких голосов — ни произнесенными, ни напечатанными: а потому теперь, как и встарь, когда я бывал с тобой, мне так и кажется, будто на какое-то время я поднялся в более высокий ярус, будто духовно облагородился. — Жизнь моя катится по ровной колее, а именно по типично профессорской: я громко кричу под бременем лекций, но все никак не соберусь подумать о себе, а в конце концов вынужден признаться себе, что для этого и не рожден. Физически я чувствую себя вполне хорошо, а что жена и ребенок сильнее связывают меня с земным миром, действует, наверное, даже целительно. У них все хорошо, малышка ползает и каркает, пока не больше того, но уже демонстрирует странную смесь упрямости, унаследованной от меня, и собственную разновидность плутовства и веселого передразнивания всего, что оказалось для нее важным, — это ее безраздельное достоинство. Надо надеяться, она вырастет умницей: а уж тогда все у нее сложится благополучно и правильно. — Хотелось бы мне только верить, дружище, что ближайшее время будет для тебя сносным; послушайся моего совета — не уезжай из Наумбурга, пока не придет заправское лето: при таких страшных холодах за границей жить будет невыносимо, даже в Италии, где нет печек! Если бы существовал какой-нибудь Зевс, которому можно было бы послать полные доверия мольбы, чтобы он дал тебе еще много летних дней, в которые твоя Тень бродила бы с тобой свободно и с утешительным глубокомыслием! Конец твоей книги ранит душу; после этого оборванного дисгармонического аккорда должны, обязаны были последовать аккорды более мягкие. — Мне нечем отплатить тебе за твои дары: филологические яйца, которые я сношу, вызовут у тебя разве что улыбку. Ты странствовал по таким далям, а твой товарищ так и сидит на том камне, на который

уселся однажды, когда ты познакомился с ним в Лейпциге как со своим соучеником у Ричля! Прекрасно понимаю я и то, что все занятия наукой имеют не больше ценности, чем щелканье орехов, — ведь кого они могут развить и развлечь больше, чем самого щелкающего! Своего рода *passatempo*⁷¹⁵, которому я никогда не мог предаваться толком, да и умные люди (а они среди филологов, конечно, большая редкость) могут говорить о нем только морщась и отдуваясь. [— —] Но пока ты это делаешь, это приятно занимает ум, примерно как бильярд или шахматы. Говорю это без аффектации и самоиронии и только поражаюсь тому, как человек, который больше не может, не хочет высоко оценить то, что на самом деле может, а ведь это заложено в человеческой природе. *Basta*⁷¹⁶. Лишь в знак дружбы я мог бы время от времени присылать тебе какие-нибудь *philologica*, если бы был уверен в том, что ты смотришь на это точно так же.

Прощай, мой милый друг; ты всегда — дающий, я всегда — принимающий: да и что я мог бы тебе дать, чем мог бы быть для тебя, если не твоим другом, который при любых обстоятельствах останется одинаково преданным тебе и готовым для тебя на все. Моя жена приветствует тебя, хоть и без знакомства, самым сердечным образом. С самыми искренними и лучшими пожеланиями,
твой друг и брат

Э. Р.

Передай от меня приветы своей матушке и сестре.

202. Ницше — Роде
Наумбург, 28 декабря 1879
(почтовая карточка)

Благодарю тебя, мой верный друг! Твоя старая любовь, засвидетельствованная заново, — это был самый ценный для меня подарок в вечер раздачи подарков. Редко бывало мне так хорошо: обыкновенно личным результатом прочтения книги до конца было то, что друг оставлял меня, будучи обиженным (как делает моя Тень).

Уж очень хорошо знакомо мне чувство одиночества без друзей, и этот великолепный знак твоей верности потряс меня до глубины души. — Мое состояние сейчас снова ужасающе, мучения отвратительны — *sustineo absteineo*⁷⁷ и сам себе удивляюсь по этому поводу.

От всего сердца твой
Ф. Н.

203. НИЦШЕ — РОДЕ
Генуя, 24 марта 1881

Так-то вот жизнь течет и утекает, а лучшие друзья друг друга не видят и ничего друг о друге не слышат! Да и трудный же это фокус — жить и не впадать в уныние! Как часто я чувствую, что с удовольствием одолжил бы у своего старого, бодрого, цветущего, смелого друга Роде, что мне позарез нужно «переливание» силы, и не ягнячей, а львиной крови, — но он теперь застрял в Тюбингене, в книгах и в браке, недостижимый для меня во всех отношениях. Ах, дружище, вот мне и приходится вечно жить «своим соком» или, как знает каждый, кто это однажды попробовал, пить собственную кровь! И тут уж нужно, с одной стороны, не терять жажды по самому себе, а с другой — не выпить себя до дна.

В целом, однако, я настолько изумлен, чтобы признаться тебе — какое огромное количество источников человек может в себя впустить. Даже тот, кто, как я, не слишком-то богат. Думаю, обладая я всеми теми качествами, в которых ты меня превосходишь, я стал бы высокомерным и невыносимым. Уже сейчас бывают мгновения, когда я брожу по холмам над Генуей, лелея взгляды и переживания, которые как раз, возможно, когда-то именно отсюда блаженный Колумб пустил по морям и по всему будущему.

Так вот, этими мгновениями мужества и, может быть, даже глупости я должен попытаться восстановить равновесие корабля своей жизни. Ибо ты не поверишь, как много дней и как много часов даже в сносные дни мне приходится выдерживать, чтобы не сказать больше. Насколько с помощью «мудрости» житейского

опыта можно облегчить и смягчить тяжелое состояние здоровья, я, вероятно, делаю все, что можно сделать в моем случае, — тут я не лишен ни идей, ни изобретательности, но никому не пожелаю того жребия, к которому уже начинаю привыкать, потому что начинаю понимать — я с ним справляюсь.

Но ты, мой верный дорогой друг, ты не в таких тисках, где нужно сделаться тонким, чтобы вывернуться, и Овербек тоже — вы делаете свою прекрасную работу и, не слишком много об этом говоря, может быть, не слишком много об этом размышляя, пользуетесь всеми благами полудня своей жизни и только чуть-чуть при этом потеете, как я подозреваю. С каким удовольствием я услышал бы что-то о твоих планах, о больших планах, ведь у человека с такой головой и сердцем, как у тебя, за всей повседневной и, может быть, мелкой работой всегда маячит что-то объемное и очень большое, — как ты меня обрадовал бы, если бы не считал меня недостойным такого рода сообщений! Такие друзья, как ты, должны помогать мне сохранять веру в себя, и ты делаешь это, доверяя мне свои высочайшие цели и надежды. — Если в этих словах скрывается просьба о письме, что ж, дружище, я очень хотел бы однажды снова получить от тебя что-то очень, очень личное — чтобы в моем сердце остался навсегда не только друг Роде из прошлого, но и друг нынешний и, что еще важнее, друг становящийся и проявляющий волю: именно становящийся! Именно проявляющий волю!

От всего сердца,
весь твой

Замолви за меня словечко перед своей милой женой: пусть она не сердится, что я все еще с ней не знаком: когда-нибудь я все заплачу.

Адрес: Генуя (Италия), до востребования

204. РОДЕ — НИЦШЕ
Тюбинген, 8 апреля 1881

Написать тебе наконец снова, мой дорогой друг, спустя столь долгое время становится мне все труднее, словно я теперь, со своими костенеющими членами, должен взмахнуть на нашу лейпцигскую резвую лошадку (на которой, если ты еще помнишь, ты «растряс себе все жиры»). Я с удовольствием развернул бы перед тобой всю свою душу, но для этого мне и самому пришлось бы долго в нее всматриваться, дольше, чем это, может быть, целесообразно. Смещение элементов во мне не таково, чтобы из них сложился пунш желательного характера, и я без всякой охоты имею дело с мутной *beuvage*⁷¹⁸, которая составляет экстракт моей души. Я хотел бы, чтобы у меня была возможность по твоему желанию рассказать тебе что-то очень хорошее о хоть и не великих, но все же интересных вещах, которыми я занимаюсь, — но, черт знает почему, я почти неизменно оказываюсь в жалкой нехватке времени и только исподтишка облизываюсь на крупные начинания, но не могу к ним приступить. Ты совершенно прав: человек обязан становиться, куда жив; без этого все предприятие жизни утрачивает интерес. Но таково уж проклятье профессорской жизни: рутинная постоянно вынуждает нас выдавать себя за нечто сущее, хоть мы и не таковы и быть им не хотим. Не знаю, как с этим справляются другие, но у меня все силы уходят на чтение лекций и ведение семинаров. Это безотрадная работа, потому что не оставляет времени для себя, не дает возможностей, чтобы подумать в покое, но, разумеется, она не бесполезна для собственных замыслов и целей. Что я хотел бы однажды сделать и, вероятно, начну в конце концов подготавливать, — это история греческой культуры, задача, в которой можно было бы сконцентрировать все, что могу и хочу сказать. Я начал бы с труднейшей части — эллинистической культуры. Покамест я просто издали радуюсь этой работе и надеюсь, что все, что во мне тем временем созреет, пойдет все-таки на пользу работе (поскольку разовьет мышцы работника) и без специального отношения к этой задаче и что через два-три семестра я смогу отставить в сторону лекционную тачку, чтобы, как следует поплевав в ладони, приступить к этой большой работе.

Надеюсь, что уж тогда я и внутренне почувствую себя более удовлетворенным; сейчас я часто кажусь себе деревенским прудом, медленно зарастающим ряской. Человек никогда не бывает лучше и богаче в свои ранние годы, чем в средние, которые я теперь проживаю. Но еще долго он знает себя недостаточно, не имея достаточно случаев показать себя, проявить себя полностью, не в силах себя проявить, и потому еще не так невыносим для себя, как в эти средние годы. Конечно, я не ощущаю настоящей тоски по прошлому, но есть во мне какая-то смутная меланхолия, когда я вспоминаю о минувших десятилетиях, понимая, как мало или вообще ничего не вошло. У меня многое связано с одним-единственным, мнимо крошечным пунктом: я абсолютно неспособен правильно обращаться с людьми, и это выражено у меня настолько разительно и грубо, что люди просто не отваживаются ко мне приблизиться, а от этого страдаю сильнее всего я, потому что это нездоровым образом загоняет меня в себя. Если человек достиг уже тридцатипятилетнего возраста, то измениться, конечно, больше не в состоянии, да никто в это и не поверит. Но я часто и глубоко чувствую: такой характер лишил меня подлинной прелести жизни. — Конечно, многое изменилось бы, если бы вблизи меня был человек, который отважился бы уделить мне немного огня от своего огня; теперь я был бы восприимчивее к этому, чем прежде. Эх, наши немецкие профессора, которые к тому же в бисмарковской атмосфере ежедневно все больше теряют себя! — К счастью, в семье у меня все в порядке; моя малышка подрастает в полном здравии и полна той самородной, почти не нуждающейся ни в чем извне жизнерадостности, которой я сам лишен напрочь. Я думаю про себя и повторяю без счета: Господь ее сбереги! Ведь здоровье и жизнерадостность — на самом деле столь ценные и хрупкие блага, что для их сохранения так и хочется специально выдумать какую-то сверхчеловеческую защитную силу, чтобы вверить их ей! Но мы, жена и я, делаем все, чтобы со своей стороны воспитывать козлявку разумно и в соответствии с ее возрастом, защищая от всех влияний, превращающих детей в маленьких чертенят. — [— —]

Долго же я говорил о себе, причем при скудном освещении, которое дает нынешний день. Мне пришлось бить себя в грудь и объявлять свой жребий незаслуженно счастливым, потому что

я думаю о тебе, мой бедный героический друг. От Овербека (которого я недавно навестил на несколько дней и порадовался его восхитительной уравновешенности) я услышал, что временами тебе бывает сравнительно хорошо и что ты даже готовишь новое сочинение. Я с трудом могу представить себе твою жизнь в ужасных условиях, с которыми ты вынужден разбираться в полном одиночестве. Но какой источник силы и более того — счастья заключается в твоей мыслительной жизни, которой ты можешь предаваться теперь, когда ничего тебя не отвлекает! Боже ты мой, так что же такое счастье? Ведь покуда ты, вдруг освободившись от болей, целиком отдаешься своим мыслям, ты поистине и на самом деле — самый счастливый человек! Ибо это, конечно, и есть подлинное счастье — поддерживать свой ум в состоянии самой напряженной, самой чистой деятельности. Прощай, мой любимый друг, и больше не давай нам снова так друг друга терять. Время от времени присылай мне почтовую карточку, чтобы я знал твой адрес и сохранял связь с твоей жизнью. Когда ты приедешь сюда к нам? Моя жена просит об этом вместе со мной, стремящимся всегда оставаться твоим!

Э. Р.

205. Ницше — Роде
Зильс-Мариа, 4 июля 1881
(почтовая карточка)

Ну вот, мой старый милый верный друг, и пришел alter ego⁷¹⁹, и теперь ты можешь сколько душе твоей угодно со мной беседовать, со мной браниться, сердиться, блаженствовать и неистово любопытствовать. Было бы скверно, если б не нашлось книги как раз для тебя — иначе я даже и не знал бы, как еще доставить кому-нибудь в этом мире радость. Здесь тебе все мои составные части; не обращай внимания на то, что тебя ранит, и сосредоточься на всем том, что тебе, именно тебе, внушает мужество. Иным способом я и не сумел бы отблагодарить тебя за твое письмо, полное богатства мыслей и благородства души, — все четверти часа, какие

позволяют мне голова и глаза, я обязан использовать для служения великому заданию, и в глубине своей души всечасно мечтаю о том, чтобы точно так же наилучшим образом служить и своим друзьям. Не поминай лихом!

Твой Ф. Н.

Зильс-Мариа (Энгадин), Швейцария, до востребования.

206. Ницше — Роде

Генуя, 21 октября 1881

(почтовая карточка)

Дорогой старый друг, поскольку меж тем ты ничего мне не написал, мне остается думать, что тут у тебя есть какие-то затруднения. Поэтому сейчас я выскажу тебе мою доброжелательную просьбу, причем без всяких смущающих тебя задних мыслей: не пиши мне сейчас! Между нами от этого ровно ничего не изменится; мне, однако, невыносимо чувствовать, что присылкой книги я как будто бы оказал на друга своего рода давление. Да разве в книге дело! Мне еще предстоит совершить кое-что поважнее — и без этого жизнь потеряла бы для меня смысл. Ведь мне приходится тяжело, я сильно болею.

С любовью,

твой Ф. Н.

207. Ницше — Роде

Таутенбург близ Дорнбурга, Тюрингия.

Середина июля 1882

Мой дорогой старый друг, делать нечего, придется мне сегодня подготовить тебя к моей новой книге; ты можешь расслабиться самое большее еще на 4 недели⁷²⁰! Смягчающее обстоятельство — то, что она будет последней на долгие годы: осенью я поступаю

в Венский университет и начинаю свое новое студенчество, после того как старое из-за слишком однобоких занятий филологией несколько не удалось⁷²¹. У меня уже есть специальный учебный план, а за ним маячит специальная тайная цель, которой посвящена моя дальнейшая жизнь, — мне слишком тяжело жить, если я не делаю это с самым широким размахом, между нами говоря, мой старый товарищ! Без цели, которую я не смог бы считать неизмеримо важной, я не смог бы и удержаться наверху, в свете, над черными потоками! Это, собственно говоря, и есть единственное мое извинение за ту литературу, которой я занимаюсь, начиная с 1876 года: таков мой рецепт и самодельное лекарство против пресыщения жизнью. Что это были за годы! Какие затыжные боли! Какие внутренние препоны, перевороты, разлуки! Кто выдержал так много, как я? Уж точно не Леопарди! И если сегодня я превосхожу любого, с веселостью победителя и бременем новых трудных планов в душе, — и, насколько я себя знаю, с перспективой на новые, более тяжелые и еще более глубинные страдания и трагедии и с нужным для этого мужеством, то никто, очевидно, на меня не рассердится за то, что я одобряю свое лекарство. *Mihi ipsi scripsi*⁷²² — так оно и будет; и вот так же всякий в соответствии со своими особенностями должен делать все наилучшее для себя — такова моя мораль, единственная, какая мне еще доступна. И когда во мне появится телесное здоровье, кому же я буду этим обязан? Я во всех отношениях — свой собственный врач; а поскольку я тот, в ком нет никакого разлада, я должен врачевать душу, дух и тело зараз и одними и теми же средствами. Допустим, что другие от моих средств могут погибнуть: на этот случай я изо всех сил и стараюсь предостерегать от себя. Эта последняя книга, озаглавленная «Веселая наука», в особенности отпугнет от меня многих, может быть, и тебя тоже, мой милый старый друг Роде! Она заключает в себе мой образ, и я определенно знаю, что это не тот мой образ, который ты носишь в своей душе.

Итак: наберись терпения, хотя бы для того, чтобы понять, какой смысл я вкладываю в «*aut mori aut ita vivere*»⁷²³.

От всего сердца твой
Ницше

Мой дорогой друг,
вот я все же снова на «Юге»; я все еще не могу выносить нордического неба, Германии и «людей». Тем временем было очень много болезни и меланхолии.

Твое крайне приятное для меня письмо, заставшее меня в Санта Маргарите, принесло мне в особенности одну радость: ты говоришь о своей сосредоточенной главной работе. В глубине души я, в сущности, сержусь на всех своих друзей, пока не услышу от них вот таких слов. Мы обязаны вкладывать себя во что-то целостное, иначе множественность разложит нас на многое.

И пишу я сегодня так же плохо, как некоторые друзья — но отнюдь не из мести. —

Что касается меня — дружище, гляди, как бы именно сейчас не впасть в заблуждение обо мне. Да, у меня есть «вторая природа», но она предназначена не для того, чтобы уничтожить первую, а чтобы ее вынести. От своей «первой природы» я уже давно погиб бы — я уже почти погибал.

То, что ты говоришь об «эксцентрическом влиянии»⁷²⁴, впрочем, совершенно истинно. Я мог бы назвать место и день, где и когда это случилось. Но — кто же это был, тот, что решился на это? — Разумеется, мой славный друг, это была первая природа: она хотела «жить». —

Перечитай как-нибудь мне в угоду мое сочинение о Шопенгауэре: там есть несколько страниц, на которых можно найти ключ. Что касается этого сочинения и выраженного в нем идеала, то до сей поры я держал свое слово.

Высокоморальные манеры я уже больше прямо-таки не люблю. Ты должен придать несколько иную окраску сказанному в том, первом сочинении.

Теперь я стою перед главным делом. —

Что касается заглавия «Веселая наука», то я имел в виду только *gaia scienza* трубадуров — отсюда и стихотвореньице.

От всего сердца,
твой старый друг
Ницше
Санта Маргерита Лигуре, до востребования

Господи, до чего я одинок!

209. РОДЕ — НИЦШЕ
Тюбинген, 22 декабря 1883

Мой дорогой старый друг!

Прежде чем этот год окончательно убежит, я все же хочу еще раз мысленно навестить тебя, далекого, как сейчас, и все-таки близкого, поскольку своими сочинениями ты все снова даешь нам отведать свои лучшие часы и стать сопричастным твоей жизни. Хотел бы я только, чтобы твое тело не расплачивалось за взлеты твоей души (давай останемся при древней и почтенной дихотомии), — тогда ты будешь человеком, которому можно завидовать, а я тебе желаю им быть. Твой «Заратустра»⁷²⁵ во всех отношениях произвел на меня куда более благотворное впечатление, чем многие из твоих последних сочинений. Поздравляю тебя с этой более свободной формой изложения твоих взглядов, которая, правда, нова не только как форма и отличается от твоих прежних цепочек афоризмов! Хотя персидский мудрец — это ты, но прямо высказывать в высшей степени личные мнения именно как таковые и выдумывать идеальное создание, чтобы оно преподносило их как свои мнения, — совершенно разные вещи; лишь так их можно правильно выселить из себя и, так сказать, встать над самим собой. Конечно, для этого же Платон создал своего Сократа, и вот теперь ты — своего Заратустру. Кроме того, то, чему ты придаешь облик нравоучительной поэмы, привилегиями поэмы и пользуется; только не брани поэтов, у них большое преимущество — они могут излагать самые прекрасные и глубокие мысли, интуиции, не мучаясь каким-либо доказательством оных, которое «философ» вынужден с трудом сварганить себе задним числом. Думаю, что этой новой формой — а она

способна на множество вариаций и метаморфоз — ты начал обретение своей собственной формы. Да и язык твой лишь теперь обретает полнзвучность: непревзойденным в этом смысле я нахожу в особенности «Предисловие <Заратустры>», но также множество других мест. Не всех: ибо кое-где у меня вызывает неловкие ощущения проведение какого-нибудь представления, не взятого из жизни, а как бы позаимствованного откуда-то из чуждой миру пустыни, призрачно-абстрактного; особенно это заметно в «Бледном преступнике». А в остальном достойно восхищения, как при твоей отрешенности жизнь все-таки рисуется для тебя верно и ужасающе четко, как в точном отражении фата-морганы. Многое, правда, при ближайшем рассмотрении выглядит все же иначе. Прекрасно, к примеру, то, что ты говоришь о «детях и браке». «Превыше себя должен ты строить» — этого, конечно, хотят, будучи отцами: πατρός δ' ὄυε πολλόν ἀμείνων⁷²⁶ — так надо говорить о сыне: и правда, человек стыдится, если видит себя готовым прообразом своего ребенка. И все-таки — это не решающий момент в любви к детям и стремлении к ним. Человек правильно чувствует, если решает все сам: чего хотеть, что желательно, к чему стремиться и на какой основе стоять — вот совершенно безусловная, беспричинная и неистребимая любовь к человеческому существу, и в отношении к собственному ребенку существует только она одна. Все остальное следует отсюда: разве было бы важно само по себе для человека «строить превыше себя», если бы именно в этом ребенке не было того, в чем хотелось бы видеть воплощение лучших своих желаний и мыслей, — в нем самом, а не в абстрактном образе, созданном ради окружающих.

Вот видишь, я сделался настоящим семейным папой. И впрямь, мои дети — мое и моей славной женушки единственное достоинство и счастье на свете, и выше этого счастья нет. Они процветают (и, увы, чуть ли не слишком сильно растут, вытягиваются в высоту слишком быстро, как некогда я) и оба обнаруживают такой честный, искренний нрав и соразмерный ему разум, что я чувствую полную удовлетворенность и подпочвой, и почвой моего поля, на котором они и выросли. Прилагаю фотографию этих двух козявок, немного бледную, но верную. — В остальном я безумно устаю от лекций и семинаров, собираю материал для пространной книги и таким образом влачу свое скучное существование. Ты, дружище,

живешь на другой вершине умонастроения и мыслей — ты словно воспарил над чадной атмосферой, в которой мы все топчемся и тяжело дышим, и земля с ее чадной мантией кружится под тобою, не вовлекая тебя в свое движение. К тебе не цепляется ничего, что связано с эпохой, что нынче *saeculum vocatur*⁷²⁷. А у нас, остальных, такое благополучие никак не получается. Прощай, мой друг, и сохраняй свежесть и бодрость тела и души! С преданностью помнящий о тебе твой

Э. Роде

210. Ницше — Роде
Ницца, 22 февраля 1884

Мой старый добрый друг,
уж не знаю, как это вышло, но когда я читал твое последнее письмо, а в особенности когда разглядывал милые детские фотографии, на душе у меня было так, будто ты пожимаешь мне руку и глядишь на меня грустно, словно хочешь сказать: «Как же так, почему у нас осталось так мало общего, и мы живем как бы в разных мирах! А ведь когда-то ...».

Так-то, дружище, у меня со всеми, кто мне дорог: все прошло, бывшее, нежность; мы еще видимся, разговариваем, чтобы не молчать, пишем друг другу письма, чтобы не молчать. Но по глазам видна правда: и они мне говорят (я хорошо это различаю): «Дружище Ницше, вот ты и совсем один!».

Вот до чего в действительности я теперь довел свою жизнь. —

Меж тем ход моей жизни продолжается — в сущности, это не ход, а езда, морское плавание, ведь я не напрасно годами жил в городе Колумба. —

Мой «Заратустра» готов, все три акта: первый у тебя есть, два других надеюсь послать тебе через 4—6 недель. Это своего рода бездна будущего, нечто жуткое, особенно в своем блаженстве. Всё там — мое собственное, без примеров, подобий, предшественников; кто там хоть раз поживет, вернется в мир с изменившимся зрением.

Но говорить об этом не стоит. Правда, ты — homo litteratus⁷²⁸, и потому я не сдержу признания: этот «Заратустра», как я представляю себе, довел немецкий язык до полного совершенства. После Лютера и Гёте оставалось сделать еще один, третий шаг —; подумай, мой старый душевный товарищ, соединялись ли уже в нашем языке сила, гибкость и благозвучие настолько тесно. Почитай Гёте после одной страницы моей книги — и почувствуешь, что волнообразная плавность, присущая Гёте как рисовальщику, не чужда и этому ваятелю языка. У меня перед ним преимущество более строгих мужских линий, но меня не обвинить в грубости, как Лютера. Мой стиль — танец; это игра всякого рода симметрий — и пропуск этих симметрий, глумление над ними. Это доходит до выбора гласных. —

Прости! Я поостерегся бы делать такие признания кому-нибудь другому, но ты когда-то стал единственным, кто похвалил меня за язык. —

Кстати, я остался поэтом во всех смыслах этого понятия, хотя уже порядочно замучил себя прямой противоположностью всякого стихоплетства. Ах, дружище, какой дикой, скрытной жизнью я живу! И всё один, один! И всё без «детей»!

Храни ко мне добро в душе, я-то к тебе его храню!

Твой
Ф. Н.

211. НИЦШЕ — РОДЕ

*Ницца (Франция), рю Сен-Франсуа де Поль, 26 II
23 февраля 1886*

Мой дорогой старинный друг,
моя матушка недавно передала мне известие о твоём назначении в Лейпциг: давненько я так не радовался, как при этом известии! С той поры я постоянно рисую в своём воображении, как в этом году мы окажемся рядышком. Может быть, это произойдет уже весной, а больше всего на свете мне хотелось бы лично видеть,

слышать и переживать твоё введение в должность. Не могу выразить словами, какое огромное наслаждение дарит мне эта надежда. Прошлой осенью я ненадолго заезжал в Лейпциг, словно чтобы заранее прочувствовать, — я ходил там незаметно, чуть ли не тайком, почти всегда только ради себя самого, но это место согревало меня исключительно воспоминаниями о тебе и о нашей давней общности. Случаю оказалось угодно, чтобы я услышал кое-что о проекте, к которому ты был причастен: прямо перед заседанием, где все дело было намечено впервые, я встречался с Хайнце и Царнке. Для меня было как во сне, что я тоже когда-то был таким вот своего рода полным надежд чижиком, *philologus inter philologos*⁷²⁹. Это не сбылось, или, как вы, видимо, говорите сейчас между собой, «он ничего не свершил». К тому же я не стал богаче друзьями: жизнь ставила передо мной долг, и чем дальше, тем больше с дополнительным условием, чтобы я свершал ее в одиночестве. Трудно последовать за мной чувством; я почти уверен, что даже у знакомых встречаю в целом превратное понимание и бываю от всей души признателен за любого рода тонкость интерпретации, мало того, уже только за добрую волю к такой тонкости. Я осел, это несомненно. Старый добрый друг Роде, сдается мне, ты знаешь толк в жизни лучше, потому что влез в нее, в то время как я смотрю на нее все больше издали — но, возможно, вижу ее и все более отчетливой, более страшной, более ёмкой, более притягательной. Но горе мне, если я однажды перестану выносить эту отчужденность! Мы стареем, мы начинаем тосковать, уже сейчас мне, как царю Саулу, необходима музыка — на мое счастье небеса послали мне и своего рода Давида. Человек, подобный мне, *profondement triste*⁷³⁰, не в состоянии долго выдерживать музыку Вагнера. Нам позарез необходимы юг, солнце «любой ценой», светлое, простодушное, невинное моцартовское ощущение счастья и нежности в звуках. Вообще-то мне нужно, чтобы вокруг меня были люди такого характера, как эта музыка, которую я люблю: такие, с которыми можно немного отдохнуть от себя и посмеяться над собой. Но не каждый, кто хочет найти, умеет искать, — и вот я сижу тут и жду, а ничего не происходит, и я уже не нахожу ничего лучшего, чем рассказывать своему старому другу, как я одинок.

Передо мной лежит твоё последнее письмо, и, возможно, я отвечаю как раз в первую очередь на него, хотя меж тем прошло уже

значительное время (это письмо от 22 декабря 1883). Довольствуйся своим молчаливым другом, которому во многих отношениях приходится туго и который научился бояться открывать рот. Не успеешь опомниться, как из него вылетит жалоба, а на свете нет ничего более глупого, чем жаловаться. Это унижает нас, даже если перед нами лучшие друзья.

Напиши мне сюда, в доказательство того, что ты меня еще любишь, старый друг Роде. И еще раз, я радуюсь твоему счастью больше, чем своему собственному. Передай своей жене привет от не знакомого с ней медведя и отшельника и погладь детей от моего имени. С любовью,

твой верный друг
Ницше

212. НИЦШЕ — РОДЕ

Кур (Граубюнден), <гостиница> Розенхюгель
18 мая 1887

Дорогой друг,

этой зимой в Ницце мне нанес визит молодой ученый, которого ты знаешь, некто д-р Генрих Адамс. Он мне не слишком-то понравился, но, учитывая, что он говорил о тебе с большой преданностью и почтением, я принял его так хорошо, как только мог. К его горячему и недостаточно обоснованному желанию посвятить себя философии я, само собой, отнесся со всевозможным недоверием; по крайней мере, мне кажется определенным, что он уже решил наброситься на изучение истории античной философии, возможно, с перспективой занять потом преподавательское место в каком-нибудь университете.

И вот сегодня он пишет мне из Цюриха (Зайлерграбен, 29, 2) с просьбой дать ему справку, которую по-хорошему должен был бы получить непосредственно от тебя, а именно, не смог ли бы ты раздобыть для него мелкую должность в какой-нибудь библиотеке. Мне кажется, было бы очень важно, чтобы он пожил какое-то

время под твоим присмотром, критикой и выучкой, потому что человек он ненадежный, он опасно болтается между самомнением и презрением к себе, и если его оставить просто так, это было бы для него небезопасно.

Сам я — ведь ты спросишь, почему я не возьму это бремя на себя, — не питаю никаких иллюзий по поводу «молодых людей», мало того, мой опыт заставляет меня сомневаться в том, что я им на самом деле полезен. Отрада для меня — старики, такие, как Якоб Буркхардт или Ипполит Тэн, и даже мой друг Роде далеко недостаточно стар для меня... Но «настанет некогда день» и т. д.

С сердечным приветом,
твой
Ницше

213. НИЦШЕ — РОДЕ
Кур, 19 мая 1887

Нет, мой старый друг Роде, я никому не позволю говорить так неуважительно о мсье Тэне, как это сделано в твоём письме, и меньше всего тебе, ведь это выходит за рамки всех приличий — обращаться так с тем, о ком ты знаешь, что я высоко его ценю. Ты можешь, если тебе заблагорассудится, болтать чепуху обо мне самом, сколько угодно и привычно — это лежит в *natura rerum*⁷³¹, я никогда на это не жаловался и не ждал, что будет иначе. Но ты должен был бы хорошо понимать такого ученого, как Тэн, который родственен твоей *species*⁷³². Называть его «бессодержательным» — это просто дикая чушь, говоря на студенческом жаргоне — случайным образом это в нынешней Франции как раз ум наиболее основательный, — а уместным могло бы быть замечание, что там, где человек не видит «содержания», какое-то содержание все-таки может быть, но просто это содержание не для него. В прискорбной истории современной души, во многих отношениях даже трагической истории, Тэн занимает свое место как удачный и почтенный представитель множества самых ценных качеств этой самой души, ee

беззаветного мужества, безусловной чистоты ее интеллектуальной совести, ее трогательного и скромного стоицизма в условиях жестокой нужды и одиночества. Мыслитель, наделенный такими качествами, заслуживает уважения: он относится к тем немногим, кто увековечивает свою эпоху. Меня восхищает зрелище такого храброго пессимиста, который исполняет свой долг терпеливо и неумолимо, не нуждаясь в шумихе и балагане, мало того, который честно может сказать о себе: «satis sunt mihi pauci, satis est unus, satis est nullus»⁷³³. Хочет он того или нет, но его жизнь становится поэмой миссией, ведь ко всем своим проблемам он подходит с обязательностью (а не так наудачу, так случайно, как ты и большинство филологов — к филологии).

Не в обиду тебе будь сказано! Но, думаю, что если бы я знал только одно это твое высказывание, я стал бы презирать тебя за выраженную таким образом нехватку инстинкта и такта. К счастью, для меня ты — человек, зарекомендовавший себя иначе.

Но слышал бы ты только, как Буркхардт говорит о Тэне!

Твой друг Н.

214. НИЦШЕ — РОДЕ

Кур, 23 мая 1887

Дорогой друг, вышло некрасиво, что позавчера я вот так поддался внезапному порыву гнева на тебя, но хорошо уже то, что он из меня вышел, — ведь он принес мне нечто очень ценное, а именно, твое письмо, которое доставило мне немалое облегчение и придало моему отношению к тебе другое направление.

Твое высказывание о Тэне я воспринял как исключительно негативное и ироничное; то, что во мне восстало против него, было отшельником, который слишком хорошо знает из обильного опыта, с какой беспощадной холодностью отставляют в сторону, а то и отделяются от всех живущих на отшибе. К тому же Тэн был единственным, кроме Буркхардта, кто за многие годы говорил мне о моих сочинениях что-то сердечное и полное участия, и до поры

до времени я считаю его и Буркхардта своими единственными читателями. Нам троим фактически приходится основательно рассчитывать друг на друга как троим фундаментальным нигилистам, хотя сам я, как ты, возможно, чувствуешь, все еще не сомневаюсь в том, что будет найден выход и брешь, сквозь которую можно будет пройти во что-то неизвестное.

Когда вот так сидишь в своих глубоких рудниках и копаешь, становишься «подземным» — к примеру, подозрительным. Характер портится: свидетельство этому — мое последнее письмо. Довольствуйся этим!

Твой Н.

215. НИЦШЕ — РОДЕ
Ницца, 11 ноября 1887

Дорогой друг,

мне кажется, что с этой весны я еще немного реабилитировался в твоих глазах? В знак того, что у меня нет недостатка в доброй воле для этого, я посылаю тебе <мое> только что вышедшее сочинение⁷³⁴ (вероятно, я его задолжал тебе и так, поскольку оно теснейшим образом связано с тем, которое я послал тебе последний раз). Ну не позволяй же себе так легко отдалиться от меня! В моем возрасте и в моей уединенности по крайней мере я уже не потеряю пары людей, которым однажды доверился.

Твой Н.

Nota bene. Я прошу тебя образумиться относительно мсье Тэна. Такие грубости, которые ты говоришь и думаешь о нем, вызывают у меня досаду. Подобное я прощаю принцу Наполеону⁷³⁵, но не моему другу Роде. Я никак не смогу поверить, что человек хоть немного понимает мою собственную задачу, если он превратно понимает этот род суровых и благородных умов (Тэн нынче — воспитатель всех мало-мальски серьезных людей научного склада во Франции).

Честно говоря, я не слышал от тебя ни слова, из которого я мог бы заключить, что ты знаешь, какая судьба на меня возложена. Разве я тебя когда-нибудь хоть раз за это упрекнул? Да у меня и в мыслях такого не было, пусть даже только потому, что у меня вообще ни с кем не было другого опыта. До сих пор на моем пути мне не встретился никто, в ком была бы хоть частичка страсти и страдания! Были у кого-нибудь хоть проблеск догадки о подлинной причине моей затяжной хвори, которую я, возможно, все-таки еще одолею? Теперь за моей спиной уже 43 года жизни, но я еще одинок точно так же, как был одинок ребенком. —

216: Ницше — Роде*
[Турин, 4 января 1889]

Моему ворчуну Эрвину,
из опасений вновь возмутить тебя своей слепотой в отношении
месье Тэна, который некогда сочинил «Веды», я отважусь поместить
тебя в компанию богов, и рядом с тобой прелестную богиню...

Дионис.

* Цит. по: Ф. Ницше. Письма. М., 2007. С. 363. Пер. И. Эбаноидзе.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Ницше диссертацию не защитил, но 23 марта 1869-го получил докторский диплом от филологического факультета Лейпцигского университета за совокупность работ.
- 2 Филолог Константин фон Тишендорф.
- 3 Древнее славянское название Лейпцига.
- 4 Старина (англ.).
- 5 Здесь: пароля.
- 6 В какой-то мере (англ.).
- 7 Отплаты, ответного дара — большого и с любовью (греч., перевернутая цитата из Гомера).
- 8 Песнь (лат.).
- 9 Божественных знаков и результатов гаданий (лат.).
- 10 Т. е. составления указателей к античным текстам.
- 11 Вильгельм Рошер (1845—1923), немецкий филолог-классик, учился в Лейпциге вместе с Ницше. Автор знаменитого «Подробного словаря греческой и римской мифологии».
- 12 Никто (греч.); так у Гомера Одиссей представился Полифему.
- 13 Сочиненьице (лат.).
- 14 Ницше принял участие в 25-м съезде немецких филологов и педагогов, прошедшем в Галле 1—3 октября 1867.
- 15 Герман Зауппе (1809—1893), немецкий филолог-классик, эпиграфик, педагог. В 1867 г. уже давно профессор Гёттингенского университета, так что титул «магистр» здесь — дань уважения («Мастер», «Учитель»).
- 16 Лобеготт Фридрих Константин фон Тишендорф (1815—1874) — немецкий теолог-библейст, филолог, палеограф, открывший библейские синайские рукописи (Синайский кодекс).
- 17 Символах (здесь — изъяснениях академического почтения) (лат.). Речь идет о запланированном Ницше и другими учениками Ричля сборнике статей в его честь.
- 18 К томам I — XXIV новой серии «Рейнского музея филологии» (вышел в свет в 1871 г.).
- 19 Демокритовские штудии (лат.).
- 20 В честь Ричля (лат.).
- 21 Указатель (лат.).

- 22 Лаэртием и Свидой (лат.).
- 23 Цитата из Г. Гейне (стихотворение «Ночь тиха...» из «Книги песен»).
- 24 См. текст этого письма ниже.
- 25 Это позже часто цитируемое Ницше изречение принадлежит Пиндару (II Пифийская песнь, 72): γένοι, οἷος ἐσσί μαθών. Ф. Ф. Зелинский переводит это место так: «Сделайся тем, что ты есть, узнав это». М. Л. Гаспаров (вернее других): «Будь, каков есть: а ты знаешь, каков ты есть». К. П. Янц: «Стань таким, каким ты учишься быть»; он же указывает на то, что Ницше в своем переводе опускает и не учитывает последнее слово, получая смысл: «Стань тем (таким), кто (каков) ты есть». Этот смысл он не раз воспроизводит в своих сочинениях, между тем как смысл изречения Пиндара в контексте таков: «Будь таким, каким себя представляешь (видишь, знаешь), т. е. оставайся таким, каков ты есть, не изменяй себе» (это льстивое обращение поэта к всемогущему тиранну Гиерону Сиракузскому, а не абстрактное увещание).
- 26 Такого, как ты (греч.).
- 27 Ты меня простишь (лат.).
- 28 Все (...) хорошо весьма (греч.) (Быт. 1, 31).
- 29 Противоядие (греч.).
- 30 Репутации (лат.).
- 31 Энкомий, похвальное слово (греч.).
- 32 В оригинале по-латыни.
- 33 Столько шуму из ничего (фр.).
- 34 Своими непомерными похвалами (лат.).
- 35 В честь Ричля (лат.).
- 36 Диковина (греч.).
- 37 Харит (греч.).
- 38 Если ныне нам плохо, то не всегда так будет и впредь (лат.) — Гораций, Оды, кн. 2, 10, 17, цитата с переставленными словами.
- 39 Сияли когда-то светлые тебе солнца (лат.) — Катулл, Песня 8, 3.
- 40 Ясно, что (греч.).
- 41 Вместо «канонир» — очевидно, шутка.
- 42 Осел (греч.) — статья Роде «О сочинении Лукиана “Лукий, или осел” и его отношении к Лукию из Петры и “Метаморфозам” Апулея», напечатанная в 1869-м.
- 43 Здесь: вклад (в сборник в честь Ричля) (греч.).
- 44 Яркогоглазая, блистающая глазами (греч.). Так друзья называли между собой актрису Лейпцигского театра Зусхен Клемм, которой одно время увлекались.
- 45 Невнятица (греч.).
- 46 Сочиненьице (лат.).
- 47 При содействии богов (лат.).
- 48 Пятидесятилетний юбилей Боннского университета (1868), из которого Ричль в 1865-м перешел в Лейпцигский университет.

- 49 Вот таким-то вот образом (и обстоят дела) (греч.).
- 50 Смотри на вещи проще! (англ.).
- 51 Не слишком общительным (лат.).
- 52 Нелюдимым (лат.).
- 53 Единения с богом (греч.).
- 54 Работа Ницше «Об источниках Диогена Лаэртского», написанная в начале 1868-го и опубликованная в марте 1869-го.
- 55 «Саксы» и «саксонцы» по-немецки — одно и то же слово (*Sachsen*). Роде имеет в виду население Северной Германии в отличие от населения собственно Саксонии (ныне — Свободное государство Саксония со столицей в Дрездене).
- 56 В шутку латинизированное Петер Вильгельм.
- 57 Больной (лат.).
- 58 Не в состоянии достаточно хорошо судить об этом (греч.).
- 59 Всякой всячины (лат.), т. е. все того же сборника в честь Ричля.
- 60 Вильгельм Зигмунд фон Тойфель (1820—1878), немецкий филолог-классик.
- 61 Роль критика (лат.).
- 62 Игра слов по-немецки: «Gefreite» (ефрейтор) — «Befreite» (уволненный).
- 63 Непомерные подвиги (греч.).
- 64 Филологический журнал.
- 65 Из стихотворения Людвига Уланда «Возвращение домой».
- 66 Из трагедии «Филоктет» Софокла — «Его лохмотья, черные от гноя» (ст. 39), пер. Ф. Ф. Зелинского.
- 67 Постарев, постоянно (греч.) — измененная цитата из изречений Солона «Стар становлюсь, но всегда многому всюду учусь».
- 68 Студентом философии (лат.).
- 69 «Литераришес центральблатт» — еженедельник научных рецензий, рефератов и пр., основанный германистом Фридрихом Царнке (1825—1891) в 1850 г. Выходил в Лейпциге. Ницше сотрудничал в нем в 1868—1869 гг.
- 70 Фолькман, Ваксмут — однокурсники Ницше и Роде.
- 71 Демоний, божественная сила (греч.).
- 72 Воздушные замки (фр.).
- 73 Ганс фон Хопфен (1835—1904); роман вышел в 1868-м.
- 74 А потом? (фр.).
- 75 Индийский святой, прославившийся тысячеклетними медитациями.
- 76 Уменьшительная форма от имени упоминавшегося выше коллеги Роде по университету Форххаммера.
- 77 Латинизированная форма имени Франц Риттер.
- 78 Обособленный путь и жизни безвестной тропинка (лат.). — Гораций. Послания, кн. 1, 18, ст. 103. Пер. Н. С. Гинцбурга.
- 79 Река в Гамбурге.
- 80 Только и всего (лат.).
- 81 Свода надписей (лат.).

- 82 Это пахнет по-римски! (фр.).
- 83 Сокурсник Роде и Ницше в Лейпциге.
- 84 Район в Гамбурге.
- 85 Мюнхен (англ.).
- 86 Еще один сокурсник Ницше и Роде в Лейпцигском университете.
- 87 Здесь: хранителю (лат.).
- 88 Очищение переживаниями (греч.).
- 89 Посвящение (лат.), то есть посвященный ему сборник статей.
- 90 Еще один сокурсник.
- 91 В филологическом смысле — предложения по истолкованию темных мест, авторства и т. п.
- 92 Латинском квартале (в Париже) (фр.).
- 93 Идущий вразрез (греч.).
- 94 По рождению или установлению (греч.).
- 95 Богине Защиты (диссертации) (лат.).
- 96 Будем детьми своего века (фр.).
- 97 Чтобы делать себя известным (греч.).
- 98 Вместе вступим (греч.).
- 99 Лейпцигскую четверку (лат.).
- 100 Ричлевский сборник (лат.).
- 101 То есть Фридриха Ричля.
- 102 Лейпцигский профессор. «Уступил лекцию» — право воспользоваться академическим часом.
- 103 Раннесредневековый христианский эпос.
- 104 «Филологический союз», созданный в декабре 1865 г. по инициативе Ричля. В 1866 г. Ницше был председателем союза.
- 105 Филолог Рихард Ницше (однофамилец Ф. Ницше с разницей в одну нечитаемую букву). Ф. Ницше выступил рецензентом работы Р. Ницше на упомянутую в тексте тему.
- 106 Герман Карл Узенер (1834—1905) — немецкий филолог, занявший кафедру в Боннском университете после ухода оттуда Ричля.
- 107 Якоб Бернайс (1824—1881) — филолог-классик, экстраординарный профессор и директор библиотеки в Боннском университете.
- 108 Роман в двух томах, изданный в Лондоне в 1859-м и вышедший на немецком языке в 1860-м.
- 109 Отсылка к «Песне о колоколе» Ф. Шиллера.
- 110 Гегель и Шеллинг.
- 111 То есть пока не обратился в «истинную веру».
- 112 Очевидно (лат.).
- 113 Ин. 9, 4.
- 114 Филологическими делами (лат.).
- 115 Симонида Кеосского, вышедшую в «Рейнском музее» в 1868-м (XXIII. S. 481—489).

- 116 Вопросам, связанным с указателями (лат.).
- 117 Маска Ницше.
- 118 Выражение из оды Симонида к Данае, которое Ницше обсуждает в своей статье. Строфа, антистрофа, эпод — предмет полемики Ницше с другими филологами там же.
- 119 Имеется в виду И. Г. Юнг-Штилинг (1740—1817), немецкий писатель-мистик.
- 120 Утешением (лат.).
- 121 Вероятно, в не дошедшем до нас письме Ницше, сопровождавшем посылку со статьёй.
- 122 В этом письме и письме № 11 я не перевожу греческие слова и выражения, поскольку без полного разбора фрагмента Симонида это было бы бессмысленно (то же относится к некоторым другим письмам). Пусть читатель воспримет их так, как воспринял бы, скажем, физические формулы в письмах А. Эйнштейна (если читатель сам не физик и если такие формулы в них есть).
- 123 Кандидата филологических наук (лат.).
- 124 Пародия песни ангелов о спасении души Фауста из 2-й части «Фауста» Гёте (ст. 11934 слл.)
- 125 Адрес Ричля и его приемный час.
- 126 То есть Рошера-младшего, филолога, однокурсника Ницше по Лейпцигу, сына известного (в том числе Ницше) историка и политэконома Рошера-старшего.
- 127 Трагический поэт (греч.).
- 128 Соляной курорт (купания) к северу от Галле.
- 129 Проходило 19—23 июля 1868.
- 130 Скорее всего, описка: река Хафель, приток Эльбы, действительно, протекает через город Бранденбург к западу от Берлина, а вот Плауз — городок в далекой оттуда Тюрингии, земле, хорошо знакомой Ницше. Но в Хафель недалеко от Бранденбурга впадает река Планде (Plande — Plande): где-то в этих местах и было расположено поместье Визике.
- 131 Снова ошибка или описка: это Герман Визике (1825—1896). Обе ошибки могли исходить и от Герсдорфа.
- 132 Клемм страдал тяжелым заболеванием костей.
- 133 Чье дружеское лицо радовало глаза (лат.).
- 134 Возможно, цитата из немецкого перевода какого-то из древнеиндийских текстов, которыми тогда увлекался Ницше.
- 135 Писатель (лат.).
- 136 Стаду (лат.).
- 137 Впервые (лат.).
- 138 Отто Ян (1813—1869), немецкий филолог, археолог и музыковед. Ницше знал его по Боннскому университету и уважал.
- 139 Ополчения, призывавшегося на службу в случае войны.

- 140 Греческий грамматик 2—3 вв. н. э.
- 141 С первоначал (лат.).
- 142 Античный филолог (2-й в. н. э.), автор словаря-компендиума, который позднее Гезихий Александрийский издал в переработанном виде под названием «Περὶ ἑρμηνείας» («Пять книг обо всем на свете»).
- 143 Выпуск XXIII, с. 632 слл.
- 144 «Лет девять хранить без показу!» (лат.), то есть рукописи не следует публиковать сразу после написания. — Гораций. Наука поэзии, 388.
- 145 Современниках (лат.).
- 146 «*Carmina Anacreontea*» — издание текстов Анакреонта, подготовленное немецким филологом-классиком Валентином Розе (1829—1916). Книга вышла в Лейпциге в 1868-м.
- 147 Цитата из Г. Гейне («О французской сцене». Пер. А. Федорова).
- 148 Сочинение Ницше о Диогене Лаэртском.
- 149 Беспокойную жизнь (лат.).
- 150 Игра слов: «честный малый» по-немецки звучит так же, как фамилия Бидерман.
- 151 Общественное животное (греч.), определение человека по Аристотелю.
- 152 Немецкая газета, выходившая в издательстве Брокгауза; с 1863-го редактором газеты был Бидерман.
- 153 Я отказываюсь, и притом решительно (лат.).
- 154 Генрих Лаубе (1806—1884), немецкий писатель, драматург, театральный деятель.
- 155 Театрами (фр.).
- 156 Музыкальное объединение, дававшее симфонические концерты в Лейпциге.
- 157 Эдуард Бернсдорф (1825—1901), музыкальный критик и композитор, главный критик в журнале «Сигналы для музыкального мира» (отсюда эпитет «сигнальный»).
- 158 Вот так-то (лат.)
- 159 Здесь: в глухой провинции.
- 160 Протагор.
- 161 Ф. А. Ланге. История материализма и критика его значения в настоящем (1866, 2 т.). Эту книгу Ницше очень высоко ценил.
- 162 Этос, нравственная природа человека (греч.).
- 163 Темного (греч., античное прозвище философа Гераклита).
- 164 Работа была написана по-латыни.
- 165 Ошибка самого Роде: это слово существует (в значении «разнородный; всяческий») и объясняется как *omnis + geno (= gigno)*, то есть второй элемент словосложения — не существительное, а глагол (есть и другие варианты, напр., *omnipotens*). Ницше не ответил, хотя, вероятно, понимал, что прав.
- 166 Выпущенный здесь текст относится отчасти, а письмо Роде к Ницше от 5 ноября 1868 — целиком к диссертации Кнауца и запрошенному Ричлем отзыву Роде на нее. — Прим. Ф. Шёлля.

- 167 Неприятности (лат.).
- 168 Лаубе (см. выше) стал директором Лейпцигского городского театра в 1869 г.
- 169 То есть жену Курциуса, как называли бы ее древние римляне, если бы Курциус, Курций было хотя бы вторым именем, а не фамилией филолога Георга Курциуса (1820—1885).
- 170 Главному (редактору) (фр.).
- 171 «*Sarmina Apasreonteae*» — издание текстов Анакреонта, подготовленное немецким филологом-классиком Валентином Розе (1829—1916). Извещение — в журнале.
- 172 Рихард Ницше (чья фамилия пишется, однако, *Nitzsche*, а не *Nietzsche*), знакомый Ф. Ницше по Лейпцигскому университету, член Филологического союза.
- 173 Хорошо весьма (греч.).
- 174 Пятилетний срок (здесь — академический) (лат.).
- 175 Племя шутящее и серьезное (греч.).
- 176 Моими стараниями (лат.).
- 177 Рошер-младший, которого Ницше называет здесь уменьшительным именем (*Roscherchen*).
- 178 Соискателя (лат.).
- 179 Кафе в Лейпциге.
- 180 Иллюстрированный политический и сатирический еженедельник на немецком языке.
- 181 Людвиг II Баварского, ценителя и покровителя Р. Вагнера.
- 182 Вышеупомянутого Р. Ницше. Ф. Ницше ее рецензировал.
- 183 Район и улочка старого Лейпцига.
- 184 «Гермес. Журнал классической филологии». Основан в 1866 г. и издается по сей день.
- 185 Еще два филологических издания той поры.
- 186 Рукопись Роде, которую отклонил «Рейнский музей», представляла собой статью «Об одном сочинении Лукиана»: вероятно, у Роде была еще одна статья — посвященная позднеантичной повести на греческом языке «Лукий, или осел», которая в те времена приписывалась Лукиану Самосатскому.
- 187 Споре (греч.).
- 188 В счастье и в несчастье (лат.).
- 189 Произведеньице (лат.).
- 190 Совместной жизни (греч.).
- 191 Да не будет это дурным знаком! (лат.).
- 192 Олимпийским богам (лат.).
- 193 Лейпцигская актриса Зусхен Клемм, см. выше.
- 194 Восприятие (греч.).
- 195 Рус. «Герольды», лейпцигский еженедельник на темы политики, литературы и искусства; основан в 1841-м в Брюсселе, на границе немецкоязычного мира, отсюда и название.

- 196 Гёте. Фауст, ч. 1 (пер. Б. Пастернака). У Гёте — «Хор ангелов».
- 197 Финальный штрих (англ.).
- 198 Вот он (и будет готов) (фр.).
- 199 Молчание — знак согласия (лат.).
- 200 Филолога (лат.).
- 201 Карл Курциус (1841—1922), немецкий филолог-классик.
- 202 Вместилищем (лат.).
- 203 (Даже самой) посредственной (фр.).
- 204 Величием (фр.).
- 205 Лета сладостный предвестник (греч.) — Анакреонт. К цикаде (пер. Н. Гнедича).
- 206 По Гёте («Пандора»).
- 207 Чернь (лат.).
- 208 Очевидно, это немецкий писатель Густав Фрейтаг (1816—1895). Ницше читал его роман «Потерянная рукопись», написанный в 1864 г.
- 209 См. сн. 195.
- 210 В поэтическом искусстве (лат.).
- 211 Безымянный (греч.).
- 212 Оsla (греч.), т. е. работы Роде.
- 213 Имеется в виду не основатель известного лейпцигского издательства Бенедикт Готхельф Тойбнер (1784—1856), а само издательство, носившее его имя, т. е. кто-то из его представителей.
- 214 Т. е. в его диссертации на ту же тему, что и работа Роде, см. выше.
- 215 Непредвзято (лат.).
- 216 Как прикажете (ит.).
- 217 Начало с быка (лат.), пародия на стих Вергилия («Буколики», III, 60) — *Ab Iove principium, Musae* (Музы, начало с Юпитера).
- 218 «О Гесиоде и Гомере, об их сходстве и их состязании» (греч.).
- 219 Т. е. демокритовские штудии, о которых Ницше говорит ниже.
- 220 Артура Шопенгауэра.
- 221 Лейпцигских событиях (лат.).
- 222 «Гартенлаубе» — немецкий популярный иллюстрированный журнал, издававшийся в Лейпциге в издательстве Эрнста Кайля.
- 223 Похвалы (лат.).
- 224 Смех (и) радость (греч.).
- 225 Шопенгауэр судил о поэтических текстах Вагнера не слишком хорошо — см. его заметки к «Нибелунгу». — Примеч. Ф. Шёлля.
- 226 Роде начал писать еще 20 декабря; эта часть письма, согласно примечанию Ф. Шёлля, содержит замечания Роде, касающиеся его работы о Поллуксе и ницшевского «Состязания Гомера и Гесиода».
- 227 Измененная строка из «Фауста» Гёте (Пролог на небесах, реплика Мефистофеля).
- 228 Вольная интерпретация слов Гёте («Беседы с Эккерманом». 18 февраля 1829).

- 229 Благородная искренность (лат.).
- 230 Второстепенные немецкие композиторы — Франц Абт (1819—1885) и Фридрих Вильгельм Кюкен (1810—1882).
- 231 В греческом смысле «даймона» — индивидуального духа-хранителя.
- 232 Не побоюсь сказать (чтобы не сглазить) (лат.).
- 233 Симфония, взаимное согласие (греч.).
- 234 Вопросами, относящимися к филологии (лат.).
- 235 Образец бытовых импровизированных «стишков» Ницше, о которых упоминала Э. Фёрстер-Ницше в своей биографии философа.
- 236 Роман Густава Фрейтага (1864 г.).
- 237 Типография в Лейпциге, специализировалась на печати книг на иностранных языках, в том числе греческом.
- 238 Читай: прочные в иронических кавычках.
- 239 Изыди, сатана! Прииде, друже из друзей Эрвин! (лат.).
- 240 Кафе в Париже, место встреч артистической богемы.
- 241 Об истории назначения Ницше см.: Янц К. П. Жизнь Фридриха Ницше. Т. 1. М., «Культурная революция», 2017. С. 250.
- 242 Гораций. Наука поэзии, 139 (источник выражения «гора родила мышь»).
- 243 Множественное величия (лат.) — замена 1 л. ед. ч. на 1 л. мн. ч.
- 244 Гёте. Фауст. Ночь (пер. Б. Пастернака).
- 245 Об источниках Диогена Лаэртского (лат.).
- 246 Суетливостью (греч.).
- 247 Вблизи Люцерна находилось поместье Вагнера.
- 248 Неодолимая тварь (греч.) — Сапфо, фр. 40.
- 249 Речь все о той же сумме в 3000 швейцарских франков.
- 250 Кислинг перешел из Базельского университета в «Иоганнеум» в Гамбурге, так что гамбуржец Роде, видимо, и сам знал о подробностях из своих источников.
- 251 Увы! Все это мираж (англ.) — Байрон. Стансы для музыки, строфа III (1814).
- 252 В государственных гимназиях — эта должность предполагала экзамен.
- 253 Цитата из Гейне.
- 254 Торжественный день (лат.).
- 255 Базельский университет (лат.).
- 256 Здесь: развилке трех дорог (лат.).
- 257 По тексту Евангелия (Мф. 28, 19).
- 258 Адресат на визитной карточке Ницше был обозначен так: «Господину Эрвину Роде, кабинетному ученому из Гамбурга».
- 259 Главное (чудовище) (греч.).
- 260 Малая секунда в музыке — диссонансный гармонический интервал (полтона); в классической музыке считается «запретным». Терция (см. ниже) — консонанс.
- 261 По Вагнеру (лат.).

- 262 В Педагогуме — гимназии, готовившей к университету. Работа в старших классах Педагогума была условием назначения Ницше на должность профессора в университете.
- 263 Без друзей, без музыки (греч.).
- 264 Метод (греч.).
- 265 За пределы физики (греч.), то есть обыденной жизни.
- 266 Утверждена великая пропасть (греч.) — Лк. 16, 26.
- 267 Морали басни (лат.).
- 268 В отношении Свида (лат.). «Свида», или «Суда», — объемный византийский энциклопедический словарь (10-й в.). Еще во времена Ницше его название принимали за имя автора (Свида — латинизированный вариант греко-византийского слова).
- 269 Античные грамматики.
- 270 Книготорговля Лёшера (ит.). Лёшер торговал немецкими книгами в Италии. В 1888-м в Турине Ницше поддерживал с ним личные отношения.
- 271 К своему огорчению (лат.).
- 272 То есть с Козимой Вагнер, которая жила с Р. Вагнером еще до развода с Бюловом. Отсюда отказ Ницше в следующей фразе.
- 273 Здесь: в центре вселенной (ит.).
- 274 Здесь: целительной силы (греч.).
- 275 Человек творческий (лат.).
- 276 И в Неаполь (греч.).
- 277 Окольных путей (лат.).
- 278 С рекомендацией Ницше на должность профессора.
- 279 «Состязание Гомера и Гесиода» (лат., анонимное античное сочинение).
- 280 Лаэртианский кодекс (рукопись) XII-го века (лат.).
- 281 Будущим издателем (Диогена) Лаэртского (лат.).
- 282 Корпус, собрание текстов (лат.).
- 283 Без огласки (лат.).
- 284 Здесь: речи, ораторском искусстве (греч.).
- 285 Ух ты! (лат.).
- 286 Ницше имеет в виду статью филолога Л. Мюллера.
- 287 «Труды и дни» (греч.).
- 288 Давай посмотрим (пождем) (ит.).
- 289 Дженцано — город недалеко от Рима, где производят вино.
- 290 Кстати (фр.).
- 291 День расчета со слугами (швейц-нем.).
- 292 В вопросах филологии (лат.).
- 293 Старое название Национальной библиотеки в Неаполе.
- 294 Диарея, понос (ит.).
- 295 Гёте. Ифигения в Тавриде. Действие четвертое. Явление четвертое (пер. Н. Вильмонта).

- 296 Ницше намекает на награды Тишендорфа: в 1869 г. он получил от русского императора Александра II потомственное русское дворянство за издание в Петербурге открытого им Синайского кодекса (Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus. Auspiciis Augustissimis Imperatoris Alexandri II. Petropoli, 1862).
- 297 Здесь: которая полагается быку (лат.; переименованная латинская поговорка).
- 298 До востребования (фр.).
- 299 По возвращении из Сицилии (лат.).
- 300 Из приведенной выше Ницше цитаты Гёте.
- 301 Масса ди Сомма, одна из окраин Неаполя.
- 302 Лучшая часть души моей (лат.) — Гораций. Оды. 1, 3, 8; в оригинале «лучшая половина».
- 303 Обед (ит.).
- 304 Гёльдерлин. Смерть Эмпедокла. II, 4 (пер. Е. Эткинда, курсив Ницше; в оригинале вместо «богатство» — «лучшую часть»).
- 305 Печать (греч.).
- 306 На полях письма Роде написал: «Стихи Роденберга, которые нам когда-то нравились». Юлиус Роденберг (1831—1914; настоящая фамилия Леви) — немецкий литератор.
- 307 Ученых (греч.); первое значение слова — «празднй».
- 308 Согласно примечанию Ф. Шёлля, Роде отослал ее Ницше 24 сентября из Флоренции вместе с небольшим письмом, «относившимся только к этому предмету» (сверке).
- 309 Обзорная площадка во Флоренции.
- 310 На последнем этаже (ит.).
- 311 Сестра родная юности — любовь//Меня томит, но все надежды тщетны (ит.). — XI («Одинокий дрозд»), пер. А. Махова.
- 312 Я человек (лат.).
- 313 Чуждо (лат.).
- 314 Искусство (лат., слово женского рода) — намек на Венерину гору (грот Венеры) из оперы Р. Вагнера «Тангейзер».
- 315 Этот намек, вероятно, можно было бы понять из текста купюр, сделанных Ф. Шёллем в предыдущем письме Роде.
- 316 Речь идет о Вильгельме Диндорфе (1802—1883) — немецком филологе-классике, профессоре истории литературы философского факультета Лейпцигского университета.
- 317 Лат. *anguis* (змея) родственно древнеиндийскому *áhiṣ*, ирландскому *uṅg* (как в *escung* — болотная змея) и т. д. Ницше, вероятно, затрагивал эти темы в лекциях по латинской грамматике. — Прим. Ф. Шёлля.
- 318 Совершенно справедливо (лат.).
- 319 Биографии Гомера или Гесиода (лат.).
- 320 В гомеровских проблемах (лат.).

- 321 Роде предлагал сделать сверку этого псевдоаристотелевского сочинения.
— Прим. Ф. Шёлля.
- 322 Чтобы подарить ее Вагнеру на день рождения по просьбе Козимы Вагнер.
Репродукцию гравюры Ницше добыл и подарил.
- 323 Аккорд появления Астарты у Р. Шумана («Манфред»). — Прим. Ф. Шёлля.
- 324 Мир нам! (лат.).
- 325 Автором «Римских писем» в «Аугсбургер альгемайне цайтунг» был Игнац фон Дёллингер. — Прим. Ф. Шёлля.
- 326 Прощай (ит.).
- 327 Скифов, питающихся молоком (греч.) — Илиада, XIII, 5. Роде обыгрывает сходство греческого слова «скиф» и слова со значением «угрюмый».
- 328 Жуткое чудовище (греч.).
- 329 Смотри (: глубоким снегом засыпанный, // Соракт) белеет (лат.). — Оды, I, 9.
- 330 «В огонь дрова подбрось» (лат.), из следующей строфы этой же оды.
- 331 В общем (короче говоря) (ит.).
- 332 Гёте. Фауст. Часть I. Ночь. Пер. Б. Пастернака. В оригинале «утишение внутренних бурь».
- 333 Нам говорят: «В надежде — счастье», — // Но чтит былые времена // Любовь... (Стансы для музыки. Пер. А. Ибрагимова). Роде записал цитату с ошибкой: вместо *will love the past* надо *will prize the past*.
- 334 Частных уроков (лат.).
- 335 И ах (греч.).
- 336 Так-то вот (лат.).
- 337 Гёте. Трилогия страсти. Вертеру. Пер. В. Левика.
- 338 Состязание (греч.), т. е. свою работу «Флорентийский трактат о Гомере и Гесиоде, их жанре и их состязании» (вышла в «Рейнском музее» 28 сентября 1870).
- 339 «О местных диалектах», «О предлогах в греческом словоупотреблении» (лат.).
- 340 «Учебные материалы Лейпцигского филологического общества» (лат).
- 341 Лукрецианцами (лат) — теми, кто писал в духе Лукреция.
- 342 Название немецкого книжного магазина в Венеции.
- 343 Что поделаешь? (ит.).
- 344 Диковинок (греч.).
- 345 Теленок ... теленочек (лат.).
- 346 Пустяк (фр.).
- 347 Уже три часа (ит.).
- 348 Предлагаемые исправления (лат.).
- 349 Ф. Шиллер. Рыцарь Тогенбург. Пер. В. Жуковского.
- 350 «Торжественной мессы» (лат.).
- 351 Книжном магазине (ит.).
- 352 Те же «Учебные материалы Лейпцигского филологического общества», получившие новое название («Труды...»).

- 353 Вот (ит.).
- 354 Кстати (фр.).
- 355 Прощай (ит.).
- 356 Полусвета (фр.).
- 357 Вероятно, название гостиницы, ныне несуществующей.
- 358 Гёте. Фауст. Часть 1. Ночь.
- 359 С большим трудом (лат.).
- 360 Район Лейпцига и ресторан.
- 361 Терпкий вкус (греч.).
- 362 Отдельный оттиск (лат.).
- 363 Юпитер дождевой ... профессуру (лат.).
- 364 Проксен, гостеприимный хозяин (греч.).
- 365 В стихотворении «Званный обед в Кобленце летом 1774».
- 366 Т. е. Якоба (уменьшит. форма) (а именно Буркхардта — вероятно, потому, что Ницше пишет не «Nähpe», а «Nähpep» (вин. п. мн. ч.), используя устаревшую форму слова, которой пользовался Гёте и, возможно, швейцарец Буркхардт).
- 367 Т. е. Вагнер — Козима (она стала официальной женой композитора 25 августа 1870-го, и осведомленный о планах пары Ницше здесь упреждает это событие) цитирует его «Мейстерзингеров». Речь в письме идет о Роде — Ницше вместе с ним побывал в гостях у Вагнера 11—13 июня 1870-го.
- 368 Братьями (т. е. монахами) (лат.).
- 369 Если угодно (лат.).
- 370 Катарсис (греч.).
- 371 Перевод с неприукрашенными стилистическими недостатками оригинала.
- 372 Призыв (лат.).
- 373 Гёте. Фауст. Классическая Вальпургиева ночь. Пер. Б. Пастернака.
- 374 Музыка (греч.).
- 375 Мещанство (греч.).
- 376 Служителей муз (греч.).
- 377 Частного учителя (лат.).
- 378 Безымянный бог (греч.).
- 379 Т. е. преподавателя философии.
- 380 Друг (лат.).
- 381 За горами (ит.).
- 382 Т. е. от работы в Педагогичуме.
- 383 От истории (...) к мудрости (греч.).
- 384 Блаженный Артур (лат.), т. е. Шопенгауэр.
- 385 Уступку привилегий (лат.).
- 386 Несмотря ни на что (англ.).
- 387 См. о нем: Янц К. П. Жизнь Фридриха Ницше. М., 2017. Т. 1. С. 384.
- 388 Лугано расположен на юге Швейцарии, так что Ницше и Роде говорят о нем как об итальянском по языковому признаку.

- 389 В политических делах (лат.).
- 390 Как праздник, растянувшийся на неделю (ит.).
- 391 Неделю (ит.).
- 392 Из стихотворения Ф. Шиллера «Порука».
- 393 Т. е., вероятно, все, что не является верностью.
- 394 «Предназначение оперы».
- 395 «Опера и драма».
- 396 Слова Сократа у Диогена Лаэртского (II, 5, 7).
- 397 Намек на книгу Эдуарда Ганслика, противника Вагнера, «О прекрасном в музыке» (1854).
- 398 Карл Лахман (1793—1851) — немецкий филолог-классик, германист, медиовист, переводчик. Роде имеет в виду его книгу о Гомере.
- 399 Передышки, облегчения (греч.).
- 400 Цитата из стихотворения Гёте, посвященного герцогине Луизе Веймарской (1777).
- 401 Характеристике (лат.).
- 402 В основной части письма содержится очередное обсуждение шансов Роде в Цюрихе и Киле. — Ф. Шёлль.
- 403 Статья «Сократ и трагедия» — изначально публичная лекция, которую Ницше прочитал в Базеле 1 февраля 1870 г. и опубликованная только в 1927 г. В июне 1870-го Ницше напечатал эту лекцию в качестве частного издания для распространения среди друзей.
- 404 Чудесности (греч.).
- 405 Луциан Мюллер (1836—1898) — немецкий филолог-классик, пользовавшийся дурной репутацией среди коллег. С 1870-го работал в Петербурге, где и умер.
- 406 Музыкант (греч.).
- 407 Немузыканты (греч.).
- 408 О, если б мне быть зимородком! (греч.) — Алкман (перевод В. Вересаева).
- 409 Вероятно, Роде пропустил слово («судьба») и ошибся родом существительного.
- 410 Сцене (греч.).
- 411 Умолчаний (греч.).
- 412 «Зандваль» (название гостиницы) по-немецки — Песчаная стена.
- 413 Применительно к случаю (лат.).
- 414 В случае (лат.).
- 415 Quod bonum felix faustum fortunatumque sit — да сопутствует (нам) счастье и удача (лат., формула благопожелания).
- 416 Филологический конгресс был перенесен в очередной раз — на Пасху 1872-го.
- 417 Дорогой (ит.).
- 418 Толковищ (лат.).
- 419 Все течет (греч.).
- 420 См. ниже, письмо 80.

- 421 1 талер = 30 зильбергрошей.
- 422 Говоря без фривольности (искаж. ит.).
- 423 Начиная со Средневековья евреи играли огромную роль в Лейпцигских ярмарках в качестве купцов, торговцев, комиссионеров, ремесленников и т. д., и слово *Meßjude* («ярмарочный еврей») приобрело расширительный смысл «участник Лейпцигской ярмарки».
- 424 Фарс Иоганна Нестроя (поставлен на сцене в 1833, напечатан в 1835).
- 425 Белая горячка, легкое помешательство (лат.).
- 426 Благоприятный знак (лат.).
- 427 Перевод Б. Пастернака.
- 428 Гёте. Фауст. Перевод Б. Пастернака.
- 429 Будьте здоровы, демоны (греч.).
- 430 Принято! (лат.).
- 431 К. М. Вебер, Вольный стрелок, сцена в Волчьем ущелье.
- 432 Ницше думал о виньетке к «Рождению трагедии», которое тогда готовилось к печати (вышло в свет 2 января 1872). Виньетка была нарисована художником Л. Рау — уже 27 ноября Ницше послал ее Фритцшу.
- 433 Глаза (лат.).
- 434 Музыкант (греч.).
- 435 «Три праведных гребенщика» — новелла Готфрида Келлера.
- 436 Порукой любви (лат.).
- 437 Душа (греч.).
- 438 Швейцарское красное вино.
- 439 Завистливого демона (греч.).
- 440 Образов (греч.).
- 441 Идеи (греч.).
- 442 Товарищу по жертвоприношению демонам (греч.).
- 443 Я спас (свою) душу (лат.).
- 444 «Источники Ямвлиха в его биографии Пифагора» («Рейнский музей», XXVI, 1871).
- 445 Наднебесному месту (Платон, «Федр» — греч.).
- 446 Непосвященных (греч.).
- 447 Неточная цитата из Гёте (ст. «Надежда», ст. 1—2): вместо «Боже» у Гёте «счастье» (пер. М. Лозинского). Ницше цитировал, видимо, по памяти, как делал это нередко, чаще всего искажая оригиналы.
- 448 Узкие рамки (лат.).
- 449 Метафорическое обозначение филологии: в эллинистическую эпоху Александрия была главным центром греческой науки о языке.
- 450 «Если ты хочешь, мой друг, познать высочайшую мудрость, // Мыслью взлети высоко, пусть издевается ум. (...)» («Памятки», 21. Пер. Е. Эткинда).
- 451 Всемогущие (боги) (греч.).
- 452 Знаменитая неразгаданная глосса Гезихия, см.: *Lobeck. Aglaophamus...*, p. 779 sq.
- 453 «Рождение трагедии», гл. 19.

- 454 В добрый час (греч.).
- 455 Царнке не напечатал эту рецензию.
- 456 То есть «Новую аугсбургскую газету».
- 457 Насморка (и) хрипоты (греч.).
- 458 Пригород (до 1891) Лейпцига, где располагался Камерный театр.
- 459 В ссылке на берегу Черного моря близ устья Дуная, где зимой было холодно (см., напр., его «Письма с Понта», 2, 26—27).
- 460 Практика (греч.).
- 461 Единого (и) полноты сущего (греч.).
- 462 Кстати (фр.).
- 463 Недостаток (лат.).
- 464 Обе цитаты — из упомянутого в письме Ницше (№ 89) письма Царнке.
- 465 «Король Лир», акт 1, сцена 4 (шут — Гонерилье).
- 466 Защитнику в суде (лат.).
- 467 Филологам (лат.).
- 468 Каркаю (греч., в том числе в переносном смысле).
- 469 Иллюстрированный политический и сатирический еженедельник на немецком языке.
- 470 См. сноску 126.
- 471 «Не надо львенка в городе воспитывать. <А вырос он – себя заставит слушаться>» (греч.) — Аристофан. Лягушки, 1431 сл. (об Алкивиаде). Текст немного изменен Роде.
- 472 Через две недели Роде сообщит другу телеграммой, что его назначили профессором в Киле. — Прим. Ф. Шёлля.
- 473 В связи с переездом Вагнеров на виллу Ванфрид близ Байрейта.
- 474 Молись за нас! (лат.).
- 475 Да погибнет дьявол (...) и насмешники (лат.) — слова из студенческого гимна «Гаудеамус».
- 476 Академический насмешник (лат.).
- 477 Замок в окрестностях Байрейта, где с апреля по август 1872-го жили Вагнеры.
- 478 В спешке (лат.).
- 479 Сего (месяца) (лат.).
- 480 Лишенный дара музыки (греч.).
- 481 По-прежнему в спешке (лат.).
- 482 Пояс (лат.), то есть опоясывающий лишай.
- 483 Хоровые песни (греч.).
- 484 Эпизодий (греч.), то есть «Рождение трагедии».
- 485 Прощай (фр.).
- 486 Федеральная реформа (ит.), всенародный референдум об изменении конституции.
- 487 Приблизительный перевод: Какой Дионис <т.е. дионисийское зрелище> откроется нашим взорам! До скорого и веселого свидания! Преданный Эрвин. Пошли, пожалуйста, от меня привет в «Фантазию» (ит.).

- 488 Рецензия Роде на книгу Ницше вышла в газете «Норддойче альгемайне цайтунг» 26 мая.
- 489 По специальности (лат.).
- 490 «Эрвин Роде» (авторские инициалы в конце рецензии).
- 491 Сочинение Ульриха Вилламовица-Мёллендорфа «Филология будущего. Опровержение книги Фридриха Ницше (...) "Рождение трагедии"», вышедшее в свет 30 мая 1872.
- 492 В медвяном блаженстве (греч.) — Пиндар, I Олимпийская ода, 102.
- 493 Бушует горечь: черным повели волнам // Улечься (греч.) — Эсхил. Эвмениды, 832 сл.
- 494 Околдован, иссушен, // Кто безлирный слышал гимн (греч.) — Там же, 334 сл. (песнь Эриний).
- 495 Преемников (греч.), то есть последовательности относительных датировок (кто после кого жил).
- 496 Рыхлости — плотности (греч.).
- 497 Вилламовица.
- 498 Смешат Феба тучные пожиратели ослов (греч.) — Каллимах, фрагменты.
- 499 Вот и всё (лат.).
- 500 Блаженства (греч.).
- 501 Измененный полустих из 1-й части «Фауста» («Я возвращен земле...» — пер. Б. Пастернака).
- 502 «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера, реплика Ганса Сакса в последней сцене.
- 503 Старинный городок в Баварии.
- 504 Миляги (греч.).
- 505 Здесь: в духе (лат.).
- 506 Университетский город в Германии примерно в 50 км от Базеля.
- 507 Роде принял это заглавие в таком виде: «Лжефилология. К разъяснению памфлета "Филология будущего и т. д.", изданного д-ром фил. У. ф. В.-М.».
- 508 Негодники и бездельники (греч.).
- 509 Козлоногие (лат.).
- 510 Софокл мудр, но Еврипид мудрее (греч.).
- 511 Флейтист (греч.).
- 512 Сценическая музыка (греч.).
- 513 Не сидеть у ног Сократа, // Не болтать, забыв про Муз, // Позабыв про высший смысл // Трагедийного искусства (греч.).
- 514 Эта инициатива касалась организации Вагнеровских союзов и привилегированных абонементов на представления в рамках Байрейтского фестиваля.
- 515 Указания (ит.).
- 516 «Флорентийский трактат о Гомере и Гесиоде» (закончен печататься 24 февраля 1873 в «Рейнском музее».
- 517 Мюнхенского университета.
- 518 На сегодня довольно (ит.).

- 519 Вильгельм Брамбах (1841—1932), немецкий филолог-классик и историк музыки. Ницше был с ним знаком с 1864 г.
- 520 Вместо *zodiacus* (как сближение со словом «*zotig*», сальный, или как пародия лейпцигского произношения, обращение к совместным с Роде лейпцигским переживаниям) — круг зверей, зодиак (греч.). Эта фраза опущена в издании 1902 г.
- 521 По-немецки слышится, подобно многим словам, начинающимся на *After-*, как «филология через задний проход».
- 522 Игра слов, основанная на том, что вторая часть фамилии Брамбах «-бах» по-немецки означает «ручей», а Ницше еще и превращает его в «ручеек» (*Brambächlein*).
- 523 Состязании (Гомера и Гесиода) (лат.).
- 524 Реплики из лейпцигского театра (примеч. Э. Роде на полях письма).
- 525 Вильгельм Веренпфенниг (1829—1900), немецкий чиновник, публицист и либеральный политик, в 1872—1873 гг. редактор берлинской газеты «Шпенерше цайтунг».
- 526 Диогена Лаэртского (греч.), предмета ранних научных изысканий Ницше.
- 527 Т. е. в Херсбруке, старинном городке на востоке Баварии близ Нюрнберга.
- 528 Гёте, из Посвящения к циклу «Бог и мир».
- 529 Один-одинешенек (ит.).
- 530 Предлог (греч.).
- 531 Здесь: людской (лат.).
- 532 Ближними (греч.).
- 533 Гёте. Западно-восточный диван. Книга изречений. Пер. В. В. Левика.
- 534 Кликой (ит.).
- 535 Понимают, разбираются (лат.).
- 536 Филологических вопросах (лат.).
- 537 Здравый ум — в положительном (лат.).
- 538 Да здравствует дружба! (ит.).
- 539 Ошибка в датировке или, скорее, ссылка на какое-то не сохранившееся письмо. — Прим. Ф. Шёлля.
- 540 Удачи тебе и здоровья! Эрвин (греч.).
- 541 Негласный суд в средневековой Германии.
- 542 С суровостью к чужакам (греч.).
- 543 Т. е. на латыни. Ф. Шёлль указывает на то, что это был некий Пушман.
- 544 Начало письма отсутствует. — Прим. Ф. Шёлля.
- 545 Птицы (лат.), то есть «почтальона».
- 546 Святылища (греч.).
- 547 То есть лиц, среди которых было много знаменитостей, посещавших салон Рахели Фарнхаген фон Энзе (1771—1833), немецкой писательницы эпохи романтизма.
- 548 Прусский аристократ (1787—1814), состоявший в переписке с Рахелью, погиб в войне с Наполеоном.

- 549 Гёте, «Западно-восточный диван». Книга певца. Дума о воле. Пер. В. Вебера.
- 550 Эрнст Людвиг фон Лейтш (1808—1887), немецкий филолог-классик, много лет издававший журнал «Philologus», который не пользовался большим доверием среди специалистов.
- 551 «Дрожу и боюсь я прихода его <Эроса> (...Так на бегах отличившийся конь неохотно под старость // С колесницами быстрыми на состязанье идет». — Ивик. Фрагменты. Пер. В. Вересаева).
- 552 Немецкий литератор Герман Лингг (1820—1905), автор баллад, драм и рассказов.
- 553 См. письмо Роде, № 123.
- 554 Франц Герлах (1793—1876) заведовал кафедрой латыни в Базельском университете с 1820 до 1875 гг., умер не от болезни, а в результате несчастного случая.
- 555 Шутливое переосмысление стиха из «Фауста» Гёте (Часть первая. У ворот): «Und Händel von der ersten Sorte» («А драка — первый сорт», пер. Н. Холодковского). Но у Гёте «Händel» стоит во множественном числе и потому означает «драки, распри», а Ницше употребляет ед. ч. ср. рода и получает уменьшительное от «Hand, Händelein», рука («Händel — von der besten Sorte verkündendes»).
- 556 Из «Тристана» Вагнера (начало 3-го акта).
- 557 Пирамид выше (лат.), т. е. памятник (по одноименной оде Горация).
- 558 Здесь: о том, где найти точку опоры (греч., часть фразы Архимеда).
- 559 Смотри на вещи проще (англ.).
- 560 Волшебное влияние (лат.).
- 561 Прекрасно (фр.).
- 562 Смертных несчастных (греч. — Илиада, 22, 31).
- 563 Космос, миропорядок (греч.).
- 564 Ошеломленный (англ.).
- 565 Безграмотные писатели (лат.).
- 566 Судебная урна (греч.).
- 567 Кандидат в библиотекари Ее королевского высочества княгини Маргариты Савойской (ит.).
- 568 «Дон Карлос». 3 акт, 10 сцена.
- 569 Восвояси (лат.).
- 570 Т. е. «Гомеровское состязание».
- 571 В «Рождении трагедии» Ницше употреблял латинизированную форму *Dionysus*. К исходной греческой форме *Dionysos* он пришел только в позднем предисловии к своей первой книге, в «Опыте самокритики», но правку в изначальный текст так и не внес. См. письмо Роде к Ницше № 131.
- 572 Гёте. Эпилог к Шиллерову «Колоколу». Пер. С. Соловьева.
- 573 J. V. Meyer. Schopenhauer als Mensch und Denker (1872).

- 574 Кстати (фр.).
- 575 Из многочисленных и очень ценных предложений здесь печатаются лишь немногие, заслуживающие всеобщего интереса и непосредственно понятные. — Примеч. Ф. Шёлля.
- 576 Безразличные вещи (греч.).
- 577 Во втором издании заменено.
- 578 Во втором издании заменено.
- 579 Ницше так и поступил (гл. 2). Всего, по подсчету Ф. Шёлля, он принял свыше 20 стилистических поправок Роде, по недосмотру пропустив только одну.
- 580 Знать (фр.).
- 581 То есть поправки Роде.
- 582 А. Дове (1844—1916) — немецкий историк и публицист, критик музыки Вагнера. Ницше выступил против него со статьей «Новогоднее поздравление издателям еженедельника “В новой империи”», напечатанной в «Музыкальном еженедельнике» 17 января 1873.
- 583 Небольшую работу (лат.).
- 584 «Монодия для двоих» (фр.).
- 585 Эстетиков, философов искусства (лат.).
- 586 См. прим. 543.
- 587 Необходимостью (лат.).
- 588 Т. е. Герсдорфа, «шатающегося кавалера, как называет его Вагнер» (Ницше — Мальвиде Мейзенбург 5 <6> апр. 1873).
- 589 Явная отсылка к «Зимнему пути» Мюллера—Шуберта.
- 590 «Антоний и Клеопатра» Шекспира?
- 591 Герсдорф переписал для Ницше начисто доклады «О будущности наших образовательных учреждений».
- 592 Отмеченное купюрой и следующее письмо Роде из Гейдельберга (1 апреля) касаются исключительно деталей встречи (в Байрейте). — Примеч. Ф. Шёлля.
- 593 Греческий врач, живший предположительно во второй половине 1-го века до н. э.
- 594 Как филологом (лат.).
- 595 Вульгарное выражение (пометка в словарях).
- 596 Молчания (лат.).
- 597 Алкидамантовы (рассуждения) (лат.). — статья Ницше, где он доказывает, что «Состязание Гомера и Гесиода» в основе своей восходит к ритору Алкидаманту.
- 598 Вот этого мира (греч.).
- 599 Спасителя (греч.).
- 600 Прощай и люби меня (лат.).
- 601 Филолог (греч.).
- 602 Подслеповатость (греч.).

- 603 Это не датированное письмо написано, несомненно в 1873-м, а не 1878-м году, когда Роде был во Флоренции снова. — Примеч. Ф. Шёлля.
- 604 То есть (ит.).
- 605 Представь себе (искаж. ит.).
- 606 Прощай (ит.).
- 607 Изыди от нас, демон (лат.).
- 608 Жаргонное выражение теолога Теодора Кайма. — Примеч. Ф. Шёлля.
- 609 Музыкально одаренного (греч.) ... осеннюю музыку (лат.).
- 610 См.: Юный Ницше, с. 167.
- 611 Всегда тот же (лат.).
- 612 Написано Ромундтом под диктовку Ницше.
- 613 Т. е. будущих байрейтских музыкальных фестивалей. Предприниматель — Вагнер.
- 614 См.: Жизнь Фридриха Ницше. Т. 2. С. 96 сл.
- 615 «Грегор Замаров» — один из псевдонимов немецкого писателя Ф. Ф. Мединга (1828—1903), автора романов на актуально-исторические темы.
- 616 Из «Летучего голландца» Вагнера.
- 617 Поскольку боги его не приемлют (лат.).
- 618 Сволочь (фр.).
- 619 Малодушных (греч.).
- 620 Журнал, в котором была напечатана критика «Давида Штруса» Ницше. См. письмо 147.
- 621 То есть второго «Несвоевременного размышления» — Ницше использует окказионализм «*Zeitungemässheit*» («несоответствие эпохе»).
- 622 Пародия слов М. Лютера «На том стою и не могу иначе.
- 623 Пригодности (ит.).
- 624 Книга Роде «Греческий роман и его предшественники» (вышел в 1876-м).
- 625 По Гёте («*Sprichwörtlich*»).
- 626 Ведь здоровье убывает и у славнейшего мужа (греч.).
- 627 Полнейшее здоровье (греч.).
- 628 Прощай, милый (ит.).
- 629 Эмиль Геккель (1831—1908) — немецкий музыкальный писатель и издатель, почитатель Вагнера, основатель отделения Вагнеровского союза в Мангейме (1871) и один из основателей Байрейтских фестивалей. Был знаком с Ницше (1871).
- 630 Девиз одного из бранденбургских маркграфов времен Реформации. — Примеч. Ф. Шёлля.
- 631 А пока всего хорошего (ит.).
- 632 Встреча в Ретии (лат.). Ретия — римская провинция, включавшая в себя территории нынешних Баварии, Вюртемберга и северо-восточной Швейцарии.
- 633 Виламовица.
- 634 Гёте. Фауст, ч. 1. Погреб Ауэрбаха в Лейпциге. Пер. Б. Пастернака. В передаче Ницше цитата неточная.

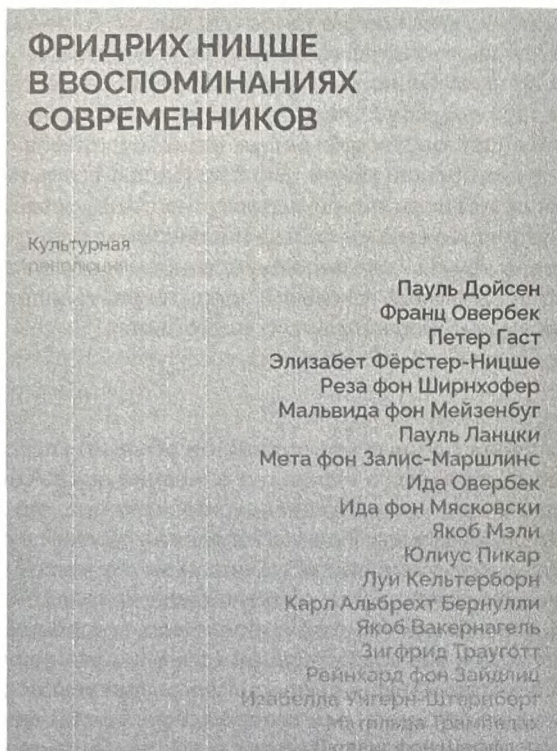
- 635 Т. е. облаков — Ф. Шиллер. Мария Стюарт. III, 1. Пер. Н. Вильмонта.
- 636 Реально и эффективно (лат.).
- 637 Седалище (фр.).
- 638 Тела (как вместилища души) (греч.).
- 639 Встречу в субальпийской зане (лат.).
- 640 Т. е. о «Втором несвоевременном рассуждении».
- 641 До бесконечности (лат.).
- 642 Т. е. в 4-й главке.
- 643 «Эстетика тщеславия».
- 644 Собратья по филологии (лат.).
- 645 См. письмо № 155.
- 646 Оба из Аркадии (лат.) — Вергилий. Буколики. Эклога VII.
- 647 Имеется в виду Ф. Ричль. Заметочка — Фукса в «Музыкальном еженедельнике», посвященная Ницше.
- 648 Второму изданию «Рождения трагедии».
- 649 Интриг (лат.).
- 650 До личного свидания (ит.).
- 651 Противоядия от меланхолии (лат.).
- 652 Старинный городишко в Баварии, в 19-м веке — идеальный образ немецкого средневековья.
- 653 Маркиза Эмма Гверрьери-Гонзага, под впечатлением от второго «Несвоевременного» завязывая переписку с Ницше.
- 654 «Двенадцать писем эстетического еретика» Карла Хиллебранда (1873).
- 655 1 Цар. 22, 1.
- 656 Оцепенения (лат.).
- 657 См. стихотворение Ф. Шиллера «Кубок» («Ныряльщик»).
- 658 Ни грустное ни веселое (ит.).
- 659 Природная симпатия (греч.).
- 660 Профессор Базельского университета, который одно время лечил Ницше.
- 661 Плоть (греч.).
- 662 «Римский карнавал» (фр.), увертюра.
- 663 Отказа от письма (греч.).
- 664 Ф. Шёлль указывает, что Роде нарочито использует здесь стиль второй софистики, которую изучал в связи со своим «Романом».
- 665 Роде неточен: у Ницше есть только выражение «цепь выполнимых обязанностей» (гл. 5).
- 666 Благое//Вижу, хвалю, <но к дурному влекусь> (лат.) — Овидий. Метаморфозы. Кн. VII, 20 сл.
- 667 Уметь быть праздным на благородный лад (греч.). — Аристотель. Политика. VIII, 2.
- 668 Слава Богу (лат.).
- 669 Немножко (швейц.-нем.).

- 670 В оригинале «Ерот» — ни в одном немецкоязычном издании не исправленная описка Ницше.
- 671 Благая надежда (греч.).
- 672 Ницше использует выражения из «Западно-Восточного дивана» Гёте (Книга Зулейки), здесь адаптированные к переводу В. Левика.
- 673 Возможно, Йозеф Ротт (1821—1897), немецкий филолог-классик.
- 674 Счастливого случая (греч.).
- 675 Очевидно, имеется в виду поклонница Ницше Розалия Нильсен (см.: Янц К. П. Жизнь Фридриха Ницше. Т. 2. С. 96 сл. М., «Культурная революция», 2018).
- 676 Так будет не всегда (лат., по Горацию).
- 677 Итальянский соус из фруктов в горчице и сиропе (Боцен — Больцано в итальянском Южном Тироле).
- 678 В несчастной любви, от которой тогда страдал Роде.
- 679 Изысков (фр.).
- 680 Ответ на почтовую карточку Роде 28 августа 1875. — Прим. Ф. Шёлля.
- 681 Базельский адрес Ницше.
- 682 Курорт в горах близ Фирвальдштетского озера в Швейцарии.
- 683 Это была книга барона Отто Лоэ «Pro nihilo!» (Цюрих, 1876), темой которой послужил конфликт прусского посла во Франции графа Гарри фон Арнима (1824—1881) с канцлером Бисмарком.
- 684 Крупное немецкое издательство музыкальной литературы.
- 685 Ф. Овербек в это время обручился со своей будущей женой.
- 686 Благодеяния (лат.).
- 687 Разбитая на части цитата из Каллимаха, означающая по-гречески «большая книга — большое лихо». Каллимах был мастером малых форм в поэзии.
- 688 Морали одиночек (ит.). Так Дж. Вико в своей автобиографии характеризовал мораль стоиков и эпикурейцев. — Примеч. Ф. Шёлля.
- 689 Состояние успешных учеников (греч.).
- 690 Дружба, дружеская любовь (греч.).
- 691 У Роде — «во всяком случае, не древнегреческое». — Примеч. Ф. Шёлля.
- 692 Трудная загадка (греч.).
- 693 Зависть (лат.).
- 694 Студенты (лат.).
- 695 Гомункулы (лат.). Вагнер здесь и чуть ниже — персонаж из «Фауста» Гёте.
- 696 «Рихард Вагнер в Байрейте».
- 697 В ответ на письменное извещение о помолвке.
- 698 Перевод И. А. Эбаноидзе (Письма Фридриха Ницше. Составление и перевод Игоря Эбаноидзе. Москва, «Культурная революция», 2007. С. 123).
- 699 Тиха, богиня судьбы и счастливого случая (греч.).
- 700 Рано или поздно что-нибудь да случится (лат.), не совсем точная цитата из Теренция.

- 701 Кстати (фр.).
- 702 См. сноску 38.
- 703 Вероятно, Роде (или наборщик) пропустил частицу «не».
- 704 То есть «Parsifal», как у Вагнера, а не «Parzival», средневерхненемецкое написание названия поэмы Вольфрама фон Эшенбаха.
- 705 «Человеческое, слишком человеческое» (1 том, вышедший в свет в апреле того же года).
- 706 Рана (греч.); «целительная сила» — согласно пророчеству о Телефе, раненном Ахиллом (*примеч. Ф. Шёля*).
- 707 Сферах (греч.).
- 708 Теплая и холодная комнаты в римской бане.
- 709 Дельности (греч.).
- 710 Природе (греч.).
- 711 Гармонии лука и лиры (греч., по Гераклиту), то есть атрибутов Аполлона, символов войны и мира (согласно А. В. Лебедеву).
- 712 Трудное место. Метафору следует домысливать — например, так: «У кого-то из нас двоих, стоящих на шатком, ненадежном общем основании, книга то и дело будет вываливаться из рук (хотя до этого еще не дошло)».
- 713 Философии в зародыше (лат.).
- 714 Речь идет о двух частях второго тома «Человеческого, слишком человеческого» — «Смешанных мнениях и изречениях», вышедших в марте 1879-го, и «Страннике и его тени», вышедшем в июле — августе того же года.
- 715 Приятное времяпрепровождение (ит.).
- 716 Ну ладно, хватит (ит.).
- 717 Терплю и держу диету (лат.), по Эпиктету.
- 718 Брагой (фр.).
- 719 Под «альтер эго» Ницше явно имеет в виду свою книгу «Утренняя заря», вышедшую в свет 8 июля 1881, а не «По ту сторону добра и зла» (1886), как ошибочно считал Ф. Шёлль. Видимо, Ницше послал Роде один из своих авторских экземпляров, опередив выход книги в свет.
- 720 «Веселая наука» (вышла в свет 20 августа — без 5-й книги).
- 721 Несбывшийся план совместной учебы с Лу Андреас-Саломе.
- 722 Я описал самого себя (лат.) — или «написал», то есть создал.
- 723 Или умереть, или жить вот так (лат.).
- 724 В не дошедшем до нас письме. Речь, вероятно, шла о Лу Андреас-Саломе.
- 725 Речь идет только о первой части книги.
- 726 Он и отца превосходит (греч.) — Илиада, 6, 480.
- 727 Называется духом времени (лат.).
- 728 Здесь: человек пишущий (лат.).
- 729 Филологом среди филологов (лат.).
- 730 В высшей степени меланхоличный (фр.).
- 731 Природе вещей (лат.).
- 732 Роду занятий, специальности (лат.).

- 733 Довольно с меня и немногих, довольно с меня и одного, довольно с меня и ни одного (лат.). — Сенека. Письма к Луцилию, 7, 11.
- 734 «К генеалогии морали».
- 735 Имеется в виду его книга «Наполеон и его клеветники» (1887), направленная против Тэна. — Примеч. Ф. Шёлля.

Готовится к печати



В этой книге сплетены голоса тех, кого в разные годы жизни Ницше свела с ним судьба — дружба, преподавание в университете, общая компания, случайная встреча на прогулке в горах, в железнодорожном путешествии, в венецианской таверне... Эти голоса образуют не слаженный хор, а весьма сложную полифонию, в которой образ философа то размывается, словно ускользая от фиксации, то вновь сходится воедино на некоторых узнаваемых, повторяющихся чертах, константах.

Если ты привык к его манере и тону в устном общении, к тому, как он дружески вникает во взгляды и суждения других, — в том числе стоящих во многих отношениях гораздо ниже его, — к самому приглушенному звучанию его голоса, то можно было удивиться, если не испугаться метаморфозе, которая совершалась с этим нежным и кротким существом, когда он брался за перо. Что было натурой, а что — маской? Ответ: и то и другое было натурой, но только в аллотропической форме, если воспользоваться выражением из области химии. Это был Ницше всерьез в обоих случаях, от притворства и лицемерия тут не было и следа, однако его тонко устроенная натура всегда инстинктивно знала или чувствовала, в чем ее долг перед мгновением и обстоятельствами, а в чем — перед долгой памятью и зрелыми размышлениями избранных умов нынешнего и грядущего мира.

Якоб Мэли

Однажды перед летними каникулами он объявил классу, что хорошо бы прочесть в «Илиаде» описание щита Ахилла и рассказать о нем, но исключительно по желанию, это де неobligательное задание. По возобновлении занятий он вызвал кого-то наугад и спросил его: «Прочитали вы это место?». Ученик в растерянности ответил «Да», хотя это было неправдой. «Хорошо, тогда опишите нам щит Ахилла!». Молчанию, которое за этим последовало, при все возрастающем волнении учеников, он дал продлиться десять минут — именно столько, сколько потребовалось бы на описание предмета, — и все это время, как бы внимательно выслушивая, он расхаживал туда-сюда, как это было свойственно ему во время занятий. Затем сухо сказал, не трата лишнего слов: «Что ж, NN рассказал нам про щит Ахилла, теперь продолжим».

Карл Альбрехт Бернулли

Руки Ницше тотчас же выпустили мою. Я растерянно взглянул на него и тотчас же отшатнулся, увидев перемену, произошедшую в его чертах. Это больше не был знакомый мне профессор, нет, словно безжизненная маска, взирало на меня искаженное мужское лицо! Но тут нужно понять вот что: меня испугала не гримаса как таковая — напротив, черты Ницше никогда еще не казались мне

исполненными такого величия, столь привлекательными как сейчас! Впечатление трагизма — вот что меня потрясло! Я забыл о себе и о нем. Я больше не стоял на неровной мостовой Базеля, скорее, я оказался в Риме, в музее Ватикана, в «кабинете масок». Там, в галерее, стояли они в ряд, античные «трагические маски». С пустыми глазницами, открытыми ртами, выражая застывшую боль, пропитывавшую даже выющиеся кудри вокруг губ и подбородка. Именно так темнели у Ницше широко открытые тусклые глаза, именно так застыли еще открытые для разговора губы, именно так вписывались даже усы в трагические линии этого общего впечатления! И так же мне казалось, что стихи Эсхила, хоры Софокла вылетают из отверстий этой живой, как и тех мраморных масок!.. Лишь несколько мгновений длилось это! Затем профессор отвернулся от меня. Он быстро вернул себе обычное выражение лица, и под равнодушный, но оттого тем более судорожный разговор мы продолжили путь к моему дому.

Людвиг фон Шеффлер

Сухую невкусную еду я запила Кьянти, не подозревая, что вино на голодный желудок имеет обыкновение сильно поднимать настроение. В самом радужном расположении духа мы доверились пролетке, и тут я издала радостное восклицание, потому что заметила меланхолично бредущего Ницше: — Господин профессор в полном одиночестве? Садитесь же к нам, у нас наверняка одна и та же цель! Ницше охотно присоединился, и так мы втроем осмотрели Дуомо, Баптистерий и Кампо-Санто, сквозь очки слегка хмельного юмора, который заразительно действовал на моих спутников. Наверняка мало кто созерцал шедевр Орканьи «Страшный суд» в столь легкомысленном настроении, как я. Должна честно признаться, что всякое возвышенное прошло мимо моего внимания, не оставив и следа, зато гротескные сцены, например, два черта, которые тащат в преисподнюю злобного монаха, произвели впечатление. Ницше выказал здесь себя как критик католической мифологии с совершенно новой стороны, с блестящим юмором и сарказмом, словно играя всеми своими гранями. На вокзале нас встретил, с явным неодобрением, сопровождавший Ницше в путешествии Пауль Ре, с которым я до того обменялась

едва ли парой фраз. В некоторой ажитации он отвел меня в сторонку и, не церемонясь, выказал свое неудовольствие тем, что я, наперекор его стараниям, возбуждающе и тем самым вредоносно действую на Ницше.

Изабелла Унгерн-Штернберг

Лошади сорвались с места, колеса зазвенели, мы понеслись по дороге между каменными оградами, нас окутало горячее толстое серое облако пыли...

— Addio, Сорренто!

— Ницше!..

Ювелир: — Оставь нас наконец в покое с твоим вечным Ницше! По мне так персидский шах, примерно так он выглядел, или исфаганский эмир. Он — и немецкий профессор? Ни за что не поверю!

— Разве я говорю о профессоре? — вспыхнул я. — К черту, что мне за дело до профессора! Вы должны знать писателя, автора «Рождения трагедии»...

Договорить мне не дали: — Родовспомогатель! Да здравствует родовспомогатель в красной феске!

С этим ничего нельзя было поделать. Все были будто в дионисийском опьянении... Но это осталось моим самым главным летним переживанием в благословенном 1876 году, это первое совместное пребывание с Ницше под одной крышей на вилле Рубиначчи в Сорренто.

Михаэль Конрад

Я и прежде говорила Ницше, что христианская религия не может дать мне утешения и благодати, а мысль и чувство подсказывают мне, что я во всём несу в себе жребий всего человечества. Я отважилась высказать ему это так: в идее Бога для меня слишком мало реального содержания. Он взволнованно отвечал: «Вы это говорите только из солидарности со мной. Никогда не отказывайтесь от идеи Бога. Она в Вас живет, хотя Вы о том и не ведаете; ведь судя по Вашему складу и по тому, какой я вижу Вас всегда, в том числе и сейчас, Вашей жизнью управляет великая идея. Это — идея Бога».

Он судорожно глотнул. Его черты словно исказились от волнения, чтобы затем застыть в каменном спокойствии. «Я отказался от нее. Я хочу создать новое, я не хочу и не имею права повернуть назад. Я погибну от своих страстей, они бросают меня из стороны в сторону, я постоянно распадаюсь на части, но мне нет до этого дела».

Ида Овербек

Но то был человек порядка, и, прежде чем начать, он хотел знать, с кем имеет дело. И он протянул свою визитку (на которой значились его имя и заверенная государством степень его мудрости) моему мужу и такую же — Фридриху Ницше.

И знаете, что ответил ему Ницше?

— Что касается меня, вам придется удовлетвориться тем, что я европеец, так же, как и вы.

Вот что он сказал ему. И затем он замолк и оставался расстроенным. И у дверей он впервые спросил нас, где мы живем, и на другой день пришел к нам в нашу маленькую скромную комнату в гостинице, и мы вместе втроем ели то, что успели купить, и он подарил нам «Заратустру», и мы смеялись между собой над такой мудростью, которая хочет сделать систему из смеющихся цветов искусства.

И только из книги мы впервые узнали его имя.

Вот так оберегал себя тогда Ницше от того, кто хотел без приглашения заглянуть в его мысли. Он исчезал из его поля зрения. И чтобы не пересечься с тем, кто днем и вечером поджидал нас в нашей остерии, каких только уловок и хитростей не изобретал он, этот непрактичный Ницше, чтобы мы могли сидеть и говорить только втроем, как это у нас повелось.

Ванда фон Бартельс

Чужеродность, ненемецкость его лица сочеталась со скромной, никак не выдававшей в нем немецкого профессора манерой. Значительность личности делала позу излишней. В человеке, распознавшем в тщеславии рудимент рабства («Это раб сказывается в крови тщеславца, это остаток лукавства раба силится соблазнить на хорошее мнение о себе, и тот же раб падает тотчас ниц перед

этим мнением, как будто не сам он вызвал их. Тщеславие есть атавизм», говорит он в «По ту сторону добра и зла»), не было и следа всем известным чванливо-буржуазных ученых замашек. Тихий голос, мягкий и мелодичный, и очень спокойная манера разговора в первый момент озадачивали, как звук гладстоновской фисгармонии, когда ее впервые слышишь. Если улыбка озаряла его загорелое от долгого пребывания на свежем воздухе под южным солнцем лицо, то оно приобретало трогательно детское, не оставлявшее тебя безучастным выражение. Взгляд его казался большей частью обращенным вовнутрь, как у статуй греческих богов, или ищущим из глубины нечто, надежду на что он почти уже утратил, — но всегда перед тобой были глаза человека, который много страдал и, хотя и вышел победителем, с тяжким сердцем стоит теперь перед пропастью бытия. Незабываемые глаза, светящиеся трудно давшейся победой и печальющиеся и оплакивающие то, что смысл земли и ее красота обратились в абсурд и уродство.

Мета фон Залис-Маршлинс

Научно-популярное издание

Переписка Фридриха Ницше и Эрвина Роде

Верстка К. Гречка

Подписано в печать 12.09.2022. Формат 60×90/16.
Печ. л. 25,5. Тираж 300 экз. Заказ № 7045

Издательство «Культурная Революция»
Адрес Москва, ул. Новосущёвская, д. 19б
Телефон (499)9731662
E-mail editor@kultrev.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59

«Какой подарок немногим *читателям* своей книги ты делаешь, об этом сам ты вряд ли можешь судить верно, ведь ты живешь в собственном духе, мы же, прочие, *никогда* не слышим таких голосов — ни произнесенными, ни напечатанными: а потому теперь, как и встарь, когда я бывал с тобой, мне так и кажется, будто на какое-то время я поднялся в более высокий ярус, будто духовно облагородился»

Эрвин Роде

«...На душе у меня ... так, будто ты пожимаешь мне руку и глядишь на меня грустно, словно хочешь сказать: "Как же так, почему у нас осталось так мало общего, и мы живем как бы в разных мирах! А ведь когда-то...". Так-то, дружище, у меня со всеми, кто мне дорог: все *прошло*, бывшее, нежность; мы еще видимся, разговариваем, чтобы не молчать, пишем друг другу письма, чтобы не молчать. Но по глазам видна правда: и они мне говорят (я хорошо это различаю): "Дружище Ницше, вот ты и *со всем один!*"»

Фридрих Ницше



9 785604 642269